

E. T. A. Hoffmann
Rater Murr



Musarion-Verlag München

Annotation

Мастер Абрагам Лисков, фокусник и чудотворец при дворе карманного княжества, во время устроенного им фантасмагорического празднества спасает от утопления котенка. Мурр учится понимать язык рода двуногих, постигает грамоту и поглощает обрывки знаний из старинных фолиантов со стола маэстро, чтобы, наконец, поступить в услужение Иоганнесу Крейслеру и увековечить на бумаге свои наблюдения.

Одареннейший из котов пером и чернилами излагает свою биографию и взгляды на мир, используя в качестве промокательной бумаги странички записей своего хозяина, благодаря чему мы кое-что узнаем и о жизни мятежного музыканта.

Это философская сказка о столкновении двух миров: мира обывателей, прагматиков-рационалистов с любимым гофмановским героем: непрямаянным художником, скитальцем, житейским неудачником, неизлечимым романтиком. Причем мир филистеров-рационалистов, презирая «этих чокнутых художников» подсознательно стремится подражать им, что замечательно видно на примере «Записок» вышеупомянутого кота. Так возникает еще одна важная для Гофмана тема: тема двойничества, тема подлинных и подменных, ложных сущностей. «Записки...» отличает и фирменный гофмановский юмор: иронично-саркастический и, одновременно, прозрачный и легкий.

-
- [Эрнст Теодор Амадей Гофман.](#)
 -
 - [Том первый](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ \[1\]](#)
 - [ВВЕДЕНИЕ АВТОРА](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА](#)
 - [ПРИМЕЧАНИЕ](#)
 - [Раздел первый.](#)
 - [Раздел второй.](#)
 - [Том второй](#)
 -
 - [Раздел третий.](#)
 - [Раздел четвертый.](#)
 - [ПРИПИСКА ИЗДАТЕЛЯ](#)

- [Комментарии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)

- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)

- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)

- [155](#)
 - [156](#)
 - [157](#)
 - [158](#)
 - [159](#)
 - [160](#)
 - [161](#)
 - [162](#)
 - [163](#)
 - [164](#)
 - [165](#)
 - [166](#)
 - [167](#)
 - [168](#)
 - [169](#)
-

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Житейские воззрения Кота Мурра

*вкуне с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсlera,
случайно уцелевшими в макулатурных листах*



Том первый

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ [\[1\]](#)

Ни одна книга не нуждается в предисловии более, нежели эта, ибо, не разъясни мы, вследствие каких причудливых обстоятельств удалось ей увидеть свет, она могла бы показаться читателю чудовищной мешаниной.

А потому издатель покорнейше просит благосклонного читателя сим предисловием отнюдь не пренебрегать.

Названный издатель имеет друга, в коем он души не чает и коего знает, как самого себя. Так вот, этот друг обратился к нему однажды со следующей речью: «Ты, милейший, напечатал уже не одну книгу и имеешь знакомство среди издателей, тебе ничего не стоит зайти к кому-либо из сих достойнейших господ и порекомендовать ему сочинение некоего молодого автора, одаренного блестящим талантом и прекраснейшими способностями. Похлопочи за него, он этого вполне заслуживает».

Издатель пообещал сделать для собрата-писателя все, что в его силах. Правда, он был несколько озадачен, когда друг признался ему, что сочинитель рукописи — кот по кличке Мурр и что в ней он излагает свои житейские воззрения; но слово было дано, и так как поначалу сочинение показалось ему написанным довольно гладким слогом, он сунул рукопись в карман и направился к господину Дюмлеру на Унтер-ден-Линден с предложением издать кошачий опус.

Господии Дюмлер заметил, что среди его авторов еще не бывало котов и он не слыхивал, чтобы кто-нибудь из его уважаемых коллег якшался с подобными сочинителями, но все-таки готов попытать счастья.

Книга пошла в печать, и к издателю стали поступать первые корректурные листы. Каков же был его ужас, когда он обнаружил, что повесть Мурра то и дело перемежается вставками из совершенно другой книги — биографии капельмейстера Иоганнеса Крейсlera.

Что же выяснилось после тщательного расследования и розыска? Оказывается, когда кот Мурр излагал на бумаге свои житейские взгляды, он, нисколько не обинуясь, рвал на части уже напечатанную книгу из библиотеки своего хозяина и в простоте душевной употреблял листы из нее частью для подкладки, частью для просушки страниц. Эти листы остались в рукописи, и их по небрежности тоже напечатали как принадлежащие к повести кота Мурра.

Сокрушенный издатель вынужден смиренно сознаться, что смешение разнородного материала произошло единственно по его легкомыслию. Он, конечно, должен был хорошенько просмотреть рукопись кота до того, как сдать ее в набор. Однако кое-чем он может утешиться.

Прежде всего снисходительный читатель легко разберется в путанице, ежели обратит благосклонное внимание на пометки в скобках: *Мак. л.* (макулатурные листы) и *М. пр.* (Мурр продолжает); кроме того, разорванная книга скорее всего даже не поступала в продажу, поскольку о ней никому ничего не известно. Другим капельмейстера будет даже любезен вандализм кота в обращении с литературными сокровищами — ведь таким образом им удастся узнать некоторые довольно любопытные подробности из жизни этого человека по-своему, пожалуй, далеко не заурядного.

Издатель надеется на милостивое снисхождение.

Нельзя не признать, наконец, и того, что авторы нередко обязаны своими смелыми идеями, самыми необыкновенными оборотами речи милейшим наборщикам, которые так называемыми опечатками способствуют полету фантазии. Возьмем, к примеру, вторую часть написанных издателем «Ночных рассказов». Он упоминает в них о больших *боскетах*, находящихся в саду. Наборщик решил, что это недостаточно гениально, и вместо слова «боскетах» набрал «*каскетках*». В рассказе «Мадемуазель до Скюдери» стараниями наборщика, который, должно быть, желал пошутить, упомянутая мадемуазель оказалась не в *черном, тяжелого шелка платье*, а в *черном халате* и т. д.

Но — каждому свое! Ни коту Мурру, ни безвестному биографу капельмейстера Крейсера незачем рядиться в чужие перья, а потому издатель покорнейше просит благосклонного читателя, прежде чем он примется за чтение этого сочиненьица, произвести: некоторые поправки, чтобы у него не составилось мнение об обоих авторах ни хуже, ни лучше того, какого они заслуживают.

Правда, здесь приводятся лишь самые существенные ошибки, что до более мелких, то мы надеемся на милость благосклонного читателя ^[2].

Страница	Строка	Напечатано	Читать
112	11	слава	Слез
116	20	крысы	крыши
120	15	чувствую	Чествую
121	31	погубленный	возлюбленный
152	3	негармония	энгармония
154	40	мух	духов
162	9	бессмысленное	глубокомысленное
180	16	гнать	Рвать
181	13	ценность	Леность
191	17	Проспект	Прозектор

В заключение издатель должен сообщить, что он лично познакомился с котом Мурром и считает его мужчиной приятным и ласковым в обращении. Портрет, помещенный в начале книги, поразительно схож с оригиналом.

Берлин, ноябрь 1819 г.

Э. Т. А. Гофман.

ВВЕДЕНИЕ АВТОРА

С робостью, с трепетом в сердце отдаю я на людской суд страницы моей жизни, моих страданий, надежд, страстных желаний, кои в сладостные минуты досуга и поэтического вдохновения излились из сокровенной глубины моей души.

Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал эти строки для вас, чувствительные души с младенчески чистыми помыслами, для вас, родственные, преданные сердца, да, для вас писал я эти строки, и единственная драгоценная слеза, если она выкатится из ваших глаз, послужит мне утешением, исцелит раны, нанесенные холодными укорами жестокосердых рецензентов!

Берлин, май (18..).

Мурр

Etudiant en belles lettres [\[3\]](#).

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

(не предназначенное для печати)

С уверенностью и спокойствием, свойственными подлинному гению, передаю я миру свою биографию, чтобы все увидели, какими путями коты достигают величия, чтобы все узнали, каковы мои совершенства, полюбили, оценили меня, восхищались мною и даже благоговели предо мной.

Ежели кто и дерзнет подвергнуть сомнению высокие достоинства этой замечательной книги, то пусть не забывает, что ему придется иметь дело с умным котом, у которого есть в запасе острый язык и не менее острые когти.

Берлин, май (18..).

Мурр

Homme de lettres trus renomme [\[4\]](#).

ПРИМЕЧАНИЕ

Этого еще не хватало! Даже то предисловие автора, которое не было предназначено для печати, оказалось напечатанным! Остается только просить благосклонного читателя, чтобы он не слишком строго судил литературного кота за несколько спесивый тон его предисловия и принял во внимание, что ежели раскрыть истинный смысл кое-каких смиренных предисловий других более конфузливых авторов, то они мало чем будут отличаться от этого.

Издатель.

Раздел первый.

ОЩУЩЕНИЯ БЫТИЯ. МЕСЯЦЫ ЮНОСТИ

Есть все-таки в жизни нечто прекрасное, изумительное, возвышенное! «О сладостная привычка бытия!» — восклицает некий нидерландский герой в известной трагедии. То же ощущаю и я, но не как тот герой в горестный миг расставания с жизнью, — нет! Напротив, меня всего пронизывает радостная мысль, что ныне я вполне сроднился с этой сладостной привычкой и не имею ни малейшего желания когда-либо расставаться с нею. И я полагаю, что духовная сила, незримая, таинственная власть, или как еще там именуют главенствующее над нами

начало, навязавшее мне, так сказать, помимо моей воли, упомянутую привычку, навряд ли руководствовалось при этом худшими намерениями, нежели тот приветливый господин, к которому я попал в услужение и который никогда не позволит себе вырвать у меня из-под носа рыбное филе, раз уж оно пришлось мне по вкусу.

О природа, святая, великая природа! Каким блаженством и восторгом переполняешь ты взволнованную грудь мою, как овевает меня таинственный шелест твоего дыхания!.. Ночь несколько свежа, и я хотел бы... Впрочем, ни тем, кто прочитает, ни тем, кто не прочитает эти строки, не понять моего высокого вдохновения, ибо никому не ведомо, как высоко я воспарил!.. Вскарabalся, было бы вернее сказать, но ни один поэт не станет упоминать о своих ногах, будь их у него даже целых четыре, как у меня, все твердят лишь о крыльях, даже если они не выросли у них за спиной, а приделаны искусным механиком. Надо мной распростерся необъятный свод звездного неба, полная луна бросает на землю яркие лучи, и, залитые искрящимся серебряным сиянием, вздымаются вокруг меня крыши и башни! Постепенно умолкает шумная суeta на улицах внизу, все тише и тише становится ночь, плывут облака, одинокая голубка порхает вокруг колокольни и, робко воркуя, изливает свою любовную жалобу... Что, если бы милая крошка приблизилась ко мне? В груди у меня шевелится дивное чувство, какой-то сладострастный аппетит с непобедимой силой влечет меня вперед, к ней! О, если бы прелестное создание спустилось ко мне, я прижал бы его к своему истосковавшемуся по любви сердцу и уж, конечно, ни за что бы не выпустил. Но ах! — вот она впорхнула в голубятню, неверная, и оставила меня на крыше, одинокого, в тоске и безнадежности! Как редко, однако, встречается истинное сродство душ в наш убогий, косный, себялюбивый век!

Неужто в хождении по земле на двух ногах столько величия, что порода, именуемая человеком, вправе присвоить себе власть над всеми существами, гуляющими на четвереньках, и притом более прочно и устойчиво, чем она? Но я знаю, люди мнят, будто они всемогущи, только из-за того, что у них в голове якобы заключено нечто, называемое Разумом. Не могу себе ясно представить, что именно они под этим понимают, уверен лишь в одном: если, как я могу заключить по отдельным речам моего хозяина и благодетеля, разум не что иное, как способность поступать сознательно и не допускать никаких безумств, то тут я, пожалуй, перецегаю любого человека. И вообще я считаю, что сознание лишь приобретенная привычка. Ведь в минуту рождения мы не осознаем, зачем и как появились на свет. Со мною по крайней мере обстоит именно

так, и, насколько мне известно, ни один человек в мире сам не помнит, как и где он родился, а узнает это лишь из преданий, да и то чаще всего весьма недостоверных.

Города оспаривают друг у друга честь слыть родиной великих людей, но поскольку я ничего положительного о своем рождении сказать не могу, навеки останется невыясненным, увидел ли я свет в погребе, на чердаке или в дровяном сарае, вернее даже, не я увидел, а меня впервые увидела моя милая маменька. Ибо, как то свойственно нашей породе, глаза мои в ту пору были затянуты пеленой. Будто сквозь сон вспоминаю какие-то фыркающие шипящие звуки, раздававшиеся вокруг меня, — такие же звуки издаю я сам, почти против воли, когда злюсь. Более отчетливо, почти с полной ясностью, помню себя в каком-то очень тесном помещении с мягкими стенками; едва переводя дыхание, я в страхе и тоске издаю слабые жалостные стоны. Вдруг что-то приближается ко мне, весьма неделикатно хватая меня за животик, и тут я впервые воспользовался дивной силой, какую одарила меня природа. Из заросших пушистой шерстью передних лапок я тотчас же выпустил острые, гибкие коготки и вонзил их в схватившее меня нечто, как я узнал позднее — руку человека. Рука извлекла меня из моего убежища, бросила на пол, и тут же я почувствовал два резких удара по щекам, на которых теперь, скажу без ложной скромности, выросли роскошные бакенбарды. Насколько я теперь понимаю, рука, уязвленная мускульной игрой моих лапок, наградила меня двумя пощечинами. Так я впервые познал связь между нравственной причиной и ее следствием, и именно нравственный инстинкт заставил меня втянуть назад когти так же поспешно, как я их выпустил. Впоследствии эту мою способность — быстро прятать когти — с полным основанием признавали за выражение крайней *bonhomie* ^[5] и любезности, а меня самого прозвали «бархатной лапкой».

Как сказано, рука бросила меня на землю. Но тут же снова взяла мою голову и придавила вниз так, что я попал мордочкой в какую-то жидкость, и сам не знаю, что меня к тому побудило, вероятно, врожденный инстинкт, — начал лакать, отчего почувствовал необыкновенную приятность. Теперь я понимаю, что меня ткнули носом в сладкое молоко, что я был голоден и, по мере того как пил, постепенно насыщался. Так после нравственного наступил черед и моего физического воспитания.

Еще раз, но более ласково, чем прежде, две руки подняли меня и уложили на мягкую, теплую постельку. Я испытывал все большее довольство и начал выражать переполнявшее меня блаженство теми особенными, лишь нашей породе свойственными звуками, которые люди

довольно метко обозначают словом «мурлыканье». Итак, я гигантскими шагами шествовал вперед по стезе познания мира. Какой бесценный дар небес, какое огромное преимущество уметь высказывать внутреннее физическое довольство звуками и телодвижениями! Сперва я только мурлыкал, позднее пришло умение неподражаемо извивать хвост самыми затейливыми кольцами, и, наконец, я овладел чудесным даром — единственным словечком «мяу» высказывать радость, боль, наслаждение и восторг, страх и отчаяние, словом, самые разнообразные оттенки ощущений и страстей. Чего стоит человеческий язык по сравнению с этим простейшим из простейших средств для того, чтобы заставить понять себя? Вернемся, однако же, к достопримечательной, поучительной истории моей богатой событиями юности.

Как-то я очнулся от глубокого сна, меня окружал ослепительный свет. Вначале мне стало страшно, но потом я понял: то пелена спала с моих глаз — я прозрел!

Еще не привыкнув к свету, в особенности к пестрым краскам представшего моему взору волшебного мира, я неистово зачихал, но мало-помалу совершенно освоился, словно давно уже сделался зрячим.

О зрение! Что за божественная, чудная привычка! Без нее вообще было бы трудно обходиться на свете! Счастливы высокоодаренные натуры, кому столь легко, как мне, далась способность видеть.

Не стану скрывать — поначалу я ощутил некоторый страх и снова поднял жалобный писк, как некогда в своем тесном убежище. Тотчас же явился сухощавый старичок небольшого роста, образ которого никогда не изгладится из моей памяти, ибо, несмотря на обширный круг моих знакомств, никогда не встречал я существа равного или хотя бы подобного ему. В нашей породе мужчины в черно-белой шкурке не в диковинку, но люди с белоснежными волосами и черными как смоль бровями весьма редки, а именно таков был мой воспитатель. Дома он обыкновенно ходил в коротком ярко-желтом шлафроке, который в первый раз привел меня в такой ужас, что я, насколько позволяла моя тогдашняя беспомощность, сполз с мягкой подушки. Человек наклонился, сделал движение ко мне: оно показалось мне дружественным, внушило доверие к нему. Он взял меня на руки, но на сей раз я поостерегся испытывать свои мускулы, а вместе и когти, — представление о царапании уже само собой вызвало представление о последующей оплеухе. И в самом деле, у человека оказались добрые намерения: он поставил меня перед блюдечком молока, и я жадно его высосал, чем, по всей видимости, доставил ему немалую радость. Старичок долго говорил со мной, но я ничего не понял — мне, в то

время юному, несмышленому котику-молокососу, еще не дано было понимать человеческую речь. Вообще я мало что могу сказать о своем благодетеле. Одно лишь знаю достоверно: он был человеком весьма многоопытным, изощренным в науках и искусствах; все, кто посещал его (а я замечал среди его гостей таких, которые носили крест или звезду как раз там, где у меня на шкурке желтоватое родимое пятнышко, то есть на груди), обращались с ним в высшей степени учтиво, подчас даже с робким подобострастием, как я впоследствии с пуделем Скарамушем, и называли его не иначе, как почтеннейший, любезнейший, драгоценнейший маэстро Абрагам! И только два лица обращались к нему запросто «милейший». То были высокий, сухопарый мужчина в ярких панталонах цвета зеленого попугая и белых шелковых чулках, а также маленькая, очень полная женщина с черными волосами и множеством колец на пальцах. Господин оказался князем, а женщина — еврейской дамой.

Несмотря на то что у маэстро Абрагама бывали столь знатные особы, он обитал в маленькой каморке под самой кровлей, так что мне было очень удобно совершать свои первые прогулки через окно на крышу и оттуда на чердак.

Да, не иначе как я родился на чердаке! Не погреб, не дровяной сарай — я твердо знаю: моя родина — чердак! Климат отчизны, ее нравы, обычаи — как неугасимы эти впечатления, только под их влиянием складывается внешний и внутренний облик гражданина вселенной! Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх, такие достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки? О, сладкое томление наполняет грудь мою! Тоска по родимому чердаку поднимается во мне мощной волной! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная родина, тебе — это томительно-ликующее «мяу»! Тебя чествую своими прыжками, своими пируэтами, в них — добродетель и патриотический пыл. Ты, о чердак, щедрой рукой подбрасываешь мне мышонка, а не то даешь поживиться колбаской или ветчинкой из коптильни; порой удается подстеречь воробья и даже изредка сцапать голубочка. «Любовь неизмерима к тебе, родимый край!»

И все же я должен рассказать еще многое о моем...

(Мак. л.) «...Неужели вы не помните, всемилостивейший государь мой, как в ту страшную ночь, когда адвокат брел по Новому мосту, буря сорвала с него шляпу и швырнула ее в Сену? Что-то схожее описано у Рабле, но не буря, собственно, похитила шляпу адвоката, ибо он крепко нахлобучил ее

на голову, отдав плащ свой на волю ветра; какой-то гренадер, пробежав мимо с громким возгласом: «Подул великий ветер, сударь!» — быстро стащил тонкий кастор с его парика, и вовсе не тот кастор был сброшен в волны Сены, а собственную жалкую войлочную шляпу солдата унесло ветром в пучину. Теперь вы знаете, всемилостивейший государь мой, что в то мгновение, когда ошеломленный адвокат остановился, второй солдат, промчавшись мимо с тем же возгласом: «Подул великий ветер, сударь!» — схватил адвоката за шиворот и сдернул с его плеч плащ; что пробежавший тотчас же вслед за ним третий солдат — также прокричавший: «Подул великий ветер, сударь!» — выхватил у него из рук испанскую трость с золотым набалдашником. Адвокат завопил что было сил, кинул вслед последнему мошеннику парик и ушел домой с непокрытой головой, без плаща и трости, а по пути составил самое необычайное из всех завещаний и узнал о самом удивительном из всех приключений. Все это вам отлично известно, всемилостивейший государь мой!»

«Ничего мне не известно, — возразил князь, выслушав мои слова, — и вообще не понимаю, как вы, маэстро Абрагам, осмеливаетесь преподносить мне подобную галиматью. Я, разумеется, знаю Новый мост, это в Париже; правда, я никогда не ходил по нему пешком; зато часто проезжал, как то приличествует моему сану. Адвоката Рабле я никогда не видал, а солдатскими проделками во всю свою жизнь не интересовался. Когда в более молодые годы я еще командовал своей армией, по моему приказу каждую неделю секли розгами подряд всех юнкеров за те глупости, которые они успели совершить, и за те, кои могли совершить в будущем. Но пороть простолюдинов было делом лейтенантов, которые, по моему примеру, проделывали сие еженедельно, по субботам, так что в воскресный день не оставалось ни одного юнкера, ни одного солдата во всей армии, не получивших своей порции розог, и это вбило в мои войска такие моральные устои, что гренадеры привыкли быть битыми, еще не успевши столкнуться с врагом; когда же они встречали его лицом к лицу, им не оставалось ничего другого, как тоже бить его. Уясните себе это, маэстро Абрагам, а теперь скажите мне, во имя бога, чего ради толковали вы о какой-то буре, об адвокате Рабле, ограбленном на Новом мосту? Почему я не слышу ваших извинений по случаю того, что праздник сменился адской суматохой, что в мой тупей была запущена шутиха, что возлюбленный сын мой попал в бассейн, где коварные дельфины с головы до ног обдали его брызгами, что принцессе пришлось спасаться из парка, как Аталанте, без вуаля, подобрав юбки, что... что... да не перечесать злосчастных происшествий той роковой ночи! Ну, маэстро Абрагам, что вы

теперь скажете?»

«Всемиловейший государь мой, — отвечал я, смиренно склонившись перед ним, — что же еще могло быть всем бедам виной, как не буря, как не страшная гроза, разразившаяся в то время, когда все шло так блестяще. Могу ли я повелевать стихиями? Разве сам я не претерпел еще худшего несчастья, разве не потерял, как тот адвокат — кстати, всеподданнейше прошу не смешивать его со знаменитым французским писателем Рабле, — шляпу, сюртук и плащ? Разве я не...»

— Послушай-ка, — прервал маэстро Абрагама Иоганнес Крейслер, — послушай, дружище, еще сейчас, даром что прошло уже довольно времени, еще сейчас судачат о тезоименитстве княгини, празднованием которого ты распоряжался, как о событии, окутанном тайной, и я не сомневаюсь, что ты, по своему обыкновению, затеял много всяких диковинок. Люди и без того почитают тебя чем-то вроде чародея, а празднество это намного укрепило их в таком мнении. Расскажи-ка теперь откровенно, как все произошло? Ты же знаешь: меня в то время здесь не было...

— Ну да, в том-то и дело, что тебя здесь не было, — перебил друга маэстро Абрагам, — ведь ты бежал очертя голову, гонимый одному богу известно какими фуриями ада! Это и взбесило меня; именно потому я и стал заклинать стихии испортить праздник, что ты, истинный герой представления, отсутствовал, и это раздирало мне сердце, а праздник, который вначале тянулся медленно и нудно, не принес столь дорогим мне людям ничего, кроме мук и тревожных снов, скорби, ужаса! Узнай же, Иоганнес, я глубоко заглянул тебе в душу и разгадал опасную, грозную тайну, гнездящуюся в ней, увидел клокочущий вулкан, готовый в любую минуту вспыхнуть всепожирающим пламенем и беспощадно испепелить все вокруг! Есть чувства в нашем сердце, каких даже самый задушевный друг не смеет касаться. Вот почему я так старательно скрывал от тебя то, что разглядел в душе твоей. Но через то пресловутое празднество, сокровенный смысл коего касался не княгини, а другой любимой особы и тебя самого, Крейслер, намеревался я насильственно завладеть всем твоим «я». Самые затаенные муки хотел я оживить в тебе, чтобы они, словно пробудившиеся от сна фурии, с удвоенной силой терзали грудь твою. Я готовил тебе лекарство, вырванное у самого Орка, — ни один мудрый врач не имеет права отказываться от такового, когда больному грозит гибель, — и тебе, смертельно раненному, оно должно было принести либо гибель, либо исцеление. Знай же, Иоганнес, что тезоименитство княгини совпадает с днем ангела Юлии, которая, как и та, наречена Марией!

— А! — закричал Крейслер, вскочив с места, и глаза его грозно

засверкали. — Кто дал тебе право, маэстро, так дерзко глумиться надо мной? Или ты — сам рок, что берешься постичь мою душу?

— Дикий, безрассудный человек, — спокойно возразил маэстро Абрагам, — когда же наконец опустошительный пожар, бушующий в твоей груди, обратится в чистое пламя, питаемое необоримым тяготением к искусству и всему светлому и прекрасному, что живет в тебе? Ты требуешь у меня подробного описания рокового празднества; так выслушай меня спокойно. Если же силы твои настолько надломлены, что ты не способен на это, я лучше уйду.

— Рассказывай, — глухо отозвался Крейслер и, закрыв лицо руками, опустил на стул.

— Иоганнес, дорогой, — заговорил маэстро Абрагам неожиданно веселым тоном, — я вовсе не собираюсь докучать тебе рассказами о всех остроумных распоряжениях, бывших большей частью плодом изобретательного ума самого князя. Празднество началось поздно вечером, и весь парк, окружающий увеселительный замок, был, разумеется, блистательно иллюминирован. Я всячески изощрялся, придумывая феерические сверхэффекты, но преуспел только отчасти, ибо по настоящему повелению князя на всех аллеях пришлось расставить черные доски, на которых разноцветными лампами был выведен вензель княгини, увенчанный княжеской короной. Доски, прибитые к высоким столбам, напоминали освещенные сигнальные знаки на дорогах вроде того, что «здесь воспрещается курить» или «мытный двор не объезжать». Главное представление имело быть в знакомом тебе театре, устроенном в глубине парка среди кустов и искусственных развалин. В этом театре городские лицедеи должны были разыгрывать некую аллегорическую пьесу, достаточно пошлую, чтобы вызвать восторг зрителей, не будь она даже сочинена самим князем, или, пользуясь остроумным выражением директора театра, ставившего одно из княжеских творений, не слети она со «светлейшего» пера. От замка до театра расстояние неблизкое. Князю пришла в голову поистине поэтическая мысль: плывущий по воздуху гений должен был освещать путь шествующей высочайшей фамилии двумя факелами, а помимо этого — никакого освещения. Лишь после того, как августейшие особы и свита займут свои места, внезапно вспыхнут все огни. Вот почему дорога на всем протяжении была погружена в полный мрак. Тщетно пытался я представить всю затруднительность создания подобной механики, усложняемой вдобавок длиною пути. Князь вычитал нечто подобное в «Fêtes de Versailles» ^[6] и настоял на своем, тем более что сия поэтическая

мысль принадлежала ему самому. Не желая навлечь на себя незаслуженные нарекания, я предоставил гения с его факелами заботам машиниста из городского театра.

Итак, едва светлейшая чета в сопровождении свиты переступила порог залы, с крыши увеселительного замка спустили маленького, толстенького, пухлощеккого человечка, наряженного в цвета княжеского дома и державшего два горящих факела в руках. Но кукла оказалась слишком тяжела, и машина, протаскивая ее шагов двадцать, застопорилась. Освещавший путь ангел-хранитель княжеского дома повис в воздухе, а когда машинисты чуть натянули веревки, опрокинулся вверх ногами. Обращенные вниз факелы роняли на землю расплавленный воск. Первая же капля упала на голову князя, но тот с геройской твердостью скрыл жгучую боль, хотя несколько ускорил шаг, нарушив этим свою торжественную поступь. Гений продолжал парить головой вниз, ногами вверх над гофмаршалом, камер-юнкерами и прочими членами свиты, и капли огненного дождя падали с факелов кому на голову, кому на нос. Обнаружить боль значило бы омрачить праздник и погрешить против этикета, и я не без любопытства наблюдал, как эти несчастные — целая когорта стоических сцевол с уродливо искаженными лицами — старались усилием воли выдавить на лице улыбку, какой мог бы позавидовать ад, и выступали в полном молчании, лишь изредка разрешая себе робкий стон. Вдобавок трубы ревели, литавры гремели и сотни людей оглашали воздух кликами: «Виват, светлейшая княгиня! Виват, светлейший князь!» Трагический пафос, рожденный причудливым контрастом между лаокооновскими физиономиями и радостным ликованием, придавал этому зрелищу трудно вообразимое величие!

Наконец старый тучный гофмаршал не выдержал; когда огненная капля обожгла ему щеку, он с бешенством отчаяния ринулся в сторону, но запутался в веревках, протянутых от машины по земле, и упал, громко воскликнув: «Проклятье!» В ту же минуту закончил свой путь и воздушный паж. Грузный гофмаршал своей многопудовой тяжестью потащил его за собой, и он свалился под ноги придворным, а те, испугавшись, с криком рассыпались кто куда. Факелы погасли, все очутилось в кромешной тьме. Произошло это уже у самого театра. Но я, разумеется, поостерегся в ту минуту зажечь шнур, по которому огонь должен был побежать ко всем лампам, ко всем площадкам и сразу засветить их, а подождал немного, дав обществу время окончательно заплутаться среди кустов и деревьев.

«Огня, огня!» — зывал князь, как король в «Гамлете». «Огня! Огня!»

— наперебой требовало множество осипших голосов. Когда площадь наконец осветилась, рассеявшиеся по всему парку придворные напоминали разбитое войско, которое с трудом приводит в порядок свои ряды. Обер-камергер проявил редкое присутствие духа и выказал себя искуснейшим стратегом своего времени, сумев за несколько минут восстановить порядок. Князь и его ближайшее окружение поднялись на подобие высокого трона, воздвигнутого из цветов посреди зрительной залы. Как только светлейшие супруги сели в приготовленные для них кресла, было пущено в ход хитроумное устройство того же машиниста, и сверху на трон посыпался дождь цветов. Но по воле мрачного рока одна крупная оранжевая лилия упала прямо на княжеский нос и покрыла все лицо его огненно-красной пылью, придав ему выражение надменной величавости, вполне достойное торжественной минуты.

— Нет, нет, это уже слишком, это слишком! — захохотал Крейслер, да так оглушительно, что стены задрожали.

— Твой судорожный смех неуместен, — остановил его маэстро Абрагам, — правда, и я в ту ночь хохотал как сумасшедший; будучи расположен к самым сумасбродным проказам, я готов был, подобно эльфу Пэку, учинить еще больший переполох, но от этого лишь глубже вонзались в собственную грудь мою стрелы, что направил я против других. Так слушай же, я тебе все расскажу! Я выбрал минуту, когда начался нелепый цветочный дождь, чтобы дернуть за ту невидимую нить, которая должна была протянуться через весь праздник и, подобно электрическому удару, потрясти до основания души тех, кого намеревался я подчинить таинственной власти своего духа, свившего эту нить... Не прерывай меня, Иоганнес, выслушай спокойно! Юлия с принцессой сидели позади княгини, несколько сбоку, я хорошо видел обеих. Только смолкли трубы и литавры, к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, скрытая в букете душистых ночных фиалок, и, словно легкое дуновение ночного ветерка, поплыли звуки твоей хватающей за душу песни: «Mi lagnero tacendo della mia sorte amara» [7]. Юлия испугалась, но когда полилась песня — не опасайся за исполнение, я распорядился, чтобы ее играли на бассетгорнах сидевшие в отдалении четыре великолепных музыканта, — с уст ее слетело тихое «ах!», она прижала букет к груди, и я отчетливо услышал, как она сказала принцессе: «Это он вернулся!» Принцесса с жаром обвила Юлию руками и воскликнула: «Нет, нет, не может быть!» — да так громко, что князь оборотил к ней пылающее лицо и гневно бросил: «Silence!» [8].

Впрочем, государь, пожалуй, не так уж сильно разгневался на милое

дитя свое, но напомним еще раз, что причудливый грим — оперный «*tiranno ingrato*» ^[9] не мог бы более удачно размалевать свою физиономию — в самом деле придавал его лицу выражение такого неумолимого гнева, что самые трогательные тирады, самые нежные мизансцены, аллегорически изображавшие супружеское счастье венценосной четы, казалось, не способны были умиловить его. И актеров и зрителей это приводило в немалое смущение. Даже когда князь целовал княгине руку или смахивал платком слезу в заранее отмеченных красным карандашом местах пьесы, список которой он держал в руках, его, казалось, не покидало скрытое бешенство. Камергеры, стоявшие рядом, полные раболепного рвения, шептали: «О Иисусе, что случилось с его светлостью?!» Еще доложу тебе, Иоганнес, что, покуда актеры на сцене изображали глупую трагедию, мне с помощью магического зеркала и других снарядов удалось показать на фоне ночного неба другое призрачное представление в честь пленительного создания, божественной Юлии; мелодии, сотворенные тобой в минуты священного вдохновения, сменяли одна другую; и то рядом, то в отдалении, как робкий и страстный призыв духов, звучало ее имя: «Юлия!» А тебя все не было, тебя не было, дорогой Иоганнес! Когда представление кончилось и я, как шекспировский Просперо, мог бы похвалить своего Ариэля, сказать ему, что он потрудился на славу, мне пришлось сознаться, что вся моя затея — а я вложил в нее столь глубокий смысл — оказалась скучной и пресной. Юлия с ее тонкой чувствительностью поняла все, но она восприняла весь спектакль, будто приятный сон, какому, проснувшись, не придают много значения. Принцесса, напротив, впала в глубокую задумчивость. Рука об руку бродили они по освещенным аллеям парка, пока двор освежался напитками в одном из павильонов. Эта минута была выбрана мною для решающего удара, но — ты не явился, ты не явился, милый Иоганнес! Угрюмый и злой, бегал я по парку, присматривая, все ли готово для парадного фейерверка, которым должно было завершиться празднество. И тут, подняв глаза к небу, заметил я в сумраке ночи над далеким Гейерштейном маленькое красноватое облачко, всегда предвещающее непогоду; обычно оно тихо ползет по небу, а потом сразу взрывается над нами страшной грозой. Через сколько времени можно ждать этого взрыва, я, как тебе известно, определяю по виду облака с точностью до секунды. В тот вечер до грозы оставалось не более часа, и потому я решил поторопиться с фейерверком. Но тут я услышал, что Ариэль мой начал фантазмагорию, которая должна была все, все решить; с опушки парка, из маленькой капеллы Пресвятой Девы Марии, донеслись до меня звуки

твоего гимна «Ave maris stella» ^[10]. Я поспешил туда. Юлия и принцесса стояли, преклонив колена, на молитвенной скамеечке перед капеллой под открытым небом. Не успел я добежать туда, как... Но ты не пришел, ты не пришел, мой Иоганнес! Не спрашивай меня, что было дальше... Ах! я создал то, что почитал вершиной своего мастерства, но ничего не достиг и только узнал тайну, о которой я, безмозглый дурак, до сего дня и не догадывался!

— Выкладывай все! — загремел Крейслер. — Все, говорю я тебе, маэстро! Что произошло дальше?

— Никоим образом! — возразил маэстро Абрагам. — Тебе это теперь ни к чему, Иоганнес, а у меня сердце разрывается при мысли, что мною еамим вызванные духи вселили в меня ужас и тревогу!.. «Облачко! Счастливая мысль! Так пусть же все кончится бешеной сумятицей», — воскликнул я в исступлении и помчался к месту, откуда пускали фейерверк. Князь повелел, чтобы я дал знак, когда все будет готово. Не спуская глаз с облака, поднимавшегося все выше и выше над Гейерштейном, и увидев наконец, что оно достаточно высоко, я приказал выстрелить из мортиры. Вскоре весь двор, все общество были в сборе. После обычной игры огненных колес, ракет, шутих и прочих нехитрых фокусов наконец поднялся в воздух вензель княгини из китайских алмазных огней, но еще выше над ним всплыло и растаяло в воздухе молочным туманом имя Юлии... «Теперь пора», — подумал я... зажег римскую свечу, и как только ракеты, шипя и треща, взвились вверх, разразилась и гроза: запылали багровые отсветы молний, оглушительно грохотал гром, от которого содрогались леса и горы. Ураган ворвался в парк и разбудил в густых зарослях тысячеголосый жалобный вой. Я вырвал трубу из рук пробежавшего мимо музыканта и, ликуя, начал дуть в нее, а лопающиеся ракеты, залпы из пушек и мортир весело гремели, состязаясь с раскатами грома.

Когда маэстро Абрагам дошел до этого места, Крейслер вскочил со стула и забегал по комнате, размахивая руками. Наконец он воскликнул в совершеннейшем восторге:

— Прекрасно! Великолепно! Узнаю руку своего учителя, своего друга, в котором я души не чаю!

— О, — возразил маэстро Абрагам, — я хорошо знаю, что тебе по вкусу именно все самые дикие, самые страшные затеи. Но я забыл рассказать тебе о том, что целиком отдало бы тебя во власть зловещему миру духов. Я велел натянуть струны эоловой арфы, которая, как тебе известно, висит над большим бассейном, и то-то любо было слушать, как

ветер, этот искуснейший музыкант, заиграл на ней. В реве и кипении бури, среди раскатов грома грозно звучали мощные аккорды исполинского органа. Все быстрее и быстрее сменялись могучие звуки; казалось, то балет фурий величественнейшего стиля, какого не услышишь среди холщовых кулис театра! Но вот прошло полчаса — и все было кончено! Месяц выполз из-за туч. Ночной ветерок умиротворяюще шелестел в листве потрясенного леса, осушая слезы на темневших кустах. Изредка еще раздавались аккорды золотой арфы, напоминая далекие глухие удары колокола. Дивно было у меня на душе. Я был весь полон тобой, мой Иоганнес, и мнилось мне: вот сейчас ты восстанешь предо мной из-под могильного холма погибших надежд и несбывшихся грез и упадешь ко мне на грудь. И тут, в молчании ночи, из глубины сознания выплыла мысль: что за игру я затеял, зачем посягнул на зловещий рок, силой пожелал разрубить узел, сплетенный им самим, — мысль эта, внезапно ставшая чуждой мне, как бы вырвалась из груди и уже в ином облике захлестнула меня, и я вздрогнул от ледяного ужаса, ибо должен был устрашиться самого себя... Множество блуждающих огоньков плясало и прыгало по парку, — то слуги с фонарями подбирали шляпы, парики, кошельки для кос, шпаги, башмаки, шали, брошенные в поспешном бегстве. Я зашагал вон из парка. Но перед самыми городскими воротами, на большом мосту я остановился и еще раз оглянулся на парк: облитый волшебным светом луны, он был похож на заколдованный сад, где весело резвятся проворные эльфы. Вдруг ушей моих коснулся тоненький писк, напоминающий плач новорожденного младенца. Заподозрив недоброе, я низко перегнулся через парапет и в ярком свете луны увидел котенка, который изо всех сил цеплялся за столб, чтобы не сорваться в воду. Кто-то, вероятно, утопил кошачий выводок, и один зверек выкарабкался из воды. Что ж, подумал я, пусть это не ребенок, а всего лишь несчастное животное молит тебя о помощи, — все равно ты должен его спасти!

— Ах ты, чувствительный Юст, — рассмеялся Крейслер, — а где же твой новоявленный Тельгейм?

— Позволь, милый Иоганнес, — возразил маэстро Абрагам, — с Юстом навряд ли можно меня сравнить. Я переюстил самого Юста. Он спас пуделя, такое животное всякий охотно возьмет к себе, от него можно ожидать полезных услуг: он понесет за тобой перчатки, кисет, трубку и тому подобное; я же спас кота, а ведь этого зверька многие боятся, потому что он слывет вероломным, неспособным на ласку и искреннюю привязанность, питающим непримиримую вражду к человеку. Да, я спас котенка из чистого и бескорыстного человеколюбия; рискуя свалиться, я

перелез через парапет, перегнулся вниз, достал скулящего котенка, втащил его наверх и сунул в карман. Возвратившись домой, я быстро разделся и, разбитый, истомленный, бросился на постель. Но только я уснул, как меня разбудил жалобный писк и повизгивание, исходившие как будто из платяного шкафа. Я совсем забыл про котенка, и он, оказывается, так и остался в кармане моего сюртука! Я освободил его из тюрьмы, а он в благодарность так меня оцарапал, что все пальцы были в крови. Я уже собирался выбросить котенка за окно, но тотчас одумался и устыдился своей глупой мелочности, своей мстительности, недостойной даже в отношении человека, тем паче такого неразумного создания. Словом, я со всей заботливостью вырастил котенка. Это самый умный, самый благонравный, самый понятливый из всех котов. Ему недостает только должного образования, каковое ты, мой милый Иоганнес, можешь ему дать без особого труда. Вот почему я и надумал препоручить тебе моего кота Мурра — так я его назвал. Правда, Мурр пока что, пользуясь языком юристов, не homo sui juris [\[11\]](#), но все же я спросил его, согласен ли он перейти к тебе на службу. Оказывается, он весьма этим доволен.

— Да ты шутишь, — сказал Крейслер, — ты все шутишь, маэстро Абрагам! Тебе отлично известно, что я терпеть не могу кошек и, конечно, предпочитаю им собачье племя.

— Прошу тебя, — сказал в ответ маэстро Абрагам, — настоятельно прошу тебя, дорогой Иоганнес, возьми к себе моего многообещающего кота, ну хотя бы на время моего отсутствия. Я уже привел его с собой, он сидит за дверью и только ждет благосклонного приема. Да ты взгляни на него по крайней мере!

Маэстро Абрагам отворил дверь. За нею на соломенной циновке, свернувшись калачиком, спал кот, которого действительно можно было назвать чудом кошачьей красоты. Черные и серые полосы сбегали по спине и, соединяясь на макушке, между ушами, переплетались на лбу в самые замысловатые иероглифы. Таким же полосатым был и пышный хвост, необыкновенной длины и толщины. Притом пестрая шкурка кота так блестела и лоснилась на солнце, что между черными и серыми полосами выделялись еще узкие золотистые стрелки.

— Мурр... Мурр... — позвал его маэстро Абрагам.

— Мрр... Мрр... — весьма явственно отозвался кот, встал, потянулся, великолепной дугой выгнул спину и раскрыл сверкающие глаза цвета свежей травы, в которых светились ум и сметливость. Так по крайней мере уверял маэстро Абрагам, да и Крейслер вынужден был согласиться, что замечает в лице кота какое-то особенное, незаурядное выражение, что

голова у него достаточно объемиста для вмещения наук, а длинные, седые, несмотря на молодые годы, усы придают ему внушительный вид, достойный греческого мудреца.

— Ну можно ли так сразу засыпать, где ни попало, лежебока, — обратился к коту маэстро Абрагам, — этак ты растеряешь всю свою резвость и прежде времени обратишься в угрюмого брюзгу. Умойся-ка хорошенько, Мурр!

И кот сейчас же сел на задние лапы, изящно провел бархатными лапками по лбу и щекам, после чего издал звонкое, радостное «мяу».

— Вот это — господин капельмейстер Иоганнес Крейслер, — продолжал маэстро Абрагам, — к нему ты теперь поступаешь в услужение.

Кот уставился на капельмейстера огромными сверкающими глазами, замурлыкал, вспрыгнул на стол рядом с Крейслером, а оттуда недолго думая к нему на плечо, словно собираясь шепнуть ему что-то на ухо. Потом соскочил на пол и, урча и извивая хвост, потерся у ног нового хозяина, как бы желая получше с ним познакомиться.

— Да простит меня бог, — воскликнул Крейслер, — но я готов поверить, что этот маленький серый проказник одарен разумом и происходит из рода знаменитого Кота в сапогах!

— Я знаю одно, — отвечал маэстро Абрагам, — что кот Мурр — самое потешное существо на свете, настоящий полишинель; к тому же он вежлив и благовоспитан, непритязателен и не назойлив, не то что собаки, подчас докучающие нам своими неуклюжими ласками.

— Гляжу я на этого мудрого кота, — сказал Крейслер, — и с грустью думаю о том, сколь узок и несовершенен круг наших познаний... Кто скажет, кто определит границы умственных способностей животных? У человека на все имеются готовые ярлыки, а между тем некоторые, вернее даже, все силы природы остаются для него загадкой; он чванится своей пустой школьной премудростью, не видя ничего дальше своего носа. Разве не наклеили мы ярлык «инстинкта» на весь духовный мир животных, проявляющийся подчас неожиданнейшим образом? Хотелось бы мне получить ответ на один-единственный вопрос: совместима ли с идеей инстинкта — слепого, произвольного импульса — способность видеть сны? А ведь собакам, например, снятся очень яркие сны, это известно каждому, кто наблюдал спящую охотничью собаку: она видит во сне всю картину охоты; ищет, обнюхивает, перебирает ногами как будто на бегу, задыхается, обливается потом... О котах, видящих сны, мне, правда, покуда не приходилось слышать.

— Коту Мурру, — прервал друга маэстро Абрагам, — не только снятся

самые живые сны, я нередко наблюдаю, как он погружается в нежные грезы, в задумчивую созерцательность, в сомнамбулический бред, в странное состояние между сном и бдением, свойственное поэтическим натурам в минуты зарождения гениальных замыслов. С недавнего времени он, впадая в такое состояние, страшно стонет и охает, — невольно является мысль, что он либо влюблен, либо сочиняет трагедию.

Крейслер звонко расхохотался и позвал:

— Так иди же сюда, мой мудрый, благонравный, остроумный, поэтический кот Мурр, давай...

(*М. пр.*) ...первоначальном воспитании и вообще о юношеских месяцах моей жизни.

Весьма полезно и поучительно, когда великий ум пространно повествует в автобиографии о всех событиях своей юности, как бы маловажны они ни казались. Да и может ли быть маловажным что-либо, касающееся жизни гения? Все, что он предпринимал или не предпринимал в отроческие годы, все имеет величайшее значение и бросает яркий луч света на сокровенный смысл, на самую сущность его бессмертных творений. Благородное мужество нарастает в груди юноши, алчущего достигнуть вершин духа, терзаемого мучительным неверием в свои силы, когда он прочтет, что и великий человек, будучи мальчиком, играл в солдатики, питал чрезмерное пристрастие к лакомствам, что порой случалось ему терпеть колотушки за леность, шалости или неловкость. «Точно как я! Точно как я!» — повторяет тот юноша восторженно и не сомневается более, что и он столь же великий гений, даже ничуть не хуже, чем кумир, которому он поклоняется.

Иной, начитавшись Плутарха или хотя бы Корнелия Непота, сделался великим героем, другой, ознакомившись в переводе с древними трагиками, а также с творениями Кальдерона и Шекспира или даже Гете и Шиллера, стал если не великим поэтом, то по крайней мере одним из тех скромных, но приятных стихотворцев, что столь любезны публике. Так и мои сочинения, несомненно, зажгут в груди не одного юного, одаренного разумом и сердцем кота высокий пламень поэзии, а повторяя описанные в моей биографии забавы на крыше, иной благородный кот-юнец всецело проникнется возвышенными идеалами книги, которую я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном порыве: «О Мурр, божественный Мурр, величайший гений нашего достославного кошачьего рода! Только тебе я обязан всем, только твой пример сделал меня великим!»

Весьма похвально, что, воспитывая меня, маэстро Абрагам не

придерживался ни забытых принципов Базедова, ни методы Песталоцци, и я, так сказать, воспитывал себя сам; он требовал лишь одного: чтобы я сообразовался с известными общепринятыми нормами, каковые маэстро считал безусловно необходимыми в обществе, земную власть предержащем, ибо в противном случае все кидались бы друг на друга как одержимые или слепые, угощая встречных толчками и синяками, и тогда никакое общество вообще не могло бы существовать. Совокупность этих принципов маэстро Абрагам называл естественной благовоспитанностью, в противовес условной, в силу которой следует покорнейше просить прощения, если какой-нибудь болван налетит на тебя или отдавит тебе ногу. Весьма возможно, что такая благовоспитанность необходима людям, но я никак не могу понять, зачем должно соблюдать ее нашей вольнолюбивой породе; а поскольку главным орудием, которым хозяин вколачивал в меня те общепринятые нормы, была роковая березовая розга, я имею полное право жаловаться на суровость своего воспитателя. Я бы давно убежал от него, если бы не приковало меня к нему врожденное стремление к вершинам культуры. Чем больше культуры, тем меньше свободы, — это непреложная истина. С культурой растут потребности, с потребностями... Именно от привычки удовлетворять кое-какие естественные потребности, не считаясь ни с временем, ни с местом, и отучил меня прежде всего, раз и навсегда, мой хозяин с помощью той страшной розги. Затем он обуздал некоторые мои мелкие страстишки, которые, как я убедился позднее, возникают лишь вследствие особого противоестественного состояния духа. Это странное состояние, зависящее, быть может, от психической организации, и заставляло меня пренебрегать молоком или даже жареным мясом, припасенными для меня хозяином, вскакивать на стол и хватать лакомые куски, которые он приготовил для себя. Я испытал силу березовой розги и распростился с этой дурной склонностью. Признаюсь, хозяин был прав, отвращая мой ум от подобных пороков, ибо мне известно, что некоторые добрые мои собраты, менее, нежели я, приобщенные к культуре, менее благовоспитанные, подвергались из-за них превеликим неприятностям, хуже того — несчастьям, имевшим влияние на всю их жизнь. До меня дошло, например, что один юный кот, подававший большие надежды, поплатился хвостом за недостаток внутренней душевной стойкости, за неумение противостоять искушению тайком опорожнить кувшин молока; осмеянный, презираемый всеми, он вынужден был влачить дни свои вдали от света. Итак, хозяин поступил правильно, отучив меня от пагубных слабостей, но я не могу простить ему того, что он чинил препоны моей тяге к наукам и искусствам.

Ничто в комнате хозяина не имело для меня столь притягательной силы, как его письменный стол, вечно загроможденный книгами, рукописями и всевозможными диковинными инструментами. Могу сказать, что стол этот был для меня чем-то вроде волшебного круга, в коем я был заключен, и в то же время я испытывал некий священный трепет, мешавший мне утолить свою страсть. Но в один прекрасный день наконец, когда хозяина не было дома, я превозмог страх и прыгнул на стол. Какое это было наслаждение очутиться среди бумаг и книг, сладострастно рыться в них! Не озорство, нет, лишь любознательность, жгучая жажда знаний заставила меня вцепиться в рукопись и теревить ее до тех пор, пока я не изодрал ее в клочки. Тут вошел хозяин, увидел, что я натворил, и бросился ко мне с оскорбительной бранью: «Шкодливая бестия!» Он так отодрал меня березовым прутом, что я, визжа от боли, заполз под печку, и целый день никакими ласковыми словами нельзя было меня выманить оттуда. Кого, скажите, не отпугнуло бы навсегда подобное начало? Кого не заставило бы свернуть с пути, пусть даже предначертанного ему самой судьбой? Но едва я оправился от побоев, как, повинувшись неодолимому порыву, снова вскочил на письменный стол. Правда, стоило хозяину прикрикнуть на меня: «Ах, чтоб тебя!» — и я тут же бежал без оглядки, так что до учения дело не доходило; но я спокойно ждал своего часа, чтобы начать занятия наукой, и вскоре час сей настал.

Однажды хозяин собрался выйти из дому и, памятуя о разорванной рукописи, хотел выгнать меня вон, но я так хорошо спрятался в углу, что он меня не нашел. Как только хозяин удалился, я не замедлил взобраться на стол и улегся среди бумаг, что доставило мне неопишное блаженство. Я ловко раскрыл лапой лежавшую на столе довольно объемистую книгу и стал пробовать, не удастся ли мне разобрать печатные знаки. Вначале ничего не получалось, но я не отступал, а продолжал пристально смотреть в книгу, ожидая, что некое откровение снизойдет на меня и научит читать. Углубленный в книгу, я не заметил, как вошел хозяин. С криком: «Гляди-ка, опять эта проклятая тварь!» — он подскочил ко мне. Было поздно спасаться бегством. Прижав уши, я собрался в комок и уже чувствовал розгу над своей спиной. Однако поднятая рука хозяина внезапно застыла в воздухе, раздался хохот: «Кот, а кот, — воскликнул он, — да ты читаешь? Ну, этого я не хочу, не могу тебе запретить. Смотри, какова страсть к учению!» Он вытащил из-под моих лап книгу, заглянул в нее и захохотал пуще прежнего. «Что такое? — заметил он. — Ты, надо полагать, завел небольшую библиотечку, иначе я не понимаю, какими судьбами эта книга попала на мой письменный стол? Что ж, котик, читай, учись прилежно, можешь даже

легкими царапинами отмечать важнейшие места в книге, разрешаю тебе!» С этими словами он пододвинул ко мне раскрытую книгу. Это было, как я узнал впоследствии, сочинение Книжке «Обхождение с людьми», и я почерпнул в этом великолепном труде много житейской мудрости. Он весьма созвучен моей душе и как нельзя лучше подходит для котов, желающих достигнуть преуспевания в человеческом обществе. Эта цель книги, насколько мне известно, до сих пор оставалась без внимания, отсюда и проистекает ложное суждение, будто человек, точно следующий перечисленным в этом труде правилам, неизбежно прослышет косным, бессердечным педантом.

С тех пор хозяин не только позволял мне сидеть на письменном столе, но даже был рад, если я вскакивал на стол и разваливался на бумагах, когда он работал.

Маэстро Абрагам имел привычку подолгу читать себе вслух. Я не упускал случая расположиться так, чтобы заглядывать в его книгу, что при моей врожденной зоркости мог делать, не мешая ему нисколько. Сравнивая печатные знаки со словами, которые он произносил, я за короткое время научился читать, а кому это покажется невероятным, тот не имеет понятия о необычайно восприимчивом уме, вложенном в меня природой. Зато гениальные натуры, каковые понимают и ценят меня, не усомнятся касательно такой методы обучения, ибо они, быть может, и сами прибегали к ней. Тут я почитаю своей обязанностью поделиться любопытнейшими наблюдениями относительно совершенного понимания человеческой речи. Должен сознаться, я не могу с полной ясностью растолковать, как достиг этого понимания. С людьми будто бы происходит то же самое, однако это меня нисколько не удивляет, потому что отпрыски человеческой породы в младенчестве несравненно глупее и беспомощнее нас. Даже будучи совсем крошечным котенком, я никогда не царапал себе глаз, не лез лапами в огонь, не хватался за свечу, не глотал сапожной ваксы вместо вишневого варенья, как это нередко случается с маленькими детьми.

Научившись бегло читать и день ото дня все более начиняя голову чужими мыслями, я почувствовал наконец неутолимое желание спасти от забвения собственные мысли, порожденные моим гением, а для этого необходимо было овладеть мудреным искусством письма. Как внимательно ни наблюдал я за пишущей рукой хозяина, мне никак не удавалось разгадать, в чем же секрет его движений. Я принялся за книжку старика Гильмара Кураса — единственное руководство по чистописанию, какое нашлось у хозяина, — и напал было на мысль, что загадочную трудность писания можно преодолеть с помощью большой манжеты, которая

поддерживает пишущую руку, изображенную в учебнике. То, что хозяин пишет без манжет, доказывало лишь его особый навык — ведь опытный канатоходец тоже не нуждается в шесте для балансирования. Я страстно мечтал о манжетах и уже собирался разорвать чепец нашей старой ключницы и соорудить из него манжету для правой лапы, как вдруг, в минуту вдохновения, какое посещает великие умы, блеснула у меня в голове гениальная мысль, устранявшая все помехи. Я сообразил, что неумение держать перо так, как это делает хозяин, проистекает скорее всего от разницы в строении наших конечностей, и это предположение оказалось верным. Следовало изобрести другой способ письма, более подходящий к строению моей правой лапки, и, как вы сами понимаете, я действительно изобрел его. Так различие в организации индивидуумов вызывает к жизни новые системы.

Второе несносное затруднение состояло в обмакивании пера в чернила. Мне никак не удавалось при обмакивании уберечь свою лапку, — она всякий раз попадала в чернила, так что первые буквы вычерчивались не столько пером, сколько лапой, и получались несколько крупными и аляповатыми. Поэтому невеждам мои первые манускрипты покажутся просто бумагой, испещренной чернильными пятнами, зато выдающиеся умы легко признают гениального кота уже по первым его сочинениям и будут поражаться глубине и полноте таланта, впервые брызнувшего из неиссякаемого источника. Дабы потомство в дальнейшем не спорило относительно хронологической последовательности моих бессмертных творений, оповещу его сразу, что первым моим произведением был философский сентиментально-дидактический роман «Мысль и Чутье, или Кот и Собака». Уже это первое мое сочинение могло бы обратить на меня внимание всего мира. Позднее, одолев все науки, я написал политический трактат под названием «О мышеловках и их влиянии на мышление и дееспособность кошачества». После чего вдохновился и сочинил трагедию «Крысиный король Кавдаллор». И эту трагедию можно было бы с одинаковым успехом представлять несчетное количество раз во всех театрах, какие только существуют на свете. Эти произведения моего стремящегося ввысь духа открывают длинный список моих сочинений. По какому случаю они были написаны, я расскажу более подробно в надлежащем месте.

Постепенно я научился крепко держать перо и не пачкать лапу чернилами, да и слог мой стал живее, глаже, прозрачней; теперь я предпочитал писать в духе «Альманаха муз», сочинял различные премилые вещицы и вообще очень скоро стал тем любезным, обаятельным и милым

мужчиной, каким слышу и по сей день. В то время я чуть не сочинил героическую поэму в двадцати четырех песнях, но, когда я ее закончил, получилось нечто совсем другое. За это Тассо и Ариосто да возблагодарят небо, покаясь в своих могилах. Ежели бы из-под моих когтей в самом деле вышла такая поэма, их обоих ожидало бы полное забвение.

Теперь перейду...

(Мак. л.) ...для лучшего понимания моего рассказа все же необходимо, благосклонный читатель, ничего не утаивая, подробно ознакомить тебя со всеми обстоятельствами.

Всякий, кому хоть раз случалось останавливаться в гостинице прелестного городка Зигхартсвейлера, уж, верно, слышал про князя Ириней. Стоит гостю заказать блюдо из форели, которая в этих краях превосходна, как хозяин не преминет заметить: «Вы правы, сударь! Наш светлейший князь тоже изволит любить форель, а я умею готовить вкусную рыбу точно так, как ее готовят при дворе». Между тем образованный путешественник знает из новейших руководств по географии, из карт и статистик, что городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном и всеми его окрестностями уже давно включен в великое герцогство, по которому он проезжает; и он будет немало поражен, обнаружив здесь светлейшего князя и даже целый двор. Дело, однако же, объясняется весьма просто. Князь Ириней когда-то действительно правил живописным владеньем близ Зигхартсвейлера. С бельведера своего дворца он мог при помощи подзорной трубы обозревать все свое государство от края до края, а потому благоденствие и страдания страны, как и счастье возлюбленных подданных, не могли ускользнуть от его взора. В любую минуту ему легко было проверить, уродилась ли пшеница у Петера в отдаленнейшем уголке страны, и с таким же успехом посмотреть, сколь заботливо обработали свои виноградники Ганс и Кунц. Ходят слухи, будто князь Ириней выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну; так или иначе, но в последнем, снабженном приложениями издании великого герцогства крошечные владения князя Ириней включены и вписаны в реестры упомянутого герцогства. Князя освободили от тягот правления, назначив ему изрядный апанаж из доходов его прежних владений, который он и проедал в прелестном Зигхартсвейлере.

Помимо своего игрушечного государства, князь владел еще значительным состоянием, оставшимся безраздельно в его руках, и он от роли мелкого владетельного князя перешел на положение

высокопоставленного частного лица; теперь он мог беспрепятственно устроить свою жизнь по собственному желанию и вкусу.

Князь Ириней пользовался славой человека утонченной образованности, покровителя наук и искусств. Ежели к этому добавить, что бремя правления подчас мучительно тяготило его, что давно уже шла молва, будто он в изящных стихах выразил романтическое желание вести уединенную, идиллическую жизнь *procul negotiis* [\[12\]](#) в маленьком домике у журчащего ручья, в окружении любимых домашних животных, то невольно возникала мысль, что отныне князь, забыв о роли государя, устроит себе уютный домашний очаг, а это ведь вполне во власти богатого, независимого частного лица. Но все сложилось совершенно иначе.

Вполне может статься, что любовь великих мира сего к искусствам и наукам есть лишь неотъемлемая часть придворной жизни. Положение обязывает иметь картины и слушать музыку; считается неудобным, если придворный переплетчик сидит без дела, вместо того чтобы одевать в кожу и золото всю наиновейшую литературу. Но если такая любовь неотделима от придворной жизни, то она должна угаснуть вместе с нею, она не может давать радость сама по себе или служить утешением взамен утерянного трона, вернее, игрушечного стульчика регента, на котором он привык восседать.

Но князь Ириней сохранил и то и другое: и свой маленький двор и любовь к наукам и искусствам, превратив жизнь в сладкий сон, в котором пребывал он сам и его свита, включая весь Зигхартсвейлер.

Он вел себя так, словно он по-прежнему державный государь: сберег свой придворный штат, канцлера, финансовую коллегия и так далее; по-прежнему жаловал ордена своего дома, давал аудиенции, даже придворные балы, где присутствовало не более двенадцати-пятнадцати персон, ибо правила доступа ко двору здесь соблюдались строже, чем в самых больших княжествах, а жители городка, достаточно добродушные, делали вид, будто верят, что фальшивый блеск этого призрачного двора приносит им славу и почет. Итак, добрые зигхартсвейлерцы величали князя Ириней «ваша светлость», иллюминировали город в день тезоименитства его и членов его семьи и вообще охотно жертвовали собой ради удовольствий двора, совсем как афинские горожане в шекспировском «Сне в летнюю ночь».

Нельзя отрицать — князь исполнял свою роль с внушительным пафосом, причем умел сообщить этот пафос и всем окружающим... Вот в зигхартсвейлерском клубе появляется княжеский советник финансов, мрачный, замкнутый, скупой на слова; на челе его туча, он то и дело впадает в глубокую задумчивость, потом вздрагивает, как бы внезапно

пробудившись от сна! Кругом ходят на цыпочках, едва решаются сказать громкое слово. Бьет девять часов, он вскакивает, хватается за шляпу, напрасны все старания удержать его; с гордой многозначительной улыбкой советник заявляет, что его ожидают кипы бумаг, придется сидеть всю ночь напролет, чтобы подготовиться к завтрашнему, чрезвычайно важному заседанию коллегии, последнему в этой четверти года; он спешит уйти, оставляя общество, застывшее в почтительном удивлении перед огромной важностью и многотрудностью его должности. Но что же это за важный доклад измученный чиновник должен готовить всю ночь? Да просто пришли бельевые счета за прошедшую четверть года из всех департаментов: кухни, буфетной, гардеробной и так далее, а он ведает всеми делами, касающимися стирки и мойки. Не меньшее сострадание город выказывает княжескому шталмейстеру; однако, пораженные мудрым решением княжеской коллегии, все восклицают: «Строго, но справедливо!» Оказывается, придворный вельможа, получив на сей счет распоряжение, продал передок пришедшей в негодность кареты, а финансовая коллегия, под страхом немедленного смещения с должности, приказала ему в течение трех дней разъяснить, куда девался задок, — ведь его еще можно было пустить в дело.

Самой лучезарной звездой, сиявшей при дворе князя Иринея, была советница Бенцон, вдова лет тридцати с лишком, в молодости прославленная красавица, еще сейчас не лишенная привлекательности, единственная, чье дворянское происхождение подвергалось сомнению, но за которой князь несмотря на это раз навсегда признал право допуска ко двору. Острый, живой и проницательный ум, знание света, а главное, некоторую холодность натуры, необходимую для того, чтобы властвовать, — все это советница умело использовала, так что, по сути, именно она держала в руках нити кукольной комедии, которую разыгрывал этот двор. Дочь ее Юлия воспитывалась вместе с принцессой Гедвигой, и советница имела столь большое влияние на духовное развитие последней, что та в кругу княжеской семьи казалась чужой, особенно же резко отличалась от брата. Дело в том, что принц Игнатий, осужденный на вечное детство, был почти слабоумным.

Вдове Бенцон противостоял столь же влиятельный, столь же глубоко вникавший в интимнейшие обстоятельства жизни княжеского дома, хотя и совсем иначе, чем она, не лишенный странностей человек, склонный к иронии чернокнижник, которого ты, благосклонный читатель, уже знаешь как *maitre de plaisir* [\[13\]](#) при Иринеевом дворе.

Примечательны обстоятельства, при коих маэстро Абрагам очутился в

княжеском семействе.

Блаженной памяти родитель князя Иринея был нрава скромного и кроткого. Он понимал, что любое проявление силы неминуемо ломает маленький, хрупкий механизм его государственной машины вместо того, чтобы ускорить ее бег. А посему он предоставил делам в своем владении идти так, как они шли искони, когда же из-за этого он лишался случая блеснуть государственным умом или иными способностями, дарованными ему небом, то утешался тем, что в его княжестве всякому жилось привольно; ну а с мнением о нем иностранных дворов обстояло так же, как с репутацией женщины: чем меньше о ней говорят, тем она безупречней. Если маленький двор князя был чопорным, церемонным, допотопным, если князь не успел проникнуться некоторыми самоновейшими идеями, то все это следует приписать негибкости деревянного остова, сколоченного долгими усилиями его придворных: обер-гофмейстеров, гофмаршалов и камергеров. Но и внутри этого остова было одно очень важное колесико, бег которого не в силах был остановить ни один гофмейстер, ни один маршал. То было врожденное тяготение князя ко всему фантастическому, необычному, таинственному. По примеру достойного калифа Гарун-аль-Рашида, он любил бродить переодетым по городу и окрестностям, дабы удовлетворить или хотя бы дать пищу этой своей причуде, самым удивительным образом противоречившей всему складу его характера. В таких случаях он надевал круглую шляпу, натягивал серый сюртук, и с первого взгляда все понимали, что теперь князя узнавать не должно.

Случилось как-то, что князь, таким образом переодетый, а следовательно, и неузнаваемый, шел по аллее от дворца в отдаленную часть парка, где стоял одинокий домик вдовы одного из княжеских поваров. Подойдя к домику, князь заметил две закутанные в плащи фигуры, тихонько выскользнувшие из двери домика. Он отступил в сторону. Историограф Иринева рода, у которого я позаимствовал эти сведения, уверяет, что князя невозможно было бы увидеть и узнать не только в сером сюртуке, но и в самом пышном придворном костюме с блестящей орденой звездой на груди по той простой причине, что в тот вечер стоял непроглядный мрак. Но вот двое закутанных мужчин поравнялись с князем, и он явственно услышал следующий разговор.

Первый сказал: «Сиятельный брат, прошу, возмись за ум, хоть на сей раз не будь ослом! Этого человека надо убрать скорей, куда князь о нем не прослышал, не то проклятый колдун сядет нам на шею и своими сатанинскими штуками навлечет на всех нас гибель!»

Второй отвечал: «Не горячись так, mon cher frère ^[14], сделай милость.

Ты знаешь мою мудрость, мою *savoir faire* ^[15]. Завтра же швырну опасному проходимцу несколько карлино, и пусть показывает фокусы где хочет, но только не здесь. Ведь князь, кроме всего прочего...»

Голоса отдалились, и князю не удалось узнать, каково суждение о нем гофмаршала, — двое людей, которые выскользнули из домика и вели тот подозрительный разговор, как раз и были гофмаршал и его брат, обер-егермейстер, — князь тотчас же узнал их по голосам.

Легко себе представить, что князь не нашел ничего лучшего, как незамедлительно отыскать того человека, того опасного чародея, от знакомства с коим так хотели оградить его. Он постучался в домик, вдова вышла, держа в руке свечу, и, увидев круглую шляпу и серый сюртук, вежливо, но холодно спросила: «Чем могу служить, *monsieur*?» ^[16]. Так всегда называли князя, когда он бывал переодет и его не должно было узнавать. Князь справился о неизвестном, который, по слухам, остановился у нее в доме, и ему сообщили, что это — ученый, знаменитый фокусник, со множеством аттестатов, разрешений и прочих грамот и что он намерен показать здесь свое искусство. Только что, поведала князю вдова, сюда приходили двое придворных, и он так напугал их своими необъяснимыми кунштюками, что они выбежали из дома бледные, донельзя растерянные, взволнованные.

Князь приказал немедля вести себя наверх. Маэстро Абрагам (он-то и оказался знаменитым фокусником) встретил государя как гостя, коего давно ждал, и замкнул за ним дверь.

Никто не знает, что маэстро Абрагам показывал князю. Известно только, что его светлость провел у него всю ночь, а на следующий день во дворце для маэстро Абрагама были отведены комнаты, куда князь мог незаметно попадать из своего кабинета потайным ходом. Известно далее, что князь перестал называть гофмаршала *mon cher ami* ^[17] и никогда более не просил обер-егермейстера рассказать чудесную охотничью историю о белом рогатом зайце, упущенном им (обер-егермейстером) в день его первой охоты. Такая немилость повергла обоих братьев в глубокую печаль и уныние и заставила их недолго спустя покинуть двор. Известно наконец, что маэстро Абрагам удивлял придворных, горожан и всех окрестных жителей не только своими фантазмагориями, но и тем благорасположением, какое все более и более снискивал у князя.

О чудесах, которые проделывал маэстро Абрагам, вышеупомянутый историограф рода Иринеева рассказывает столько невероятного, что, живописуя их, рискуешь вовсе потерять доверие снисходительного

читателя. Однако же фокус, который историограф почитал наиболее чудесным из всех и который, по его мнению, достаточно свидетельствует о преступных связях маэстро с враждебной нам нечистой силой, есть не что иное, как пресловутое акустическое чудо, возбудившее впоследствии превеликий шум под названием «Невидимая девушка», чудо поистине фантастическое и ошеломляющее, каковое чародей еще в то время сумел преподнести столь изобретательно, как никто другой после него.

Кроме того, да будет известно, что князь сам совместно с маэстро Абрагамом проделывал некоторые магические операции, и фрейлины и камергеры, как и прочие придворные, стараясь перещеголять друг друга, высказывали по сему случаю всевозможные глупые, бессмысленные догадки. Но в одном согласились все: что маэстро Абрагам посвящает князя в тайну изготовления золота, о чем можно было заключить по дыму, проникавшему временами из лаборатории, а также вводит его в общество полезных для него духов. Все были уверены, что князь ничего не решает, не выдаст даже патента новому бургомистру в местечке, ни прибавки к жалованью княжескому истопнику, не посоветавшись со своим Агатодемоном, со своим *spiritum familiare* ^[18] или со звездами.

После кончины старого князя сын его Ириней взял в свои руки бразды правления, а маэстро Абрагам покинул страну. Молодой князь ни в малейшей степени не унаследовал склонности отца к фантастике и чудесам; он не стал удерживать маэстро, но очень скоро обнаружил, что магическая власть чародея сказывалась главным образом в его умении заклинать некоего злого духа, весьма охотно гнездившегося при малых дворах, а именно: адского духа скуки. Да и почтение, которым отец его дарил маэстро Абрагама, пустило глубокие корни в душе молодого князя. Бывали минуты, когда маэстро казался князю Иринее сверхъестественным существом, стоящим много выше любого человека, как бы высоко он ни поднимался. Говорят, что этот странный взгляд сложился у князя после одной незабываемой минуты, пережитой в детские годы. Как-то раз мальчик, обуреваемый несносным ребяческим любопытством, забрался в комнату маэстро и по нечаянности сломал маленький механизм, только что законченный с большим тщанием и искусством; разгневанный этой роковой неловкостью, маэстро отвесил сиятельному проказнику звонкую пощечину, после чего не очень вежливо, зато весьма поспешно выпроводил его из комнаты в коридор. Обливаясь слезами, юный князь едва мог пролепетать: «Abraham... soufflet» ^[19], а растерявшийся обер-гофмейстер счел даже опасным проникать глубже в княжескую тайну, осмеливаясь

лишь подозревать ее.

Князь почувствовал живейшее желание иметь при себе маэстро Абрагама как оживляющее начало придворного механизма; но все старания вернуть чернокнижника были напрасны. Лишь после того злосчастного променада, когда князь Ириней потерял свое владенье, когда он завел химерический двор в Зигхартсвейлере, появился и маэстро Абрагам, и воистину он не мог выбрать более подходящей минуты. Ибо помимо того, что...

(*М. пр.*) ...к описанию того удивительного события, что, говоря языком остроумных биографов, составило эпоху в моей жизни.

Читатели! Юноши, мужчины, женщины! Если под вашей шкуркой бьется чувствительное сердце, если в вас живет тяга к добродетели, если вам дороги сладостные узы, которыми опутывает нас природа, то вы поймете и полюбите меня!

Стояла жаркая погода, я весь день провалялся под печкой. Но с наступлением сумерек в открытое окно кабинета заструился освежающий ветерок. Едва я стряхнул с себя сон, грудь моя расширилась, проникнутая неизреченным чувством, грустным и вместе радостным, что будит в нас самые сладостные упования. Обуреваемый этими чувствами, я выгнул спину выразительным движением, каковое бездушные люди прозвали «кошачьим горбом». Прочь, прочь отсюда — меня потянуло на лоно природы; я отправился на крышу и стал прогуливаться в лучах закатного солнца. Вдруг из слухового окошка донеслись до меня нежные, какие-то знакомые и влекущие звуки; что-то неведомое с необоримой силой влекло меня вниз. Я оставил прекрасную природу и пролез на чердак. Спрыгнув, я тотчас же увидел большую красивую кошку в черных и белых пятнах, сидевшую в удобной позе на задних лапках; она-то издавала те манящие звуки и теперь обвела меня проницательным, испытующим взглядом. Я немедленно сел против нее и, следуя внутреннему побуждению, постарался попасть в лад песне, столь звучно начатой черно-белой красавицей. Мне это удалось, должен признаться, как нельзя лучше; вот тогда-то — оповещаю о том психологов, кои вознамерятся изучать мою жизнь, — и родилась моя вера в свой скрытый музыкальный талант, и, что вполне понятно, вместе с верой возник и самый талант. Пятнистая кошка смотрела на меня все более пристально и пытливо, потом вдруг смолкла и одним мощным прыжком бросилась ко мне. Не ожидая ничего доброго, я выпустил было когти, но в тот же миг светлые слезы брызнули из глаз пестрой красавицы, и она воскликнула:

— О сын мой, сын мой! Приди, спеши в мои лапы! — Обняв меня и пылко прижимая к груди, она продолжала: — Да, это ты, ты, мое чадо, мое прекрасное чадо, которое я без всяких мук произвела на свет!

Я был взволнован до глубины души, и уж это одно доказывало, что пестрая особа и впрямь моя мать; тем не менее я решился спросить ее, вполне ли она в этом уверена?

— Ах, это сходство, — заговорила пятнистая кошка, — эти глаза, эти черты, эти баки, эта шерстка — все так живо напоминает неблагодарного, покинувшего меня изменника. Ты — точный портрет своего отца, милый Мурр (ведь так тебя зовут?). Но я надеюсь, что вместе с красотой отца ты унаследовал и более кроткий образ мыслей, мягкий нрав своей матери Мины. У отца твоего была внушительная осанка, на челе лежал отпечаток особого достоинства, зеленые глаза сверкали умом, на устах часто играла приятная улыбка. Его обворожительная внешность, его бойкий ум и изящная легкость, с какою он ловил мышей, пленили мое сердце. Но в скором времени обнаружился его жестокий, тиранический нрав, который ему поначалу удавалось скрывать. С ужасом убедилась я в этом! Едва ты родился, как у отца твоего возникло чудовищное желание сожрать тебя вместе с твоими братцами и сестрицами.

— Милая маменька, — прервал я речь пестрой кошки, — милая маменька, не клеймите слишком строго эту склонность. Просвещеннейший народ на земле приписывал самим богам странное желание поедать собственных детей, — спасся тогда один Юпитер, и теперь вот я!

— Не понимаю тебя, сын мой, — возразила Мина, — но сдается мне, что ты болтаешь вздор. Уж не пытаешься ли ты оправдать своего отца? Не будь неблагодарным, кровожадный тиран непременно задушил бы и сожрал тебя, не защищай я храбро своих деток вот этими острыми когтями, не прячь я вас то здесь, то там — в погребе, на чердаке, в хлеву — от преследования противоестественного чудовища. В конце концов он бросил меня, и больше я его никогда не видела. И все же любовь к нему не совсем угасла в моем сердце! Какой это был brave кот! По его почтенной наружности, по изысканным манерам многие принимали его за путешествующего графа. Я надеялась, что отныне заживу тихой, спокойной жизнью в тесном кругу семьи, посвятив себя материнским заботам. Но меня ждал еще один страшный удар! Возвратившись однажды домой после короткой прогулки, я не нашла ни тебя, ни твоих братьев и сестер. За день до того какая-то старуха обнаружила наше укромное гнездышко, и я слышала, как она грозилась побросать вас в воду! Какое счастье, что ты, сыночек, спасся! Приди еще раз в мои объятия, дорогой!

Пятнистая маменька осыпала меня самыми нежными ласками, а потом стала в подробностях расспрашивать об обстоятельствах моей жизни. Я рассказал ей все, не забыв упомянуть о моей высокой образованности и о том, как я ее достиг.

Но Мина, против ожидания, была не слишком обрадована редкими талантами сына. Мало того, она даже недвусмысленно дала мне понять, что я со своим выдающимся умом и глубокой ученостью попал на ложный путь и что он может привести меня к гибели. В особенности она меня предостерегала от маэстро Абрагама — я никоим образом не должен был обнаруживать перед ним приобретенных знаний, ибо он не преминет воспользоваться ими, чтобы закабалить меня в самом мучительном рабстве.

— Я, разумеется, не могу похвалиться такой образованностью, как ты, — заговорила Мина, — но и я не лишена врожденных способностей и некоторых приятных, дарованных мне природой талантов. К ним я причисляю, например, умение испускать искры из шкурки, когда меня гладят по спине. И сколько же неприятностей принес мне уже один этот талант! И дети и взрослые наперерыв треплют мою спинку, желая полюбоваться фейерверком, мучают меня, а если я недовольно отпряну или покажу когти, меня же честят пугливым, диким зверем, а то и прибьют. Как только маэстро Абрагам узнает, что ты умеешь писать, милый Мурр, он тотчас же сделает тебя своим писцом, и то, что теперь ты делаешь по своему желанию и для своего удовольствия, станет докучной повинностью.

Долго еще рассуждала Мина о моих взаимоотношениях с хозяином и о моей образованности. Лишь позднее я убедился, что не отвращение к науке, а подлинная житейская мудрость говорила тогда устами моей пестрой матушки.

Я узнал, что Мина живет у старухи соседки в очень стесненных обстоятельствах и что порой ей лишь с грехом пополам удастся утолить голод. Я был глубоко растроган, сыновняя любовь проснулась во мне со всей силой и, вспомнив о роскошной селедочной голове, оставшейся от вчерашнего ужина, я решил преподнести ее столь неожиданно обретенной милой маменьке.

Но как постичь всю изменчивость сердца тех, кто живет в нашем бренном мире? Зачем не оградила судьба грудь нашу от дикой игры необузданных страстей? Зачем нас, тоненькие, колеблющиеся тростинки, сгибает вихрь жизни? То наш неумолимый рок! «О аппетит, имя тебе — Кот!» С селедочной головой в зубах вскарабкался я, новоявленный *pius Aeneas* ^[20], на крышу и уже собирался залезть в слуховое оконце. Но тут я

пришел в такое состояние, когда мое «я», странным образом ставшее чуждым моему «я», вместе с тем оказалось моим истинным «я».

Полагаю, что выразился достаточно ясно и определенно, так что всякий в описании этого моего странного состояния увидит психолога, способного проникнуть в самые недра человеческого духа! Итак, я продолжаю!

Необыкновенное чувство, сотканное из желания и нежелания, помutilo мой разум и завладело мною — сопротивляться далее было невозможно, — я сожрал селедочную голову!

В тревоге прислушивался я к мяуканью Мины, в тревоге прислушивался, как жалостно звала она меня по имени... Раскаяние, стыд терзали меня, я вскочил обратно в комнату хозяина и забился под печь. Меня преследовали самые страшные видения. Передо мной витал образ Мины, вновь обретенной пятнистой мамыши, безутешной, покинутой, страстно жаждущей обещанного угощения, близкой к обмороку... Ах! «Мина... Мина...» — завывал ветер в дымовой трубе. «Мина...» — шелестели бумаги хозяина, скрипели хрупкие бамбуковые стулья. «Мина... Мина...» — плакала печная заслонка... О, какое горькое чувство раздирало мне сердце! Я решился при первой возможности пригласить бедняжку выкушать со мною блюдо молока. Прохладной, благодатной тенью снизошел на меня при этой мысли блаженный покой... Я прижал уши и... заснул!

О вы, чувствительные души, вы, постигшие меня до конца! Если только вы не ослы, а истые порядочные коты, то вы, я уверен, поймете, что эта буря в груди очистила небо моей юности, подобно тому как благодетельный ураган рассеивает мрачные тучи и раскрывает лазурный горизонт. Да, селедочная голова легла вначале тяжким бременем на мою душу, но зато я осознал, что такое аппетит и какое это кощунство противиться матери-природе. Всяк ищи себе селедочные головы сам и не покушайся на добычу соседа, ибо, ведомый верным чутьем аппетита, он уж как-нибудь припасет ее для себя.

Так я заключаю этот эпизод моей жизни...

(Мак. л.) ...нет ничего более досадного для историографа или биографа, как носиться сломя голову, будто верхом на необъезженном жеребце, по полям и лугам, по холмам и оврагам, постоянно мечтая выехать на проторенную дорогу и никогда на нее не попадая. Таково приходится и человеку, взявшему на себя труд рассказать тебе, любезный читатель, все, что довелось ему узнать об удивительной жизни

капельмейстера Иоганнеса Крейсlera. Охотнее всего он начал бы так: «В маленьком городке Н., или Б., или К., в Духов день или на Пасху такого-то года Иоганнес Крейслер увидел свет!» Но о столь прекрасном хронологическом порядке нечего и мечтать, когда в распоряжении несчастного рассказчика имеются лишь сообщенные изустно, отдельными крохами, сведения, которые надо немедленно записать, чтобы они не улетучились из памяти. Каким образом накапливались эти сведения, ты, дражайший читатель, узнаешь, прежде чем доберешься до конца книги, и тогда, возможно, извинишь ее рапсодический стиль, а быть может — кто знает — даже убедишься, что, вопреки кажущейся отрывочности, все же некая крепкая нить связует все части ее воедино.

Но покуда я только и могу рассказать, что вскоре после того, как князь Ириней поселился в Зигхартсвейлере, в прекрасный летний вечер принцесса Гедвига с Юлией прогуливались по живописному парку Зигхартсгофа. Заходящее солнце словно набросило на лес прозрачное золотое покрывало. Ни один листик не шелохнулся. Истомленные предчувствием, деревья и кусты застыли в молчании, будто ожидая ласки вечернего зефира. Только плесканье лесного ручья, прыгавшего по белым камушкам, возмущало глубокую тишину. Взявшись под руки, девушки безмолвно брели по узким, обсаженным цветами дорожкам, через мостики, перекинутые над причудливыми извилинами ручья, и наконец достигли границы парка — большого озера, в которое гляделись живописные развалины далекого Гейерштейна.

— Как здесь красиво! — растроганно проговорила Юлия.

— Зайдем в рыбацью хижину, — предложила Гедвига. — Солнце печет невыносимо, а оттуда, особенно из среднего окна, вид на Гейерштейн еще прелестней; там мы полюбуемся ландшафтом, словно готовой и уже обрамленной картиной.

Юлия последовала за принцессой, а та, едва войдя в хижину и взглянув в окно, тотчас же схватилась за бумагу и карандаш, дабы запечатлеть пейзаж в этом необыкновенно эффектном, по ее словам, освещении.

— Я готова позавидовать твоему умению рисовать с натуры деревья и кусты, горы и озера... — заметила Юлия. — Но я знаю, если бы я даже и научилась так же чудесно рисовать, мне все равно никогда бы не удалось изобразить ландшафт с натуры, и чем прекрасней вид, тем я беспомощней. Радость и восхищение при созерцании его непременно помешали бы мне взяться за работу.

При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула усмешка, более

чем странная для шестнадцатилетней девушки. Маэстро Абрагам, подчас выражавшийся весьма замысловато, говорил, что подобная игра лица сравнима с рябью на поверхности воды, когда на дне что-то угрожающе бурлит... Словом, принцесса улыбнулась, но не успела приоткрыть розовые уста, чтобы ответить кроткой, безыскусственной Юлии, как совсем рядом раздались аккорды дикой, неистовой силы; даже не верилось, что играют на простой гитаре.

Принцесса замолкла, и они с Юлией выбежали из хижины.

Теперь они еще явственней слышали мелодии, бурно сменявшие одна другую и связанные самыми причудливыми модуляциями, самой необычной чередой аккордов. К игре присоединился звучный мужской голос, который то изливался в сладостной итальянской песне, то, внезапно оборвав, переходил на серьезную, мрачную мелодию, то пел речитативом, с особенным выражением подчеркивая слова.

Вот гитару настраивают... опять аккорды... вот они оборвались... снова настраивают... потом громкие, словно в гневе произнесенные слова... опять мелодии... и опять настраивают.

Любопытствуя, что за чудный виртуоз перед ними, Гедвига и Юлия подкрадывались все ближе и ближе, пока не увидели человека в черном платье, сидевшего спиной к девушкам на скале у самого озера; он продолжал увлеченно играть, сопровождая игру пением и речами.

Только что он каким-то особенным способом перестроил гитару, попробовал взять несколько аккордов, то и дело восклицая: «Опять не то... нет чистоты... То чуть выше, то чуть ниже, чем надо».

Он схватил обеими руками инструмент, висевший через плечо на голубой ленте, отвязал его и, держа перед собой, начал:

— Скажи, маленькая упряmica, где, собственно, твое сладкозвучие, в какой уголок твоего существа запряталась чистая гамма? Или ты вздумала бунтовать против своего хозяина, уверяя, будто слух его убит насмерть ударами молота темперированного строя, а его энгармония — лишь ребяческая забава? Ты издеваешься надо мной, я вижу, хотя моя борода куда лучше подстрижена, чем у маэстро Стефано Пачини, *detto il Venetiano* [21]. Это он вдохнул в тебя дух гармонии, каковой для меня останется вечной тайной. Но знай, милое дитя, если ты не позволишь мне взять унисонирующие двузвучия Gis и As или Es и Des, да и любых других тональностей, то я напущу на тебя девять ученых истинно немецких мастеров! Уж они-то отругают тебя препорядочно и обуздают далеко не гармоничными словами. И не скрыться тебе в объятия твоего Стефано Пачини, и не останется за тобой последнее слово, как это обыкновенно

бывает со сварливыми женами. Или ты настолько дерзка и надменна, что думаешь, будто обитающие в тебе колдовские духи послушны лишь могучим чарам волшебников, давным-давно покинувших этот мир, и что в руках жалкого ничтожества...

При этих словах человек вдруг умолк, вскочил и, глубоко задумавшись, долго не отрывал взора от зеркальной глади озера. Девушки, пораженные странным поведением незнакомца, стояли за кустами, словно приросшие к месту и едва осмеливались дышать.

— Гитара! — взорвался он наконец. — Да это самый жалкий, самый несовершенный инструмент, он годен разве только для воркующих влюбленных пастушков, потерявших амбушюр от свирели, иначе они, конечно, предпочли бы изо всех сил дуть в нее и будить эхо своими песнями, засылая жалобные мелодии в далекие горы, навстречу своим Эмmeliнам, которые сгоняют милых животных веселым хлопаньем бича! О боже! Пастушки, «вздыхавшие, как печь», и певшие, скорбя, о прелести очей, вдолбите им, что трезвучие состоит всего-навсего из трех звуков и что сразить его можно лишь кинжалом септимы, а потом уже дайте им в руки гитару! Но серьезные люди, прилично образованные и высокие эрудиты, посвятившие жизнь греческой философии и прекрасно знающие, что происходит при дворе в Нанкине и Пекине, ни черта не смыслят ни в овцах, ни в овчарнях, — к чему им вздохи и треньканье гитары? Что ты затеял, жалкий шут? Вспомни, блаженной памяти Гиппель уверял, что при виде человека, который обучает барабанить на фортепьяно, ему кажется, будто тот взбивает белки... Ну, а тебе вздумалось тренькать на гитаре... шут... Жалкий шут! К черту!

С этими словами незнакомец швырнул гитару далеко в кусты и удалился быстрыми шагами, даже не заметив девушек.

— Ну, Гедвига, — после минутного молчания воскликнула Юлия, громко смеясь, — что ты скажешь об этом удивительном явлении? Откуда взялся этот чужак, который сперва так мило беседует со своим инструментом, а потом презрительно бросает его, будто сломанную игрушку?

— Это возмутительно, — сказала Гедвига, вспыхивая гневом, и бледные щеки ее окрасились ярким румянцем, — это возмутительно, что ворота парка не запираются и любой прохожий может проникнуть сюда!

— Как, — удивилась Юлия, — по-твоему, князь должен был запретить жителям Зигхартсвейлера, да и не только им, а всем, кто идет мимо, наслаждаться самым живописным уголком во всей округе? Какая жестокость! Нет, ты не можешь этого желать!

— А опасность, которой мы из-за этого подвергаемся, для тебя ничто? — с еще большим волнением продолжала принцесса. — Мы часто гуляем, как сегодня, одни по самым глухим аллеям парка, вдали от слуг! А что, если какой-нибудь злодей...

— Ай-ай-ай! — прервала принцессу Юлия. — Уж не боишься ли ты, что из-за кустов вдруг выскочит сказочный великан или романтический разбойник и утащит нас в свой замок? Не дай бог, конечно! Впрочем, сознаюсь, я не отказалась бы от маленького забавного приключения в этом романтическом, таком уединенном лесу. Мне, кстати, пришла на память сцена из шекспировской «Как вам это понравится», — помнишь, маменька долго не разрешала нам притрагиваться к этой пьесе, покамест наконец Лотарио не прочел нам ее вслух. Признайся, и ты бы с удовольствием на время превратилась в Селию, а уж я была бы твоей верной Розалиндой! Но какую же роль мы отведем нашему неизвестному виртуозу?

— Да, да, все дело в этом! — воскликнула принцесса. — Веришь ли, Юлия, его облик, его диковинные речи возбудили во мне какой-то непонятный ужас. Я до сих пор еще в смятении, я вся во власти какого-то странного и тяжелого чувства, все мое существо будто сковано. Где-то в самом далеком, потаенном уголке души шевелится смутное воспоминание и напрасно силится выплыть наружу. Я уверена, что когда-то уже видела этого человека, и это связано с каким-то страшным событием, воспоминание о котором до сих пор терзает мое сердце. Возможно, то был только кошмарный сон, запечатлевшийся в памяти... Так или иначе... человек этот... его необычайное поведение, его бессвязные речи... он показался мне грозным призраком; кто знает, быть может, он намерен увлечь нас в гибельный круг своих колдовских чар.

— Какие химеры! — рассмеялась Юлия. — Что до меня, то я скорее обратила бы черное привидение с гитарой в мосье Жака или даже в почтенного Оселка, чья философия сродни причудливым речам незнакомца... но сейчас прежде всего поспешим спасти бедняжку, которую этот варвар так безжалостно бросил в кусты!

— Ради всего святого, Юлия, что ты делаешь? — закричала принцесса, но подруга, не слушая ее, нырнула в чащу и через несколько минут возвратилась, с торжеством держа в руках гитару, брошенную незнакомцем.

Принцесса превозмогла робость и принялась очень внимательно разглядывать инструмент, редкая форма которого указывала на старинное его происхождение, не будь даже на нем даты и имени мастера, отчетливо вытравленных на деке и видных через розетку: «Stefano Pacini fec. Venet.

[\[22\]](#), 1532».

Юлия не удержалась, ударила по струнам изящной гитары и почти испугалась полноты и силы звука, изданного таким маленьким инструментом.

— Прелесть, прелесть! — восхитилась она, не переставая играть. Но так как она привыкла на гитаре только аккомпанировать своему пению, то вскоре незаметно для себя запела, продолжая идти вперед. Принцесса в молчании следовала за ней. Юлия приостановилась, и тогда Гедвига попросила ее:

— Пой, играй на этом волшебном инструменте, может быть, тебе удастся прогнать в преисподнюю злых духов, которые во вражде своей хотели завладеть мною!

— Опять ты о злых духах! Прочь от этой нечисти! Я петь хочу, я играть хочу, — ни один инструмент еще не был мне так по руке и так послушен, как этот. Даже голос мой, думается, звучит с ним гораздо лучше, нежели обычно. — Она начала известную канцонетту, украшая ее изящными фиоритурами, смелыми руладами и каприччо, давая волю всему богатству звуков, таившихся в ее груди.

Если принцесса за несколько минут до того испугалась при виде незнакомца, то Юлия едва не окаменела, когда он внезапно возник перед нею на повороте аллеи.

Человек этот, на вид лет тридцати, был одет в черное платье, сшитое по последней моде. В его костюме ничто не поражало, не бросалось в глаза, и все-таки внешность его обличала нечто странное, необычное. В одежде, вообще опрятной, замечалась некоторая небрежность, но ее можно было приписать не столько недостатку внимания, сколько тому, что человеку этому, видимо, пришлось неожиданно проделать путешествие, для которого не подходил его наряд. Жилет был расстегнут, галстук развязался, башмаки так запылились, что золотые пряжки на них были почти незаметны, — вот каким предстал он перед девушками; вдобавок, защищаясь от солнечных лучей, он отогнул передние поля маленькой треуголки, пригодной разве лишь для того, чтобы держать ее под мышкой, и это придавало ему нелепый вид. Он, вероятно, пробирался сквозь непроходимую чащу парка — в спутанных черных волосах застряло множество еловых игл. Мельком взглянув на принцессу, он затем остановил одухотворенный, сверкающий взор больших темных глаз на лице Юлии, отчего она еще более смутилась: на ресницах даже заблестали слезы, как это нередко бывало с нею в подобных случаях.

— И эти божественные звуки, — заговорил наконец незнакомец

мягким, проникновенным голосом, — и эти божественные звуки смолкают при моем появлении и сменяются слезами?

Принцесса, стараясь побороть первое впечатление, сделанное на нее незнакомцем, окинула его высокомерным взглядом и проговорила довольно резко:

— Во всяком случае, нас изумляет ваше неожиданное появление здесь, сударь! В такую пору в княжеском парке уже не появляются чужие. Я — принцесса Гедвига.

При первых же словах принцессы незнакомец порывисто обернулся и теперь смотрел ей прямо в глаза. Лицо его сразу преобразилось, погасло выражение грустной мечтательности, исчезло без следа глубокое душевное волнение; странная кривая усмешка подчеркивала выражение горькой иронии, придавая лицу нечто чужаковатое, даже шутовское. Принцесса запнулась, не dokonчив речи, будто ее ударил электрический ток, вся залилась горячим румянцем и стояла, потупив глаза.

Незнакомец как будто хотел что-то сказать, но тут вмешалась Юлия:

— Ну разве я не глупая, бестолковая девчонка! Испугалась и расплакалась, словно проказливое дитя, которое тайком лакомится недозволенным! Да, сударь! Я действительно лакомялась, лакомялась чудесными звуками вашей гитары, — она во всем виновата, да еще наше любопытство! Мы подслушали, как вы мило разговаривали с этой крошкой; и мы видели, как вы затем в гневе швырнули бедняжку в кусты и она громко, жалобно застонала... Меня это так глубоко опечалило, что я не утерпела, бросилась в кусты и подобрала чудесный, милый инструмент. Ну, и знаете, — как все девушки, я немного умею бренчать на гитаре, пальцы так и потянулись к струнам, — я не могла удержаться. Извините, пожалуйста, — вот ваш инструмент.

И Юлия протянула незнакомцу гитару.

— Это очень редкий, звучный инструмент, — сказал тот, — еще добрых старых времен, но в моих неумелых руках... Да что там руки... не в руках дело! Дивный дух гармонии, обитающий в этой редкостной маленькой вещице, живет и в моей груди, но он закалился, подобно куколке, и не может сделать ни одного свободного движения; только из вашей души, милая мадемуазель, вырывается он в светлые небесные просторы, переливаясь, подобно сверкающей бабочке, тысячей радужных оттенков. Да, милая мадемуазель! Когда вы запели, вся страстная мука любви, весь восторг сладостных грез, надежд, желаний — все это поплыло над лесом и живительной росой пало в благоуханные венчики цветов, в грудь внимающих вам соловьев! Оставьте гитару у себя — лишь вы одна

повелеваете заключенными в ней чарами!

— Но вы ведь бросили ее, — заметила Юлия, вся покрасневшись.

— Да, это правда, — ответил незнакомец, быстро схватывая гитару и с жаром прижимая ее к груди, — да, это правда, я выбросил ее, но теперь беру назад, освященную. Никогда больше не выпущу ее из рук!

И опять на лице его появилась шутовская маска, и он заговорил тонким, резким голосом:

— Собственно говоря, судьба, или, вернее, мой злой демон сыграл со мной роковую шутку, заставив явиться перед вами, дражайшие дамы, ex abrupto ^[23], как говаривали латинисты и прочие ученые господа! Бога ради, светлейшая принцесса, соблаговолите окинуть меня взглядом с головы до ног. И вы соизволите убедиться по моему костюму, что я приготовился сделать ряд визитов. Да, я как раз собирался посетить Зигхартсвейлер и оставить в этом славном городке если не свою особу, то по крайности визитную карточку. О господа! Уж не думаете ли вы, что у меня мало знакомств, светлейшая принцесса? Да разве гофмаршал родителя вашего не был когда-то моим близким другом? Я знаю, если бы он увидел меня здесь, то уж непременно прижал бы к своей атласной груди и, растрогавшись, попотчевал бы понюшкой табаку, говоря: «Здесь мы одни, любезный друг, здесь я могу дать волю своему сердцу и приятнейшим чувствам!» Я бы, конечно, удостоился аудиенции у милостивейшего князя Ириней и был бы представлен также и вам, о принцесса! И так представлен, что — готов прозакладывать мою самую лучшую коллекцию септаккордов против одной пощечины — сумел бы заслужить ваше благорасположение. Но вот беда — я вынужден сам представляться вам и в столь неподобающем месте: между утиным прудом и лягушачьим болотом. О боже, научись я хоть немного колдовать, сумею я subito ^[24] превратить эту благородную зубочистку (он достал зубочистку из жилетного кармана) в блестящего камергера Иринеева двора, он схватил бы меня за шиворот и сказал бы: «Светлейшая принцесса, этот человек — такой-то и такой-то!» Но теперь... *che far, che dir!* ^[25] Пощадите, пощадите, о принцесса, о благородные дамы и господа!

Незнакомец упал ниц перед принцессой и запел пронзительным голосом: «Ah, *pieta, pieta, signora!*» ^[26]

Принцесса подхватила Юлию и стремглав побежала с нею прочь, громко восклицая: «Он сумасшедший, сумасшедший, он сбежал из дома умалишенных!»

Уже возле самого дворца навстречу девушкам вышла советница

Бенцон, и они, запыхавшись, едва не упали к ее ногам.

— Что случилось? Ради всего святого, что с вами, кто вас преследует? — спросила она.

Принцесса была вне себя, она смогла лишь пролепетать несколько бессвязных фраз о сумасшедшем, который напал на них. Юлия спокойно и рассудительно доложила матери о происшествии и кончила тем, что вовсе не считает незнакомца сумасшедшим; скорей всего он просто шутник и насмешник, вроде мосье Жака, и ему вполне подошла бы роль в «Арденнском лесу».

Советница Бенцон заставила ее еще раз повторить все, выпрашивала мельчайшие подробности, просила описать походку, осанку, жесты, голос неизвестного.

— Да, — воскликнула она наконец, — это, конечно, он, только он и никто другой!

— Кто — «он», кто? — нетерпеливо спросила принцесса.

— Успокойтесь, дорогая Гедвига, — ответила Бенцон, — напрасно вы так бежали — видите, даже задохнулись, — незнакомец, показавшийся вам столь опасным, отнюдь не сумасшедший. Как ни дерзка, как ни неуместна шутка, которую он себе позволил, а это вполне возможно при его причудливых манерах, я уверена — вы помиритесь с ним непременно!

— Никогда! — воскликнула принцесса. — Никогда я не соглашусь увидеть хотя бы еще один раз этого колючего шута!

— Ах, Гедвига! — рассмеялась Бенцон. — Какой только дух вложил в ваши уста слово «колючий». Оно к нему подходит более, чем вы сами думаете и подозреваете, — об этом говорит все, что здесь только что произошло.

— Я тоже никак не пойму, милая Гедвига, — вмешалась Юлия, — за что ты так рассердилась на этого незнакомца? Даже в его шутовском поведении, в бессвязных речах было нечто, взволновавшее меня странным, но далеко не неприятным образом.

— Счастье твое, — возразила принцесса, и слезы показались у нее на глазах, — счастье твое, что ты можешь оставаться такой невозмутимой и спокойной, мое же сердце больно ранят насмешки этого ужасного человека! Бенцон, кто он, кто этот безумец?

— Объясню вам все в двух словах, — ответила Бенцон. — Когда лет пять тому назад я была в...

(М. пр.) ...убедивший меня в том, что в глубокой душе истинного поэта живут и детски чистые помыслы, и сострадание к бедствиям ближнего.

Смутная печаль, какая часто находит на юных романтиков, когда в сердце у них совершается борение великих, возвышенных идей, побуждала меня искать уединения. Долгое время казались мне постылыми и крыша, и погреб, и чердак. Наравне с небезызвестным поэтом, поселившимся в крошечном домике на берегу журчащего ручья, под мрачной сенью плакучих ив и берез, я предавался кротким, идиллическим радостям и грезил, не вылезая из-под печки. Так и случилось, что я не встречал более Мины, моей нежной мамы в прелестной пятнистой шубке. В науках обрел я утешение и покой. О, как прекрасно общение с ними! Хвала, пламенная хвала благородному человеку, выдумавшему науки! Насколько они прекраснее, насколько полезнее, чем адское изобретение гнусного монаха, который первым выдумал порох, вещь до смерти противную мне по самой природе и воздействию своему. Недаром суд потомков заклеил этого варвара, это исчадие ада — Бертольда жестоким презрением, ибо еще в наши дни, когда желают высоко вознести прозорливого ученого, историка с широким кругозором, словом, любого человека отменной образованности, то о нем говорят: «Этот пороха не выдумает!»

В назидание подающей надежды кошачьей молодежи не могу не поведать, что, когда меня одолевает тяга к наукам, я вскакиваю в библиотечный шкаф хозяина, с зажмуренными глазами хватаю когтями первую попавшуюся книгу, выдергиваю ее и прочитываю, каково бы ни было ее содержание. Подобная метода обучения сообщила уму моему гибкость и многогранность, а моим знаниям — такое сверкающее всеми цветами радуги богатство, которому будут дивиться потомки. Не стану перечислять здесь всех книг, без разбору прочитанных в те месяцы поэтической грусти, — отчасти потому, что надеюсь найти для этого более подходящее место, отчасти потому, что я уже забыл их заглавия, — опять-таки до некоторой степени по той причине, что я взял себе за правило заглавий не читать, а потому никогда и не знал их. Думаю, что каждый удовлетворится моим объяснением и не станет винить меня в биографическом легкомыслии.

Мне предстояли новые испытания.

Как-то раз хозяин углубился в толстый фолиант, развернутый перед ним, а я примостился тут же под столом, на листе отличной атласной бумаги, и упражнялся в греческом письме, которое превосходно давалось моей лапе. Вдруг в комнату быстро вошел молодой человек — я уже не раз видел его у хозяина, — он неизменно обращался ко мне с дружеским уважением, более того, с тем лестным почтением, какое подобает выдающемуся таланту и признанному гению. Всякий раз, войдя и

поздоровавшись с маэстро, он не только приветствовал меня словами: «Доброе утро, кот!» — но и слегка почесывал у меня за ушами и ласково гладил по спине; такое обхождение было причиной, еще более поощрявшей меня развешивать перед всем светом блеск моих талантов.

Но в тот день все сложилось иначе!

В тот день — чего раньше никогда не бывало — следом за молодым человеком в дверь вломилось черное косматое чудовище с горящими глазами и, увидев меня, бросилось прямехонько ко мне. Неописуемый страх обуял меня, одним прыжком очутился я на письменном столе хозяина, а из горла моего вырвался вопль ужаса и отчаяния, когда чудовище тоже вскочило на стол, подняв при этом невообразимый шум. Добрый хозяин, испугавшись за своего любимца, взял меня на руки и засунул под шкафрок. Но молодой человек сказал:

— Напрасно вы беспокоитесь, маэстро Абрагам. Мой пудель никогда не обидит кошку, он просто хочет поиграть. Спустите кота на пол, и вы позабавитесь, глядя, как они будут знакомиться — мой пудель с вашим котом.

Хозяин и в самом деле хотел было спустить меня на пол, но я так крепко вцепился в него, так жалобно замыкал, что он, сев на стул, оставил мне местечко возле себя.

Защита хозяина придала мне храбрости, и я, присев на задние лапы и обвив их хвостом, принял позу, полную такой благородной гордости и достоинства, что не мог не внушить должного почтения своему предполагаемому черному недругу. Пудель уселся передо мной на полу и уперся в меня взглядом, бросая какие-то отрывистые слова, смысла которых я, разумеется, не понял. Страх мой мало-помалу проходил, и, успокоившись окончательно, я убедился, что во взоре пуделя светятся только добродушие и ясный ум. Волнообразными движениями хвоста я невольно начал выражать зародившееся во мне доверие, на что пудель немедленно ответил самым дружелюбным помахиваньем своего куцевого хвостика.

О, сомнений нет, сердца наши бились в унисон! Души наши созвучны друг другу! «Как могло случиться, — спросил я себя, — что непривычное обхождение этого незнакомца так тебя устрасило? Что иное выражали его прыжки, его тьяканье, его буйство, беготня, вой, как не силу и задор подвижного юноши, его любовь к свободной, радостной жизни? О, какие благородные пуделиные чувства живут в его поросшей черной шерстью груди!..» Приободрившись под влиянием таких мыслей, я решил сделать первый шаг к более близкому, более тесному общению наших душ и

спуститься со стула хозяина.

Лишь только встал я на ноги и потянулся, как пудель вскочил и с громким лаем принялся бегать по комнате. То было изъяснение прекрасного, здорового и сильного духа! Бояться больше нечего. Я спустился на пол и тихими, осторожными шажками стал приближаться к новому другу. Мы приступили к тому акту, который символически выражает более близкое знакомство родственных душ, заключение союза, обусловленного внутренним влечением, и который близорукий человек называл грубым, неблагородным, кощунственным словом «обнюхивание». Мой черный друг выразил желание отведать куриных костей, лежавших в моей мисочке. Насколько мог, я дал ему понять, что светское воспитание и вежливость обязывают меня, хозяина, уважить гостя как следует. Он разгрызал кости с завидным аппетитом, а я только издали поглядывал на него. Хорошо все-таки, что я спрятал под своей постелью кусок жареной рыбы про запас. Когда он наелся, пошли самые веселые игры. Под конец мы уже не чаяли души друг в друге, обнимались, прыгали друг другу на шею, а потом, перекувырнувшись несколько раз, поклялись в истинной дружбе и верности.

Не пойму, что может быть смешного в такой встрече двух прекрасных душ, в этом взаимном познании двух чистосердечных юношей; но почему-то оба, мой хозяин и молодой гость, к великой моей досаде покатывались со смеху.

Новое знакомство произвело на меня такое неизгладимое впечатление, что я везде, на солнце и в тени, на крыше и под печкой, только и думал, только и вспоминал, только и мечтал: пудель... пудель... пудель! Оттого и открылась мне во всей полноте, в самых ярких красках внутренняя суть пуделиной натуры, и из этого откровения родилось глубокомысленное сочинение, ранее уже упоминавшееся мною: «Мысль и Чутье, или Кот и Собака». В нем я развил положение, согласно которому нравы, обычаи, язык обеих пород глубоко зависимы от присущих им свойств, и доказал, что они лишь разные лучи, отбрасываемые одной и той же призмой. Особенно удалось мне вскрыть самую суть языка и показать, что язык есть лишь высказанное в звуках символическое выражение естественного принципа, из чего вытекает, что язык един; и кошачий и собачий — в данном случае пуделиный диалект — суть ветви единого древа, а потому одаренные высоким умом кот и пудель вполне могут понимать друг друга. Чтобы до конца обосновать это положение, я привел многочисленные примеры из обоих языков, обращая более всего внимания на близость корней, как-то: вау-вау, мяу-мяу, гав-гав, ау-вау, корр-курр, птси-пшрцы и

так далее.

Окончивши книгу, я испытывал сильнейшее желание действительно изучить пуделиный язык, что и удалось мне благодаря помощи новообретенного друга, пуделя Понто, правда, не сразу, ибо пуделиный язык оказался для нас, котов, весьма трудным. Но гений одолевает любые препятствия, хотя именно такого рода гениальности не желает признавать один знаменитый человеческий писатель, утверждая, что изучить чужой язык со всеми его народными оттенками можно только будучи в какой-то мере фигляром. Мой хозяин, пожалуй, придерживался того же мнения и считал, что одно дело — изучить чужой язык до тонкости и совсем другое — уметь болтать на этом языке, подразумевая под этим способность разговаривать обо всем и ни о чем. Он дошел до утверждения, будто французский язык придворных дам и кавалеров — некая мания, которая, подобно припадкам каталепсии, развивается при угрожающих симптомах. Я сам слышал, как он отстаивал это абсурдное мнение перед гофмаршалом князя.

— Сделайте милость, ваше превосходительство, — говорил маэстро Абрагам, — понаблюдайте за собой. Ведь одарило же вас небо великолепным, полнозвучным голосовым органом. Но стоит вам заговорить по-французски, как вы начинаете шипеть, шепелявить, гнусавить, приятное лицо ваше при этом искажается чрезвычайно, уродливые судороги нарушают гармонию ваших черт, обыкновенно столь прекрасных, твердых, серьезных. Чем же это объяснить, как не проделками сидящего в вас рокового кобольда болезни!

Гофмаршал смеялся от души, да и в самом деле нельзя было не смеяться над гипотезой маэстро о том, что маниакальное увлечение иностранными языками не что иное, как болезнь.

Один глубокомысленный ученый дает в своей книге совет людям, желающим быстро усовершенствовать свои познания в чужом языке: они должны думать на этом языке. Совет отменный, но, выполняя его, подвергаешься некоторой опасности. Я, например, довольно скоро привык думать по-пуделиному, но до того углубился в пуделиный образ мыслей, что потерял способность бегло говорить на своем родном языке и перестал понимать, о чем сам думаю. Большинство этих непонятных мыслей были мною записаны, они составили сборник под заглавием «Листья аканта». Меня до сих пор поражает глубина этих афоризмов, смысла коих я до сего дня так и не понял.

Думаю, этих кратких набросков касательно истории месяцев моей юности предостаточно, чтобы дать читателю понятие о том, чего я достиг и

каким путем.

И все-таки не могу расстаться с днями расцвета моей достопримечательной, богатой событиями юности, не коснувшись одного происшествия, ибо оно до некоторой степени знаменует переход к более зрелым годам. Кошачья молодежь узнает отсюда, что не бывает роз без шипов, что на пути мощного взлета встречается не одна помеха, не один камень преткновения, о который можно до крови изранить лапы. А боль от таких ран чувствительна, ох как чувствительна!

Любезный читатель, ты, наверное, готов завидовать моей беззаботной юности и сопутствовавшей мне счастливой звезде. Родившись в нужде, от знатных, но бедных родителей, едва избежав позорной смерти, я вдруг попадаю в царство роскоши, в перуанские залежи литературы! Ничто не мешает моему образованию, никто не противодействует моим склонностям, гигантскими шагами шествую я к совершенству и высоко возношусь над своим временем. Но вдруг меня останавливает таможенный чиновник и требует дани, каковую обязаны платить все смертные!

Кто бы мог подумать, что под розами сладостнейшей, искреннейшей дружбы сокрыты шипы и что им суждено меня исцарапать, изранить до крови!

Всякий, у кого в груди бьется чувствительное сердце, подобное моему, легко поймет из рассказанного о моих отношениях с пуделем Понто, как дорог он стал мне; и надо же было случиться, чтобы именно он послужил первопричиной катастрофы, которая неминуемо погубила бы меня, не бодрствуя надо мной дух великого предка. Да, дорогой читатель, у меня был предок. Предок, без которого я в известном смысле даже не мог бы существовать, — великий, замечательный предок, муж сановитый, почтенный, большой учености, исполненный самой высокой добродетели, бескорыстной любви к человечеству, изысканный, с передовыми вкусами, — муж... Впрочем, здесь я описываю его лишь походя, в дальнейшем расскажу более пространно об этом достойнейшем предке моем, ибо то был не кто иной, как получивший всемирную известность премьер-министр Гинц фон Гинценфельд, столь любимый, столь дорогой для всего рода человеческого под именем Кота в сапогах.

Как я уже сказал, речь об этом благороднейшем из котов впереди.

Могло ли быть иначе? Мог ли я, научившись легко и изящно изъясняться на пуделином языке, не поведать другу Понто о том, что было мне дороже всего на свете, то есть о себе самом и своих творениях? Так он узнал о моих необыкновенных способностях, о моей гениальности, моем таланте, но, к немалому своему огорчению, я при этом обнаружил, что

непобедимое легкомыслие, некоторое фанфаронство мешали юному Понто сделать тоже сколько-нибудь заметные успехи в науках и искусствах. Вместо того чтобы восхищаться моими познаниями, он заявил, что не понимает, как это мне пришло в голову предаваться подобным занятиям; он же, если уж говорить об искусстве, довольствуется тем, что прыгает через палку и таскает из воды фуражку хозяина. А науки, по его мнению, у таких особ, как он и я, могут вызвать только расстройство желудка и окончательно испортить аппетит.

Во время одного такого разговора, когда я пытался наставить своего юного легкомысленного друга на путь истинный, случилось ужасное. Не успел я оглянуться, как...

(Мак. л.)... — А ваша фантастическая экзальтация, — возразила Бенцон, — ваша надрывающая сердце ирония всегда будут вносить беспокойство и замешательство — словом, полный диссонанс в общепринятые отношения между людьми.

— О, чудесный капельмейстер, в чьей власти создавать такие диссонансы, — рассмеялся Крейслер.

— Будьте же серьезней, — продолжала советница, — будьте серьезней, вам не отделаться от меня горькой шуткой! Я держу вас крепко, милый Иоганнес! Да, я буду звать вас этим нежным именем — Иоганнес, и надеюсь все-таки, что из-под маски сатира в конце концов выглянет нежная, отзывчивая душа. И, кроме того, никому не позволю я себя убедить, что странное имя Крейслер — не фальшивое имя, подsunутое вам вместо настоящего.

— Госпожа советница, — проговорил Крейслер, и на лице его причудливо заиграли все мускулы, заплесали тысячи черточек и морщинок, — милейшая советница, что вы имеете против моего доброго имени? Быть может, я и носил когда-то другое, но это было так давно! Со мною случилось то же, что с советчиком из тиковской «Синей бороды». Помните, он говорит: «Было у меня когда-то преотличное имя, но долгие годы стерли его из памяти, и я едва совсем не позабыл его и вспоминаю лишь смутно».

— Думайте, думайте, Иоганнес! — воскликнула советница, пронизывая его сверкающим взглядом. — И я уверена — вы вспомните это полузабытое имя!

— Нет, дражайшая, — ответил Крейслер, — это невозможно! Я склонен думать, что неуловимое воспоминание о моем прежнем облике и о связи его с другим именем, как неким видом на жительство, восходит еще к тем отрадным временам, когда я, Крейслер, по правде говоря, еще не был

рожден на свет. Соболаговолите, достойнейшая из достойнейших, рассмотреть мое незатейливое имя в надлежащем свете, и вы найдете, что оно милее всех других и по рисунку, и по колориту, и по его, так сказать, физиономии. Мало того! Выверните его наизнанку, вскройте анатомическим ножом грамматики, и его внутренний смысл раскроется перед вами во всей своей красе. Ведь не станете же вы, великолепнейшая, искать корень моей фамилии в слове «Kraus» — завитой, а про меня, по аналогии со словом «Krdusler», не скажете, что я украшаю завитушками звуки, а то и волосы, иначе говоря — что я попросту парикмахер. Ведь тогда и писалось бы мое имя иначе: «Krdusler». Нет, вы никуда не уйдете от слова «Kreis» — круг, и я молю небо, чтобы в мыслях ваших тот же час возникли волшебные круги, в коих вращается все наше бытие и откуда мы никак не можем вырваться, сколько бы ни старались. В этих-то кругах и кружится Крейслер, и возможно, что порой, утомившись пляской святого Витта, к которой его принуждают, он вступает в единоборство с темными загадочными силами, начертавшими те круги, и более страстно тоскует по беспредельным просторам, нежели то допустимо при его и без того хрупкой конституции. Глубокая боль от этого страстного порыва, возможно, и есть та ирония, которую вы, достойнейшая, клеймите столь сурово, не замечая, что ведь то здоровая мать родила сына, вступившего в жизнь самодержавным королем! Я разумею юмор, у которого нет ничего общего с его незадачливой сводной сестрой — насмешкой.

— Да, — заговорила советница, — именно этот юмор, этого оборотня, рожденного необузданной своенравной фантазией, настолько лишенного всякого образа и подобия, что даже вы, черствые мужские души, не знаете, какое дать ему звание и в какую определить должность, — именно этот юмор вы всегда пытаетесь представить как нечто возвышенное, прекрасное, когда своим жестоким глумлением готовы растоптать все, что нам дорого и мило. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гедвига до сих пор не может опомниться после вашего появления, вашей странной выходки в парке? При ее чувствительности любая шутка, в которой она усматривает хоть тень насмешки над своей особой, глубоко уязвляет ее. А вам, милый Иоганнес, взбрело на ум представиться сумасшедшим! Вы так напугали ее, что она едва не заболела. Ну, простительно ли это?

— Столь же мало, — возразил Крейслер, — как желание юной принцессочки повергнуть в прах незнакомого человека, на вид вполне пристойного, случайно попавшего в открытый парк ее сиятельного папаши.

— Так или иначе, — продолжала советница, — ваше экстравагантное поведение в парке могло иметь печальные последствия. Если и удалось

убедить принцессу, приучить к мысли, что ей, возможно, доведется встретиться с вами снова, то этим вы обязаны моей дочери Юлии. Она одна взяла вас под защиту. Во всем, что вы делали, что говорили, она нашла только выражение чрезмерной экзальтации, нередко свойственной людям, горько обиженным судьбой или чересчур впечатлительным. Одним словом, Юлия недавно прочла пьесу Шекспира «Как вам это понравится» и сравнивает вас с меланхолическим мосье Жаком.

— О, какая прозорливость! Небесное дитя! — воскликнул Крейслер, и на глазах у него даже блеснули слезы.

— Сверх того, — продолжала Бенцон, — когда вы импровизировали на гитаре и, как она рассказывает, то пели, то разговаривали, моя Юлия признала в вас утонченнейшего музыканта и композитора. Она уверяет, что в ту минуту ее захватила стихия музыки; словно повинувшись необъяснимой силе, она начала петь и играть с таким вдохновением, какого не знала до сих пор... Скажу вам правду, Юлия не могла примириться с мыслью, что никогда больше не увидит загадочного человека и он останется у нее в памяти лишь чудным музыкальным виденьем; принцесса, напротив, со свойственной ей горячностью, утверждала, что если безумствующий призрак появится еще раз, это убьет ее. Девушки всегда жили душа в душу, ни разу не было между ними ни малейшей размолвки, и я права, когда говорю, что сейчас повторяется сцена из их раннего детства, только теперь они поменялись ролями: тогда Юлия непременно хотела бросить в камин забавного Скарамуша, которого ей подарили, а принцесса заступилась за него и объявила, что он — ее любимец.

— Я согласен, — весело смеясь, перебил ее Крейслер, — по воле принцессы отправиться вслед за Скарамушем в камин, поручив себя нежному покровительству милой Юлии.

— Упоминание о Скарамуше, — сказала Бенцон, — прошу принять как забавную шутку, а потому, исходя из вашей собственной теории, вы не должны истолковать ее дурно. Впрочем, вы легко мне поверите, если я скажу, что сразу узнала вас, когда девушки описали вашу наружность и происшествие в парке. Даже без выраженного Юлией желания повидать вас, я поставила бы на ноги всех людей, оказавшихся под рукой, чтобы немедленно разыскать вас в зигхартсвейлерском парке, потому что с первого же нашего кратковременного знакомства вы стали мне дороги. Но все розыски были напрасны, и я решила, что вы опять пропали бесследно. Каково же было мое удивление, когда сегодня утром вы вдруг предстали предо мной. Юлия сейчас у принцессы, — вообразите, какая буря самых противоположных чувств поднялась бы в душе у обеих девиц, когда бы они

вдруг узнали о вашем прибытии! О том, что за причина столь неожиданно привела вас сюда, тогда как я считала, что вы прочно обосновались при дворе великого герцога и состоите там официальным капельмейстером, я сейчас не прошу вас рассказывать, сделаете это, когда захотите и сочтете нужным.

Пока советница все это говорила, Крейслер погрузился в глубокое раздумье. Он вперил взор в землю и водил пальцем по лбу, как человек, старающийся вспомнить что-то забытое.

— О, это нелепейшая история, — начал он, когда советница смолкла, — вряд ли стоит ее пересказывать. Смею утверждать лишь одно: в том, что принцессе угодно было принять за бессвязные речи помешанного, была и доля правды! Когда я, на свою беду, всполошил в парке это маленькое капризное существо, я и впрямь возвращался с визита, который я нанес не кому-нибудь, а его светлости, самому великому герцогу; да и здесь, в Зигхартсвейлере, я собирался сделать еще много чрезвычайно приятных визитов.

— Ах, Крейслер, — перебила его советница, тихо смеясь (она никогда не позволяла себе смеяться громко, от души), — ах, Крейслер, вы, конечно, опять дали волю своей прихотливой фантазии. Если не ошибаюсь, резиденция герцога находится не менее как в тридцати часах ходьбы от Зигхартсвейлера!

— Ну и что же? — возразил Крейслер. — Но ведь путь мой лежит через сады, да еще такого поистине великолепного стиля, что даже сам Ленотр восхитился бы ими. Но ежели вы не изволите верить, достойнейшая, что я делал визиты, то допустите наконец, что сентиментальный капельмейстер, с песней в груди и на устах, с гитарой в руке, бродит по душистым лесам, по свежим зеленым лугам, пробирается меж дико нагроможденных скал, по узким мосткам, под которыми, пенясь, мчатся лесные ручьи, да, что такой капельмейстер, вливая свое соло в многоголосый, поющий вокруг хор, сам того не желая, без всякой цели, легко мог забрести в уединенную часть чужого сада. Так и я попал в зигхартсвейлер-ский княжеский парк; ведь он всего только ничтожная частица необъятного парка, возвращенного самой природой. Но нет, это не совсем так! Только сию минуту, когда вы мне поведали, что целое веселое охотничье племя было послано ловить меня, будто заблудившуюся в парке дичь, у меня впервые родилась твердая внутренняя убежденность, что мое место именно здесь. Убежденность, которая все равно загнала бы меня в силки, пожелай я даже продолжать свой безумный бег. Вы изволили благосклонно заметить, что знакомство со мной доставило вам некоторую

радость, — как же мне не помнить те роковые дни смятения и всеобщего бедствия, когда нас свела судьба? Вы встретились мне, когда я метался из стороны в сторону, неспособный принять какое-нибудь решение, когда вся душа моя была истерзана. Вы приняли меня с теплым радушием и, раскрывши моему взору ясное безоблачное небо своей спокойной, замкнутой для всех женственной мягкости, пытались меня утешить, вы порицали и вместе прощали буйную необузданность моих поступков, приписывая их бездонному отчаянию, в какое я впал под гнетом несчастий. Вы меня вырвали из окружения, которое я сам признавал двусмысленным; ваш дом стал для меня приютом мира и дружбы, где я, преклоняясь перед вашим молчаливым горем, забывал о своем. Беседа ваша, исполненная остроумия и доброжелательства, действовала на меня как целительное лекарство, хотя вы даже не знали моей болезни. Не грозные события, которые могли поколебать мое положение в обществе, нет, поверьте, повлияли на меня столь губительно! Я уже давно мечтал порвать связи, угнетавшие и страшившие меня, и мне ли было сетовать на судьбу, — она лишь помогла мне осуществить то, для чего у меня так долго не доставало ни сил, ни мужества. Нет! Почувствовав себя свободным, я вновь очутился во власти необъяснимого беспокойства, которое с самой ранней юности так часто раздваивало мое «я». То не было страстное томление, которое, по верному выражению одного глубоко чувствующего поэта, рождено высшей жизнью духа и длится вечно, ибо вечно остается неутоленным; томление, которое не терпит ни обмана, ни фальши и, дабы не умереть, должно всегда оставаться неудовлетворенным. Нет, безумное, снедающее желание влечет меня вперед, в неустанной погоне за безымянным Нечто, которое я ищу вне себя, тогда как оно погребено в недрах моей души, как темная тайна, как бессвязный, загадочный сон о рае высочайшего блаженства, — каковое даже во сне нельзя пережить, а можно лишь предчувствовать, и это предчувствие терзает меня всеми муками Тантала. Когда я был еще совсем ребенком, такое состояние часто и внезапно овладевало мною; в самый разгар веселых игр с товарищами я убегал в лес, в горы, бросался ничком на траву и безутешно плакал и рыдал, а ведь только что я в своей резвости превосходил самых отчаянных проказников. Позднее я научился лучше владеть собой, но не изобразить словами всех моих мук, когда в самом веселом обществе, среди близких и благожелательных друзей я наслаждался искусством, более того, когда то или иное льстило моему тщеславию, — и вдруг все начинало казаться мне жалким, ничтожным, бесцветным, мертвым, и я оставался один, словно брошенный в печальной пустыне. Только один светлый ангел властен над демоном зла, и это — дух

музыки. Часто, торжествуя, встает он из глубин души моей, и перед могучим голосом его стихает вся скорбь земной юдоли.

— Я всегда считала, — перебила его советница, — что музыка воздействует на вас слишком сильно, даже пагубно; я видела, как искажались ваши черты во время исполнения какого-нибудь превосходного сочинения. Вы бледнели, не могли выговорить ни слова, стонали и плакали, а потом обрушивались с самым жестоким презрением, с самыми оскорбительными насмешками на каждого, кто осмеливался высказывать суждение против сочинителя. Даже когда...

— О милейшая советница, — прервал ее Крейслер, и вся его серьезность и искреннее волнение сразу уступили место особой, присущей ему иронии, — о милейшая советница, это все уже позади. Вы не поверите, достойнейшая, до чего я стал благовоспитан и рассудителен при дворе великого герцога. С каким величайшим душевным спокойствием и благодушием я могу теперь отбивать такт на представлении «Дон Жуана» или «Армиды», как любезно улыбаюсь примадонне, когда она в головоломной каденции спотыкается о ступеньки звуковой лестницы; и ежели гофмаршал по окончании «Времен года» Гайдна шепчет мне: «C'était bien ennuyant, mon cher maître de chapelle!» ^[27] — я способен кивать головой и многозначительно брать понюшку табаку! Да, я способен терпеливо слушать какого-нибудь ценителя искусства, камергера или церемониймейстера, толкующего, что Моцарт и Бетховен ни черта не смыслили в пении, а Россини, Пуччита и как там еще зовут всех этих пигмеев достигли подлинных высот оперной музыки. Да, достойнейшая, вы не поверите, сколь много я извлек полезного за время моего капельмейстерства, но самое главное — окончательно уверился, что артисту полезно определиться на казенную должность, иначе самому черту и его бабушке не сладить бы с этими надменными и заносчивыми людишками. Произведите непокорного композитора в капельмейстера или музыкального директора, стихотворца — в придворного поэта, художника — в придворного портретиста, ваятеля — в придворного скульптора, и скоро в стране вашей переведутся все бесполезные фантасты, останутся лишь полезные бюргеры отличного воспитания и добрых нравов!

— Тихо, тихо, — недовольно проговорила советница, — остановитесь, Крейслер, вы опять сели на своего конька, а он, как всегда, взвился на дыбы. Но я чувствую неладное и тем сильнее желаю доподлинно узнать, какое неприятное происшествие вынудило вас так поспешно бежать из столицы. Ведь все обстоятельства вашего появления в парке указывают на такое бегство.

— А я, — спокойно отвечал Крейслер, вонзив пристальный взор в советницу, — я смею вас заверить, что неприятное происшествие, изгнавшее меня из столицы, отнюдь не зависело от внешних обстоятельств, — причиной ему я сам. Именно то беспокойство, о котором я только что говорил, кажется, чересчур пространно и серьезно, напало на меня с большей силой, чем когда-либо, и я не мог там более оставаться. Вы знаете, как я радовался, получив место капельмейстера у великого герцога. Я имел глупость надеяться, что постоянное занятие искусством внесет успокоение в мою душу, усмирит демона в моей груди. Но из того немногого, что я успел рассказать вам о своем воспитании при дворе великого герцога, вы, достойнейшая, заключите, как жестоко я обманулся. Избавьте меня от описания того, как пошлое заигрывание со святым искусством — к чему и я волею судеб был причастен, — как глупость бездушных шарлатанов, скудоумных дилетантов, вся нелепая суэта этого мира, населенного картонными марионетками, все более и более открывали мне глаза на презренную никчемность моего существования. Однажды утром мне надлежало явиться на прием к великому герцогу, чтобы узнать, какое участие я должен принять в предстоящем празднике. Церемониймейстер, разумеется, присутствовал при нашем разговоре, и на меня обрушился град бессмысленнейших и безвкуснейших распоряжений, которым мне пришлось покориться. Прежде всего он сам сочинил пролог и потребовал, чтобы я положил на музыку этот шедевр из шедевров театрального искусства. На сей раз, обратился он к герцогу, искоса бросая на меня ядовитые взгляды, речь будет идти не о заумной немецкой музыке, а об изысканном итальянском пении, а потому он, мол, сам набросал несколько премилых мелодий, которые мне надлежит искусно аранжировать. Великий герцог не только одобрил все это, но, воспользовавшись случаем, выразил надежду, что я начну совершенствовать свое мастерство, прилежно изучая новейших итальянцев. Как жалок казался я себе в ту минуту! Как глубоко презирал себя, — все унижения были только справедливой карой за мое ребяческое, упрямое долготерпение! Я покинул дворец, чтобы никогда больше туда не возвращаться. В тот же вечер я намеревался потребовать отставки, но даже такое решение не примирило меня с собой, — я видел, что уже подвергнут тайному остракизму. Когда карета выехала за ворота, я взял из нее только гитару, нужную мне для особенной цели, отослал экипаж, а сам, очутившись на воле, бросился бежать вперед, все дальше и дальше! Солнце уже закатилось, все длинней т гуще ложились тени от гор, от леса. Одна мысль вернуться в резиденцию казалась мне непереносимой, подобной смерти! «Никакая сила не заставит меня поворотить назад!» —

громко вскричал я. Мой путь лежал в Зигхартсвейлер, я вспомнил доброго старого маэстро Абрагама, от которого только накануне получил письмо, — понимая, каково мое положение в столице, он советовал бежать оттуда и приглашал меня к себе.

— Как, — прервала капельмейстера советница, — вы знакомы с этим чудаковатым стариком?

— Маэстро Абрагам был ближайшим другом моего отца, моим учителем, отчасти даже наставником, — продолжал Крейслер. — Ну, почтеннейшая советница, теперь вы знаете во всех подробностях, как я попал в парк достоправного князя Ириней, и не станете более сомневаться, что я, коли на то пошло, умею рассказывать спокойно, соблюдая необходимую историческую достоверность, да так обстоятельно, что порой меня самого оторопь берет. Впрочем, вся история моего бегства из герцогской резиденции, как я уже сказал, представляется мне ныне до того нелепой и прозаичной, далекой от всякой поэзии, что при одном воспоминании о ней я чувствую полное изнеможение. Умоляю вас, дорогая, преподнесите это незначительное происшествие перепуганной принцессе вместо нюхательной соли, пусть придет в себя да поразмыслит о том, что никак невозможно требовать особенной рассудительности в поведении от честного немецкого музыканта, которого, едва он натянул шелковые чулки и с удобствами расположился в придворной карете, вытолкали из нее Россини и Пуччита, Павези и Фьораванти и всякие прочие «ини» и «ита». Итак, я надеюсь, хочу надеяться на прощение! Но послушайте, милейшая советница, каков поэтический финал моего столь обыденного приключения. В ту минуту, когда я, подхлестываемый своим демоном, уже хотел бежать из здешнего парка, меня приковало к месту самое сладостное волшебство. Злорадный демон намеревался осквернить глубочайшую тайну души моей, как вдруг могучий дух музыки взмахнул крылами и их мелодический шорох пробудил утешение, надежду, страстное томление, а оно и есть нетленная любовь и восторг вечной молодости. То было пение Юлии!

Крейслер замолчал. Бенцон насторожилась, ожидая, что последует дальше. Капельмейстер глубоко задумался; помолчав, Бенцон спросила с холодной любезностью:

— Вы в самом деле находите пение моей дочери столь приятным, милый Иоганнес?

Крейслер порывисто вскочил, но вместо ответа только глубокий вздох вырвался из его груди.

— Что ж, — продолжала советница, — мне это очень приятно. Юлия

многому сможет научиться у вас, милый Крейслер, вы ей поможете овладеть подлинным мастерством пения, а то, что вы здесь остаетесь, я считаю делом решенным.

— Многоуважаемая, — начал Крейслер, но в эту минуту открылась дверь и вошла Юлия.

Когда она увидела капельмейстера, прелестное лицо ее осветилось милой улыбкой и тихое «ах» слетело с ее уст.

Бенцон поднялась с места, взяла капельмейстера за руку и, подводя его к Юлии, проговорила:

— Вот, дитя мое, это и есть тот загадочный...

(*М. пр.*) ...юный Понто набросился на мою последнюю рукопись и, прежде чем я успел ему помешать, схватил ее в зубы и стремглав ринулся вон из комнаты. При этом он злорадно расхохотался, и уж одно это должно было заставить меня догадаться, что он замыслил эту шалость не только из чисто юношеского озорства, а на уме у него что-то недоброе. Вскоре все разъяснилось.

Несколько дней спустя к моему хозяину зашел господин, у которого служил юный Понто. Это был, как я узнал впоследствии, господин Лотарио, профессор эстетики в зигхартсвейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор оглядел комнату и, увидев меня, промолвил:

— Нельзя ли попросить вас, дорогой маэстро, удалить из комнаты этого малого?

— Почему? — удивился мой хозяин. — Почему? Вы всегда питали пристрастие к кошкам, особенно к моему любимцу, изящному, понятливому коту Мурру!

— Да, — ответил профессор, саркастически рассмеявшись, — да, он изящен и понятлив, это верно! Но все-таки, сделайте милость — выпроводите вашего любимца, мне надо поговорить с вами о вещах, которых ему ни в каком случае не следует слышать.

— Кому? — воскликнул маэстро Абрагам, уставившись на профессора.

— Да, да, — продолжал тот, — вашему коту! Прошу вас, не спрашивайте дальше, а выполните мою просьбу.

— Вот так чудеса! — промолвил хозяин, открыл дверь в кабинет и поманил меня туда. Я пошел за ним, но незаметно шмыгнул обратно в комнату и притаился на нижней полке книжного шкафа, откуда, сам никем не замеченный, мог обозревать все вокруг и слышать каждое сказанное

слово.

— А теперь, — заговорил маэстро Абрагам, усаживаясь в кресло против профессора, — а теперь расскажите, бога ради, какие тайны вы хотите мне открыть и почему нельзя посвящать в них моего честного кота Мурра?

— Прежде всего, — начал профессор очень серьезным, раздумчивым тоном, — прежде всего, скажите, любезный маэстро, согласны ли вы с утверждением, будто из любого ребенка, который не блещет ни выдающимися способностями, ни талантом, ни гениальностью, а обладает лишь телесным здоровьем, можно путем одного только весьма тщательного воспитания и образования, особенно в детском возрасте, сделать светило науки или искусства?

— Э, — возразил маэстро, — я могу только сказать, что такое утверждение — нелепица и глупость. Возможно, даже вполне допустимо, что ребенку, при свойственном ему даре подражания приблизительно таком же, как у обезьяны, ребенку, наделенному хорошей памятью, можно постепенно начинить голову всякой чепухой, которую он затем будет выкладывать перед любым встречным и поперечным; но такой ребенок непременно должен быть лишен всяких природных способностей, ибо в противном случае все лучшее в его душе восстанет против этой кощунственной процедуры. Да и у кого хватит духу назвать ученым в истинном смысле этого слова такого тупого детину, по горло напичканного крохами знаний?

— У всего мира! — горячо откликнулся профессор. — У всего мира! О, как это ужасно! Всякая вера в природную, высшую, внутреннюю силу духа, которая одна лишь создает ученого, художника, — летит к черту из-за такого нечестивого и сумасбродного утверждения!

— Не горячитесь, — улыбнулся маэстро, — насколько мне известно, до сих пор в нашей доброй Германии лишь один-единственный раз появился продукт этой методы воспитания, о которой некоторое время поговорили, да и бросили, убедившись, что продукт сей не особенно удался. К тому же цветущая пора того продукта совпала с периодом, когда вошли в моду вундеркинды, которые в любом балагане за дешевую входную плату показывали свое искусство, подобно тщательно выдрессированным собакам и обезьянам.

— Вот каковы теперь ваши рассуждения, маэстро! — прервал его профессор. — И вам бы, пожалуй, поверили, если бы не знали, что в словах ваших всегда таится лукавая шутка, если бы не знали, что вся ваша жизнь — цепь самых необычайных экспериментов. Признайтесь же, маэстро

Абрагам, признайтесь, что вы в тиши, окутав себя непроницаемой тайной, экспериментировали, руководствуясь упомянутым утверждением, и намеревались превзойти алхимика, изготовившего продукт, о котором мы только что говорили. Вы хотели выступить с вашим питомцем, предварительно хорошенько вышколив его, и привести в изумление, в отчаяние профессоров всего мира, вы хотели совершенно посрамить прекрасный принцип: «Non ex quovis ligno fit Mercurius» [\[28\]](#). Короче — quovis у вас уже есть, только это не Меркурий, а кот!

— Что вы такое сказали?! — громко рассмеялся маэстро. — Что вы сказали? Кот?

— Не пытайтесь отрицать, — продолжал профессор, — именно на том молодчике, что находится рядом в кабинете, вы испытываете абстрактную методику воспитания, вы научили его читать и писать, вы преподавали ему науки, а он уже осмеливается мнить себя писателем и даже сочиняет стихи!

— Ну знаете ли, — ответил маэстро, — большей бессмыслицы я отроду не слыхивал! Я обучаю своего кота?! Я преподаю ему науки? Скажите, профессор, что за чудовищные! мысли бродят у вас в голове? Уверяю вас, я не имею ни малейшего понятия об учености моего кота, мало того, считаю таковую совершенно невозможной!

— Вот как? — протяжным тоном спросил профессор, вытащил из кармана тетрадку, в которой я тотчас же признал похищенную юным Понто рукопись, и стал читать:

Стремление к возвышенному

*О, что со мной? Что грудь мою тревожит?
Каким душа предчувствием томима?
Я весь дрожу... То мысль моя, быть может,
За гением летит неудержимо?*

*Откуда этот шквал огня и дыма?
В чем смысла смысл? Что наши муки множит?
Что жгучей болью сладко сердце гложет?
Чего страшиться нам необходимо?*

*Где я? В волшебном царстве дальних далей?
Ни слов, ни звуков нет. Язык, как камень.
Несет весна надежды полыханье,
И только в ней — конец моих печалей...*

*Ярчайший лист, мечты зеленый пламень!
Ввысь, сердце, ввысь! Лови его дыханье!*

Надеюсь, ни один из благосклонных читателей моих не откажется признать все совершенство этого великолепного сонета, излившегося из святая святых моей души, и будет восхищен еще более, узнав, что это — одно из первых моих сочинений. Профессор, однако же, по злобе своей прочитал его без всякого выражения, так бесцветно, что я сам едва узнал мои строфы и в порыве внезапной ярости, вполне понятной в молодом поэте, уже готов был выйти из своей засады и вцепиться в физиономию этого педанта, чтобы дать ему почувствовать остроту моих когтей. Но мудрая мысль о том, что мне несдобровать, если маэстро и профессор, объединив свои силы, возьмутся за бедного кота, заставила меня подавить гнев; и все-таки я невольно издал негодующее «мяу», которое неминуемо выдало бы меня, когда бы мой хозяин, дослушав сонет, не разразился снова оглушительным хохотом, оскорбившим меня, пожалуй, сильнее, нежели бесталанное чтение профессора.

— Ха-ха! — воскликнул маэстро. — Честное слово, сонет вполне достоин кота, но я все еще не понимаю вашей шутки, профессор, — скажите-ка лучше прямо, куда вы метите?

Тот, не отвечая, полистал рукопись и стал читать дальше:

Глосса

*Дружба пу свету не рыщет,
А любовь к нам рвется в дом.*

*Всюду нас любовь отыщет,
Дружбу ищем днем с огнем.*

*Слышу стоны, слышу вздохи, —
Млеет сердце в томной страсти.
Это мука или счастье —
Жить в любовной суматохе?
Всюду ждут тебя подвохи!
Явь или сон меня объяли?
Разум смутен, слог напыщен, —
Это вынесешь едва ли.
Ах, на крыше и в подвале —
Всюду нас любовь отыщет!*

*Но однажды — час настанет, —
Поборов тоску, томленье,
Ты узнаешь исцеленье:
Боль твоя как в воду канет,
Вновь душа здоровой станет!
Лживо кошкино сердечко,
Постоянства нету в нем...
Что в тоске чадить, как свечка?
Лучше с пуделем под печку —
Дружбу ищут днем с огнем!
Но я знаю...*

— Нет, — прервал маэстро чтение профессора, — нет, друг мой, я, право, теряю с вами всякое терпение; вы или другой шутник решили забавы ради сочинить стихи в духе кота, а теперь возводите поклеп на моего доброго Мурра и целое утро дурачите меня. Шутка, впрочем, недурна и особенно должна понравиться Крейслеру, тот уж, конечно, не

преминет воспользоваться ею для веселенькой охоты, где вы в конце концов можете очутиться в роли травимой дичи. А теперь бросьте ваш остроумный маскарад и скажите мне честно и прямо, в чем, собственно, цель этой забавной мистификации?

Профессор отложил рукопись, серьезно посмотрел маэстро в глаза и сказал:

— Эти листки принес мне несколько дней назад пудель Понто, а он, как вам должно быть известно, состоит в приятельских отношениях с котом Мурром. Хотя пес приволок рукопись в зубах, как и подобает ему таскать поноску, она была целехонька, когда он положил ее мне на колени, причем Понто ясно дал понять, что получил ее не от кого иного, как от своего друга Мурра. Стоило мне заглянуть в рукопись, как сразу бросился в глаза особенный, своеобразный почерк; я прочитал несколько строк, и у меня в голове возникла, уж сам не знаю, как и откуда, диковинная мысль — не сочинил ли все это кот Мурр. Сколь ни противна эта мысль разуму, да и некоторому житейскому опыту, каковой мы поневоле приобретаем и каковой в конце концов есть тот же разум, — сколь, повторяю, ни противна нелепая мысль эта разуму, ибо коты не способны ни писать, ни сочинять стихов, я никак не мог от нее отвязаться и решил понаблюдать за вашим любимцем. Узнав от Понто, что Мурр подолгу просиживает на чердаке, я поднялся наверх, вынул несколько черепиц и благодаря этому смог свободно заглянуть со своей крыши в ваше слуховое окошко. И что же открылось глазам моим?! Слушайте и удивляйтесь! В самом отдаленном уголке чердака сидит ваш кот! Сидит, выпрямившись, за низеньким столиком, на котором разложены бумага и принадлежности для письма, и то потрет лапой лоб и затылок, то проведет ею по лицу, потом обмакивает перо в чернила, пишет, останавливается, снова пишет, перечитывает написанное и при этом еще мурлычет (я сам слышал), мурлычет и блаженно урчит. Вокруг разбросаны книги, судя по переплетам, взятые из вашей библиотеки.

— Что за чертовщина! — воскликнул маэстро. — А ну-ка, взгляну, все ли мои книги на месте?

С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу. Внезапно увидев меня, он отпрянул на целых три шага и застыл в полном изумлении. Профессор же, вскочив, воскликнул:

— Вот видите, маэстро? Вы-то воображали, что малый сидит себе смирно в соседней комнате, куда вы его заперли, а он пробрался в книжный шкаф и штудировать там науки или, что еще вернее, подслушивает наш разговор. Теперь он все знает, о чем мы здесь говорили, и может принять

свои меры.

— Кот! — начал мой хозяин, все еще не сводя с меня изумленного взора. — Кот, узнай я, что ты, окончательно отрекшись от своего честного кошачьего естества, в самом деле увлекаешься сочинительством столь неудобоваримых виршей, какие читал здесь профессор, поверь я, что ты в самом деле предпочитаешь охотиться за науками, а не за мышами, — узнай я все это, я бы уж, конечно, надрал тебе уши, а может быть, даже...

Я был ни жив ни мертв от страха, зажмурился и сделал вид, будто крепко сплю.

— Да нет же, нет, — продолжал маэстро, — вы только взгляните, профессор, мой честный кот безмятежно спит, судите сами, есть ли в его добродушной физиономии хоть намек на то, что он способен на такие неподобающие тайные плутни, в каковых вы его обвиняете? Мурр, а Мурр!

Хозяин звал меня, и я не преминул, как всегда, ответить ему своим «мрр... мрр», открыл глаза, поднялся и выгнул спину самой очаровательной дугой.

Взбешенный профессор швырнул мне в голову рукопись, но я сделал вид (врожденное лукавство внушило мне эту мысль), будто понимаю это как призыв к игре и, подпрыгивая и танцуя, стал рвать листы на части, да так, что только клочья полетели.

— Ну, — сказал мой хозяин, — теперь, надеюсь, вам ясно, профессор, что вы были не правы и ваш Понто вам все набрехал! Вы только поглядите, как Мурр разделяется со стихами. У какого автора достанет духу так обращаться со своей рукописью?

— Я вас предостерег, маэстро, а теперь поступайте, как знаете, — возразил профессор и вышел из комнаты.

Ну, думал я, гроза миновала! Однако я жестоко ошибался! К величайшей моей досаде, маэстро восстал против моих ученых штудий; он, правда, сделал вид, будто не поверил словам профессора, но я тем не менее вскоре почувствовал, что он следит за каждым моим шагом, тщательно запирает на ключ книжный шкаф, лишая меня доступа в свою библиотеку, и не терпит более, чтобы я, как бывало, располагался среди манускриптов на его письменном столе.

Так я в самом юном и нежном возрасте уже познал горе и заботу! Быть непризнанным, даже осмеянным, — что может причинить горшие страдания гениальному коту?! Натолкнуться на препятствия там, где ожидаешь наивозможнейшего поощрения, — что может сильнее ожесточить великий ум?! Но чем тяжелее гнет, тем сильнее сопротивление, чем туже натянута тетива, тем дальше полет стрелы. Мне запретили читать

— что ж, тем свободнее творил мой дух, черпая силы в самом себе. Удрученный, я частенько наведывался в погреб нашего дома и слонялся там много дней и ночей; привлекаемое расставленными здесь мышеловками, в погребе собиралось многочисленное общество котов самого различного возраста и положения.

От смелого философского ума нигде не укроются даже самые таинственные взаимосвязи жизни, он всегда познает, как из этих взаимосвязей складывается сама жизнь с ее помыслами и делами. В погребе я и наблюдал отношение котов и мышеловок в их взаимодействии. Мне, коту истинно благородного направления ума, стало горько, когда я убедился, что эти мертвые машины, которые захлопываются с механической точностью, порождают великую лень в кошачьем юношестве. Я взялся за перо и написал бессмертное творенье, уже упомянутое выше, а именно: «О мышеловках и их влиянии на образ мыслей и дееспособность кошачества». Этой книгой я как бы заставил изнеженных юных котов взглянуть в зеркало и увидеть самих себя, потерявших веру в свои силы, бездеятельных, флегматично взирающих на гнусных мышей, которые безнаказанно охотятся за салом. Своими громовыми речами я встряхнул их, пробудил ото сна. Помимо того что это произведение должно было доставить большую пользу всем, я и лично извлек из него одну выгоду: на некоторое время я был избавлен от необходимости ловить мышей, да и много спустя после того, как я столь решительно высказался против лени, никому не приходило в голову требовать, чтобы я на собственном примере показал проповедуемое мною геройство.

На этом я мог бы, пожалуй, закончить воспоминания о первом периоде моей жизни и перейти к месяцам юности, примыкающим к периоду возмужалости, но я не могу лишить благосклонного читателя удовольствия послушать две последних, я бы сказал, восхитительных строфы из моей «Глоссы», ознакомиться с которыми у моего хозяина не достало терпения:

*Но я знаю — невозможно
Устоять пред искушеньем,
Если под кустом весенним
Клич любви звучит тревожно.
Миг! И влип неосторожно,
Когда в радости греховой
Из кустов летит, как чудо,*

*Как порыв, как вихрь любовный,
Милая на клич условный, —
Нас любовь отыщет всюду!
Жажда счастья сердце мучит,
Страсть дурманит разум сладко,
Только эта лихорадка
В скором времени наскучит.
Дружбу нас ценить научит
Жажда дела, жажда спора —
С другом радостно вдвоем!
Чтоб найти его, сквозь горы
Я пройду, сквозь все заборы:
Дружбу ищут днем с огнем!*

(Мак. л.) ...как раз в тот вечер он был добродушен и весел, чего давно за ним не замечалось.

Благодаря этому и свершилось нечто неслыханное: он не вспыхнул и не убежал, как обычно делывал в таких случаях, а спокойно, даже с благожелательной улыбкой выслушал очень длинный и еще более скучный акт бездарнейшей трагедии, сочиненной молодым, подающим надежды, великолепно завитым лейтенантом, отличавшимся отменным цветом лица, который прочитал ее со всем пафосом счастливейшего в мире поэта. Мало того, когда упомянутый лейтенант, закончив чтение, горячо попросил капельмейстера высказать мнение о его пьесе, тот изобразил на лице своем полный восторг и заверил юного героя войны и поэзии, что его вступительный акт — поистине изысканнейшее блюдо для эстетствующих лакомок и содержит великолепные, глубокие мысли, за гениальную самобытность каковых говорит то обстоятельство, что они посещали и великих, признанных поэтов, как-то: Кальдерона, Шекспира и в более поздние времена — Шиллера. Лейтенант пылко обнял его и с таинственной миной поведал, что еще сегодня вечером собирается осчастливить целый кружок избраннейших девиц, среди коих есть даже одна графиня, читающая по-испански и пишущая масляными красками, превосходнейшим из когда-либо написанных первых актов. Крейслер заверил его, что это — весьма благородно с его стороны, и молодой поэт, начиненный энтузиазмом, поспешил ретироваться.

— Я не понимаю, что с тобой сегодня, — заговорил наконец

маленький тайный советник, — не понимаю, милый Иоганнес, откуда такая сверхъестественная кротость! И как только у тебя хватило терпения внимательно слушать эту пошлую стряпню! Я просто в ужас пришел, когда лейтенант напал на нас, беззащитных, не подозревавших об опасности, и опутал сетями своих бесконечных виршей. Я так и ждал, что ты не выдержишь, как обычно бывает с тобою по более ничтожным поводам; но ты сидишь спокойно, во взгляде твоём даже читается одобрение, и под конец, когда я уже чувствую себя совершенно разбитым и несчастным, ты разделяешься с беднягой, обрушив на него всю свою иронию, коей он даже не в состоянии оценить! И хоть сказал бы ему в виде предупреждения на будущее, что пьеса его страдает длиннотами и хирургическое вмешательство ей отнюдь не повредило бы.

— Ах, — возразил Крейслер, — и чего бы я добился таким жалким советом? Ежели столь плодovitый поэт, как наш любезный лейтенант, и произведет ампутацию своих стихов с некоторой для них пользой, то разве не отрастут они сей же час снова? Или ты не знаешь, что стихи наших молодых рифмоплетов обладают способностью самовоспроизведения, как хвосты у ящериц, которые прытко отрастают, будучи даже отрезаны у самого основания? Но если ты воображаешь, что я внимательно слушал заунывное чтение лейтенанта, то ты глубоко заблуждаешься!.. Гроза пролетела, травы и цветы в маленьком саду подняли склоненные головки и жадно впитывали небесный нектар, редкими каплями падавший из пелены облаков. Я стоял под большой цветущей яблоней и слушал замиравший далеко в горах голос грома. Он отзывался в душе моей Пророчеством неисповедимых свершений, я любовался лазурью небес, тут и там проглядывавшей голубыми очами сквозь бегущие облака. Вдруг дядя крикнул, чтобы я поскорее бежал домой, иначе испорчу сыростью новый цветистый шлафрок или схвачу насморк, гуляя по мокрой траве. Но оказалось, то был вовсе не дядя: какой-то пересмешник-попугай или болтливый скворец, то ли из-за куста, то ли из куста, уж не знаю откуда, взялся поддразнивать меня нелепой шуткой, выкрикивая на свой манер ту или иную драгоценную для меня мысль Шекспира. Ах, то снова предомной он, лейтенант, со своей трагедией! Так вот, тайный советник, примечай-ка, именно воспоминание детских лет увлекло меня в ту минуту далеко от тебя и от лейтенанта. Я будто в самом деле стоял в дядюшкином саду, мальчишкой не старше двенадцати лет, в шлафроке из ситца прелестнейшего рисунка, какой могла измыслить самая буйная фантазия ситцевого фабриканта, — и напрасно расточал ты сегодня благовония своего курительного порошка: до меня не доходило ничего, кроме аромата

моей яблони в цвету, я не чуял даже запаха помады, потраченной на волосы нашего рифмоплета, который не имеет — увы! — надежды защитить когда-либо голову от дождя и ветра лавровым венком, более того, не смеет покрывать ее ничем, кроме войлока или кожи, выделанных по уставу в виде кивера. Довольно, милый мой, из нас троих ты один оказался жертвенным агнцем, подставившим шею под адский нож трагедии нашего пиита. Ибо, покуда я, тщательно укутав конечности в детский шлафрок, с двенадцатилетней и двенадцатилотной легкостью прыгнул в уже знакомый нам садик, маэстро Абрагам, как видишь, успел испортить три или четыре листа наилучшей нотной бумаги, выкраивая всякие уморительные фантастические фигурки. Выходит, что и он ускользнул от лейтенанта!

Крейслер был прав: маэстро Абрагам искусно вырезал из листов бумаги разные силуэты; но хотя в путанице линий ничего нельзя было разобрать, стоило осветить их сзади, и они отбрасывали на стену тени затейливых фигурок и целых групп. Маэстро вообще не выносил никакой декламации, а вирши лейтенанта и вовсе показались ему невыносимыми; как только лейтенант начал, он, не стерпев, жадно схватил плотную нотную бумагу, случайно оказавшуюся на столе тайного советника, достал из кармана ножницы и занялся делом, всецело отвлекшим его от злокозненного покушения рифмоплета.

— Послушай, Крейслер, — начал тайный советник, — итак, в памяти твоей всплыло воспоминание отроческих лет, и я готов, пожалуй, приписать этому твою кротость и сегодняшнее благодушие — послушай же, дорогой любимый друг! Мне, как, впрочем, всем, кто тебя уважает и любит, не дает покоя мысль о том, что я ровно ничего не знаю о ранних годах твоей жизни; ты всегда неприязненно отклоняешь малейшую попытку заглянуть в твое прошлое и умышленно набрасываешь на него покров тайны, который, однако, подчас бывает достаточно прозрачным, чтобы возбудить любопытство, ибо сквозь него просвечивают причудливо мелькающие картины. Будь же откровенен с теми, кого ты уже подарил своим доверием.

Крейслер взглянул на тайного советника широко раскрытыми глазами, будто человек, пробудившийся от глубокого сна и вдруг увидевший перед собою незнакомое лицо, и заговорил самым серьезным тоном:

— В день Иоанна Златоуста, то есть двадцать четвертого января года одна тысяча семьсот... надцатого в полдень родилось дитя с лицом, руками и ногами. Отец в ту минуту как раз хлебал гороховый суп и на радостях пролил себе на бороду полную ложку, над чем роженица, даже не видевши мужа, так безудержно рассмеялась, что от сотрясения лопнули все струны

на лютне некоего музыканта, игравшего для младенца веселый мурки. Лютнист тут же поклялся атласным чепцом своей бабушки, что где-где, а уж в музыке новорожденный Ганс Простак на веки вечные обречен оставаться жалким тупицей. Тогда отец утер себе бороду и патетически провозгласил: «Да, я нареку его Иоганнесом, но простаком он никогда не будет!» Тут лютнист...

— Прошу тебя, — перебил капельмейстера маленький тайный советник, — прошу тебя, Крейслер, не впадай ты в свой проклятый юмор, у меня от него, скажу прямо, дух занимается. Разве я требую у тебя прагматическую биографию? Я только прошу, чтобы ты позволил мне полюбопытствовать, как ты жил до нашего знакомства. По правде говоря, не следует тебе осуждать мое любопытство, единственный источник его — идущее от чистого сердца искреннейшее расположение. Да и, кроме того, поскольку поведение твое довольно своеобразно, всякий вправе думать, что только самая бурная жизнь, только цепь самых баснословных приключений могли замесить и вылепить ту психическую форму, в которую ты отлит.

— О, какое чудовищное заблуждение! — отозвался Крейслер, тяжело вздохнув. — Юность моя подобна иссушенной пустыне, без цветов и тени, где ум и чувство притупляются в беспросветном однообразии.

— Ну нет, — воскликнул тайный советник, — это не совсем верно, я знаю, по крайней мере, что в этой пустыне разросся прехорошенький маленький садик с яблоней в цвету, аромат коей заглушил запах моего лучшего табака. И вот, Иоганнес, я думаю, ныне ты наконец поделишься с нами воспоминаниями о своей ранней юности, которые, как ты только что признался, сегодня полонили твою душу!

— Я бы тоже сказал, — заговорил маэстро Абрагам, отделявая тонзуру у только что вырезанного им капуцина, — я бы тоже сказал, Крейслер, что вы сегодня в подходящем настроении и не можете придумать ничего лучшего, как отомкнуть свою душу, или сердце, или называйте как хотите ваш сокровенный ларчик с драгоценностями, и выудить оттуда кое-что для нас. И раз уж вы проболтались, что, несмотря на запреты озабоченного дядюшки, выбегали на дождь, чтобы суеверно слушать пророчества замирающего грома, то продолжайте рассказывать, как все тогда происходило. Только не лгите, Иоганнес, вам хорошо известно, что я неотступно следил за вами, начиная, во всяком случае, с того времени, когда на вас надели первые панталоны и заплели вам первую косичку.

Крейслер собирался что-то возразить, но маэстро Абрагам быстро обернулся к тайному советнику и сказал:

— Вы не поверите, любезнейший, до чего наш Иоганнес предан злему

демону лжи, когда он, что, впрочем, случается крайне редко, начинает рассказывать о своей ранней юности. Послушать его, так он в том возрасте, когда дети едва лепечут «па-па, ма-ма» и тычут пальчиком в огонь, уже все подмечал и умел глубоко заглядывать в человеческое сердце!

— Вы несправедливы ко мне, — кротким голосом проговорил Крейслер и мягко улыбнулся. — Вы весьма несправедливы ко мне, маэстро. Неужто я бы осмелился водить вас за нос, похваляясь своими рано пробудившимися талантами и тем уподобившись иным тщеславным пустозвонам? Но я спрашиваю тебя, тайный советник, не случилось ли с тобой, что вдруг яркой вспышкой освещаются в памяти минуты жизни, каковую многие люди выдающегося ума называют растительным прозябанием, признавая в ней наличие лишь голого инстинкта, в чем животные нас, как известно, превосходят. Я полагаю, причина тут вот какая: вечной тайной остается для нас мгновение, когда впервые пробуждается ясное сознание. Будь такое пробуждение внезапным, человек просто умер бы от ужаса. Кто не испытал страха в первую минуту пробуждения от глубокого сна, когда все наши чувства, на время как бы покинувшие нас, возвращают нас к состоянию бодрствования, к осознанию самого себя? Словом, не вдаваясь в излишние мудрствования, я думаю все же, что от всякого сильного впечатления той переходной поры, оставившего глубокий след в психике ребенка, безусловно сохраняется зародыш, пускающий ростки по мере того, как развиваются духовные способности; следовательно, всякая скорбь, всякая радость тех предрассветных часов продолжают жить в нас, и вот почему, когда нас будят нежные, полные грусти голоса дорогих нам людей, нам кажется, что мы слышим эти голоса во сне, тогда как они действительно живут и не перестают звучать в нашей груди. Но я знаю, на что намекает маэстро. Он имеет в виду не что иное, как историю с покойной тетушкой Фюсхен, которую он просто-напросто отрицает, а я, чтобы допечь его, расскажу ее именно тебе, тайный советник, ежели дашь слово не корить меня за излишнюю ребяческую сентиментальность... То, что я рассказал тебе о гороховом супе и лютнисте...

— Ах, молчи, молчи, — перебил Крейслера тайный советник, — теперь я вижу, ты принялся и меня дурачить, а это уж никуда не годится.

— Да вовсе нет, — возразил Крейслер, — вовсе нет, душа моя! Но мне должно непременно начать с лютниста, ведь он образует естественный переход к лютне, божественные звуки которой баюкали сладкий сон дитяти. Младшая сестра моей матери виртуозно играла на этом инструменте, в наше время выброшенном на музыкальные задворки.

Степенные мужчины, умеющие писать, и считать, и даже делать кое-что иное, в моем присутствии проливали слезы при одном воспоминании об игре на лютне покойной мамзель Софи, а мне, беспомощному дитяти, в коем сознание уже пустило ростки, но еще не облеклось в мысли и слова, мне и вовсе простительно, если я жадными глотками впивал всю нежную печаль чудесных волшебных звуков, изливавшихся из глубины души музыкантши. Тот лютнист, что играл у моей колыбели, был учителем покойной тети Фюсхен; этот человечек небольшого роста, с безобразно кривыми ногами, по имени мосье Туртель, носил очень опрятный белый парик с широким кошельком и красный плащ. Я рассказываю все это лишь для того, чтобы доказать, как отчетливо стоят у меня перед глазами образы тех дней, дабы маэстро Абрагам, равно как и все остальные, не сомневались в моей правдивости, когда я утверждаю, что, не достигши даже трех лет, помню себя на коленях молодой девушки, чьи кроткие глаза заглядывали мне прямо в душу; что по сей день у меня в ушах звучит ее мелодичный голос, говоривший со мною, напевавший мне песни; что я помню, как к этому прелестному созданию устремлялась вся моя любовь, вся моя нежность. Это и была тетя Софи, которую называли забавным уменьшительным именем Фюсхен.

Однажды я весь день проплакал оттого, что не видел тети Фюсхен. Няня принесла меня в комнату, где на кровати лежала моя милая тетя, но какой-то старый господин, сидевший возле нее, быстро вскочил и, крепко разбрав няню, державшую меня на руках, выпроводил нас вон. Вскоре после того меня одели, закутали в толстые платки и отнесли в чужой дом к незнакомым людям, и все они уверяли, будто они — мои тети и дяди, что тетя Фюсхен очень больна и если бы я остался у нее, то не миновал бы тоже болезни. Несколько недель спустя меня вернули на прежнее место. Я плакал, я кричал, я рвался к тете Фюсхен. Попав в ее комнату, я бросился к постели, где тогда лежала больная, и раздвинул полог. Кровать была пуста, а какая-то особа, тоже одна из моих теток, проговорила со слезами на глазах: «Ты не найдешь ее, Иоганнес, она умерла, ее закопали в землю».

Я понимаю, конечно, что смысл этих слов не мог тогда дойти до меня, но даже теперь, вспоминая ту минуту, я весь содрогаюсь от безотчетного чувства, охватившего меня тогда. Сама смерть заковала меня в свой ледяной панцирь, ее ужасом прониклось все мое существо, под ее холодным дыханием умерла всякая радость первых лет детства. Не помню и, возможно, никогда не узнал бы, что я делал дальше, но мне часто рассказывали, что я медленно опустил полог, безмолвно постоял несколько минут, а потом, словно в глубоком раздумье, словно размышляя над тем,

что мне сейчас сказали, сел на стоявший рядом маленький плетеный стульчик. Говорили еще и о том, как трогательна была эта тихая скорбь ребенка, обыкновенно склонного к самым бурным проявлениям чувств, и даже боялись, как бы это не имело вредных последствий для моего духовного развития, потому что я в течение нескольких недель оставался в таком состоянии, не плакал, не смеялся, не затевал игр, не отвечал на ласковые слова, не замечал ничего вокруг.

В эту минуту маэстро Абрагам взял в руки причудливо изрезанный вдоль и поперек лист бумаги, загородил им зажженную свечу, и на стене отразился целый сонм монахинь, игравших на каких-то невиданных инструментах.

— Ого, — вскричал Крейслер, увидев святых сестер, чинно выстроившихся в ряд, — ого, маэстро, знаю, что вы хотите мне напомнить! И я опять-таки дерзко настаиваю на том, что вы напрасно отругали меня тогда, назвав упрямым, неразумным мальчишкой, который способен диссонирующим голосом своей глупости сбить с тона и такта всех певиц и музыкантш целого монастыря. Разве в то время, когда вы привезли меня в обитель святой Клариссы, что в двадцати или тридцати милях от моего родного города, где впервые дали мне послушать настоящую католическую церковную музыку, разве тогда, скажите, не имел я права на самое лихое озорство, ведь то были мои озорные годы! И разве не прекрасно, что, невзирая на это, давно забытая скорбь трехлетнего ребенка воскресла с новой силой и породила экстаз, наполнивший сердце мое всеуничтожающим восторгом и мучительной тоской? Разве не имел я права уверять и, несмотря на уговоры, остаться при своем мнении, что это моя тетя Фюсхен, и никто иной, играла на дивном инструменте *trompette marine* [29], хотя она давным-давно умерла? Зачем удержали вы меня, помешали пробраться в хор, где я непременно нашел бы тетю в ее зеленом платье с розовыми бантами? — Тут Крейслер устремил взор на стену и продолжал взволнованным, дрожащим голосом: — Смотрите, вон она, вон моя тетя Фюсхен. Она выше всех монахинь, потому что встала на маленькую скамеечку, чтобы удобней было держать тяжелый инструмент.

Но тайный советник встал перед ним, заслонив тeneвую картину, взял Крейслера за плечи и промолвил:

— Ей-же-ей, Иоганнес, было бы разумнее не предаваться сумасбродным фантазиям и не твердить об инструментах, каких на свете не бывало, ибо я, например, никогда в жизни не слыхивал о морской трубе!

— О, — воскликнул маэстро Абрагам, смеясь и бросая под стол изрезанный лист бумаги, отчего разом исчезли все монахини и вместе с

ними химерическая тетя Фюсхен и ее морская труба, — о почтеннейший тайный советник, господин капельмейстер всегда был и поныне остается спокойным, рассудительным человеком, и вовсе он не фантаст и не острослов, за какового многие охотно выдают его. Разве не могло случиться, что музыкантша после своей кончины с успехом сменила лютню на волшебный инструмент, каковой еще в наши дни, сколько бы вы ни удивлялись, изредка встречается в женских монастырях. Как! Морской трубы, по-вашему, не существует? Потрудитесь открыть на этом слове «Музыкальный лексикон» Коха, который, конечно, имеется в вашей библиотеке.

Тайный советник так и сделал и прочитал вслух:

— «Этот старинный, весьма простой смычковый инструмент состоит из трех тоненьких семифутовых дощечек; ширина его внизу, где он касается пола, достигает шести-семи дюймов, наверху же только двух дюймов; дощечки склеены в виде треугольника, и весь корпус постепенно суживается кверху, где он снабжен колками. Одна из трех дощечек представляет собою деку, в ней просверлены несколько отверстий и натянута одна довольно толстая кишечная струна. Во время игры инструмент ставят наклонно к себе и опираются грудью на верхнюю часть его. Большим пальцем левой руки играющий касается струны в разных местах, в зависимости от высоты тона, но очень легко, к примеру так, как при флей-тино или флажолетах на скрипке, а правой рукой водит по струне смычком. Своеобразный тембр инструмента, напоминающий приглушенный звук трубы, возникает от кобылки, на которой внизу, на резонирующей деке, покоится струна. Эта кобылка формой напоминает маленький башмачок, спереди совсем тоненький и низкий, а сзади выше и толще. На задней части ее и лежит струна; когда водят смычком, ее колебания приподнимают вверх и вниз переднюю, более легкую часть кобылки на резонирующей деке, отчего и получается носовой звук, вроде приглушенного звука трубы».

— Соорудите мне такой инструмент, — воскликнул тайный советник, и глаза у него загорелись. — Соорудите мне такой инструмент, маэстро Абрагам, и я заброшу в угол свою маленькую скрипку, не дотронусь больше до эффона, а буду изумлять двор и весь город, играя на морской трубе самые распрекрасные песни.

— Я это сделаю, — согласился маэстро, — и да спустится к вам, милейший тайный советник, дух тети Фюсхен в платье из зеленой тафты и да одухотворит ваш дух.

Тайный советник восторженно обнял маэстро, но Крейслер встал

между ними и сказал с некоторой досадой:

— Эх, а вы-то, оказывается, острословы почище, чем я был когда-то, и вдобавок безжалостные к тому, кого якобы любите! Не довольно ли того, что вы, разбирая по косточкам инструмент, звук которого некогда всколыхнул всю мою душу, будто плеснули холодной воды на мой пылающий лоб, — оставьте по крайней мере лютнистку в покое! Что ж, тайный советник, ты пожелал услышать рассказ о моей юности, а маэстро в дополнение выкроил теневые картинки, изображающие отдельные события той поры, — теперь ты можешь быть доволен прекрасным изданием очерков моей жизни, украшенным гравюрами его работы. Но когда ты читал статью из Коха, мне припомнился его коллега-лексикограф Гербер, и я увидел себя трупом, распростертым на столе, готовым к биографическому вскрытию. Прозектор, конечно, сказал бы: «Надобно ли удивляться, что в теле сего молодого человека по тысяче жил и жилок течет чистейшая музыкальная кровь, ведь такая была у всех его кровных родичей, почему он и оказался с ними в кровном родстве». А понимать это следует так, что большинство моих теток и дядей, которых у меня было изрядное количество, — как давно знает маэстро и о чем теперь осведомлен и ты, — любили музицировать, да еще большей частью на инструментах уже тогда весьма редких, а ныне почти совсем исчезнувших, вот почему я теперь только во сне слышу те необычайные концерты, какие услаждали мой слух примерно до десяти-одиннадцатилетнего возраста. Вполне возможно, что именно потому мой музыкальный талант уже в зародыше получил направление, сказавшееся в своеобразной манере инструментовки, которая ныне осуждена за ее чрезмерную фантастичность. Если ты, тайный советник, можешь воздержаться от слез, слушая хорошую игру на стариннейшем инструменте *viola d'amore*, то благодари создателя за свои крепкие нервы; что до меня, то я не на шутку ревел, слушая игру кавалера Эссера и еще ранее игру высокого видного мужчины в сутане, которая необыкновенно шла к нему, — опять-таки одного из моих дядей. Так же великолепно владел *viola di gamba* и другой мой родственник, хотя его, и не без основания, обвинял в недостатке ритма тот самый дядя, что меня воспитывал, или, вернее, вовсе не воспитывал; сам он терзал клавиесин с варварской виртуозностью. Бедняга подвергся немало презрению всего семейства, когда открылось, что он превесело отплясывал менуэт à la Pompadour ^[30] под музыку сарабанды. Многие мог бы я вам порассказать о музыкальных увеселениях моих родственников, нередко единственных в своем роде, но я бы не удержался от гротеска, а вы стали бы смеяться, меж тем выставя моих достойнейших родичей на осмеяние воспрещает мне

respectus parentelae [31].

— Иоганнес, — прервал его тайный советник, — Иоганнес! Ты сегодня так покладист, что, пожалуй, не разгневаешься, если я затрону в твоём сердце струну, прикосновение к которой может причинить тебе боль. Ты все говоришь о своих дядях и тетях, но ни разу не упомянул ни отца, ни матери.

— О друг мой, — ответил Крейслер, глубоко взволнованный. — О друг мой, как раз сегодня я подумал... но нет, довольно воспоминаний и грез, довольно о том мгновении, что ныне вызвало к жизни непонятную скорбь ранних мальчишеских лет, от коей я и по сей день не вполне излечился. Позже душу мою осенил покой, подобный таинственной тишине леса после промчавшейся над ним грозы! Да, маэстро, вы правы, я стоял под яблоней и прислушивался к пророческому голосу замирающего грома! А ты, друг мой, скорее представишь себе, в каком глухом отупении я жил несколько лет, потерявши тетю Фюсхен, если я скажу тебе, что кончина матери, приключившаяся в тот промежуток времени, не произвела на меня сколько-нибудь заметного впечатления. Не стану объяснять, почему отец отдал, или вынужден был отдать, меня на попечение брата моей матери, — подобные положения ты легко найдёшь в любом затасканном семейном романе или в какой-нибудь комедии Ифланда, живописующей семейные невзгоды. Достаточно сказать, что я прожил годы отрочества, да и добрую часть юношества, в безутешном однообразии, и это надо бы приписать только тому, что я рос без родителей. Самый дурной отец, я полагаю, все же лучше самого прекрасного опекуна, и мороз подирает по коже, когда видишь, как родители в холодном неразумии отстраняются от детей своих, определяя их в то или иное воспитательное заведение, где бедняжек перекраивают по одной мерке и причесывают под одну гребенку, не соображаясь с их индивидуальностью, каковая только родителям может раскрыться с совершенной полнотой. А если говорить о воспитании, то должно ли удивляться, что я плохо воспитан, ведь дядюшка мой вовсе меня не воспитывал, а бросил на произвол приходящих на дом учителей, ибо мне не разрешалось ни посещать школу, ни общением с другими мальчиками моего возраста нарушать тишину уединенного дома моего холостого дяди, где он обитал вдвоем со старым унылым слугой.

У меня в памяти сохранились только три случая, когда мой дядя, до тупости безразличный и чересчур уж спокойный, совершил краткий акт воспитания — то есть наградил меня оплеухой, так что за все отроческие годы я действительно получил всего три оплеухи. Поскольку я сегодня непристойно разболтался, я мог бы, конечно, преподнести тебе, тайный

советник, историю этих трех пощечин в виде романтического трилистника, но я выделяю только средний листочек, ибо знаю, что ты особенно падок до подробностей, касающихся моего музыкального образования, и тебе не безразлично будет узнать, как я впервые в жизни сочинял музыку.

Дядя владел довольно обширной библиотекой, в которой мне разрешалось рыться сколько угодно и читать что вздумается. Однажды мне попала под руку «Исповедь» Руссо в немецком переводе. Я жадно проглотил эту книгу, отнюдь не предназначенную для двенадцатилетнего мальчугана и способную заронить в детскую душу зловредные семена. Но лишь один из всех весьма рискованных эпизодов книги до того заполнил мое воображение, что я только о нем и думал. Подобно электрическому удару поразил меня рассказ о том, что Руссо, еще будучи мальчиком, совершенно не сведущим ни в гармонии, ни в контрапункте, не имея никаких вспомогательных пособий, властно гонимый лишь врожденным гением музыки, решился сочинить оперу; как он опустил полог кровати, как бросился на нее ничком, чтобы вполне отдаться своей вдохновенной фантазии, как в душе, словно прекрасный сон, зазвучало его творение. Ни днем ни ночью не оставляла меня мысль о том мгновении, когда на маленького Руссо снизошла, казалось мне, наивысшая благодать!

Нередко я уже чувствовал и себя причастным к этой благодати, и мнилось мне, что лишь только от моей твердой решимости зависит вознестись на крыльях в желанный рай, ибо и меня окрылял тот же могучий гений музыки.

Короче, я должен был пойти по стопам своего кумира. И вот однажды, в ненастный осенний вечер, когда дядя, против обыкновения, вышел из дому, я тотчас же опустил полог, бросился на дядюшкину постель, ожидая вдохновения, дабы свершилось зачатие оперы, как у Руссо. Но сколь ни великолепны были все приготовления, сколь я ни тужился, призывая поэтическое наитие, оно упорно противилось и не слетало ко мне! Вместо волшебных мелодий, которые должны были во мне зародиться, в ушах не переставая жужжала дрянная старая песенка с плаксивыми словами: «Любил я лишь Исмену, Исмена — лишь меня!» И как я ни старался отогнать ее, я не мог от нее отвязаться. «Сейчас начнется торжественный хор жрецов «В горних высях Олимпа!»!» — восклицаю я, но в ушах по-прежнему жужжит и жужжит не переставая: «Любил я лишь Исмену...», да так назойливо, что наконец я крепко засыпаю... Разбудили меня громкие голоса, в нос лезла удушливая вонь, от которой я чуть не задохся! Комната была полна густого дыма, в облаках его стоял дядя. Он затаптывал ногами остатки горящей занавески, закрывавшей платяной шкаф, и вопил: «Воды!

Воды сюда!» Наконец старый слуга принес достаточное количество воды, вылил ее на пол и загасил пожар. Дым медленно уплывал в окно.

«И куда только запропастился этот нашкодивший сорванец?» — повторял дядюшка, освещая все углы. Я хорошо понял, кого он имел в виду, и притаился в постели, как мышонок, но дядя обнаружил меня и гневным окриком: «А ну-ка вылезай!» — заставил вскочить на ноги. «Злодей, да ты поджег мой дом!» — продолжал он бушевать. На дальнейшие расспросы дядюшки я с полным хладнокровием пояснил, что, по примеру мальчика Руссо, вычитав о том в его «Исповеди», я, лежа в постели, сочинял *opera seria* ^[32] и не имею ни малейшего понятия, отчего возник пожар. «Руссо? Сочинять? *Opera seria*... Олух!» Дядя даже заикался от ярости и отпустил мне такую затрещину, вторую в моей жизни, что я, оцепенев от ужаса, безмолвно застыл на месте; в эту минуту, будто отзвук удара, в ушах моих совершенно отчетливо прозвучало: «Любил я лишь Исмену...» С того случая я испытываю живейшее отвращение и к этой песенке и ко всякому музыкальному сочинительству.

— Но отчего все же возник пожар? — спросил тайный советник.

— Мне и по сей день непонятно, — ответил Крейслер, — каким образом занялась занавеска, а заодно погиб нарядный шлафрок дядюшки и три или четыре превосходно завитых тупея, из которых дядюшка составлял свою прическу. Но я почему-то всегда думал, что оплеуха мне досталась не за пожар, к которому я был непричастен, а только за попытку сочинить оперу...

Как ни странно, дядя строго настаивал, чтобы я занимался музыкой, хотя учитель мой, обманутый внезапно пробудившимся во мне отвращением к этому занятию, считал меня полностью лишенным музыкального дара. В остальном дядюшке было совершенно безразлично, чему я учился и чему не учился. Иногда он, правда, выражал досаду по поводу того, что меня трудно приохотить к музыке, и когда несколько лет спустя музыкальный дар мой буйно развился, затмив все остальные мои таланты, — я было однажды подумал: то-то дядюшка обрадуется. Однако ничуть не бывало. Он лишь слегка усмехался, замечая, что племянник достиг изрядной виртуозности в игре на нескольких инструментах, и даже начал, к удовольствию своих учителей и прочих знатоков музыки, сочинять всякие безделицы. Да, он лишь слегка усмехался и, когда меня при нем осыпали похвалами, отвечал с лукавой миной: «Гм... мой маленький племянник порядочный сумасброд!»

— Тем более для меня остается загадкой, — вступил в разговор тайный советник, — как мог дядюшка противиться твоей склонности и толкать тебя на совершенно иной путь. Ведь, насколько мне известно,

капельмейстером ты сделался не столь давно.

— Да и ненадолго! — со смехом заметил маэстро Абрагам и, отбрасывая на стену тень вырезанной из бумаги фигурки маленького смешного человечка, добавил: — Но теперь я должен вступить за славного дядюшку, которому некий беспутный племянник дал прозвище Горе-дядя только потому, что тот имел обыкновение подписываться инициалами своего имени — Готфрид Ренцель — Г. Р. Да, так вот, я должен за него вступить и заявить во всеуслышание, что если капельмейстеру Иоганнесу Крейслеру взбрело на ум сделаться, себе на погибель, советником посольства и заниматься делами, противными его природе, то менее всего в том повинен Горе-дядя!

— Молчите, — перебил его Крейслер, — молчите об этом, маэстро, и уберите со стены дядюшку: как ни был он смешон, нынче я отнюдь не расположен смеяться над стариком, давно покоящимся в могиле!

— Да вы нынче сентиментальны сверх всякой меры! — возразил маэстро, но Крейслер оставил его слова без внимания и обратился к тайному советнику:

— Ты пожалеешь о том, что заставил меня болтать, надеясь услышать что-нибудь из ряда вон выходящее, ведь я могу угостить тебя лишь самыми обыденными историями, какие встречаются в жизни на каждом шагу. Так узнай же, что не принуждение воспитателя, не причудливый каприз судьбы, нет, — естественный ход событий столкнул меня с пути моего, так что я невольно очутился там, куда отнюдь не желал попасть. Ты, наверное, примечал, что в каждой семье есть человек, которого особенно блестящие дарования или счастливое стечение обстоятельств поднимают на известную высоту. Подобно герою возвышается он над кругом милых родственников, умиленно взирающих на него снизу вверх, и повелительным тоном произносит непререкаемые сентенции! Так обстояло дело и с младшим братом моего дядюшки, который улетел из семейного музыкального гнезда и сделался в столице довольно важной персоной, дослужившись до чина тайного советника посольства при особе князя. Его возвышение повергло все семейство в почтительный восторг, не ослабевавший с годами. Младшего дядю с торжественной серьезностью величали «советником посольства», и когда говорили: «Тайный советник посольства написал то-то и то-то» или «Тайный советник посольства сказал так-то и так-то» — все слушали в немом благоговении. Привыкнув с детства смотреть на столичного дядю как на особу, достигшую высшей цели всех человеческих устремлений, я, естественно, пришел к выводу, что мне не остается ничего другого, как следовать его примеру. Портрет знатного дядюшки висел в

парадной зале, и я ничего не желал сильнее, чем быть завитым и одетым, как дядя на портрете. Это желание было удовлетворено моим опекуном, и я, к тому времени десятилетний мальчуган, надо полагать, выглядел довольно забавно в непомерно высоком завитом тупее с кошельком, в ярко-зеленом кафтане с тонким серебряным шитьем, в шелковых чулках и при маленькой шпаге. Эта ребяческая фантазия пускала с годами все более глубокие корни. Чтобы приохотить меня к скучным наукам, достаточно было напоминания, что без ученья нельзя достигнуть, подобно дяде, поста советника посольства. Мысль, что одно лишь искусство, переполнявшее мне душу, составляет настоящее мое призвание, единственное доподлинное назначение всей моей жизни, не приходила мне в голову, тем более что я привык к разговорам, будто музыка, живопись, поэзия — прекрасные вещи, служащие для услаждения слуха и приятного времяпрепровождения, но и только. Быстрота, с какой я благодаря полученному образованию и протекции дядюшки, ни разу не натолкнувшись на препятствия делал в столице карьеру, избранную мною до некоторой степени по доброй воле, не оставляла мне ни минуты свободной, чтобы оглядеться и осознать, на какой ложный путь я вступил. Цель достигнута, назад возврата нет! Но вдруг наступила минута, когда искусство, от которого я отрекся, отомстило за себя, когда мысль о загубленной жизни пронизала меня неизбывной скорбью, когда я почувствовал себя закованным в цепи, которые не в моей власти было расторгнуть!

— Итак, благословенна будь целительная катастрофа, избавившая тебя от оков! — воскликнул тайный советник.

— Как бы не так, — возразил Крейслер. — Избавление пришло слишком поздно. Со мной случилось то же, что с узником, выпущенным наконец на свободу: он так отвык от мирской суеты и дневного света, что уже не мог наслаждаться золотой свободой и тосковал по своей темнице.

— Это всего только одна из ваших сумбурных идей, Иоганнес, — вмешался маэстро Абрагам, — и напрасно вы терзаете ими себя и других! Бросьте! Бросьте! Судьба всегда была к вам милостива, и никто, кроме вас, не повинен в том, что вы не можете идти по торной дороге, а всегда бросаетесь то вправо, то влево. Но признаю — звезда ваша особенно благоприятствовала вам в отроческие годы и...

Раздел второй.

ЮНОША ПРИОБРЕТАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ. БЫВАЛ И Я В АРКАДИИ

(М. пр.)... — Было бы, однако, презанятно и вместе с тем удивительно, — рассуждал однажды вслух мой хозяин, — ежели бы оказалось, что этот sereneкий малый под печкой действительно обладает теми талантами, какие приписывает ему профессор! Гм... Гм... Ведь если так, он мог бы обогатить меня куда скорее, нежели моя Невидимая девушка. Я бы запер кота в клетку и заставил показывать свое искусство публике, которая охотно будет платить за это богатую дань. Ученый кот как-никак стоит больше, нежели скороспелый юноша, напичканный из пятого в десятое чем ни попало. Сверх того, я сберег бы издержки на писца! Да, за этим судариком надобно хорошенько проследить!

Услышав столь коварные речи из уст маэстро, я вспомнил предостережения моей незабвенной маменьки Мины и, опасаясь хотя бы малейшим знаком обнаружить, что я понимаю слова хозяина, твердо решил со всем тщанием скрывать свою образованность. Я читал и писал только по ночам и при этом не раз благодарил божественный промысл, давший нашему презираемому племени хоть одно преимущество перед двуногими существами, кои считают себя, бог знает почему, венцом творения. Смеею заверить, что не нуждался для своих штудий в изделиях ни свечных, ни маслобойных фабрик, ибо фосфор моих глаз ярко светит самой темной ночью. И никто мне не бросит упрека, что от сочинений моих разит ламповым маслом, как то случилось с творениями духа одного античного автора. Нет, они выше этого!

Глубоко убежденный в высоких совершенствах, коими одарила меня природа, я все же вынужден признать, что на нашей грешной земле нет ничего совершенного и все мы отягощены бременем рабской зависимости от самих себя. Я уже не говорю о притязаниях нашей плоти, именуемых врачами ненатуральными, и хотя мне они представляются вполне натуральными, замечу лишь, что эта зависимость весьма ощутительно влияет и на наш психический организм. Разве не вечная истина, что нашему полету ввысь мешают свинцовые гири, о коих нам неизвестно, что они собой представляют, и откуда взялись, и кто ими нас обременил.

Но, пожалуй, лучше, справедливее будет сказать, что все зло происходит от дурного примера, и слабость нашей природы только в том и состоит, что она понуждает нас ему следовать. И, наконец, я вполне убежден, что именно человеческий род предназначен подавать нам этот дурной пример.

Вспомни, возлюбленный юноша-кот, читающий эти строки, не приходилось ли тебе когда-нибудь в жизни впасть в непонятное тебе

самому состоянию, навлекавшее на тебя горчайшие упреки, а подчас даже болезненные укусы твоих собратьев? Ты делался ленив, упрям, драчлив и прожорлив, ни в чем не находил удовольствия, лез туда, где тебе быть не положено, становился для всех обузой, короче — превращался в несноснейшего малого. Утешься же, милый кот! Этот злосчастный период твоей жизни сложился не в силу присущих тебе пороков, нет, ты лишь отдавал дань правящему нами началу. Ты следовал дурному примеру человека, который ввел такое переходное состояние. Утешься, милый кот, ибо и мне пришлось не легче!

В самый разгар моих ночных бдений вдруг нападало на меня отвращение ко всему — такое случается от пресыщения неудобоваримой пищей, — я то и дело засыпал, свернувшись клубком, на той книжке, которую только что читал, на той рукописи, над которой трудился. Моя апатия усиливалась день ото дня, так что под конец я не мог ни писать, ни читать, ни прыгать, ни бегать, ни беседовать с приятелями в погребке или на чердаке. Вместо того я испытывал неодолимую склонность делать все, что было неприятно моему хозяину и его друзьям, лишь бы им досадить. Хозяин долгое время терпел мои проделки и только гнал меня прочь, когда я разваливался именно в тех местах, где он строго запрещал мне лежать, но и он в конце концов был вынужден слегка меня высечь. Я то и дело вскакивал на его письменный стол и до тех пор махал хвостом, покуда однажды не угодил кончиком его в большую чернильницу, и, воспользовавшись этим, стал выводить на полу и на диване самые затейливые узоры. Хозяин, очевидно ничего не смысливший в подобном жанре искусства, разъярился. Я улизнул во двор, но там меня ожидало нечто еще худшее. Огромный кот, внушавший почтение своей величавой наружностью, уже давно выражал недовольство моим поведением; теперь, когда я, надо сказать, весьма неуклюже, попытался утащить у него из-под носа сладкий кус, которым он только что собирался полакомиться, он, не церемонясь, осыпал меня множеством пощечин; я был совершенно оглушен, а из обеих ушей моих потекла кровь. Если не ошибаюсь, этот достойнейший господин приходился мне дядей, ибо чертами он весьма напоминал Мину и фамильное сходство их усов было неоспоримо. Одним словом, сознаюсь, что в ту пору вел самый беспутный образ жизни, так что хозяин, бывало, говорит: «Ума не приложу, Мурр, что с тобой творится. Вернее всего, ты вступил в озорные года!» Хозяин оказался прав, начался для меня роковой переходный возраст — озорные года, — и мне предстояло превозмочь его по дурному примеру людей, которые, как уже сказано, ввели в обиход это опасное состояние, ссылаясь на сокровенные

свойства своей природы.

«Озорными годами» называют люди этот период, хотя иные и за всю жизнь не успевают перебеситься; наш брат, однако, может говорить лишь о неделях, а не о годах; меня же выбросил из них сильный толчок, едва не стоивший мне ноги или двух-трех ребер. Я, по правде говоря, выскочил из озорных недель одним стремительным прыжком.

Расскажу, как это произошло.

Во дворе, где жил мой хозяин, стояла какая-то машина на четырех колесах, с богатой мягкой обивкой внутри, как я узнал позднее, носящая название английской коляски. При тогдашнем моем состоянии ничто не казалось мне более естественным, как вскарабкаться наверх и с большим трудом залезть в эту самую машину. Лежавшие там подушки показались мне весьма располагающими, и с этих пор я большую часть времени проводил в грезах и снах на мягкой обивке коляски.

Однажды сильный толчок и последовавшие за ним топот, грохот, смутный шум разбудили меня как раз в ту минуту, когда передо мной во сне витали сладостные картины заячьего жаркого и прочих восхитительных яств. Кто опишет мой ужас, когда я сообразил, что машина, оглушительно тарахтя, мчится вперед, швыряя меня из стороны в сторону по мягким подушкам. Страх мой возрастал с каждой минутой, наконец, впав в отчаяние, я решился на отважнейший прыжок и выскочил из машины, сопровождаемый насмешливым хохотом демонов преисподней; до меня долетали их дикие голоса, визжавшие мне вдогонку: «Кот... Кот... Брысь, брысь!» Потеряв голову, я в исступлении бросился прочь, камни летели мне вслед, пока я наконец не вбежал в какую-то темную подворотню, где и повалился, совершенно обессиленный.

Через некоторое время над головой у меня послышались шаги снующих взад и вперед людей, и по этим звукам я заключил, ибо мне уже приходилось не раз слышать их, что, должно быть, нахожусь под лестницей. Так оно и оказалось!

Когда я выбрался наружу, — о небо! — во все стороны передо мной разбегались бесконечные улицы, полные незнакомых людей, проходивших мимо. С грохотом катили экипажи, громко лаяли собаки; наконец всю улицу запрудила, сверкая оружием на солнце, огромная толпа людей, и вдруг совсем рядом со мной оглушительно ударили в большой барабан, так что я невольно подпрыгнул на три локтя вверх; представьте себе все это, и вы легко поймете, почему у меня вся душа ушла в пятки! И тогда-то я убедился, что попал в сутолоку светской жизни, которую до тех пор наблюдал только издали, со своего чердака, порой не без тоски, не без

любопытства! А теперь я, неопытный пришелец, очутился в самой гуще этой сутолоки! Опасливо крался я по улице вдоль домов и наконец встретил нескольких юношей моей породы. Я остановился с намерением завязать разговор, однако они только вытаращили на меня свои горящие глаза и вдруг умчались прочь. «Легкомысленные юнцы, — подумал я, — вы не знаете, кто встретился на вашем пути! Так великие умы бродят по белу свету, неузнанные, непонятые! Таков удел мудрости у смертных!» Рассчитывая на более теплое участие со стороны людей, я вскочил на выступ у входа в подвал и несколько раз радостно, призывно, как мне казалось, мяукнул, но все проходили мимо, холодно, безучастно, не удостоивая меня взглядом. Вдруг я увидел хорошенького мальчика со светлыми кудрями, он приветливо смотрел на меня и, щелкая пальцами, звал: «Кис... Кис...»

«Прекрасная душа, ты понимаешь меня», — подумал я, спрыгнул вниз и с ласковым мурлыканьем приблизился к мальчику. Он начал гладить меня, но когда я уже был готов всецело предаться этой дружественной, как я думал, руке, он так сильно ущипнул меня за хвост, что я взвыл от бешеной боли. Вот это-то, видимо, и доставило вероломному злодею наибольшее удовольствие, он захохотал во все горло и, крепко держа меня в руках, собирался повторить свой адский маневр. Тут во мне вспыхнула неистовая злоба, и, пылая жаждой мести, я глубоко вонзил когти в его руки и лицо. Мальчишка с пронзительным визгом выпустил меня, но в тот же миг раздался крик: «Тирас... Картуш... Ату его, ату!» Две собаки, оглушительно лая, бросились за мною в погоню. Я несея, пока не задохнулся, псы преследовали меня по пятам, спасения не было. Не видя ничего от страха, я прыгнул в первое попавшееся окно нижнего этажа, стекла зазвенели, два цветочных горшка, стоявшие на подоконнике, с грохотом упали на пол небольшой комнаты. Женщина, работавшая за столом, испуганно вскочила и крикнула: «Ах ты, мерзкая тварь!» — потом схватила палку и накинулась на меня. Но ее остановили мои горящие злобные глаза, выпущенные когти и отчаянный вопль, который вырвался из груди моей; поднятая для удара палка, как говорится в известной трагедии, точно замерла в воздухе, а женщина стояла передо мной — воплощение ярости, чуждая и воле и свершенью! В это мгновение открылась дверь, и я, быстро приняв решение, проскользнул между ног входившего мужчины и счастливо выбрался на улицу.

В полном изнеможении я дотащился наконец до уединенного местечка, где немного передохнул. Но теперь меня стал терзать свирепый голод, и тут только я с глубокой грустью вспомнил доброго своего

господина, с которым меня разлучила злая судьба. Но как найти его? Печально озирался я кругом, и когда понял, что мне не найти дороги домой, поток горячих слез хлынул у меня из глаз.

Нежданно блеснул предо мною луч надежды: на углу улицы за небольшим столиком с разложенными на нем аппетитными хлебцами и колбасами сидела приветливая молодая девушка. Я медленно приблизился к ней, и когда она улыбнулась, я, желая показать себя юношей деликатного воспитания и галантных манер, изогнул спину самой высокой, самой изящной дугой. Улыбка ее перешла в громкий смех. «Наконец-то обрел я добрую душу, сострадательное сердце! О небо, какой это бальзам для израненной груди!» Так думал я, стаскивая со стола одну из колбасок, но в то же мгновение девушка дико закричала, и, попади в меня брошенное ею большое полено, поверьте, не пришлось бы мне лакомиться ни той колбаской, что я стащил со стола в твердой надежде на благосклонность и человеколюбие девушки, ни какой-либо другой. Я напряг последние силы, чтобы спастись от преследования ненавистной фурии. Это мне удалось, и вскоре я нашел уголок, где мог спокойно съесть колбаску.

После этой весьма умеренной трапезы у меня стало веселей на душе, солнце пригревало мою шубку, и я живо ощутил, что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна! Но когда спустилась холодная, сырая ночь, когда не оказалось у меня мягкой постели, как в доме моего доброго хозяина, когда я проснулся на другое утро окоченевший от холода и голод снова начал терзать меня, я совсем поник духом и едва не впал в отчаяние. «Так вот какова эта жизнь; — разразился я горькими жалобами, — куда ты мечтал окунуться, глядя на нее с родимой крыши? Жизнь, где ты думал найти добродетель, и мудрость, и утонченность высшей образованности! О бессердечные варвары! В чем их сила, как не в побоях? В чем их разум, как не в злобных насмешках? В чем, как не в завистливом преследовании избранных душ, состоят все их дела? О, прочь, прочь из этого мира, исполненного лицемерия и обмана! Прими меня под свою прохладную сень, милый родной погреб! О чердак!.. О печка!.. О столь любезный мне покой, к тебе стремлюсь я всей душой!»

Мысль о постигшем меня несчастье, о безысходности моего положения довела меня до отчаяния. Я зажмурил глаза и заплакал навзрыд.

Знакомые звуки взволновали мой слух: «Мурр, Мурр, дорогой друг, как ты сюда попал? Что с тобою приключилось?»

Я открыл глаза — передо мной стоял юный Понто.

Как ни обидел меня Понто, его неожиданное появление оказало на меня самое отрадное действие. Я забыл нанесенную им мне обиду,

рассказал о всех моих невзгодах и, заливаясь слезами, представил ему свое печальное, беспомощное состояние, а под конец пожаловался на то, что я смертельно голоден.

Я надеялся, что юный Понто выразит мне свое участие, однако он залился звонким смехом.

— Ну и болван же ты, милый Мурр! — сказал он. — Сперва ты, простофиля, усаживаешься в коляску, где тебе совсем не место, засыпаешь в ней, пугаешься, когда чувствуешь, что тебя увозят; выскочив, попадаешь в светскую сутолоку и, хотя ты почти никогда не высовываешь носа за порог родного дома, дивишься, что тебя здесь никто не знает; из-за своих дурацких выходок все время попадаешь впросак, да вдобавок еще так бестолков, что не способен найти дорогу к своему господину. Вот видишь, дружище Мурр, ты кичился своей ученостью, своим образованием, постоянно пыжился передо мной, а теперь сидишь здесь, покинутый, безутешный, и всех великих достоинств твоего ума недостает, чтобы научить тебя, как раздобыть пищу, утолить голод и добраться домой к своему хозяину! И если тот, на кого ты всегда смотрел сверху вниз, сейчас не придет тебе на выручку, ты кончишь тем, что умрешь самой жалкой смертью, и ни одна живая душа не вспомнит ни твоей учености, ни твоих талантов, и ни один из поэтов, коих ты числил своими друзьями, не скажет по-приятельски: «Ніс јасет» ^[33], ступив на то место, где ты издох от голода по одной лишь своей недалёковидности! Теперь ты видишь, что и я пробежался по наукам и не хуже других сумею замесить тесто из крох латыни! Но ты голоден, бедный кот, и этому горю следует помочь прежде всего — ступай-ка за мной!

Юный Понто вприпрыжку побежал вперед, я поплелся за ним, подавленный, уничтоженный его речами, в которых при том голоде, какой я испытывал, не мог не увидеть большую долю истины. Но до чего же я перепугался, когда...

(Мак. л.) ...для издателя настоящих записок явилось приятнейшим сюрпризом, что ему довелось узнать про весь примечательный разговор Крейсlera с маленьким тайным советником из первых рук. Это и позволило ему нарисовать для тебя, любезный читатель, несколько картин из ранних лет редкостного человека, чью биографию издатель некоторым образом призван написать, и он полагает, что рисунок и колорит этих картин должно признать в достаточной мере характеристичными и полными значения. Во всяком случае, рассказы Крейсlera о тете Фюсхен и ее лютне не оставляют сомнений в том, что музыка с ее сладостной тоской,

с ее небесными восторгами пустила тысячу корней в груди мальчика, и неудивительно, что от малейшей раны из груди этой горячей струей должна брызнуть кровь сердца. Два обстоятельства в жизни любимого капельмейстера особенно занимали вышеупомянутого издателя, не давая ему покоя. Первое — каким образом маэстро Абрагам попал в семью маленького Иоганнеса и каково было его влияние на мальчика; второе — что за катастрофа изгнала добропорядочного Крейсlera из столицы и превратила его в капельмейстера, каковым ему надлежало быть с самого начала; впрочем, не нам сетовать на предвечного, ибо он каждому из нас и в должное время определяет должное место. Кое-что издателю удалось разведать, о чем, читатель, он не замедлит тебе сообщить.

Что до первого, то установлено точно, что в Генионесмюле, где родился и воспитывался Иоганнес Крейсler, действительно жил человек, облик коего и все манеры казались странными и необъяснимыми. Тут надобно сказать, что городок Генионесмюль был доподлинным раем для всевозможных чудаков, и Крейсler рос, окруженный самыми диковинными особами, производившими на него впечатление тем более сильное, что он в детстве вовсе не общался со своими сверстниками. Упомянутый оригинал носил ту же фамилию, что и небезызвестный юморист, ибо звали его Абрагам Лисков, и был он органным мастером, причем временами глубоко презирал свое занятие, временами же превозносил до небес, так что никогда нельзя было знать, каково истинное его мнение.

По словам Крейсlera, в их семье о Лискове всегда говорили с глубоким уважением, почитали его величайшим искусником и сокрушались лишь о том, что сумасбродные причуды и шальные затеи отпугивают от него людей. Тот или иной горожанин упоминал порой как о большом счастье, что господин Лисков пометил его дом, собственноручно натянул новые струны и настроил фортепьяно. Притом рассказывали о его фантастических проделках, и это возбуждало в маленьком Иоганнесе сильнейшее любопытство; еще не зная этого человека, он весьма ясно представлял себе его облик, мечтал его увидеть, и когда дядя успокаивал его, говоря, что господин Лисков, быть может, придет к ним исправить ветхое фортепьяно, мальчик всякое утро спрашивал, когда же, в конце концов, появится господин Лисков. Но интерес мальчика к таинственному органному мастеру перерос в глубокое преклонение, смешанное с изумлением, когда однажды в соборе, куда дядюшка, как правило, ходил не часто, Иоганнес впервые услышал большой прекрасный орган и дядя сообщил ему, что этот величественный инструмент изготовил не кто иной, как господин Лисков. С той минуты образ Абрагама Лискова, сложившийся

в воображении Иоганнеса, исчез, уступив место другому, отнюдь не похожему на первый. По мнению мальчика, господин Лисков был высоким, статным мужчиной, красивой наружности, со звонким, сильным голосом, и ходил он непременно в сюртуке сливового цвета с широкими золотыми галунами. Так всегда был одет крестный отец маленького Иоганнеса, и мальчик питал великое почтение к его богатому наряду.

Однажды, когда дядя с Иоганнесом стояли у открытого окна, по улице стремительно пронесся маленький, худощавый человек в светло-зеленом кафтане из гладкого толстого сукна; широкие обшлага рукавов смешно трепыхались на ветру. Над завитым, напудренным париком была воинственно водружена маленькая треуголка, а по спине змеилась слишком длинная коса. Поступь у человечка была такой тяжелой, что каменная мостовая дрожала, и почти при каждом шаге он сильно ударял о землю длинной испанской тростью. Проходя мимо окна, человечек бросил на дядю пронизывающий взгляд сверкающих, черных как уголь глаз, но не ответил на его поклон. Холодная дрожь пробежала по всему телу маленького Иоганнеса, в эту минуту ему неудержимо захотелось посмеяться над потешным человечком, но он не смог, с такой силой ему стеснило грудь.

— Это был господин Лисков, — заметил дядя.

— Так я и знал! — ответил Иоганнес и, пожалуй, сказал правду... Он не был ни статен, ни высок, господин Лисков, и не носил сюртука сливового цвета с золотыми галунами, подобно крестному отцу — коммерции, советнику, но, сколь ни странно, сколь ни поразительно, мальчик представлял его себе именно таким до посещения собора, до того, как он услышал великолепный орган. Иоганнес еще не успел оправиться от ощущения, сходного с внезапным испугом, как господин Лисков вдруг остановился, повернул назад, стуча каблуками, подошел к окну, отвесил дяде низкий поклон и убежал, громко расхохотавшись.

— Ну, разве пристало так вести себя степенному человеку, как-никак сведущему в науках, причисляемому за свое большое мастерство в изготовлении органов к художникам, коим законы страны позволяют носить шпагу? Невольно подумаешь, что он с раннего утра уже во хмелю или сбежал из дома умалишенных! Но вот увидишь: теперь он непременно явится и починит наше фортепьяно.

Дядя оказался прав. Господин Лисков явился на завтра же, но, вместо того чтобы заняться починкой фортепьяно, потребовал, чтобы маленький Иоганнес что-нибудь ему сыграл. Мальчика посадили на стул, подложив под него несколько фолиантов, господин Лисков встал против него,

облокотился обеими руками на фортепьяно и не сводил с мальчика неподвижного взора, чем привел его в такое замешательство, что он то и дело спотыкался, разыгрывая по старой нотной тетради менуэты и арии. Господин Лисков все это время хранил полную серьезность, но вдруг Иоганнес соскользнул с сиденья и свалился под фортепьяно, а органный мастер, который сам одним движением и выбил у него из-под ног скамеечку, покатился со смеху. Сконфуженный мальчик выкарабкался наружу, но господин Лисков уже уселся на его место, вытащил из кармана молоток и так безжалостно стал колотить по клавишам, словно хотел разбить бедный инструмент на тысячу кусков.

— Да в уме ли вы, господин Лисков? — воскликнул дядя, а маленький Иоганнес, вне себя, возмущенный поведением органного мастера, изо всех сил захлопнул крышку инструмента. Господину Лискову пришлось быстро откинуться назад, чтобы его не ударило по голове. Мальчик крикнул:

— Ах, дорогой дядюшка, это не тот чудесный мастер, что построил прекрасный орган, нет, это какой-то глупый человек, и ведет он себя как невоспитанный мальчишка!

Дядя подивился смелости племянника, но господин Лисков долго и пристально смотрел на него, а потом со словами: «Да, прелюбопытная персона!» — медленно и бережно поднял крышку фортепьяно, достал инструменты и принялся за работу; он закончил ее через несколько часов, так и не вымолвив за все время ни единого слова.

С той поры органный мастер стал выказывать мальчику явное расположение. Он приходил почти ежедневно и вскоре сумел покорить сердце Иоганнеса, раскрыв перед ним неведомый дотоле яркий мир, где живой ум мальчика мог развиваться с большей силой и свободой. Достоинство порицания было лишь то, что с годами, по мере того как Иоганнес подрастал, Лисков стал поощрять мальчика к самым неистовым шалостям, жертвой которых чаще всего становился дядя, ибо ограниченный ум и нелепые повадки его давали достаточно пищи для подобных шуток. Несомненно одно, что, когда Крейслер жаловался на грустную заброшенность в детские годы и описывал жестокое душевное смятение его в ту пору, он имел в виду свои нелады с дядей. Да и мог ли мальчик почитать человека, призванного заменить ему отца, но вызывавшего лишь насмешки всем своим обликом и поведением?

Лисков намеревался целиком завладеть душой мальчика, и это бы ему удалось, если бы не воспротивились тому лучшие стороны благородной натуры Иоганнеса. Всепроникающий ум, глубина чувств, пылкое воображение — таковы были неотъемлемые достоинства органного

мастера. Но то, что принято называть юмором, было у него не тем редким, чудесным настроением души, которое порождается знанием жизни и всех ее причинных связей, а также столкновением противоборствующих начал, — нет, у него это была только решительная неприязнь ко всякого рода условностям, в сочетании с подлинным даром преступать рамки этих условностей, что неизбежно и приводило к необычности как его облика, так и поступков. Вот почему Лисков беспощадно расточал свои едкие насмешки и злорадно, неумоимо, до самых потаенных уголков, преследовал все, что считал пошлой условностью. Это злорадное осмеяние уязвляло нежную душу мальчика и не давало возникнуть более горячей дружбе между ним и отечески, искренне полюбившим его старшим другом. Нельзя, однако, отрицать, что только органичный мастер с его причудами мог взлелеять в душе Иоганнеса подлинный юмор, глубоко заложенный в его натуре и так пышно расцветший впоследствии.

Господин Лисков много рассказывал Иоганнесу о его отце, ближайшем друге своей юности, и рассказы его были всегда не в пользу дяди-опекуна, заметно отступавшего в тень, тогда как отец Иоганнеса всегда являлся словно в ярком солнечном сиянии. Так однажды органичный мастер превозносил глубокую музыкальность отца и издевался над абсурдной методой, с помощью которой дядюшка вколачивал в Иоганнеса первоосновы музыки. Иоганнес, чья душа была полна мыслями о человеке, который был ему всех дороже и кого он никогда не знал, мог бы слушать о своем родителе без конца. Но вдруг Лисков замолчал, опустив глаза, будто пораженный догадкой, осветившей ему смысл бытия.

— Что с вами, маэстро? — спросил Иоганнес. — Отчего вы так взволнованы?

Лисков вздрогнул, как бы очнувшись от сна и проговорил с улыбкой:

— А помнишь, Иоганнес, как я выбил у тебя из-под ног скамеечку и ты упал под фортепьяно, когда дядюшка заставил тебя разыгрывать передо мной свои безвкусные мурки и менуэты?

— Ах, — вздохнул Иоганнес, — и вспоминать не хочу, как я в первый раз вас увидел. Вам тогда доставляло радость изводить ребенка.

— А ребенок ответил мне препорядочной грубостью, — перебил его Лисков. — И все же никогда бы я не поверил, что найду в тебе столь даровитого музыканта, а потому, сынок, сделай милость, сыграй мне славный хорал на маленьком органе, а я буду раздувать мехи.

Здесь уместно еще раз напомнить, что Лисков находил большое удовольствие в разного рода забавных и веселых проделках, чем приводил Иоганнеса в восторг. Еще когда он был совсем маленьким, органищик,

приходя, всякий раз дарил ему какую-нибудь диковинку.

Ребенком Иоганнес получал от него то яблоко, тотчас же распадавшееся на сто кусочков, как только с него счищали кожуру, то пирожок затейливой формы; когда он стал старше, Лисков умел развлечь его то тем, то другим фокусом из сферы натуральной магии, юношей он уже помогал учителю строить оптические машины, варить симпатические чернила и тому подобное. Но превыше всех механических чудес, изготовленных для Иоганнеса органом мастером, был маленький орган с восемью закрытыми трубами из картона, наподобие знаменитого инструмента, выставленного для обозрения в венской императорской кунсткамере, работы старинного органного мастера семнадцатого столетия Евгения Каспарини. Удивительный орган Лискова обладал тоном пленительной красоты и силы, — Иоганнес уверял, что не может играть на нем без глубокого волнения и что во время игры у него рождаются светлые, истинно благочестивые церковные мелодии.

На этом-то инструменте должен был сейчас играть Иоганнес органному мастеру. Исполнив по требованию Лискова несколько хоралов, он перешел на гимн «*Misericordias domini cantabo*» [\[34\]](#), только на днях им сочиненный. Когда Иоганнес закончил, Лисков вскочил, бурно прижал его к груди и, громко смеясь, воскликнул:

— Ах ты, проказник, зачем дразнить меня своей жалобной кантиленой? Кабы я постоянно не раздувал мехи твоего органа, ты бы никогда не сочинил ничего путного. Однако теперь я уеду, брошу тебя на произвол судьбы; ищи себе другого помощника, который так же хотел бы тебе добра, как я.

При этом в глазах у него стояли крупные слезы. Затем он выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Но потом опять просунул голову в дверь и очень мягко сказал:

— Я никак не могу иначе! Прощай, Иоганнес!.. Если дядя хватится своего жилета из гродетура с красными цветами, ты ему скажи, что это я его стащил и собираюсь сделать из него тюрбан, чтобы в таком виде рекомендоваться его величеству султану! Прощай, Иоганнес!

Никто не мог понять, почему господин Лисков столь неожиданно покинул приятный городок Генионесмюль и отчего никому не поведал, в какую сторону решил он направить свои стопы.

Дядюшка заявил:

— Я давно уже предполагал, что этот непоседливый человек не останется долго на одном месте, ибо хотя он изготавливает прекрасные органы, но не придерживается поговорки: «И камень на одном месте мхом

обрастает»! Хорошо, что наше фортепьяно в порядке, а скучать об этом сумасброде я не собираюсь.

Но Иоганнес иначе отнесся к отъезду Лискова. Ему явно не хватало старого друга; вскоре Генионесмюль стал казаться ему мрачной безжизненной тюрьмой.

И вот получилось так, что Крейслер в самом деле последовал совету органного мастера и отправился искать по свету нового друга, который раздувал бы для него мехи. Дядюшка почел разумным отправить племянника по окончании учения в столицу, под крылышко тайного советника посольства, чтобы там он приобрел окончательный лоск. Так оно и вышло.

В данную минуту ваш покорный слуга-биограф безмерно огорчен тем, что, подойдя ко второму периоду жизни Крейслера, о котором вознамерился рассказать любезному читателю, — а именно к тому дню, когда Иоганнес Крейслер лишился заслуженного им поста советника посольства и был некоторым образом удален из столицы, — он обнаружил, что все его сведения скудны, жалки, поверхностны, бессвязны.

Остается ограничиться сообщением, что вскоре после того, как Крейслер занял пост скончавшегося дяди и стал советником посольства, в столице появился некий могучий коронованный колосс, и прежде чем кто-либо успел оглянуться, он столь искренне и сердечно сжал князя, своего лучшего друга, в железных объятиях, что последний едва не испустил дух. В действиях и особе великана было нечто до того непреклонное, что все его желания беспрекословно выполнялись, даже если это повергало всех в нужду и отчаяние. Как это и было в действительности. Некоторые находили дружбу могучего великана несколько обременительной и даже готовы были возмутиться против нее, но сами встали благодаря этому перед обременительной дилеммой: либо признать все преимущества такой дружбы, либо искать за пределами страны другую позицию для наблюдения, откуда, возможно, удалось бы увидеть колосса в более правильном освещении.

Крейслер оказался среди последних.

Несмотря на свою дипломатическую деятельность, он сохранил изрядную долю наивности и в иные минуты не знал, на что решиться. В одну из таких минут он спросил у некоей красивой дамы в глубоком трауре, какого она мнения о советниках посольства. Ответ ее был пространен и не лишен остроумия и изящества, однако ж в конце концов из него следовало, что она не может быть высокого мнения о некоем советнике посольства, поскольку он, восторженный поклонник искусств, не желает посвятить

себя им целиком.

— Очаровательнейшая из вдов, — сказал ей Крейслер, — я бегу!

Когда он уже натянул дорожные сапоги и со шляпой в руке, растроганный, испытывая подобающую случаю горечь разлуки, зашел к вдове с прощальным визитом, она опустила ему в карман приглашение на место капельмейстера при дворе того самого великого герцога, что только недавно проглотил владеньице князя Иринея.

Вряд ли нужно пояснять, что дама в трауре была не кто иная, как советница Бенцон, только что потерявшая своего советника, ибо супруг ее скончался.

Весьма удивительно, что Бенцон, как раз в то время, когда...

(М. пр.) ...Понто побежал вприпрыжку к той самой девушке, торговавшей хлебцами и колбасой, которая чуть не убила меня, когда я с самыми лучшими чувствами протянул лапу к ее столику.

— Ах, милый Понто, дорогой пудель Понто, что ты делаешь? Берегись, остерегайся этой бессердечной варварки, этой мстительной колбасной стихии! — так кричал я вслед Понто, но он, не обращая на меня внимания, продолжал свой путь, а я плелся на некотором отдалении, дабы, если он попадет в беду, успеть дать тягу. Добежав до стола, Понто поднялся на задние лапы и принялся изящно подпрыгивать и танцевать вокруг девушки, которую это очень позабавило. Она подозвала пуделя, он положил ей голову на колени, потом опять вскочил, весело залаял, еще раз затанцевал вокруг стола, скромно обнюхивая его и умильно заглядывая девушке в глаза.

— Ты хочешь колбаски, мой славный пудель? — спросила девушка, и, когда Понто, повиливая хвостом, радостно завизжал, она, к моему немалому изумлению, выбрала самую аппетитную, самую большую колбасу и протянула ее Понто, а тот в знак благодарности исполнил еще коротенький танец и поспешил ко мне с колбасой, отдав мне ее с дружескими словами:

— Ешь, подкрепляйся, душа моя!

Когда я покончил с колбасой, Понто пригласил меня следовать за ним, добавив, что отведет меня домой, к маэстро Абрагаму.

Мы медленно зашагали рядом, так нам удобней было на ходу вести разумную беседу.

— Я охотно признаю, — так начал я, — что ты, любезный Понто, много лучше меня преуспеваешь в жизни. Никогда не удалось бы мне смягчить сердце злодейки, а ты проделал это с величайшей легкостью. Но

— извини, во всем твоём обращении с колбасницей было нечто, против чего восстает вся свойственная моей натуре гордость. Пресмыкательство, лесть, пренебрежение чувством собственного достоинства, забвение благороднейшей своей натуры, — нет, добрый пудель, я ни за что не решился бы так ластиться, так лезть из кожи вон, так смиренно выпрашивать подачки, как это делал ты! Когда я очень голоден или когда меня соблазняет какое-нибудь лакомство, я ограничиваюсь тем, что вскакиваю на стул хозяина и, нежно мурлыча за его спиной, намекаю, чтобы он меня угостил. И это даже не столько просьба о благодеянии, сколько напоминание о том, что хозяин обязан удовлетворять мои потребности.

Понто громко рассмеялся на мои слова и ответил:

— Ах, Мурр, мой славный кот, я допускаю, что ты — ловкий сочинитель, превосходно разбираешься в мудреных вещах, о которых я и понятия не имею, однако от самой жизни ты куда как далек и без меня наверняка пропал бы, потому что в тебе нет ни на грош житейской мудрости. Прежде всего, я думаю, ты рассуждал бы иначе до того, как слопал колбасу, потому что голодный всегда покладистей и уступчивей сытого. Кроме того, ты весьма заблуждаешься в отношении моего, как ты изволил выразиться, пресмыкательства. Ты знаешь, что танцы и прыжки мне самому доставляют большое удовольствие, и я подчас предаюсь им для своего развлечения. Я начинаю показывать свое искусство людям, делая это для моциона, и меня смех разбирает, когда эти простаки воображают, будто я стараюсь из необыкновенного расположения к ним и только для их забавы и рассеяния. Да, они думают так, хотя ясно как день, что намерения у меня совсем иные. Только что, дорогой мой, ты видел живой пример, подтверждающий мою правоту. Разве не должна была девушка догадаться сразу, что я усердствую только ради колбасы? Она же развесила уши, обрадовавшись, что я ей, незнакомке, показываю свои штуки, считая ее особой, могущей оценить их, и на радостях исполнила все, чего я добивался. Житейская мудрость требует: делая что-либо для себя, притворяйся, будто делаешь это только для других, а тогда уж те, другие, почитают себя в неоплатном долгу перед тобой и готовы исполнить все твои желания. Иной, смотришь, донельзя любезен, скромен, кажется, только и думает, как бы ублажить других, а у самого на уме лишь свое драгоценное «я», которому, сами того не подозревая, служат другие. То, что тебе угодно называть пресмыкательством, — всего лишь мудрая осмотрительность, основанная на понимании глупости ближних и умении хитро ею пользоваться.

— Ах, Понто, — возразил я, — ты, разумеется, опытный светский мужчина и, повторяю еще раз, не в пример лучше меня разбираешься в жизни, тем не менее трудно поверить, чтобы твои диковинные кунштюки доставляли тебе удовольствие. Мне, например, тошно было смотреть, как ты доставлял своему хозяину поноску — кусок жаркого, бережно держа его в зубах и не смея откусить ни кусочка, пока хозяин кивком не разрешил тебе проглотить его.

— Но зато скажи мне, — спросил Понто, — ты только скажи мне, мой добрый Мурр, что было дальше?

— Дальше твой хозяин, равно как и мой, — ответил я, — превозносил тебя сверх всякой меры и поставил перед тобой полную миску жаркого, — ты опорожнил ее с поразительным аппетитом.

— Вот видишь, милейший кот, — продолжал Понто, — теперь ты согласишься, что, проглоти я по дороге тот кусочек, я бы не получил не только такой обильной порции, но и вообще ничего. Знай же, неопытный юнец, не следует страшиться мелких жертв ради достижения крупных выгод. Меня удивляет, что ты, при всей твоей начитанности, до сих пор незнаком с пословицей: «Отдашь волосок, получишь ремешок». Признаюсь тебе, положив лапу на сердце, что, попадись мне где-нибудь в темном углу большой вкусный кусок мяса, я бы не задумываясь сожрал его и не стал бы дожидаться позволения господина, кабы только мог сделать это без свидетелей. Такова уж наша природа — в темном уголке ведешь себя не так, как на людях. Впрочем, правилен и почерпнутый из житейского опыта принцип, что в мелочах рекомендуется быть честным!

Я помолчал немного, размышляя о высказанных Понто суждениях, и тут вспомнил вычитанную где-то истину: каждый должен поступать так, чтобы его поведение могло служить всеобщей нормой, — то есть так, как он желал бы, чтобы поступали с ним другие; напрасно пытался я согласовать этот принцип с житейской мудростью Понто. Мне подумалось, что, возможно, и дружба, проявляемая ко мне Понто в эту минуту, клонится мне во вред и только ему самому на пользу, что я и высказал ему без обиняков.

— Ах ты, шельма! — засмеялся Понто в ответ. — Да разве о тебе речь? От тебя мне ни пользы, ни вреда! Твоей мертвой науке я не завидую, твоих устремлений не разделяю, а если ты замыслишь против меня недоброе, то имей в виду, что я превосхожу тебя и силой и ловкостью. Один прыжок, крепкая хватка моих острых зубов — и тебе конец!

Меня обуял великий страх перед собственным товарищем, еще более возросший, когда огромный черный пудель по-дружески приветствовал

Понто на собачий лад, и оба они, глядя на меня алчно горящими глазами, тихонько заговорили между собой.

Прижав уши, я отошел в сторонку, но черный вскоре ушел, а Понто опять подбежал ко мне и позвал:

— Идем дальше, дружок!

— О небо! — спросил я в изумлении. — Кто был сей важный муж? Он, наверно, обладает не меньшей житейской мудростью, чем ты?

— Уж не испугался ли ты моего добряка дяди, пуделя Скарамуша? — спросил Понто. — Мало того что ты кот, захотелось еще в зайца превратиться?

— Но почему, — продолжал я, — твой дядя бросал на меня такие испепеляющие взгляды и о чем вы с ним шептались с такой подозрительной таинственностью?

— Не скрою, дружище Мурр, — ответил Понто, — мой старый дядюшка несколько брюзглив и, как свойственно старикам, питает пристрастие к устарелым предрассудкам. Он поразился, увидав нас вместе, ибо неравенство положения не допускает сближения между нами. Я заверил его, что ты высокообразованный приятный юноша и что мне с тобой всегда весело. Он разрешил мне встречаться с тобою время от времени, но наедине, и заявил, чтобы я не вздумал, чего доброго, притащить тебя в пуделиное собрание; ты никогда не удостоишься быть принятым в этом собрании, хотя бы из-за своих маленьких ушей, слишком явно указывающих на твое низкое происхождение; любой порядочный вислоухий пудель безусловно сочтет их непристойными. Пришлось пообещать ему это.

Когда бы я знал в то время, какой у меня был великий предок — Кот в сапогах, достигший самых высоких почестей и чинов, закадычный друг короля Готлиба, — то легко доказал бы своему приятелю Понто, что всякое пуделиное собрание должно бы почитать за честь принимать у себя потомка столь прославленного рода; но тогда, еще не выйдя из мрака невежества, я был вынужден терпеть, видя, как оба пуделя, Скарамуш и Понто, гнушаются мной.

Мы двинулись дальше. Перед нами шел молодой человек; вдруг он с радостным возгласом быстро шагнул назад, так что, наверное, наступил бы мне на лапу, не отскочи я в сторону. С таким же громким восклицанием бросился к нему второй молодой человек, шедший ему навстречу. Оба сжали друг друга в объятиях, будто друзья, которые давно не видались, и, взявшись под руки, прошли перед нами некоторое расстояние, после чего, так же нежно простившись, разошлись в разные стороны. Тот, что шел

впереди нас, долго смотрел вслед другу, а потом быстро юркнул в какой-то дом. Понто остановился, я — тоже. Вскоре на втором этаже того дома, куда вошел молодой человек, раскрылось окно и оттуда выглянула прехорошенькая девушка, а за нею — молодой человек, и оба весело смеялись, глядя вслед другу, с которым он только что расстался. Понто взглянул наверх и пробормотал что-то сквозь зубы, чего я не разобрал.

— Что это ты застрял здесь, милый Понто? Не пора ли нам идти дальше! — спросил я, но Понто не двигался, задумавшись, и только немного погодя, резко тряхнув головой, молча затрусил дальше.

— Отдохнем здесь минуточку, — сказал он, когда мы достигли красивой площади, обсаженной деревьями и украшенной статуями. — Отдохнем минуточку, дорогой Мурр. Эти два молодца, что так сердечно прощались сейчас на улице, не выходят у меня из головы. Они — друзья, совсем как Дамон и Пилад.

— Дамон и Пифий, — поправил я его, — Пилад же был другом Ореста; он всегда заботливо укладывал его в постель, закутав в шлафрок, и поил отваром ромашки, когда фурии и демоны, разгулявшись, особенно жестоко донимали беднягу. Заметно, что ты не особенно силен в истории, милейший Понто!

— Чепуха! — бросил Понто. — Зато история двух друзей знакома мне во всех подробностях, и я расскажу ее тебе в том виде, в каком раз двадцать слышал ее от своего господина. И тогда, может быть, ты поставишь рядом с Дамоном и Пифием, с Орестом и Пиладом и третью пару — Формозия и Вальтера. Формозий — тот молодой человек, который недавно чуть не раздавил тебя от радости, что встретил своего любимого Вальтера. Вон в том нарядном доме с зеркальными окнами живет старый, несметно богатый президент. Благодаря своему светлому уму, ловкости, блестящей учености Формозий сумел так подольститься к старику, что тот очень скоро полюбил его как родного сына. И вдруг Формозий сделался грустен, бледен, томен и раз десять за четверть часа из груди его вырывался такой тяжкий вздох, словно он прощался с жизнью; погруженный в себя, замкнутый, он, казалось, ни за что и никому не смог бы раскрыть свою душу. Долго и безуспешно старик добивался, чтобы юноша поведал ему причину своей тайной печали; в конце концов тот ему покался, что до смерти влюблен в единственную дочку президента. В первую минуту отец испугался — он вовсе не имел намерения выдавать свою дочь за Формозия, человека без чинов, без положения в свете; но, видя, как бедный юноша день ото дня все больше чахнет у него на глазах, он принял мужественное решение и спросил Ульрику, нравится ли ей молодой Формозий и признавался ли он

ей в любви? Ульрика потупила взор и ответила, что молодой человек, соблюдая сдержанность и скромность, правда, еще не изъяснялся ей в своих чувствах, но она, конечно, давно замечает, что он ее любит, ибо скрыть это трудно. Она со своей стороны тоже питает к юному Формозию склонность, и ежели нет к тому никаких препятствий и милый папенька не имеет ничего против... словом, Ульрика высказала все, что говорят девушки при подобных обстоятельствах, когда первая цветущая пора юности для них уже миновала и часто и неотвязно сверлит голову мысль: «Кто же, кто, наконец, поведет меня к венцу?» После этого президент обратился к Формозию со словами: «Выше голову, мой мальчик! Будь весел и счастлив — получишь мою Ульрику!» Таким образом Ульрика стала невестой Формозия. Все радовались счастью красивого, скромного юноши, но одного человека новость эта повергла в скорбь и отчаяние, и это был Вальтер, самый близкий, самый сердечный друг Формозия. Вальтер встречал Ульрику всего несколько раз и едва обменялся с нею несколькими словами, но полюбил ее, пожалуй, еще пламенней, нежели Формозий! Впрочем, я тут все время толкую про любовь и влюбленность, а между тем даже не имею понятия, милый кот, был ли ты когда влюблен, изведаль ли уже это чувство?

— Что до меня, дорогой Понто, — отвечал я, — то, думается, я еще не любил и не люблю никого, ибо до сих пор не приходил в состояние, описанное многими поэтами. Правда, им не всегда можно доверять, но судя по тому, что я знаю и читал о любви, это, собственно говоря, род психического недуга, который у человеческой породы выражается в особых припадках безумия; они принимают какое-нибудь существо совсем не за то, что оно есть на самом деле; например, обыкновенную низкорослую толстушку, штопающую чулки, они почитают богиней. Но, пожалуйста, милый пудель, продолжай свой рассказ о двух друзьях — Формозии и Вальтере.

— Вальтер, — продолжал Понто, — бросился Формозию на шею и, проливая потоки слез, сказал: «Ты похищаешь счастье всей моей жизни; одно лишь утешает меня, что оно достанется тебе и ты будешь счастлив! Так прощай же, дорогой друг, прощай навек!» И Вальтер бросился в глухую чащу леса, собираясь застрелиться. Но этого не случилось — несчастный в своем отчаянии забыл зарядить пистолет, а потому дело ограничилось несколькими припадками сумасшествия, повторявшимися изо дня в день. Как-то раз после долгого отсутствия к Вальтеру в комнату неожиданно вошел Формозий и застал друга стоящим на коленях перед пастельным портретом Ульрики, который висел на стене в рамке под стеклом, и

причитавшим самым горестным образом. «Нет! — вскричал Формозии, прижимая Вальтера к груди. — Нет, я не могу вынести твоих мук, твоего отчаяния, ради тебя я жертвую своим счастьем! Я отказался от Ульрики, сумел уговорить старого отца, чтобы он принял тебя в зятя. Ульрика любит тебя, хотя еще сама не догадывается об этом. Проси ее руки, я отступился от нее! Прощай!» Он хотел удалиться, но Вальтер удержал его. Ему казалось, что все это — сон, он не поверил Формозию до тех пор, пока тот не подал ему собственноручную записку старого президента, где значилось примерно следующее: «Благородный юноша! Ты победил! Я с горестью отпускаю тебя, но уважаю твою дружбу, граничащую с героизмом, о каком приходится читать только у древних. Разрешаю господину Вальтеру, человеку похвальных качеств, занимающему доходную должность, просить руки моей дочери Ульрики, и если она даст согласие, то я возражать не буду». Формозии действительно уехал, Вальтер посватался к Ульрике, Ульрика действительно стала женой Вальтера. Старый президент написал Формозию еще одно письмо — в нем он осыпал юношу похвалами и просил доставить старику удовольствие и принять от него в дар три тысячи талеров отнюдь не в виде возмещения, ибо он понимает, что его потерю ничем не возместишь, а лишь как ничтожный знак его искреннего расположения. Формозий ответил, что старому господину известно, сколь скромны его потребности, что деньги не сделают его счастливей и одно лишь время принесет ему утешение в его утрате, в каковой виноват один только рок, возжегший любовь к Ульрике в груди любимейшего друга; он лишь отступил перед этим велением рока, следовательно, ни о каком благородстве здесь не может быть и речи. Впрочем, он принимает дар с условием, что деньги будут вручены некой бедной вдове, живущей в беспросветной бедности там-то и там-то вместе с добродетельной дочерью. Вдову разыскали и передали ей три тысячи талеров, предназначавшихся для Формозия. Вскоре после этого Вальтер написал другу: «Я не могу дольше жить без тебя, вернись, приди в мои объятия!» Формозий исполнил его желание и, приехав, узнал, что Вальтер отказался от почетной и доходной должности с тем, что ее предоставят Формозию, который давно мечтал получить такую же. Формозий и в самом деле был назначен на ту должность и оказался, если не считать обманутых надежд в отношении женитьбы на Ульрике, в наивыгоднейшем положении. В городе и во всей округе поражались, глядя, как оба друга состязаются в благородстве, их поступки воспринимались как отзвук давно минувших прекрасных времен, как пример героизма, на какое способны только благородные души.

— В самом деле, — начал я, когда Понто замолчал, — в самом деле, судя по тому, что я слышал от тебя, Вальтер и Формозий — благородные и сильные духом люди, способные на самопожертвование; такие, разумеется, не имеют понятия о твоей хваленной житейской мудрости.

— Гм, — ехидно ухмыльнулся Понто, — это еще как сказать! Остается добавить несколько подробностей, которые ускользнули от внимания горожан, но стали известны мне частью от хозяина, частью по собственным наблюдениям. Любовь господина Формозия к богатой дочке президента была, надо полагать, не столь уж пылкой, как думал ее старый отец, потому что в самый разгар этой убийственной страсти молодой человек, весь день пребывавший в бездонном отчаянии, не упускал случая каждый вечер навещать хорошенькую изящную модисточку. Уже после того, как Ульрика стала его невестой, Формозий обнаружил, что ангелоподобная фрейлейн обладает талантом внезапно превращаться в маленькую фурию. Кроме того, он узнал из надежных источников досадную новость, что Ульрика, живя в столице, умудрилась приобрести богатый опыт в любви; тут-то и нахлынуло на него непреодолимое благородство, толкнувшее его уступить другу богатую невесту. Вальтер, во власти странного наваждения, действительно влюбился в Ульрику, которая являлась в обществе во всеоружии искусного туалета. Ульрике же, в конце концов, было все равно, кто из двоих станет ее супругом — Формозий или Вальтер. Последний, правда, занимал прекрасную, выгодную должность, но, отправляя ее, так запутался в делах, что ожидал в ближайшем будущем отрешения от нее; он считал за благо заранее отказаться в пользу друга и таким поступком, по видимости весьма благородным, спасти свою честь. Три тысячи талеров в надежных бумагах были вручены некой старой, весьма почтенной особе, которая попеременно называлась то матерью, то теткой, то служанкой хорошенькой модистки. В этом деле она выступила в двойной роли: принимая деньги, она была матерью, когда же передала их по назначению, получив за то приличную мзду, превратилась в служанку девушки. Ты, милый Мурр, уже видел эту девушку, она-то вместе с господином Формозием и выглядывала из окошка. Впрочем, и Формозию и Вальтеру уже давно стало ясно, каким образом они перещеголяли друг друга в благородстве, и долгое время они избегали встреч, чтобы избавиться от взаимных восхвалений. Вот почему сегодня, когда случай столкнул их на улице, приветствия были столь сердечны.

Вдруг начался страшный переполох. Люди в беспорядке метались в разные стороны, восклицая: «Пожар! Пожар!» Верховые мчались по улицам. Экипажи тарахтели. Из окна одного дома неподалеку от нас валили

клубы дыма, вырывалось пламя... Понто стремглав кинулся вперед, а я, сильно оробев, взобрался вверх по лестнице, прислоненной к стене, и вскоре очутился на крыше в полной безопасности. Но тут мне показалось...

(Мак. л.) ...совершенно неожиданно на шею, — проговорил князь Ириней, — не обратившись к гофмаршалу, не ходатайствуя перед дежурными камергерами, почти — скажу вам по секрету, маэстро Абрагам, с просьбой не разглашать этого дальше — почти без всякого доклада, — и ни одного ливрейного лакея в передних комнатах! Эти ослы забавлялись картами в вестибюле. О, игра — это великий порок! Господин уже переступил порог, но тут тафельдекер, по счастью проходивший мимо, поймал его за фалды и спросил, кто он таков и как рекомендовать его князю. Но все-таки он мне понравился, вполне благовоспитанный молодой человек. Кажется, вы говорили, что он не всегда был только простым музыкантом и даже занимал некоторое положение?

Маэстро Абрагам заверил, что Крейслер прежде жил, конечно, в совершенно иных обстоятельствах, ему даже выпадала честь кушать за княжеским столом, и только разрушительный вихрь безвременья заставил его бежать из привычной обстановки. Крейслеру, впрочем, желательно, чтобы покров, наброшенный им на свое прошлое, оставался неприкосновенным.

— Итак, — перебил его князь, — он — дворянин, быть может, барон, даже граф, или... как знать... Впрочем, не следует слишком далеко заноситься в пустых мечтаниях... Но я питаю une faible [\[35\]](#) к подобным мистериям... Да, веселенькое было время после французской революции, когда маркизы фабриковали сургуч, а графы вязали филе для ночных колпаков и никто не хотел величаться иначе, как monsieur, маскарад был великолепный, все веселились до упаду. Но вернемся к господину фон Крейслеру. Бенцон — мастерица разбираться в подобных вещах, она расхвалила его, дала превосходную аттестацию, и я вижу — она права. По его манере держать шляпу под мышкой я тотчас признал в нем человека образованного и отменно воспитанного.

Князь добавил еще несколько благосклонных слов по поводу внешности Крейслера, и маэстро Абрагам понадеялся было, что план его удастся. Он имел намерение устроить своего дорогого друга капельмейстера в штате химерического двора и таким способом удержать его в Зигхартсвейлере. Но когда он еще раз заикнулся о своем плане, князь решительно возразил, что из этого ровно ничего не получится.

— Судите сами, — сказал он, — маэстро Абрагам, могу ли я ввести

сего приятного молодого человека в свой тесный семейный круг, ежели поставлю его капельмейстером, иными словами, мелким чиновником. Дать ему придворную должность, скажем *maître des plaisirs* или *maître des spectacles*? ^[36] Но ведь он великолепно знает музыку и, по вашим словам, имеет немалый опыт в театре. Я же ни на шаг не отступлюсь от правила моего блаженной памяти родителя, постоянно внушавшего мне, что указанный *maître*, упаси господь, не должен смыслить в предметах, коими ему ведать надлежит, дабы он не слишком во все вникал и не заботился чрезмерно о всяких там актерах, музыкантах и тому подобное. Не лучше ли господину Крейслеру оставаться у нас, соблюдая инкогнито, в роли иностранного капельмейстера, тогда он получит доступ во внутренние покои княжеского дома по примеру некоего, тоже достаточно знатного господина, каковой несколько времени назад, правда, под недостойной личиной презренного фигляра, развлекал самые избранные круги общества забавнейшими фокусами.

И поскольку вы, — бросил он маэстро Абрагаму, видя, что тот собрался уходить, — поскольку вы до некоторой степени взяли на себя обязанность *chargé d'affaires* ^[37] господина фон Крейслера, то не скрою от вас, что мне в нем не вполне приятны две черты, собственно, может быть, даже не черты, а лишь дурные привычки. Вы, конечно, догадываетесь, что именно я хочу сказать. Первое: когда я с ним разговариваю, он пристально смотрит мне прямо в лицо. У меня, как вам известно, весьма выразительные глаза, и я умею сверкать ими так же страшно, как покойный Фридрих Великий; ни один камергер, ни один паж не осмеливаются смотреть мне в глаза, когда я, устремив на них пронзающий взор, спрашиваю, не наделал ли *mauvais sujet* ^[38] новых долгов или не сожрал ли марципан? Но на господина фон Крейслера, сколько бы я ни сверкал очами, это не производит даже самого малого действия, он только улыбается в ответ, да так, что я сам не выдерживаю его взгляда. Кроме того, у него странная манера разговаривать, отвечать, вести беседу, — тебе невольно приходит на ум, уж не лишены ли твои слова всякого смысла, и ты, если можно так выразиться... Клянусь святым Януарием, маэстро, это совершенно непереносимо, — вам следует позаботиться, чтобы господин фон Крейслер оставил эти свои привычки.

Маэстро Абрагам пообещал выполнить все требования князя Ириней и снова сделал попытку уйти, но тут князь еще упомянул о необъяснимом отвращении принцессы Гедвиги к Крейслеру, добавив, что с некоторых пор дочь его терзают какие-то странные сны и видения, почему лейб-медик

даже предписал ей на будущую весну лечение сывороткой. Теперь принцессу Гедвигу преследует диковинная мысль, будто Крейслер бежал из дома умалишенных и при первом удобном случае наделает здесь всяких бед.

— Скажите, — спросил князь, — скажите, пожалуйста, можно ли обнаружить в этом рассудительном человеке какие-нибудь признаки умственного расстройства?

Маэстро Абрагам заверил его, что Крейслер не более сумасшедший, чем, например, он сам, но иногда он начинает вести себя несколько странно и впадает в состояние, близкое к состоянию принца Гамлета, отчего делается еще загадочней.

— Сколько мне ведомо, — сказал князь Иринеи, — юный Гамлет был превосходнейшим принцем из древнего королевского рода, но только порой он загорался несколько экстравагантной идеей, что все его придворные непременно должны уметь играть на флейте. Высокопоставленным особам к лицу всяческие причуды, это лишь умножает почтение к ним. То, что в человеке без рода без племени находят нелепым, в знатных особах сочтут лишь изящным капризом выдающегося ума, ибо в них все возбуждает преклонение и восторг. Господину Крейслеру следовало бы, конечно, держаться в рамках, но если у него есть такое желание подражать принцу Гамлету, то это указывает на его похвальное стремление к возвышенному, развившееся, по-видимому, вследствие его особенной приверженности к музицированию. Поэтому иногда можно ему извинить его эксцентрическое поведение.

Казалось, маэстро Абрагаму не удастся сегодня уйти из кабинета князя: когда он уже открывал дверь, князь еще раз вернул его и пожелал узнать причину странного отворачивания принцессы Гедвиги к Крейслеру. Маэстро Абрагам рассказал, каким образом Крейслер впервые появился перед принцессой и Юлией в зигхартсвейлерском парке; возбужденное состояние, в каком находился в то время капельмейстер, могло, конечно, произвести отталкивающее впечатление на девицу с такими тонкими чувствительными нервами.

Князь с некоторой горячностью выразил надежду, что господин фон Крейслер, должно быть, не пешком же явился в Зигхартсвейлер, а оставил, надо полагать, свой экипаж на одной из широких аллей парка, ибо только искатели приключений низкого звания имеют обыкновение странствовать пешком.

Маэстро Абрагам напомнил его светлости памятный всем случай с неким храбрым офицером, который совершил бегом прогулку от Лейпцига

до Сиракуз, ни разу не подбив в дороге подметок. Но с Крейслером все, безусловно, обстоит иначе, он, конечно, оставил свой экипаж где-то в парке. На сей раз его светлость объяснением были вполне довольны.

Пока в кабинете князя происходил весь этот разговор, Иоганнес сидел у советницы Бенцон за самым роскошным фортепьяно, когда-либо вышедшим из искусных рук Нанетты Штрейхер, и аккомпанировал Юлии, которая пела большой, полный страсти речитатив Клитемнестры из Глюковой «Ифигении в Авлиде».

Биограф, стремясь елико возможно приблизить портрет героя к оригиналу, к несчастью, вынужден изобразить его человеком экстравагантным, который, особенно в минуты музыкального экстаза, может показаться стороннему наблюдателю почти сумасшедшим. Мы уже приводили образец его выпренней манеры выражаться, вспомните его слова о пении Юлии: «...когда вы запели, вся страстная мука любви, весь восторг сладостных грез, надежд, желаний — все это поплыло над лесом и живительной росой пало в благоуханные венчики цветов и в грудь внимающих вам соловьев». Судя по всему вышесказанному, мнению Крейслера о музыкальном таланте Юлии не следовало бы придавать значения. Между тем упомянутый биограф, пользуясь случаем, должен заверить любезного читателя, что в пении Юлии, к великому его прискорбию, никогда им не слышанном, по всей видимости, заключалось нечто таинственное, глубоко чарующее. Самые степенные люди, которые только недавно срезали свои косички и, одолев сложный юридический казус, коварную, непостижимую болезнь или строптивый нрав какого-нибудь знатного юнца, могли внимать музыке Глюка, Моцарта, Бетховена, Спонтини, не испытывая ни малейшего душевного трепета, — даже эти люди нередко утверждали, что пение фрейлейн Юлии приводило их в какое-то особенное умиление; почему и как — они сами не могли сказать. Будто бы странная щемящая грусть, доставлявшая неизъяснимое наслаждение, хватала их за душу, и подчас они невольно совершали всякие дурачества и вели себя, словно молодые фантасты или рифмоплеты. Далее нельзя не упомянуть, что однажды, когда Юлия пела при дворе, было замечено, что князь Ириней довольно явственно стонал, а по окончании арии подошел к ней, прижал ее ручку к губам и чуть не плача молвил: «Драгоценнейшая фрейлейн!» Гофмаршал осмеливался утверждать, что князь Ириней действительно поцеловал маленькой Юлии руку, причем из глаз у него якобы выкатились две слезы. Но по настоянию обергофмейстерины это утверждение было опровергнуто как неприличное и противоречащее интересам двора.

У Юлии был звучный, чистый, как серебряный колокольчик, голос, и пела она с таким чувством, с таким вдохновением, какое может излиться только из самой глубины взволнованного сердца. В этом-то и заключалось чудесное, непобедимое очарование, какое и сейчас исходило от ее пения. Все слушали, затаив дыхание, все испытывали стеснение в груди от неизреченного чувства сладостной печали, и только через несколько минут после того, как она умолкла, восторг слушателей прорвался бурными, безудержными рукоплесканиями. Один только Крейслер сидел немой, неподвижный, откинувшись на спинку кресла; наконец он медленно поднялся, а Юлия обернулась к нему, и во взгляде ее ясно читался вопрос: «Неужто и в самом деле это было так хорошо?» Но она покраснела и потупилась, когда Крейслер, положив руку на сердце, дрожащим голосом прошептал: «Юлия!» — и, нагнув голову, не вышел, а скорее выскользнул из круга дам, обступивших певицу.

Советница Бенцон с трудом склонила принцессу Гедвигу появиться на вечернем приеме, где она неизбежно должна была встретить капельмейстера Крейслера. Она сдалась лишь тогда, когда советница весьма убедительно доказала ей, какое это ребячество — избегать человека только из-за того, что его нельзя причислить к разряду людей, похожих друг на друга, как монеты одной чеканки, из-за того, что он временами обнаруживает некоторую исключительность характера. К тому же Крейслер принят у князя, так что бесцельно настаивать на своем странном капризе.

Весь вечер Гедвига так ловко лавировала, избегая капельмейстера, что, несмотря на искреннее желание испросить у нее прощение — ибо Крейслер по натуре своей был прямодушен и незлобив, он, сколько ни старался, не смог к ней приблизиться. Самые ловкие его маневры разбивались о хитроумную тактику принцессы. Тем более поразило наблюдавшую за нею Бенцон, что принцесса вдруг вырвалась из круга дам и направилась к капельмейстеру. Крейслер стоял, погруженный в столь глубокую задумчивость, что его привел в себя только вопрос принцессы: неужели у него не найдется ни слова, ни знака одобрения успеху Юлии?

— Светлейшая принцесса, — ответил Крейслер голосом, обличавшим внутреннее волнение, — светлейшая принцесса, по достоверному свидетельству самых маститых писателей, праведники заменяют слова мыслью и взглядом. А я, кажется, побывал на небесах!

— О, тогда наша Юлия — светлый ангел, — ответила, улыбаясь, принцесса, — она открыла перед вами врата рая. Но теперь я попрошу вас на несколько минут спуститься с небес и выслушать бедное дитя земли, стоящее перед вами.

Принцесса помолчала, словно ожидая ответа Крейсlera, но тот, не проронив ни слова, устремил на нее горящий взор. Она опустила глаза и резко отвернулась, отчего небрежно накинутая шаль соскользнула у нее с плеч. Крейслер поймал шаль на лету. Принцесса не двигалась с места.

— Прошу вас, — произнесла она наконец нетвердым, пресекающимся голосом, словно борясь с принятым решением, словно ей трудно было высказать какую-то мысль, — поговорим прозаическими словами о поэтических вещах. Я знаю, вы даете Юлии уроки пения, и должна признать, что за последнее время голос ее и манера несравненно выиграли. Это внушает мне надежду, что вы сможете развить даже такой посредственный талант, как у меня. Я думаю, что...

Гедвига запнулась и покраснела до корней волос, ибо Бенцон подошла и стала уверять, что принцесса весьма несправедлива к себе, называя свои музыкальный дар посредственным, — она великолепно играет на фортепьяно и очень выразительно поет. Принцесса в своем замешательстве вдруг показалась Крейслеру необыкновенно мила, и из уст его полился поток любезностей; в заключение он заявил, что нет для него большего счастья, чем помочь принцессе советом и делом в ее музыкальных занятиях, лишь бы на то было ее желание.

Гедвига слушала Крейсlera с видимым удовольствием. Но вот он замолчал, и она прочла во взгляде Бенцон упрек: «Что же ты боялась этого милейшего человека?» Она промолвила вполголоса:

— Да, да, Бенцон, вы правы, я иногда бываю ребячливей ребенка.

И тут же, не глядя, она взяла шаль, которую Крейслер все это время держал в руках и теперь протянул ей. При этом он случайно коснулся руки принцессы, и сразу такой сильный удар потряс все его нервы, что он едва не лишился сознания.

Как светлый луч, пробившийся сквозь мрачные тучи, долетел до Крейсlera голос Юлии:

— Придется еще петь, дорогой Крейслер, — сказала она, — меня не оставляют в покое. Конечно, хотелось бы попробовать тот чудный дуэт, который вы принесли мне на днях...

— Вы не можете отказать Юлии, — вмешалась советница Бенцон, — милый капельмейстер, живо к фортепьяно!

Крейслер, не в силах вымолвить ни слова, сел за фортепьяно, точно опьяненный каким-то необъяснимым дурманом, и взял первый аккорд дуэта. Юлия начала:

«Ah che mi manca l'anima in sì fatal momento...» [\[39\]](#). Надобно сказать, что слова этого дуэта, как и во всех итальянских романсах, наивно

повествовали о разлуке любящих сердец и в них, разумеется, *momento* [40] рифмовалось с *sento* [41] и *tormento* [42], а также, как в сотнях подобных дуэтов, не обошлось без *Abbi pietade, o cielo* [43] или *pena di morir* [44]. Но Крейслер сочинил музыку на эти слова в миг величайшего душевного подъема, с такой страстью, что исполнение ее не могло не проникнуть в душу каждому, кого небо наделило сколько-нибудь сносным слухом. Этот дуэт можно было считать одним из самых пылких творений этого жанра; но Крейслер стремился к живейшей выразительности, а не к тому, чтобы спокойно, в такт, аккомпанировать Юлии, и оттого он поначалу с трудом попадал ей в тон. Юлия вступила робко, неуверенным голосом, Крейслер ничуть не лучше. Но вскоре голоса их полетели ввысь на волнах песни, как два белоснежных лебедя, и то уносились, шумно взмахивая крылами, к сияющим золотом облакам, то под рокочущий поток аккордов замирали в сладостном любовном объятии, покамест глубокие вздохи не возвестили приближение смерти и последнее «Addio» [45] не вырвалось криком дикой боли, словно кровавый фонтан брызнул из растерзанной груди.

Не нашлось человека, кого бы дуэт не захватил до глубины души; у многих в глазах стояли слезы, сама Бенцон созналась, что не переживала ничего подобного даже в театре при наилучшем исполнении прощальных сцен. Юлию и капельмейстера осыпали похвалами, говорили о подлинном вдохновении, одушевлявшем обоих, и превозносили само сочинение, быть может, даже более, нежели оно заслуживало. На лице принцессы Гедвиги во время пения заметно отражалось глубокое волнение, как она ни старалась казаться спокойной и скрыть свои чувства. Рядом с нею сидела юная фрейлина с румяными щеками, одинаково склонная и поплакать и посмеяться; принцесса все время что-то нашептывала ей на ухо, но та, опасаясь нарушить придворный этикет, лишь изредка бросала ей в ответ словечко. И к советнице Бенцон, сидевшей по другую ее сторону, Гедвига обращалась с разными пустяками, словно вовсе и не слушала пения; но та со свойственной ей строгостью манер попросила принцессу отложить беседу до окончания дуэта. Зато теперь Гедвига, вся разгоревшаяся, со сверкающими глазами, заговорила так громко, будто старалась перекричать сыпавшиеся со всех сторон похвалы:

— Теперь, надеюсь, и мне будет позволено высказать свой взгляд. Я признаю достоинства дуэта как музыкального произведения, и наша Юлия спела его великолепно. Но разве справедливо, разве допустимо, чтобы нам здесь, в нашем уютном кругу, где должна царить непринужденность, где речи и музыка должны литься свободно и легко, подобно нежно

журчащему среди цветочных куртин ручейку, — разве допустимо, чтобы нам здесь преподносили столь экстравагантные дуэты? Они так терзают нас, оставляют столь губительный след в душе нашей, что от них невозможно отделаться. Я напрягала все свои силы, чтобы не слушать, не впускать в свою грудь эту дикую, адскую боль, которую Крейслер выразил в звуках со свойственным его искусству полным небрежением к нашему легкоранимому сердцу, но ни у кого не достало доброты поспешить мне на помощь. Пусть я слаба, капельмейстер, пусть стану жертвой вашей иронии, но я охотно признаюсь, что тяжкое впечатление от этого дуэта сделало меня совсем больной. Неужели нет больше Чимарозы, нет Паизиелло, чьи сочинения точно созданы для улады нашего общества?

— Боже правый, — воскликнул Крейслер, и на лице его заиграл каждый мускул, как всегда, когда в нем пробуждался юмор, — о боже, светлейшая принцесса! Если бы вы знали, насколько я, самый жалкий из капельмейстеров, разделяю ваше милостивое мнение! Не противно ли добрым нравам и предписаниям моды выставить напоказ свою грудь со всеми ее печалью, всей скорбью, всем восторгом, не закутав ее предварительно в пышное жабо изысканнейшей благовоспитанности и приличия? Чего стоят в таком случае все огнетушительные устройства, уготованные хорошим тоном? Чего они стоят, если они неспособны погасить яркое пламя, готовое прорваться то здесь, то там? Сколько бы ни прополаскивали наши желудки чаем, сахарной водицей, благонамеренными разговорами, приятным пустословием — все же подчас тому или иному кощунственному поджигателю удастся подбросить в общество зажигательную ракету, и вот пламя вспыхивает, освещает все вокруг и даже, представьте, обжигает, что не под силу чистому лунному сиянию! Да, светлейшая принцесса, да, я — несчастнейший из капельмейстеров на нашей грешной земле, я дерзнул на постыдное кощунство, выступив с этим нечестивым дуэтом и приведя в смятение все общество, подобно адскому фейерверку со всеми его огненными шарами, кометами, римскими свечами и пушечными залпами, и — замечу с прискорбием — почти повсюду вызвал пожар! Ах!.. Огонь... огонь... Тысяча чертей! Горит!.. Пожарные насосы сюда!.. Воды!.. Воды!.. На помощь! Спасите!

Крейслер бросился к ящику с нотами, вытащил его из-под фортепьяно, открыл, разбросал ноты, выхватил какую-то тетрадь (то была «Molinara» ^[46] Паизиелло), сел за фортепьяно и заиграл ритурнель известной маленькой выходной ариетты мельничихи «La Rachelina molinarina» ^[47].

— Дорогой Крейслер, что с вами?.. — робко обратилась к нему перепуганная Юлия.

Тут Крейслер упал перед нею на колени и взмолился:

— Дражайшая, добрейшая Юлия! Сжальтесь над высокочтимым обществом, пролейте бальзам утешения на лишенные надежды души, спойте «La Rachelina»! Если вы этого не сделаете, мне не останется ничего иного, как тут же на месте, у вас на глазах, низринуться в бездну отчаяния, на краю которой я уже стою, и напрасно будете вы тащить погибшего капельмейстера за фалды и звать его с обычной вашей добротой: «Останься с нами, Иоганнес!» — он соскользнет в Ахерон, где, выделявая самые замысловатые пируэты, закружится в неистовой демонической пляске! А потому спойте, дорогая!

Юлия, хотя и с некоторым неудовольствием, исполнила просьбу Крейслера.

Едва она кончила ариетту, Крейслер тут же заиграл известный комический дуэт нотариуса и мельничихи.

Голосу Юлии, ее манере пения была более близка серьезная, патетическая музыка, но она и комические вещи исполняла с непередаваемой пленительной грацией. Крейслер же вполне усвоил особенную, неотразимо своеобразную манеру итальянских buffi [48]. Сегодня он превзошел самого себя; его голос нельзя было узнать; только что певец передавал тысячу тончайших нюансов самого напряженного драматизма, а теперь строил такие уморительные гримасы, что расшевелил бы самого Катона.

И разумеется, по окончании пения последовал взрыв ликования и громкого смеха.

Восхищенный Крейслер поцеловал Юлии руку, однако она с неудовольствием ее отдернула.

— Ах, капельмейстер, я никак не могу понять странной, я бы сказала фантастической смены ваших настроений. Такие головокружительные скачки из одной крайности в другую приводят меня в содрогание. Прошу вас, Крейслер, не требуйте от меня, чтобы я в таком возбужденном состоянии, когда в душе еще звучат отголоски глубочайшей печали, распевала комические дуэты, даже самые приятные и мелодичные. Я знаю, что исполню их как надо, что пересилю себя, но после такого пения я всегда бываю очень утомлена и совсем разбита. Не требуйте этого более! Вы обещаете, не правда ли, дорогой Крейслер?

Капельмейстер хотел ей ответить, но подошедшая принцесса обняла Юлию, смеясь так громко и безудержно, что любая гофмейстерина сочла

бы это непристойным и неподобающим.

— Дай мне обнять тебя, — воскликнула она, — ты самая очаровательная, самая голосистая, самая задорная мельничиха на свете. Ты способна одурачить всех баронов, наместников, нотариусов, какие только есть на земле, да еще... — Последние слова ее утонули в новом взрыве хохота.

Быстро обернувшись к капельмейстеру, она добавила:

— Вы окончательно примирили меня с собой, дорогой Крейслер! О, теперь мне понятен ваш изменчивый юмор. Он восхитителен, право, восхитителен! Высшая жизнь раскрывается только в борении разнообразных ощущений, враждебных чувствований! Благодарю вас, благодарю от души и разрешаю вам поцеловать мою руку!

Крейслер взял протянутую ему руку, и снова по всему его телу, правда, не так сильно, как в первый раз, пробежал странный ток, так что на мгновение он даже заколебался, прежде чем поднес к губам нежные пальчики без перчатки, склонившись в поклоне с таким достоинством, будто он и теперь еще был советником посольства. Он не мог понять почему, но это физическое ощущение от прикосновения светлейшей руки неимоверно рассмешило его. «Оказывается, — подумал он, когда принцесса отошла от него, — ее высочество не что иное, как лейденская банка, она валит порядочных людей с ног электрическими разрядами по своему княжескому благоусмотрению!»

Принцесса порхала по зале, приплясывая, мурлыкая про себя «La Rachelina molinarina» и осыпая ласками и поцелуями то одну, то другую придворную даму, уверяя всех, что никогда в жизни она еще так не веселилась и этим она обязана милейшему капельмейстеру. Чопорной Бенцон все это было весьма не по нраву, наконец она не выдержала, отвела принцессу в сторону и зашептала ей на ухо:

— Гедвига, ради бога, что за поведение?

— Я думаю, — возразила принцесса, и глаза ее засверкали, — я думаю, милая Бенцон, на сегодня довольно нравоучений, пора спать! Да, в постель, в постель! — И велела подавать карету.

В то время как принцесса была судорожно весела, Юлия, напротив, казалась тихой и сумрачной. Опершись головой на руку, сидела она у фортепьяно; заметно побледневшее лицо и затуманенные глаза показывали, что дурное расположение довело ее до физического недомогания.

Искрящийся алмазами юмор Крейслера тоже погас. Избегая всяких разговоров, он неслышными шагами приближался к двери. Госпожа Бенцон заступила ему дорогу.

— Не знаю, — промолвила она, — какое небывалое настроение заставляет меня...

(М. пр.) ...все таким знакомым, таким домашним, соблазнительный запах прекрасного жаркого носился под крышами голубоватым дымком, и словно где-то далеко-далеко, будто шелест вечернего ветерка, шептали ласковые голоса: «Мурр, любимый Мурр, где странствовал ты так долго?»

*О, что стесняет грудь мою,
Что жжет ее? Не знаю сам...
Мой дух поднимлет к небесам.
В чем божество я узнаю?
О ты, уставшая от мук,
Воспрянь, душа! Борьбы хочу я!
Весельем обернулись вдруг
Та боль, та горечь, тот испуг...
Я жив, я жареное чую!*

Так я запел и, не обращая внимания на чудовищный шум пожара, отдался приятнейшим грезам! Но и здесь, на крыше, меня продолжали преследовать грубые проявления уродливой жизни, в которую я столь опрометчиво окунулся. Не успел я оглянуться, как из дымовой трубы вылезло одно из тех страшилищ, которых люди зовут трубочистами. Едва заметив меня, этот черномазый грубиян тотчас же заорал: «Брысь, кот!» — и швырнул в меня метлой. Спасаясь от удара, я перепрыгнул на соседнюю крышу и оттуда на водосточный желоб. Кто опишет мое радостное изумление, даже счастливый испуг, когда я сообразил, что нахожусь над домом моего доброго господина. Проворно перебирался я от одного слухового окна к другому, но все они оказались закрытыми. Тогда я возвысил голос, но тщетно — никто меня не слышал. Между тем клубы дыма из горящего здания поднимались все выше, шипели страшные водяные струи, тысячи голосов кричали, перебивая друг друга. Пожар, казалось, усиливался. Но вот открылось слуховое окно и из него выглянул мой хозяин в знакомом желтом шлафроке.

— Мурр, мой хороший кот Мурр! Вот ты где, оказывается! Входи же, входи, серенькая шубка! — радостно приветствовал, едва завидев меня,

хозяин.

Я не замедлил всеми доступными мне знаками выказать и мою радость, и мы оба отпраздновали таким образом чудесную, незабываемую минуту встречи. Когда я спрыгнул к нему на чердак, хозяин принялся меня гладить, я же от удовольствия отвечал ему ласковыми звуками, которые люди с язвительной насмешкой обозначают словом «урчание».

— Ха-ха, — смеялся хозяин, — ха-ха, мой мальчик, ты, верно, счастлив, что вернулся из дальних скитаний под родной кров, и не замечаешь, какая опасность нависла над нами. Право, я бы не прочь превратиться в такого счастливого, беззаботного кота, ему наплевать на огонь и на всех брандмайоров — он же не обременен никакой подвижностью, ибо единственная подвижность, которой владеет его бессмертный дух, — это он сам!

Хозяин взял меня на руки и спустился с чердака в свою комнату. Но успели мы войти, как вслед за нами вбежали профессор Лотарио и с ним еще двое мужчин.

— Прошу вас, — воскликнул профессор, — прошу вас, во имя неба, маэстро! Вам грозит крайняя опасность, огнем уже захватило вашу крышу, разрешите, мы вынесем ваши вещи!

Маэстро отвечал весьма сухо, что в минуту такой опасности чрезмерное усердие друзей может причинить более вреда, нежели само бедствие, ибо то, что вырвано из лап огня, так или иначе идет к черту, хотя и более хитроумным способом. Сам он, когда его приятелю грозил пожар, в порыве благожелательного энтузиазма побросал через окно немало драгоценного китайского фарфора, лишь бы он не стал жертвой пламени. Но он будет им весьма обязан, если они спокойно уложат в сундук три ночных колпака, несколько серых сюртуков и прочее платье и белье, причем особенно бережно отнесутся к шелковым панталонам, а книги и манускрипты сунут в корзины. Только к машинам он просит не прикасаться даже пальцем. Лишь тогда, когда крыша будет охвачена пламенем, он покинет сей дом вместе со всей своей подвижностью.

— Но прежде всего, — закончил он, — разрешите мне подкрепить едой и питьем моего товарища и сожителя, измученного и истомленного, ибо он только что вернулся из дальних странствий. А потом уж начинайте хозяйничать.

Все громко засмеялись, догадавшись, что маэстро имеет в виду не кого иного, как меня.

Закуска была отличной, и все мои прекрасные упования, которые я выразил на крыше сладостно-томительными звуками, осуществились в

полной мере.

Когда я насытился, хозяин посадил меня в корзину, а рядом, на свободное местечко, поставил блюдечко с молоком, потом заботливо прикрыл корзину.

— Сиди смирно, кот, — обратился он ко мне, — что бы там ни было, сиди смирно в этой темной обители, скуки ради потягивай свой любимый напиток, а ежели ты выскочишь и начнешь разгуливать по комнате, то в суматохе наши спасители непременно отдадут тебе хвост или лапки. Когда придет время бежать, я сам вынесу тебя отсюда, а то ты опять заблудишься, как это уже раз случилось.

— Вы не поверите, — обратился хозяин к своим гостям, — вы не поверите, многоуважаемые господа и помощники в беде, до чего сей молодой человек в серой шубке, вот что сидит сейчас в корзине, до чего это великолепный, умный кот! Последователи натуралиста Галля утверждают, будто коты, наделенные такими превосходными качествами, как жажда убийства, страсть к воровству и плутням и так далее, даже получив сносное образование, полностью лишены чутья местности и, раз заблудившись, никогда не могут найти свой дом; но мой кот Мурр являет собой блестящее исключение из этого правила. Уже два дня, как он потерялся, и я искренне тужил о нем, но вдруг сегодня он вернулся, и я с полным основанием полагаю, что он воспользовался для этого крышами, как наиболее покойной, устроенной для прогулки дорогой. Добрая душа — он доказал не только свой ум и рассудительность, но и верную привязанность к хозяину, за что я полюбил его пуще прежнего.

Похвала хозяина обрадовала меня чрезвычайно, я почувствовал внутреннее удовлетворение от своего превосходства над всей кошачьей породой, над целой толпой заплутавшихся котов, лишенных чутья местности; и удивлялся, почему я до сих пор не сумел оценить эту особенность моего ума. Правда, я вспомнил и о том, что, собственно говоря, юный Понто вывел меня на верную дорогу, а брошенная трубочистом метла — на родную крышу. И все же я нимало не усомнился в своей проницательности и в справедливости похвал, расточаемых мне хозяином. Как сказано, я чувствовал в себе скрытую силу, и это чувство было залогом того, что меня хвалили по заслугам. Я где-то слышал или читал, что незаслуженная похвала гораздо более радует и раздувает тщеславие, нежели заслуженная, но это, я думаю, справедливо только для людей, ибо мы, мудрые коты, не способны на такую глупость; я даже твердо уверен, что нашел бы дорогу домой и без Понто и без трубочиста и что оба они только спутали правильный ход моих мыслей. Крохи

житейского опыта, которым так хвастался юный Понто, я мог бы приобрести и другим путем, хотя надобно признать, что некоторые приключения, пережитые вместе с милым пуделем, с этим «*aimable roué*» [49], дали мне благодарный материал для писем к друзьям, в форму каковых я облек свои путевые впечатления. Эти письма могли бы быть с большим успехом напечатаны во всех утренних и вечерних газетах, вроде «Светской жизни» или «Независимого», ибо в них с большим остроумием и глубокомыслием освещены самые блестящие стороны моего «я», а это для любого читателя, конечно, интереснее всего. Но знаю — господа издатели и редакторы спросят: «А кто он таков, этот Мурр?» — и, узнав, что я кот, пусть совершеннейший в мире, они презрительно бросят: «Кот, а туда же лезет, в писатели!» И обладай я даже юмором самого Лихтенберга и глубиной Гаманна — о них обоих я слышал много хорошего: говорят, они недурно сочиняли для людей, но оба уже перенеслись в лучший мир, а это весьма рискованная штука для всякого писателя, мечтающего о бессмертии; так вот, я говорю, если бы я даже обладал юмором Лихтенберга и глубиной Гаманна, мне все одно вернули бы рукопись — мыслимое ли это дело? Кошачьим когтям не под силу изящный слог! Ну разве это не очаровательно? О предрассудок, вопиющий предрассудок, как опутываешь ты людей, особенно тех, что зовутся издателями!

Профессор и пришедшие с ним господа затеяли вокруг меня несносную возню, совершенно излишнюю, с моей точки зрения, при укладке серых сюртуков и ночных колпаков.

Вдруг снаружи кто-то громко закричал: «Дом горит!»

— Ага, — заметил маэстро Абрагам, — значит, мне пора спуститься вниз, а вы, господа, не беспокойтесь! Если есть опасность, я тотчас же вернусь, и мы примемся за дело!

И он торопливо вышел из комнаты. Я же сидел в корзине ни жив ни мертв. Дикий шум и дым, уже начавший проникать в комнату, еще более увеличивали мой страх. Черные мысли завладели мною. «Что, коль хозяин забудет обо мне, ведь тогда я бесславно погибну в огне!» В животе у меня, вероятно от чрезмерного страха, началось какое-то противное покалывание. «А что, коварен если он, хозяин добрый мой, и, черной завистью гоним, сгубить кота замыслил он? Что, коль невинное питье — не молоко, а яд, составлен им лишь для того, чтоб извести меня?» Великолепный Мурр! даже в минуту смертельного страха ты мыслишь ямбами, не упуская из виду, что когда-то вычитано у Шекспира и Шлегеля!

Но тут маэстро Абрагам просунул голову в дверь и сообщил:

— Опасность миновала, господа! Усаживайтесь поудобней, вон за тем

столом, и распейте бутылочку-другую вина, вы найдете его в стенном шкафу; я же поднимусь ненадолго на крышу и хорошенько полью ее. Стой — сперва надо поглядеть, как там мой славный кот поживает?

Хозяин вошел в комнату, снял крышку с корзины, где я сидел, ласково заговорил со мной, осведомился, как я себя чувствую. Спросил, не желаю ли я скушать еще одну жареную птичку, на что я отвечал неоднократно, самым нежным мяуканьем, причем весьма благодушно потягивался, из чего мой хозяин совершенно справедливо вывел заключение, что я сыт и желаю пока оставаться в корзине; он снова накрыл ее крышкой и ушел.

Теперь я окончательно уверился в дружеском ко мне расположении маэстро Абрагама. Мне бы, пожалуй, следовало устыдиться своих гнусных подозрений, если бы я не считал стыд неподобающим для умного мужа чувством. «В конце концов, — думал я, — пережитый мною безумный страх, недоверие, предчувствие беды — все это были только поэтические мечтания, свойственные гениальным, юным энтузиастам, они им столь же необходимы, как одурманивающий опиум!» Эта мысль успокоила меня совершенно.

Как только мой хозяин вышел из комнаты, я увидел сквозь щелку, что профессор, опасливо оглядев корзину, подмигнул своим приятелям, как бы желая открыть им что-то важное. Потом заговорил, но так тихо, что я не разобрал бы ни словечка, если бы небо не вложило в мои заостренные уши такой необычайно тонкий слух.

— Знаете ли, что мне хочется сейчас сделать? Знаете ли вы, что мне хочется подойти к корзинке, открыть ее и всадить этот острый нож в горло проклятого кота, который сидит там и скорее всего с наглым самодовольством насмехается над нами?

— Вы с ума сошли! — воскликнул один из гостей. — Вы с ума сошли, Лотарио! Извести такого красивого кота, любимца нашего дорогого маэстро! И почему вы так тихо говорите?

Профессор все тем же тихим шепотом объяснил им, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что маэстро Абрагам каким-то поистине таинственным, непостижимым способом посвятил меня в науки, что уже сейчас, как поведал ему пудель Понто, я сочиняю прозу и стихи, и все это лукавый маэстро подстроил с единственной целью посрамить самых маститых ученых и поэтов.

— О, — говорил Лотарио, едва подавляя бешенство, — о, я уже предвижу, как маэстро Абрагам, и без того завладевший неограниченным доверием великого герцога, добьется для этого кота всего, чего пожелает! Эта бестия получит звание *magister legens* ^[50], степень доктора, и, наконец,

кот, уже профессором, взберется на кафедру эстетики и будет читать лекции об Эсхиле, Корнеле, Шекспире! Я вне себя! Он будет раздирать мои внутренности, а ведь когти у него ужасающие!

Все были до крайности поражены, услышав такие речи Лотарио, профессора эстетики. Один гость выразил мнение, что кот никак не может выучиться чтению и письму, ибо эти первоосновы всех наук требуют прежде всего сноровки, на какую способен только человек, а кроме того — способности мыслить, разума, так сказать, каковой встретишь даже не в каждом человеке, а ведь он — венец творения! Что же говорить о бессмысленной животине?

— Дорогой мой, — вступил в беседу второй, как мне показалось в моей корзине, мужчина весьма положительный, — дорогой мой, а что вы понимаете под «бессмысленной животной»? Бессмысленных животных не бывает! Я сам нередко, погружившись в тихое самосозерцание, испытываю глубочайшее уважение к ослам и прочим полезным тварям. Не понимаю, почему какое-нибудь смышленное домашнее животное, одаренное счастливыми природными задатками, нельзя выучить читать и писать, более того — почему бы такому зверьку не возвыситься до положения ученого или поэта? Разве не было тому примеров? Я уже не говорю о сказках «Тысячи и одной ночи», лучшем историческом источнике, со всей его прагматической достоверностью, сошлюсь, милейший, лишь на Кота в сапогах, кота, преисполненного благородства, проницательного ума и глубокой учености.

Придя в восторг от похвалы коту, который, как мне подсказывал внутренний голос, безусловно был моим достойным предком, я не удержался и два-три раза громко чихнул. Оратор сразу замолчал, и все испуганно воззрились на мою корзину.

— Contentement, mon cher! ^[51] — заметил наконец только что ораторствовавший положительный господин и продолжал: — Если не ошибаюсь, дражайший эстетик, вы только что упоминали о некоем пуделе Понто, выдавшем вам тайну научных и поэтических занятий нашего кота. Это напоминает мне превосходнейшую Сервантесову Берганцу, о дальнейшей судьбе коей повествует одна новая и весьма увлекательная книга. Упомянутая собака тоже являет разительный пример наличия природных способностей у животных и восприимчивости последних к наукам.

— Позвольте, бесценный друг, — перебил его другой, — что за странные примеры вы нам приводите? Про собаку Берганцу рассказывает Сервантес, бывший, как известно, сочинителем романов, а история о Коте в

сапогах — просто-напросто детская сказка, которую господин Тик, правда, изложил нам с такой живостью, что кое-кто по глупости, пожалуй, и поверит в нее. Итак, вы цитируете двух поэтов, как будто они серьезные естествоиспытатели или психологи, тогда как они меньше всего таковы; доказано, что они отпетые фантасты и всегда сочиняют и преподносят нам самые несусветные небылицы. Но позволительно ли вам, такому умному человеку, ссылаться на сочинителей для подкрепления того, что противно здравому смыслу и рассудку? Лотарио — профессор эстетики, ему простительно иногда хватать через край, но вы...

— Пойдите, — перебил положительный, — пойдите, милейший, не горячитесь. Поразмыслите хорошенько, и вы поймете, что, когда речь идет о чудесном, невероятном, надобно обращаться именно к поэтам, ибо трезвые историки в таких вещах ни черта не смыслят. И даже когда это чудесное препарируют, облекая его в научную форму, то для доказательства любого положения подбирают примеры из прославленных поэтов, ибо только их устами глаголет истина. Приведу вам в пример одного знаменитого врача, и вы, сами ученый врач, останетесь довольны таким доводом, — да, говорю, я приведу вам в пример знаменитого врача: желая в своем описании животного магнетизма осветить наши связи с мировым духом, желая неопровержимо доказать существование необъяснимого дара предчувствий, он ссылается на Шиллера с его Валленштейном и приводит слова последнего: «Есть в жизни человеческой минуты...» и дальше: «Вещания такие бывают...» — уж не помню, что еще он говорил. Остальное можете сами прочитать в трагедии.

— Эге, — возразил доктор, — вы непоследовательны, — вторгаетесь в область магнетизма и беретесь утверждать, будто в довершение всех чудес, доступных магнетизеру, ему еще по силам обучать одаренных котов.

— Что ж, — сказал положительный, — никто не знает, как магнетизм действует на животных. Коты, носящие в себе электрические флюиды, как вы сейчас убедитесь...

Я вдруг вспомнил, как горько сетовала Мина, рассказывая мне о проделываемых над нею опытах, и так сильно перепугался, что у меня вырвалось громкое «мяу!».

— Клянусь Орком, — в страхе закричал профессор, — клянусь Орком со всеми его ужасами, этот дьявольский кот слышит и понимает все, что мы говорим... Сейчас... клянусь честью, сейчас я задушу его собственными руками.

— Неумно, — отозвался положительный, — право, неумно, профессор. Ни за что я не потерплю, чтобы вы причинили хотя бы

малейшее зло коту, которого я успел от души полюбить, даже не имел счастья узнать его поближе. В конце концов, я могу подумать, что вы просто завидуете его уменью сочинять стихи. Профессором эстетики этот маленький серый господин никогда не делается, об этом можете не беспокоиться. Разве в старинных академических статутах не записано черным по белому, что вследствие участвовавших злоупотреблений воспрещается допускать ослов к профессуре, и разве не распространяется это правило на зверей всех пород и видов, включая и котов?

— Все может быть, — недовольно ответил профессор, — может быть, коту и не бывать никогда ни магистром, ни профессором эстетики, но как писатель он рано или поздно выступит непременно; будучи любопытной новинкой, он, конечно, привлечет издателей и читателей и утянет у нас из-под носа жирные гонорары...

— Не вижу никаких причин, — возразил положительный, — почему бы такому прекрасному коту, милому любимцу нашего маэстро, не выступить на поприще, где толчется столько людей, не имеющих на то ни сил, ни призвания. Единственная мера, которую следовало бы принять, это обстричь его острые когти, и это мы можем сделать немедленно, дабы иметь уверенность, что, став сочинителем, он никогда не пустит нам кровь.

Все встали с мест. Эстетик схватил ножницы. Легко себе представить мое состояние! Но я решился с мужеством льва защищаться от бесчестья, которое готовились мне нанести; первого, кто приблизится ко мне, я отделаю так, что следы останутся на вечные времена; я приготовился к прыжку, ожидая мига, когда откроют мою корзину.

Но тут в комнату вошел маэстро Абрагам, и весь мой страх, уже доходивший до отчаяния, сразу рассеялся. Мой хозяин открыл корзину, и я одним прыжком, как бешеный, пронесся мимо него и шмыгнул под печку.

— Что стряслось с моим котом? — удивился маэстро, подозрительно оглядывая гостей, которые застыли в смущении и, чувствуя свою вину, не знали, что отвечать.

Как ни опасно было мое положение, когда я находился в неволе, я не мог не испытывать внутреннего удовлетворения от слов профессора о моей вероятной карьере, и меня чрезвычайно радовала ясно проступавшая в его словах зависть. Я уже чувствовал у себя на макушке докторскую шапочку, уже видел себя на кафедре! Разве любознательная молодежь не стала бы усердней всего стекаться именно на мои лекции? Не думаю, чтобы нашелся хоть один благовоспитанный юноша, кто бы превратно понял просьбу профессора не приводить на лекции собак! Не у всех пуделей такие дружеские намерения, как у моего Понто, а в особенности не приходится

доверять вислоухим охотничьим псам: они всегда и везде затевают бессмысленные свары с просвещеннейшими представителями нашей породы и вынуждают их к самым непристойным изъяснениям гнева, как-то: фырканию, царапанию, кусанию и т. д. и т. д.

Как же было бы прискорбно...

(Мак. л.) ...только одна краснощекая фрейлина, которую Крейслер уже видел у Бенцон.

— Сделайте одолжение, Нанетта, — обратилась к ней принцесса, — спуститесь вниз и присмотрите, чтобы все кусты гвоздики были снесены в мой павильон, слуги до того нерадивы, что сами ничего толком не сделают.

Фрейлина вскочила, весьма церемонно присела и быстро, словно птичка, выпущенная из клетки, выпорхнула из комнаты.

— Ничего не могу сыграть, — повернулась принцесса к Крейслеру, — если не нахожусь наедине с учителем, он для меня что духовник, — ему можно не робея исповедаться во всех своих грехах. Вам, дорогой Крейслер, здешний чопорный этикет, конечно, покажется странным, обременительным: я вечно окружена фрейлинами, они меня оберегают, будто я — испанская королева. По крайней мере здесь, в нашем прелестном Зигхартсвейлере, можно было бы наслаждаться большей свободой. Если бы князь был сейчас во дворце, я бы не осмелилась отослать Нанетту, а она ведь и сама скучает во время наших музыкальных уроков, и меня тяготит своим присутствием. Что ж, начнем еще раз, теперь дело должно пойти лучше.

Крейслер, проявлявший на уроках необычайное терпение, снова начал арию, которую выбрала принцесса для разучивания, но как ни старалась Гедвига, как ни помогал ей капельмейстер, она все время сбивалась с такта, фальшивила, делала ошибку за ошибкой и наконец, вся побагровев, вскочила, подбежала к окну и стала смотреть в парк. Крейслеру показалось, что принцесса плачет; первый урок его, вся эта сцена сделались ему несколько тягостны. Тут у него мелькнула мысль: надо изгнать этот враждебный музыке дух, расстроивший принцессу, изгнать самим гением музыки. И у него из-под пальцев полились одна за другой приятнейшие мелодии, он играл знакомые любимые песни, варьируя их контрапунктическими разработками и мелодическими украшениями; под конец он даже сам удивился, как прелестно он играет на фортепьяно, и совершенно забыл о принцессе с ее арией и взбалмошной выходкой.

— До чего прекрасен Гейерштейн в ярких лучах заката! — сказала принцесса, не оборачиваясь.

Крейслер, занятый сложным диссонансом — его надо было разрешить, — не мог вместе с принцессой любоваться Гейерштейном в лучах заката.

— Есть ли более очаровательное местечко во всей окрестности, чем наш Зигхартсвейлер? — продолжала Гедвига, настойчиво повышая голос. Теперь уж Крейслеру, после того как он взял мощный заключительный аккорд, пришлось подойти к стоявшей у окна принцессе и, повинуясь приглашению, вежливо вступить в беседу.

— В самом деле, светлейшая принцесса, — начал он, — парк великолепен, но особенно меня умиляет, что все деревья покрыты зеленой листвой, это всегда вызывает мое удивление и восторг, когда я смотрю на деревья, кусты и травы; каждую весну я возношу хвалу всевышнему за то, что они опять одеваются в зеленый, а не красный наряд, что было бы отвратительно в любом пейзаже и не встречается ни у одного из лучших пейзажистов: ни у Клода Лоррена, ни у Берггэма, ни даже у Гаккерта, который разве только слегка припудривает зелень своих лужаек.

Крейслер хотел продолжать, но осекся, увидев в зеркальце, прикрепленном сбоку к окну, белое как полотно, страшно искаженное страданием лицо принцессы, и ледяная дрожь пробежала по всему его телу.

Наконец принцесса прервала молчание и, все еще не оборачиваясь, по-прежнему глядя в парк, заговорила трогательным голосом, проникнутым глубокой печалью:

— Крейслер, судьбе угодно, чтобы я всегда представляла перед вами девицей со странными фантазиями, взвинченной, даже пустой, чем давала вам повод изощрять на мне свой разящий юмор. Настала пора объяснить вам, почему именно вы, весь ваш облик приводит меня в состояние, сравнимое только с сильнейшим пароксизмом лихорадки, почему приходят в смятение все мои нервы. Узнайте же все! Откровенный рассказ облегчит мою душу и даст мне силы переносить ваш вид, ваше присутствие. Когда я впервые увидела вас в парке, вы, все ваше поведение навели на меня невообразимый ужас — сама не знаю почему. Какое-то воспоминание из времен самого раннего детства внезапно проснулось во мне со всеми страшными подробностями и лишь позднее приняло отчетливую форму в странном сне! При нашем дворе находился художник по фамилии Этлингер, князь и княгиня высоко ценили его за чудесный талант. В нашей галерее вы найдете замечательные полотна его кисти, и на всех изображена княгиня в той или иной исторической сцене, всякий раз в другом облике. Но прекраснейшее из его творений, возбуждавшее единодушный восторг знатоков, висит в кабинете князя. Это — портрет княгини в полном расцвете ее молодости, живописец написал его без единого сеанса с

натуры, но до того схожим, словно он подглядывал за ней в зеркало. Леонгарда — так при дворе звали художника — считали человеком доброго, кроткого нрава. Мне тогда не было еще трех лет, но я привязалась к нему со всей силой, на какую способно детское сердечко, и хотела, чтобы он меня никогда не покидал. А он неумолимо играл со мной, рисовал мне небольшие пестрые картинки, вырезывал всякие фигурки. Прошло около года, и вдруг он исчез. Женщина, которой в ту пору было доверено попечение обо мне, сообщила со слезами на глазах, что господин Леонгард умер. Я была безутешна и ни за что не соглашалась оставаться в комнате, где Леонгард играл со мной. При первой возможности я ускользала от своей воспитательницы, от придворных дам, бегала по дворцу и громко звала его: «Леонгард! Леонгард!» Мне все не верилось, что он умер, я думала, он спрятался где-то во дворце. И вот однажды вечером, когда воспитательница ненадолго отлучилась, я украдкой выбежала за нею следом и отправилась на поиски княгини. Уж она-то скажет мне, где Леонгард, и приведет его ко мне. Дверь в коридор была открыта, я добралась до парадной лестницы, вбежала наверх и вошла наудачу в первую попавшуюся комнату. Я огляделась и уже хотела постучаться, думая, что передо мной покои княгини, как вдруг дверь с шумом распахнулась и из нее выскочил мужчина в изодранном платье, с всклокоченными волосами. Это был Леонгард, вперивший в меня страшные, сверкающие очи. Его поразительно бледное, исхудалое лицо было неузнаваемо. «Ах, Леонгард, — воскликнула я, — какой у тебя вид! Почему ты так бледен, почему у тебя так горят глаза, зачем ты так странно на меня смотришь? Я боюсь тебя, боюсь! Будь же опять таким добрым, как прежде, нарисуй мне еще хорошенькие пестрые картинки!» Но тут Леонгард дико захохотал, бросился ко мне, цепь, которой он был обвязан, загремела, он скорчился на полу и хрипло забормотал: «Ха-ха, маленькая принцесса, — пестрые картинки? Да, да, теперь я могу много рисовать, рисовать — теперь я нарисую тебе картинку и на ней твою красивую маму! Ведь правда у тебя красивая мама? Только попроси ее, пусть не расколдовывает меня. Не хочу больше быть жалким человечком Леонгардом Этлингером, — тот давно умер. Я красный коршун и могу писать, только когда наглотаюсь цветных лучей, когда у меня вместо лака есть горячая кровь из сердца, да, мне нужна кровь, горячая кровь твоего сердца, маленькая принцесса!» И он схватил меня, рванул к себе, обнажил мою шею, — мне показалось, что в руке у него блеснул маленький нож. На мой пронзительный крик сбегались слуги и набросились на сумасшедшего. Но тот с нечеловеческой силой стряхнул их с себя. В то же

мгновение на лестнице громко затопали шаги — исполинского роста сильный детина вбежал в комнату с криком: «Господи Иисусе, он сбежал от меня! Иисусе, что за несчастье! Ну, погоди, погоди, дьявольское отродье!» Едва сумасшедший увидел этого человека, силы внезапно покинули его, и он с воем кинулся на пол. Его связали цепью, принесенной сторожем, и увели, а он рычал страшно, как пойманный дикий зверь.

Легко себе представить, какое губительное действие имело это ужасное зрелище на душу четырехлетнего ребенка. Меня пытались утешить, объяснить, что такое сумасшествие. Я не все поняла, но с той поры глубокий, неизъяснимый страх поселился в моей груди, еще сейчас он возрождается при встрече с сумасшедшими, даже при одной мысли об этом ужасном состоянии души, которое можно сравнить только с длительной, смертельной пыткой. И вы, Крейслер, похожи на того несчастного, как родной брат. Особенно взгляд ваш — он подчас бывает так странен — слишком живо напоминает мне Леонгарда, вот почему, увидев вас впервые, я потеряла самообладание, вот почему ваше присутствие до сих пор тревожит и страшит меня!

Крейслер стоял, глубоко потрясенный, и не мог вымолвить ни одного слова. Издавна мучила его *idée fixe* [\[52\]](#), что безумие подстерегает его, словно алчущий добычи хищный зверь, и когда-нибудь неожиданно настигнет и растерзает его; и тот же ужас, что охватывал принцессу в его присутствии, — ужас перед самим собой — заставил Крейслера задрожать; он боролся со страшной мыслью — не он ли в припадке бешенства хотел убить маленькую принцессу.

После некоторого молчания молодая девушка заговорила снова:

— Несчастный Леонгард втайне любил мою мать, и эта любовь, сама по себе безумная, довела его в конце концов до исступления и бешенства.

— Это значит, — проговорил Крейслер очень кротко и мягко, что случалось всякий раз, когда в груди его отбушевала буря, — это значит, что в груди Леонгарда жила не любовь артиста.

— Что вы этим хотите сказать, Крейслер? — спросила принцесса, быстро оглянувшись.

— Однажды, — отвечал Крейслер с кроткой улыбкой, — мне довелось побывать на довольно веселом, задорном представлении, где балагур-слуга обратился к оркестрантам с такой ласковой речью: «Вы хорошие люди, но плохие музыканты!» После этого я, как высший судия, живо поделил весь род человеческий на две неравные части: одна состоит только из хороших людей, но плохих или вовсе не музыкантов, другая же — из истинных музыкантов... Но никто из них не будет осужден, наоборот, всех ожидает

блаженство, только на различный лад. Хорошие люди легко влюбляются в пару прекрасных глаз, простирают обе руки к обожаемой особе, на чьем лице сияют упомянутые глаза, заключают прелестную в круг, каковой все более сужается и наконец сжимается до размеров обручального кольца. Его они надевают на палец любимой в качестве *pars pro toto* ^[53], — вы несколько разбираетесь в латыни, не правда ли, светлейшая принцесса? — итак, в качестве *pars pro toto*, говорю я, как звено цепи, на которой и ведут жертву любви домой, в узилище брака. При сем они вопят во всю глотку: «О господи!» или «О небо!» Или же, если предпочитают астрономию: «О звезды!» Те же, кто склонен к язычеству, кричат: «О боги! Она, прекраснейшая в мире — моя! Сбылись самые пламенные чаяния!» Поднимая такой шум, хорошие люди воображают, будто подражают музыкантам, но напрасно, ибо у тех любовь совершенно иная! Случается, правда, что незримые руки внезапно срывают с глаз музыканта застилавшую их пелену, и он вдруг узнает, что ангельский образ, эта сладостная неизведанная тайна, безмолвно покоившаяся в его груди, опустился на землю. И тогда чистым небесным огнем, который лишь светит и греет, но никогда не опалает сокрушительным пламенем, вспыхивает весь восторг, все несказанное блаженство высшей жизни, зарождающейся в недрах души, и дух музыканта в страстном желании протягивает тысячи нитей и оплетает ту, кого он увидел, и обладает ею, никогда не обладая, ибо страстное томление его остается вечно неутоленным. И это *она* прекраснейшая, она сама и есть та волшебная, воплощенная в жизнь мечта, которая, сверкая, изливается из недр души артиста светлой песней, картиной, поэмой... Ах, милостивейшая принцесса, верьте мне, верьте твердо: истинные музыканты своими плотскими руками и выросшими на них пальцами только и делают, что творят, — то ли пером, то ли кистью или чем иным; к возлюбленной они в действительности простирают лишь духовные нити, без рук и без пальцев, которые могли бы с подобающим случаю изяществом взять обручальное кольцо и надеть его на тоненький пальчик своего божества; тут, следовательно, нечего опасаться мезальянса и, пожалуй, вполне безразлично, будет ли возлюбленная, живущая в груди артиста, княгиней или дочерью простого булочника, лишь бы не была индюшкой. Такие музыканты, полюбив, с божественным вдохновением создают дивные творения и никогда не погибают жалкой смертью от чахотки и не сходят с ума. Вот почему я ставлю в вину господину Леонгарду Этлингеру, что он дошел до такого неистовства, тогда как он мог, подобно всем истинным музыкантам, любить светлейшую княгиню сколько душе угодно, без всякого ущерба!

Принцесса пропустила мимо ушей иронические нотки, проскальзывавшие в словах капельмейстера, их заглушал отзвук затронутой им струны, одной из тех, что в груди женщины натянуты туже и потому вибрируют сильнее всех остальных.

— Любовь артиста, — промолвила она, опустившись в кресло и как бы в забытии положив голову на руку, — любовь артиста! Быть так любимой! О, это волшебный, красивый, божественный сон... но только сон, увы, несбыточный сон!

— Вы, кажется, не слишком расположены ценить сны, светлейшая принцесса, — заговорил Крейслер, — а ведь только во сне у нас вырастают бабочкины крылья, и эти пестрые радужные крылышки позволяют нам вырваться из самой тесной, самой крепкой тюрьмы и взлететь в бесконечную высь; у каждого человека, в конце концов, есть врожденная тяга к полету, и я знавал вполне порядочных, степенных людей, которые поздно вечером накачивали себя шампанским, как вполне подходящим газом, чтобы ночью, уподобившись воздушному шару, а заодно и воздухоплавателю, подняться ввысь.

— Знать, что ты так любима... — повторила принцесса, еще более взволнованно.

Когда она замолкла, Крейслер продолжал:

— Что же касается любви артиста, той, что я пытался вам сейчас описать, то у вас, милостивейшая принцесса, перед глазами тяжелый пример господина Леонгарда Этлингера: он был музыкантом и жаждал любви, какая бывает у хороших людей, вследствие чего светлый разум его несколько помутился, но именно потому я и полагаю, что господин Леонгард не был истинным музыкантом. Те носят избранницу в своем сердце и не желают ничего иного, как петь, слагать стихи, писать картины ей во славу, их изысканное поклонение можно сравнить с галантностью рыцарей, но их помыслы еще чище, ибо они не столь кровожадны, как рыцари: те для прославления дамы своего сердца протыкали копьем и повергали в прах достойнейших людей, если не попадался под руку какой-нибудь дракон или великан.

— Нет, — воскликнула принцесса, как бы стряхивая с себя сон, — нет, в груди мужчины не может запылать такой чистый жертвенный огонь! Что такое любовь мужчины, как не коварное оружие, пускаемое им в ход, чтобы добиться победы, которая губит женщину, но и ему не приносит счастья.

Крейслер крайне удивился такому образу мыслей, столь несвойственному семнадцати-восемнадцатилетней девушке, но тут отворилась дверь и вошел принц Игнатий.

Капельмейстер был рад, что разговор их прервался; он очень удачно сравнил его с хорошо сложенным дуэтом, где каждый голос до конца остается верен собственному характеру. В то время как принцесса, по мнению Крейсlera, упорствовала в унылом Adagio, лишь изредка подпуская mordent или короткую, резкую трель, сам он, как превосходный buffo [\[54\]](#) и сугубо комический певец, перебивал ее целым каскадом отрывистых нот parlando [\[55\]](#); поскольку композиция и исполнение их дуэта казались ему подлинным шедевром, ему ничего так не хотелось, как услышать себя и принцессу со стороны, из логи или с приличного места в партере.

Итак, в комнату, плача и всхлипывая, вошел принц Игнатий с разбитой чашкой в руках.

Здесь надо заметить, что принц, хотя ему давно сравнялось двадцать лет, все еще не мог расстаться с любимыми забавами детских лет. Но больше всего он любил красивые чашки, целыми часами играл ими, расставляя в ряд на столе, всякий раз по-разному; то желтую рядом с красной, то красную рядом с зеленой. При этом он искренне, простодушно радовался, будто довольное, резвое дитя.

Виновником несчастья, вызвавшего сейчас его слезы, был маленький мопсик: он вскочил на стол и нечаянно столкнул на пол лучшую его чашку.

Принцесса обещала позаботиться, чтобы выписали из Парижа чашку новейшего фасона. Принц Игнатий успокоился, и лицо его осветилось широкой улыбкой. Только сейчас он заметил капельмейстера и обратился к нему с вопросом, много ли у него красивых чашек? Крейслер уже знал от маэстро Абрагама, как надо было на это отвечать, и стал уверять принца, что у него, конечно, нет таких прелестных чашек, как у его светлости, да это и невозможно, ведь он не может тратить столько денег на чашки, как его светлость.

— Вот видите, — сказал принц Игнатий, весьма довольный, — вот видите, я принц и потому могу покупать себе красивые чашки, сколько хочу, а вы не можете, потому что вы не принц, а так как я уж наверно принц, то красивые чашки... — Чашки и принцы, принцы и чашки перепутались в речи принца Игнатия, становившейся все более бессвязной, при этом он смеялся, подпрыгивал и хлопал в ладоши от безмерного удовольствия! Гедвига покраснела и опустила глаза, она стыдилась своего убогого брата, боялась насмешек со стороны Крейсlera, но напрасно: при тогдашнем состоянии капельмейстера слабоумие принца, воспринимаемое им как настоящая душевная болезнь, вызывало в нем только жалость, от

которой он чувствовал себя еще более неловко. Чтобы отвлечь бедняжку от злосчастных чашек, принцесса попросила принца привести в порядок маленькую библиотечку, расставленную в изящном стенном шкафу. Вполне удовлетворенный, радостно смеясь, Игнатий тут же принялся вынимать книжки в красивых переплетах и расставлять их строго по формату, золотыми обрезами наружу, так что они составили блестящую полосу, что понравилось ему чрезвычайно.

Фрейлейн Нанетта вбежала в комнату, громко крича:

— Князь! Князь с принцем!

— Ах, боже мой, — всполошилась принцесса, — в самом деле! А мой туалет! Мы тут заболтались с вами, и время пролетело незаметно. Я все забыла! И себя, и князя, и принца!

Вместе с Нанеттой она исчезла в соседнем покое. Принц Игнатий продолжал заниматься книгами, ни на кого не обращая внимания.

Вот уже придворная карета князя подкатила к крыльцу; когда Крейслер сошел вниз по парадной лестнице, два скорохода в ливреях только что соскочили с линейки. Впрочем, это обстоятельство требует пояснения.

Князь Ириней не желал поступаться старозаветными обычаями и даже теперь, когда уже не было необходимости в том, чтобы перед лошадьми, точно загнанные звери, бежали быстроногие шуты в пестрых куртках, среди многочисленной челяди князя всех видов и рангов имелись и два скорохода; это были красивые, вполне почтенные на вид люди, уже в летах, в хорошем теле, которые, вследствие сидячего образа жизни, изредка жаловались на несварение желудка. Князь, разумеется, был слишком человеколюбив и не стал бы требовать от своего слуги, чтобы тот время от времени превращался в борзую или в резвую дворнягу, но, из уважения к этикету, оба скорохода во время торжественных выездов князя ехали впереди на линейке и там, где это требовалось — если, например, по пути скопилось несколько зевак, — слегка болтали ногами, как бы намекая, что они действительно бегут. Это было великолепное зрелище.

Итак, скороходы только что слезли со своей линейки, камергеры вошли в вестибюль, за ними последовал князь в сопровождении красивого молодого человека в роскошном, шитом золотом мундире неаполитанской гвардии, с крестами и звездами на груди.

— Je vous salue, monsieur de Krösel [\[56\]](#), — сказал князь, увидев Крейслера. Он произносил «Крёзель» вместо «Крейслер», когда в особо торжественных случаях изъяснялся по-французски, ибо тогда никак не мог правильно выговорить ни одного немецкого имени. Иностранный принц —

фрейлейн Нанетта, надо полагать, имела в виду именно этого статного молодца, когда закричала, что приехали князь с принцем, — проходя мимо, небрежно кивнул Крейслеру; эту манеру здороваться Крейслер решительно не выносил, даже со стороны самых высокопоставленных особ. Поэтому он поклонился низко, до самой земли, с таким комическим видом, что толстый гофмаршал, вообще считавший Крейслера завзятым остряком и принимавший за шутку все, что бы тот ни делал или ни говорил, не мог удержаться и слегка хихикнул. Молодой принц бросил на капельмейстера взгляд своих сверкающих темных глаз, пробормотал сквозь зубы: «Шут гороховый!» — и быстро прошел вслед за князем, который с благосклонной важностью обернулся, ища его взглядом.

— Для итальянского гвардейца светлейший господин довольно сносно изъясняется по-немецки, — громко смеясь, сказал Крейслер гофмаршалу, — передайте ему, ваше превосходительство, что я ему отвечу на изысканнейшем неаполитанском наречии, причем не буду смешивать его с североиталийским, а тем более с гнусным венецианским жаргоном Гоцциевых масок, короче говоря — не ударю в грязь лицом! Скажите ему, ваше превосходительство...

Но его превосходительство уже поднимался по лестнице, высоко подняв плечи, словно то были бастионы или редуты для защиты его ушей.

Подъехала княжеская карета, в которой Крейслер обыкновенно ездил в Зигхартсгоф и обратно, старый егерь открыл дверцу, приглашая господина садиться. Но вдруг мимо промчался поваренок, рыдая и вопя:

— Ох, какое несчастье! Ох, какое горе!

— Что случилось? — крикнул ему вслед Крейслер.

— Ох, несчастье! — ответил поваренок, плача еще пуще. — На кухне лежит господин обер-кухмейстер, он в отчаянии, он вне себя от бешенства и во что бы то ни стало желает проткнуть себе живот кухонным ножом, а все оттого, что его светлость князь неожиданно потребовали ужинать, а улиток-то для итальянского салата и нету. Господин обер-кухмейстер сами помчались бы в город, да вот беда — господин обер-шталмейстер не велит закладывать лошадей без приказа его светлости.

— Ну, этому горю можно помочь, — отозвался Крейслер, — пусть господин обер-кухмейстер садится в эту карету, в Зигхартсвейлере он раздобудет самых лучших улиток, а я прогуляюсь туда же пешком. — И он быстрым шагом направился в парк.

— Великодушное сердце! Благородный характер! Добрейший господин! — кричал ему вдогонку старый егерь, растроганный до слез.

Далекие горы стояли в пламени вечерней зари, и пылающий золотом

отблеск скользил, играя, по большому лугу, по деревьям и кустам, как бы гонимый зашелестевшим вдруг вечерним ветерком.

Крейслер остановился посреди моста, переброшенного через широкую протоку озера к рыбацкой хижине, и загляделся на воду, где в волшебном сиянии отражался парк с живописными кущами деревьев и вздымающийся высоко над ними Гейерштейн, вершину которого, будто причудливая корона, венчали сверкавшие белизной руины. Ручной лебедь, отзывавшийся на кличку Бланш, плескался в озере, гордо изгибая стройную шею и хлопая ослепительно белыми крыльями. «Бланш! Бланш! — громко зывал к нему Крейслер, простирая вперед руки. — Спой мне самую прекрасную твою песню! И не верь, что после этого ты умрешь! Но когда запоешь, прильни к моей груди, дивные звуки твои станут моими, и тогда один только я погибну от страстного, жгучего томления, ты же, полный жизни и любви, по-прежнему будешь качаться на ласковых волнах». Крейслеру самому было непонятно, что вдруг так глубоко взволновало его; невольно сомкнув глаза, он облокотился на перила. И тут он услышал пение Юлии; неизъяснимая сладостная боль пронизала его душу.

Мрачные тучи ползли по небу, бросая широкие тени на горы и лес, будто окутывая их темным покрывалом. На востоке глухо рокотал гром; сильней загудел ночной ветер, журчали ручьи; по временам, точно далекие звуки органа, раздавались аккорды эоловой арфы; ночные птицы, словно их кто-то испугнул, поднялись в воздух и с криком заскользили сквозь лесную чашу.

Крейслер очнулся от забытья и увидел в воде свое темное отражение. Ему почудилось, будто Этлингер, безумный живописец, глядит на него из глубины. «Эгей! — крикнул он, нагнувшись над водой. — Эгей, это ты, любимый мой двойник, неразлучный товарищ! Послушай-ка, дружище, а ведь для художника, который слегка свихнулся и пожелал, в надменной заносчивости своей, попользоваться вместо лака княжеской кровью, у тебя довольно презентабельный вид! Я готов даже поверить, мой добрый Этлингер, что ты просто дурачил знатные семейства своими сумасшедшими выходками. Чем дольше я смотрю на тебя, тем яснее вижу, какие у тебя благородные манеры, и, если хочешь, я берусь уверить княгиню Марию, что ты, коли судить по твоей осанке в воде, был некогда весьма важной персоной и что она, не колеблясь, может отдать тебе свое сердце. Но если ты пожелаешь, друг, чтобы княгиня и сейчас еще была похожа на писанный тобою портрет, то придется тебе последовать примеру одного князя-дилетанта, — он добивался сходства своих портретов тем, что

подмалевывал физиономии оригиналов! Итак, за то, что тебя незаслуженно отправили в преисподнюю, я сейчас порадуя приятеля кое-какими новостями! Знай же, уважаемый обитатель дома умалишенных, что рана, нанесенная тобою бедному дитяти, очаровательной принцессе Гедвиге, не зажила еще и по сей день, так что она от боли выкидывает иногда довольно странные штуки. Неужели ты так жестоко, так больно поразил ее сердце, что оно и поныне истекает кровью, увидев твой призрак, подобно тому как труп жертвы начинает сочиться кровью, когда к нему приближается убийца? Не поставь же мне в вину, милейший, что она принимает меня за твой призрак! И только появилось у меня искреннее желание доказать, что я не какой-нибудь мерзкий выходец с того света, а капельмейстер Крейслер, как мне поперек дороги встал принц Игнатий, явно страдающий паранойей, fatuitas, stoliditas ^[57], по мнению Клуге, представляющими весьма приятную разновидность идиотизма. Не передразнивай меня, художник, ведь я разговариваю с тобой серьезно! Ты опять за свое? Не бойся я насморка, непременно прыгнул бы в воду да задал бы тебе изрядную трепку! Убирайся ко всем чертям, каналья, со своими гримасами!»

И Крейслер отскочил от воды.

Внезапно тьма сгустилась, среди черных туч запылали молнии, загредел гром, и вдруг на землю посыпались первые крупные капли дождя. Из рыбацкой хижины на землю падал ослепительно яркий свет, и Крейслер поспешил туда.

Неподалеку от двери капельмейстер увидел в полосе яркого света своего двойника, свое второе «я», шагавшее рядом с ним. Вне себя от ужаса, он бросился в хижину, и, задышавшись, бледный как смерть, упал в кресло.

Маэстро Абрагам сидел за маленьким столиком, и при свете сильной астральной лампы углубился в чтение какого-то толстого фолианта; он испуганно вскочил и подбежал к Крейслеру с возгласом:

— Ради бога, Иоганнес, что с вами, откуда вы в эту позднюю пору и что привело вас в такое исступление?

Крейслер с трудом овладел собой и проговорил глухо:

— Так оно и есть, теперь нас двое — я и мой двойник: он выскочил из озера и гнался за мной до самой хижины. Будьте милосердны, маэстро, возьмите кинжал и зарежьте этого негодяя. Он безумен, верьте мне, и может нас обоих ввергнуть в погибель. Это он накликал грозу. Духи плывут по воздуху и раздирают человеческие сердца своими хорами! Маэстро, маэстро, приманите сюда лебедя, пусть поет для меня — в моей груди

песня заоченела, ибо это второе «я» положило мне на грудь свою белую, мертвенную, леденящую руку, но как только лебедь запоет, оно должно будет снять ее и снова погрузиться в озеро.

Маэстро Абрагам остановил Иоганнеса, начал ласково увещевать, заставил выпить несколько рюмок огненного итальянского вина, оказавшегося у него под рукой, а затем постепенно выведал у него, как все произошло.

Но едва Крейслер договорил, как маэстро Абрагам громко расхохотался, воскликнув:

— Вот оно и видно, что вы — отъявленный фантаст и чистейшей воды духовидец! Органист, разыгравший свои жуткие хоралы, был не кто иной, как промчавшийся ночной ветер, это он заставил трепетать струны гигантской эоловой арфы! Да, да, Крейслер, вы позабыли, что в конце парка, между двумя павильонами, протянута эолова арфа! ^[58] Что же до двойника, бежавшего рядом с вами в свете моей астральной лампы, то сейчас я вам докажу, что стоит мне выйти за дверь, как рядом со мной появится и мой двойник; да и каждому, кто переступит этот порог, придется терпеть рядом с собой такого *chevalier d'honneur* ^[59] своей особы.

Маэстро Абрагам вышел за дверь, и тотчас же рядом с ним на свету оказался еще один маэстро Абрагам.

Тут только Крейслер понял, что изображение отбрасывается замаскированным вогнутым зеркалом; он был раздосадован, как и всякий, кто, поверив в чудо, вдруг видит, что оно развенчано у него на глазах. Человеку более по душе самый глубокий ужас, чем естественное объяснение представшего ему призрака; он не довольствуется здешним миром, ему надобно увидеть нечто из иного мира, не требующее телесной оболочки, чтобы стать видимым.

— Мне непонятно ваше странное тяготение к подобным дурачествам, — сказал Крейслер. — Вы, как искусный повар, готовите из острых специй чудеса и воображаете, будто подобной вредной чепухой можно подхлестнуть людей, чья фантазия стала вялой, точно желудок пресыщенного кутилы. Нет ничего отвратительней, чем, показав человеку такой проклятый фокус, от которого перехватывает дыхание, тут же приняться ему доказывать, будто все произошло самым естественным порядком.

— Естественным, естественным... — проворчал маэстро Абрагам. — Вы — человек, обладающий известной долей здравого смысла, и давно должны бы понять — ничто в нашем мире не происходит естественным

порядком, да, ничто! Уж не думаете ли вы, дорогой капельмейстер, что, пуская в ход доступные нам средства и достигая определенного действия, мы в состоянии объяснить себе первопричину этого действия, заключенную в таинствах природы? Вы всегда с должным респектом относились к моим фокусам, хотя самого дорогого для меня вам так и не довелось увидеть...

— Вы говорите о Невидимой девушке? — спросил Крейслер.

— Вот именно, — продолжал маэстро, — именно этот фокус — а он, между прочим, есть нечто большее, чем фокус, — убедил бы вас в том, что нередко простейшая, наиболее легко поддающаяся расчетам механика, соприкоснувшись с таинственными силами природы, вызывает действие, которое остается необъяснимым даже в обычном смысле этого слова.

— Гм... — возразил Крейслер, — если вы применили известную теорию звука, если ловко спрятали аппарат, да к тому же имели под рукой сообразительное и проворное существо...

— О Кьяра! — воскликнул маэстро Абрагам, и слезы заблистали у него на глазах. — О Кьяра, милое нежное дитя мое!

Крейслер никогда еще не видел маэстро в таком глубоком волнении; старик не любил поддаваться унынию или грусти, напротив — всегда отгонял эти чувства насмешливой шуткой.

— Что же это за Кьяра? — любопытствовал капельмейстер.

— Как глупо, — ответил маэстро улыбаясь, — что я нынче предстаю перед вами старым, плаксивым дураком; но созвездиям угодно, чтобы я наконец поведал вам о той поре моей жизни, о которой я так долго хранил молчание. Подойдите сюда, Крейслер, взгляните на этот толстый фолиант, — это самое замечательное из всего, что мне принадлежит, наследие искуснейшего чернокнижника по имени Северино; я как раз сидел тут и читал о всяких фантастических вещах и любовался Кьярой, чье изображение здесь напечатано, и вдруг вы вламываетесь ко мне вне себя от волнения и отказываетесь признавать мою магию именно в тот миг, когда я с упоением предаюсь воспоминаниям о прекраснейшем из всех ее чудес, коими я повелевал в цветущую пору моей молодости.

— Так расскажите о нем, — заметил капельмейстер, — дабы и я мог подвывать вам.

— Я был молод и полон сил, имел довольно приятную наружность, — начал маэстро Абрагам, — но однажды, работая над сооружением большого органа для собора в Генионесмюле, свалился больной, да и неудивительно: слишком усердно добивался я славы и потому слишком много трудился. Лекарь сказал мне: «Прогуляйтесь-ка, уважаемый

органный мастер, прогуляйтесь по белу свету, по горам и долинам». Так я и сделал, и повсюду, где бы ни проходил, я, шутки ради, выдавал себя за механика и показывал публике всякие занятные кунштюки. Дело шло прекрасно и приносило мне немалый доход, покуда я не столкнулся с человеком по имени Северино; он едко высмеял меня и мои жалкие фокусы и чуть не заставил меня поверить вместе с народом, что он в союзе с дьяволом или по крайней мере с другими более почтенными духами. Особое изумление возбуждала его женщина-оракул, фокус, прославившийся впоследствии под названием «Невидимой девушки». Посреди комнаты к потолку был подвешен шар из тончайшего прозрачного стекла, и из этого шара, словно нежное дуновение, струились ответы на вопросы, задаваемые некоему невидимому существу. Непостижимость этого странного феномена, а еще более — трогательный, хватающий за душу голос Невидимки, меткость ее ответов, подлинный дар предвидения обеспечивали фокуснику небывалый приток зрителей. Я старался познакомиться с ним поближе, много рассказывал ему о своих механических кунштюках, но он отнесся к моей науке с презрением, хотя и не в том смысле, как вы, Крейслер. Потом он настоял, чтобы я изготовил ему водяной орган для домашнего употребления, сколько я ни доказывал ему, как доказывал и покойный придворный советник Мейстер из Готтингена в своем трактате «De veterum hydraulo» ^[60], что от подобного применения hydraulos не будет никакого проку, кроме разве экономии нескольких фунтов воздуха, который мы пока что, благодарение богу, получаем даром. Наконец Северино признался, что нежнейшие звуки такого инструмента нужны ему для сопровождения пророческих слов Невидимки, и согласился открыть мне тайну этого чуда, ежели я поклянусь всеми святыми, что не только не воспользуюсь ею сам, но и не открою ее другим, хотя он уверен, что вряд ли возможно сделать копию его чудесного аппарата без того, чтобы... Тут он многозначительно замолчал и придал своему лицу таинственно-умильное выражение, совсем как некогда блаженной памяти Калиостро, когда он рассказывал дамам о своем волшебном экстазе. Горя нетерпением узреть Невидимку, я обещался соорудить ему водяной орган как только удастся, и с тех пор маг стал дарить меня своим доверием и даже выказывать некоторую приязнь, ибо я охотно взялся помогать ему в работе. Однажды, когда я направлялся к Северино, я увидел на улице толпу народа. Мне сообщили, что какой-то прилично одетый господин упал на мостовой без сознания. Я протиснулся вперед и узнал Северино, которого только что подняли и понесли в соседний дом. Случайно шедший мимо лекарь старался привести его в

чувство. После того как были испробованы многие средства, Северино глубоко вздохнул и открыл глаза. Взгляд его, устремленный на меня из-под судорожно сведенных бровей, был страшен: весь ужас борьбы со смертью горел в нем мрачным огнем. Губы его дрогнули, он попытался что-то вымолвить, но не смог. Наконец он несколько раз выразительно хлопнул рукой по жилетному карману. Я сунул туда руку и вытащил связку ключей. «Это ключи от вашей квартиры?» — спросил я, и он утвердительно кивнул. «А это, — продолжал я, поднося к его глазам один из ключей, — от кабинета, куда вы меня никогда не впускали?» Он опять кивнул. Но когда я решился продолжать свои расспросы, он, как бы объятый смертельным страхом, начал охать и стонать, капли холодного пота выступили у него на лбу, он вытянул руки и соединил их дугой, словно обнимая что-то, и указал на меня. «Он хочет, — предположил лекарь, — чтобы вы позаботились о его вещах и аппаратах и чтобы в случае его смерти вы взяли их себе, да?» Северино еще усердней закивал головой. Наконец, воскликнув «Corre» ^[61], он в беспамятстве упал навзничь. Весь дрожа от любопытства и нетерпения, я помчался к жилищу Северино, открыл дверь в его кабинет, где он, по-видимому, держал взаперти таинственную Невидимку, и был немало удивлен, не найдя там ни души. Единственное окно было плотно завешено, и свет еле пробивался в комнату; на стене, как раз против двери, висело большое зеркало. Когда случайно взгляд мой упал на это зеркало и я увидел в полумраке свое отражение, меня пронизало странное чувство, будто я стою на изолирующей скамейке электризационной машины. И в то же мгновение голос Невидимой девушки произнес по-итальянски: «Пощадите меня хоть сегодня, отец! Не истязайте так жестоко, ведь вы уже умерли!» Я быстро распахнул дверь, яркий свет хлынул в комнату, но опять никого не было видно. «Хорошо, отец, что вы послали сюда господина Лискова, — говорил голос, — он не позволит вам больше так пытаться, он сломает магнит, а вам уж не выбраться из могилы, куда он вас зароет, как бы вы ни противились. Вы теперь мертвец и уже не принадлежите к живым!» Вы легко поймете, Крейслер, какой ужас обуял меня, ведь я никого не видел, а голос раздавался у меня над самым ухом. «Тьфу, дьявол! — выругался я громко, дабы придать себе храбрости. — Попадись мне на глаза какая-нибудь самая дрянненькая бутылочка, уж я разобью ее, и пусть тогда сам diable boiteux ^[62], выскочив из своей темницы, предстанет передо мной во плоти, но так...» Тут мне вдруг пришла мысль, что тихие вздохи, проносящиеся по кабинету, идут из ящика в углу, казалось бы слишком малого, чтобы в нем могло скрываться человеческое существо. Все-таки я

подскочил туда, отодвинул засов и вижу: свернувшись клубком, словно змейка, лежит передо мной девушка, пристально смотрит на меня дивно красивыми глазами и протягивает мне руку. «Выходи отсюда, моя овечка, выходи, маленькая невидимочка!» — зову я ее. Беру протянутую руку, и словно электрическая искра пробегает по всем моим членам.

— Пойдите! Пойдите! — крикнул Крейслер. — Маэстро Абрагам, что же это такое? Когда я впервые случайно коснулся руки принцессы Гедвиги, со мной было то же самое, да и теперь всякий раз, когда она милостиво подает мне свою ручку, я испытываю, хотя и слабее, то же ощущение.

— Ого! — отвечал маэстро. — Выходит, что наша маленькая принцессочка есть нечто вроде *Gymnotus electricus* ^[63] или *Raja torpedo* ^[64], а то и *Trichiurus indicus* ^[65], каковой до известной степени была и моя милая Кьяра, а может быть, она просто такая же шаловливая домашняя мышка, как та, что залепила приснопамятному синьору Котуньо оплеуху, когда он схватил ее за спинку, чтобы подвергнуть вскрытию, какового намерения у вас в отношении принцессы, надо полагать, и в мыслях не было. Однако о принцессе мы побеседуем в другой раз, а покамест вернемся к моей Кьяре-невидимке! Испуганный неожиданным толчком этой маленькой торпеды, я отпрянул назад, но девушка заговорила по-немецки, необыкновенно мелодичным голосом: «Ах, не сердитесь на меня, господин Лисков, но я ничего не могу с собой поделать, мне так больно!»

Преодолев наконец замешательство, я осторожно обнял малютку за плечи и вытащил ее из отвратительной тюрьмы. Передо мной стояло прелестное создание хрупкого сложения, ростом с двенадцатилетнюю девочку, но, судя по развитию, достигшее не менее шестнадцати. Взгляните на ее портрет в книге, он весьма похож, и вы должны признать, что нет на свете личика более выразительного, более лучезарного, чем у нее. К тому же никакой портрет не в состоянии передать волшебный, освещающий изнутри все ее существо, пламень дивных черных глаз. Всякий человек найдет это личико пленительно-прекрасным, если только он не питает пристрастия к белоснежной коже и льняным кудрям, ибо кожа у моей Кьяры была действительно несколько смугловата, а волосы — черны и блестящи, как вороново крыло. Кьяра — теперь вы знаете, как звалась Невидимка, — Кьяра, сломленная печалью и страданиями, упала передо мной на колени, слезы ручьем потекли из глаз ее, и она промолвила с невыразимым чувством: «*Je suis sauvée!*» ^[66]. Я испытывал к ней глубочайшее сострадание, ибо подозревал, что здесь творилось что-то

страшное! Тут внесли в дом мертвое тело Северино, который вскоре после того, как я его оставил, умер от второго удара. Кьяра увидела труп, и слезы ее сразу высохли, она серьезно смотрела на мертвого Северино, но когда пришли люди и стали с любопытством ее разглядывать и, смеясь, высказывали предположение, уж не она ли и есть Невидимая девушка, — удалилась в другую комнату. Я не считал возможным оставлять девушку наедине с покойником, но сострадательные хозяева согласились приютить ее у себя. Когда я, выпроводив посторонних, вернулся в кабинет, Кьяра сидела перед зеркалом и с нею творилось что-то странное. Устремив пристальный, как у сомнамбулы, взгляд в зеркало, девушка, казалось, никого и ничего не замечала вокруг; она невнятно шептала что-то про себя, но постепенно слова становились все явственней. Перемешивая немецкие, французские, итальянские и испанские слова, она говорила о вещах и людях весьма отдаленных. К немалому своему изумлению, я вспомнил, что наступил тот самый час, когда Северино обыкновенно заставлял девушку-оракула вещать. Наконец Кьяра закрыла глаза и, казалось, погрузилась в непробудный сон. Я взял бедное дитя на руки и снес вниз к хозяевам. На другое утро девушка встретила меня весело и спокойно, только теперь она вполне поняла, что обрела свободу, и рассказала мне все, что я пожелал узнать. Надеюсь, Крейслер, что хотя вы и придаете некоторое значение знатности происхождения, вы не будете шокированы, узнав, что моя маленькая Кьяра была всего-навсего цыганской девчонкой. Вместе с целой ватагой своих грязных соплеменников, окруженных стражниками, она сидела на базарной площади какого-то большого города и жарилась на солнце, когда мимо проходил Северино. «Дай, миленький, ручку, дай, погадаю!» — окликнула его восьмилетняя девочка. Северино долго смотрел ей в глаза, потом протянул ей ладонь, и, когда он выслушал ее, лицо его выразило крайнее удивление. Он, видимо, нашел в этом ребенке нечто необыкновенное, ибо тут же подошел к полицейскому, который сопровождал толпу взятых под стражу цыган, и заметил, что согласен заплатить изрядную сумму, если ему позволят увести с собой маленькую цыганочку. Полицейский грубо отрезал, что здесь-де не невольничий рынок, но тут же добавил, что девчонку, собственно говоря, нельзя считать за настоящего человека и в тюрьме она будет только лишней обузой, а потому господин может взять ее, ежели соблаговолит внести в кассу призрения бедных десять дукатов. Северино тотчас же вытащил кошелек и отсчитал десять дукатов. Кьяра и ее старая бабушка, слышавшие весь этот торг, заревели и завопили во весь голос, ни за что не желая расставаться. Но тут подскочили два стражника и пихнули старуху в фуру, стоявшую

наготове; полицейский, решив, очевидно, что его кошелек и есть касса призрения бедных, сунул в него звонкие дукаты, а Северино потащил маленькую Кьяру прочь. Он пытался утешить ее, купив тут же на базаре, где нашел ее, хорошенькое новое платьице и угостив вдобавок всякими лакомствами. По-видимому, Северино уже тогда носился с мыслью о фокусе с Невидимой девушкой и в маленькой цыганочке нашел все качества, нужные для роли Невидимки, воспитывая девочку особенным образом, он старался воздействовать на ее организм, и без того склонный приходить в возбужденное состояние. Искусственными средствами он доводил ее до этого состояния, и тогда в девочке пробуждался дар прорицания, — вспомните Месмера и его чудовищные опыты. Северино добивался этого состояния всякий раз, когда хотел, чтобы она пророчествовала.

Роковая догадка открыла ему, что малютку особенно подхлестывала причиняемая ей боль, тогда ее дар проникать в чужую душу обострялся до чрезвычайности и она превращалась в ясновидящую. С тех пор ужасный человек истязал ее нечеловеческими муками, дабы довести ее ясновидение до сильнейшей степени. Эта пытка усугублялась еще тем, что, когда Северино не было дома — а он исчезал иногда на целые дни, — бедняжке Кьяре приходилось сидеть скорчившись в своем ящике, с тем чтобы, ежели кто и проберется в его кабинет, присутствие в нем Кьяры оставалось незамеченным. В этом же ящике она и путешествовала с Северино из города в город. Судьба Кьяры была еще страшней и злосчастней, нежели участь того карлика, что всегда сопровождал небезызвестного Кемпелена и должен был играть в шахматы, запряганный в куклу, которая изображала турка. В бюро у Северино я нашел значительную сумму денег в золоте и бумагах, благодаря чему мне удалось обеспечить Кьяре безбедное существование; аппарат для оракула, то есть акустические приспособления, находившиеся в комнате и в кабинете, а также все прочие громоздкие сооружения я уничтожил; но зато, по ясно выраженной предсмертной воле Северино, я сохранил и усвоил некоторые тайны его ремесла. Покончивши со всеми делами, я с чувством глубокой печали распростился с маленькой Кьярой, которая оставалась у добросердечных хозяев как их любимое дитя, и уехал из города.

Прошел целый год, как я покинул Генионесмюль, пора было возвращаться, достопочтенный магистрат уже давно дожидался починки своего органа; но судьбе было угодно, чтобы я оставался фокусником, а посему она позволила одному подлому негодяю выкрасть у меня кошелек, хранивший в себе все мое богатство. Это и принудило меня, ради куска

хлеба, выступать и дальше в роли знаменитого механика, имеющего множество аттестаций и патентов, и проделывать всякие кунштюки. Дело было в одном местечке неподалеку от Зигхартсвейлера. Как-то вечером сижу я и мастерю небольшую волшебную шкатулочку, вдруг растворяется дверь, входит какая-то женщина и громко восклицает: «Нет, я не могла дольше выдержать, я должна была приехать к вам, господин Лисков, иначе я зачахла бы с тоски! Вы — мой повелитель, распоряжайтесь мною!» Она хочет пасть к моим ногам, но я заключаю ее в объятия — я вижу перед собой Кьяру! Ее было трудно узнать, так она выросла и окрепла, что, впрочем, нисколько не повредило изяществу ее точеных форм. «Милая, нежная моя Кьяра!» — восклицаю я, глубоко потрясенный, прижимая ее к своей груди. «Ведь вы позволите мне остаться у вас, не правда ли, господин Лисков, не оттолкнете бедную Кьяру, обязанную вам жизнью и свободой?» С этими словами она быстро подбегает к сундуку, только что внесенному почтовым служителем, сует парню в руки столько денег, что тот, обалдев от радости, бросается к двери, радостно вопя: «Эх, черт, ай да цыганочка!» — открывает сундук, достает вот эту книгу и вручает ее мне со словами: «Господин Лисков, возьмите, это лучшая вещь из наследия Северино, вы забыли взять ее с собой!» Я раскрываю книгу, а она начинает спокойно выкладывать из сундука свое платье и белье. Вы представляете себе, Крейслер, в какое замешательство она меня привела? Однако... пора наконец, дружище, научить тебя почтению к моей особе, а то ведь, когда я помогал тебе срывать тайком спелые груши с дядюшкиного дерева и заменять их искусно раскрашенными деревянными плодами или наполнять прокисшим померанцевым питьем лейку, из которой он поливал свои безукоризненные канифасовые панталоны, разостланные на траве для беления, отчего на них сразу появлялись мраморные разводы, — короче, когда я подстрекал тебя к самым шальным, разнузданным потехам, ты видел во мне только глупого гаера и полагал, что я вовсе лишен сердца, а ежели оно и есть у меня под толстой шутовской курткой, что столь надежно защищает его, то удары его совсем не слышны. Итак, человек, не кичись своей чувствительностью, своими слезами, гляди лучше — вот опять я начинаю премерзко хныкать, как то частенько делаешь и ты! Однако, черт возьми, не хочу я на старости лет выворачивать наизнанку свою душу перед всяким молокососом и показывать ее, будто это — меблированные комнаты!

Маэстро Абрагам шагнул к окну и стал вглядываться в ночную темноту. Гроза утихла, сквозь шелест леса слышно было, как падали редкие капли, стряхиваемые с деревьев ночным ветром. Из дворца долетала

веселая танцевальная музыка.

— Принцу Гектору, вероятно, захотелось попрыгать, — заметил маэстро Абрагам, — прежде чем он откроет свою *partie de chasse*! [\[67\]](#)

— А Кьяра? — спросил Крейслер.

— Ты прав, — отозвался маэстро Абрагам, в изнеможении опускаясь в кресло, — ты прав, сын мой, напоминая мне о Кьяре: в эту роковую ночь я должен до последней капли испить чашу горчайших воспоминаний. Ах! Глядя, как Кьяра деловито порхает по комнате, какая чистая радость лучится в ее глазах, я понял, что отныне для меня совершенно невозможно было бы расстаться с нею, что она должна сделаться моей женой! И все-таки я сказал ей: «Но, Кьяра, что мне с тобой делать, если ты останешься здесь?» Она подошла ко мне и очень серьезно промолвила: «Маэстро, в книге, что я привезла вам, подробно описывается устройство оракула, да вы и сами видели все приспособления к нему. Я хочу быть вашей Невидимой девушкой!» — «Кьяра, — воскликнул я ошеломленно, — что ты говоришь, Кьяра! Как можешь ты смешивать меня с Северино?» — «О, не напоминайте о Северино!» — возразила Кьяра. Словом, не стану пересказывать вам все подробности, Крейслер, вам и без того известно, что я удивил весь мир своей Невидимой девушкой, но прошу мне поверить, что я никогда не позволял себе возбуждать мою милую Кьяру какими бы то ни было искусственными средствами или каким-нибудь способом стеснять ее свободу. Она сама указывала время, когда чувствовала в себе силу играть роль Невидимой девушки, и только тогда мой оракул пророчествовал! Кроме того, играть эту роль стало потребностью для моей малютки. Некоторые обстоятельства — о них вы узнаете позднее — привели меня в Зигхартсвейлер. В мои намерения входило, чтобы мое появление там было окружено полной тайной. Я поселился в уединенном домике вдовы княжеского повара, и с ее помощью слух о моих чудесных фокусах очень скоро распространился при дворе. Все получилось так, как я ожидал. Князь — я разумею отца князя Ириней — сам разыскал меня, и прорицательница Кьяра сделалась его оракулом; окрыленная неземной силой, она нередко открывала ему сокровенные стороны его собственной души, и многое, окутанное для него до той поры туманом, сделалось ему ясным. Кьяра стала моей женой, и я поместил ее у одного преданного мне человека. Она приходила ко мне только под покровом ночи, и ее присутствие в городе сохранялось в тайне. Ибо знайте, Крейслер: люди жаждут чудес; хотя всякому понятно, что чудо с Невидимой девушкой возможно только с участием живого существа, они сочли бы все глупым надувательством, узнавши, что Невидимка — девушка из плоти и крови. Вот почему в том

городе, где я познакомился с Северино, его поносили и называли после смерти обманщиком, когда открылось, что вешала из его кабинета маленькая цыганочка, и никто не пожелал оценить искусное акустическое приспособление, передававшее звук через стеклянный шар.

Старый князь скончался, мне к тому времени уже прискучили и мои фокусы, и необходимость прятать милую Кьяру; я решил возвратиться со своей дорогой женой в Генионесмюль и снова мастерить органы. И вот однажды ночью, когда Кьяра должна была в последний раз сыграть свою роль Невидимки, она не явилась в урочный час; я с трудом отделался от любопытной публики и выпроводил ее ни с чем. Сердце мое стучало от тревожного предчувствия. Наутро я помчался в Зигхартсгоф и узнал, что Кьяра вышла накануне из дома в обычное время. Ну что ты уставился на меня, дружище? Надеюсь, ты не будешь задавать мне глупых вопросов? Тебе и так ясно — Кьяра исчезла, бесследно, никогда, никогда больше я ее не видал!

Маэстро Абрагам быстро вскочил с места и бросился к окну. Глубокий вздох обнаруживал, что отверстая рана еще сочится кровью. Крейслер почтил молчанием глубокую скорбь старика.

— Вы не можете теперь вернуться в город, капельмейстер, — заговорил после долгого молчания маэстро. — Близится полночь, а на дворе, сами знаете, бродят злые двойники, да и всякая другая опасная нечисть может перебежать вам дорогу. Оставайтесь у меня! Безумство, какое безумство...

(М. пр.) ...если бы такую непристойность допустили в священном месте — я разумею аудиторию. Мне что-то душно, сердце сжимается, возвышенные мысли теснятся в голове, я не могу более писать и должен выйти ненадолго прогуляться.

Мне делается легче, я возвращаюсь к письменному столу. Но то, чем полно сердце, выпархивает из уст, и, разумеется, из-под кончика пера поэта! Как-то мой хозяин рассказывал, что в одной старинной книге говорится про некоего любопытного чудака, у коего в теле бродила особая *materia reccans* ^[68], выходившая только через пальцы. Он же подкладывал под руку лист хорошей белой бумаги, и туда стекала вся вредная бродящая жидкость. Эти мерзкие выделения он называл стихами, рожденными в тайниках души. Я склонен считать это злой сатирой, но и у меня самого бывает странное ощущение, я бы назвал его духовными коликами; порой они пронизывают меня до кончиков лап, понуждая записывать все пришедшие на ум мысли. То же происходит со мной и ныне, и пусть это

принесет мне лишь вред, пусть недалекие коты в своем ослеплении придут в ярость, пусть даже захотят испробовать на мне остроту своих когтей, — я должен излить свои чувства!

Мой хозяин нынче провел весь день напролет за чтением огромного фолианта в переплете из свиной кожи; наконец в привычный час он встал и вышел, оставив раскрытый фолиант на столе. Я не преминул быстренько вскочить на стол и с отличающей меня ревностью к наукам принялся обнюхивать фолиант, любопытствуя, что же это за книгу хозяин изучал с таким усердием? То было прекрасное, мудрое сочинение старого Иоганна Куниспергера о влиянии созвездий, планет и двенадцати знаков Зодиака на все живое. Поистине я вправе назвать это сочинение прекрасным и мудрым: разве, покамест я читал его, не открылось мне со всей ясностью таинство моего бытия, моего предназначения на этой планете? Ах, в минуту, когда я пишу эти строки, над головой моей сверкает великолепное созвездие; оно по-братски дарит мне свои лучи, и мое сердце, согретое ими, вновь изливает их во вселенную. Да, я чувствую на челе своем жгучий, опаляющий луч длиннохвостой кометы, — нет, я сам — хвостатое светило, небесный метеор, грозно и величественно, словно пророк, проносящийся над мирозданием. И подобно тому как комета затмевает своим блеском все звезды, так и вы, коты, и все прочие твари и люди, сгинете, погрузитесь в ночной мрак, если я разожгу свой яркий светильник, а не буду держать свои таланты под спудом! А это уж всецело в моей власти! И все же, хотя мой длиннохвостый светозарный дух излучает божественность моей натуры, разве не разделяю я жребия всех смертных? У меня чересчур мягкое и чувствительное сердце, я слишком охотно снисхожу до чужих бедствий, от чего нередко впадаю в печаль и сердечную тоску. И не убеждался ли я неоднократно, что я одинок, будто живу в безлюдной пустыне, ибо принадлежу к веку не нынешнему, а грядущему, к веку высшей образованности, и нет ни одной души, способной восхищаться мною, как я того заслуживаю. А мне доставляет такую неизъяснимую радость, когда мною восхищаются, будь то даже простые, невежественные молодые коты! Я умею доводить их до крайнего изумления, но что толку, когда они при всем старании не способны попасть в тон славословий, сколько бы ни кричали: «Мяу! Мяу!» Остается уповать на потомков, они-то уж воздадут мне должное! А теперь? Сочиню ли я философский трактат — кто проникнет в глубины моего духа? Снизойду ли до драмы — где взять актеров, способных разыгрывать ее? Займусь ли другими литературными трудами, критикой, например, — а ею мне особенно пристало заниматься хотя бы потому, что я на голову выше всех

поэтов, сочинителей, живописцев, вместе взятых, являя для них недостижимый идеал совершенства, следовательно, только я вправе быть непререкаемым судьей, — кто сможет подняться на ту высоту, где я парю, кто сможет разделить мои взгляды? Есть ли на свете лапы или руки, достойные возложить на чело мое заслуженный лавровый венок? Но я знаю, как этому горю помочь: я свершу сие сам и дам почувствовать свои когти всякому, кто осмелится на него посягнуть. Есть же на свете такие завистливые скоты, мне даже часто снится, будто они готовы на меня напасть, и, вообразив, что защищаюсь, я заезжаю острым оружием в свое же лицо и жестоко царапаю свой светлый лик. Благородное чувство собственного достоинства обязывает нас к некоторой подозрительности, иначе оно и быть не может. Разве не почел я скрытым покушением на мои добродетели и совершенства, когда юный Понто, беседуя на улице о последних новостях с несколькими молодыми пуделями, даже не удостоил заметить меня, хотя я выглядывал из окошка родимого погреба не далее как в шести шагах от них. Немало разозлило меня и то, что, когда я упрекнул этого лоботряса за такое невнимание, он еще пытался уверять, будто и в самом деле меня не видел.

О родственные души прекрасного грядущего поколения! Как хотел бы я, чтобы вы уже ныне были среди нас и, имея мудрое суждение о величии Мурра, выражали бы его во всеуслышание, так громко, что заглушили бы все остальные голоса! Но теперь пришла пора поведать вам более обстоятельно о том, что приключилось с вашим Мурром в годы юности. Итак, внимайте, о добрые души, наступает решительный час моей жизни.

Начались мартовские иды, яркие, ласковые лучи весеннего солнца лились на крышу, и нежное пламя разгоралось в груди моей. Уже несколько дней меня томила неясная тревога, неведомое дотоле сладостное томление. Потом я несколько поуспокоился, но ненадолго, ибо вскоре впал в состояние, о каком никогда и не подозревал.

Неподалеку от меня, через слуховое окошко, тихо и плавно выскользнуло на крышу некое создание — о, где взять слова, чтобы описать красавицу! Она была вся в белом, только маленькая черная бархатная шапочка прикрывала прелестный лоб, а на точеных ножках красовались такие же черные чулочки. Чудесные, цвета свежей травы глаза лучились кротким сиянием, грациозные движения заостренных ушек обличали добродетель и ум, а волнообразные движения хвоста говорили о приветливости и женственной деликатности.

Прелестное дитя, казалось, не замечало меня и, щурясь, смотрело на солнце и чихало. Звук этот отозвался в моей душе сладостным трепетом,

пульс забился бурно, кровь вся закипела в жилах — сердце готово было выскочить из груди; весь мой невыразимый мучительный восторг, заставивший меня позабыть все на свете, излился в громком, протяжном «мяу!». Малютка быстро повернула голову, поглядела на меня, в глазах ее мелькнул испуг, очаровательная детская робость. Незримые лапы толкнули меня к ней с неодолимой силой, но едва я подскочил к прелестной, чтобы обнять ее, она быстрее мысли исчезла за дымовой трубой! Весь во власти ярости и отчаяния, я метался по крыше и жалобно стонал, но все напрасно — она не возвращалась! О, какое мучительное состояние! Кусок не лез мне в горло! Науки опостытели, я не хотел ни читать, ни писать. «Силы небесные!» — воскликнул я на другой день, когда, обыскав крышу, чердак, погреб, обшарив все углы в доме и не найдя своей красавицы, возвращался домой. Мысль о малютке не оставляла меня ни на минуту, жареная рыба, поднесенная мне хозяином, — и та смотрела на меня из мисочки ее очами; я в безумном восторге воскликнул: «Ты ли это, долгожданная?» — и съел рыбу в один присест. После чего возгласил: «Силы небесные, о силы небесные! Неужели это любовь?» Несколько успокоившись, я решил, как юноша, не лишенный эрудиции, разобраться в своем состоянии, на какой предмет и взялся штудировать, правда, не без усилий, «De arte amandi» [\[69\]](#) Овидия, а также «Искусство любви» Мансо, но ни один из признаков влюбленности, приведенных в упомянутых книгах, ко мне не подходил. Наконец мне пришла на память вычитанная в какой-то комедии мысль, что безразличие ко всему и взлохмаченная борода суть вернейшие признаки влюбленного! Я посмотрелся в зеркало — о небо! — бакенбарды мои взлохмачены! О небо — в душе у меня безразличие ко всему! [\[70\]](#)

Убедясь наконец, что я по-настоящему влюблен, я утешился. Решил как следует подкрепиться едой и питьем, а потом пуститься на поиски маленького создания, к которому тянулся всем сердцем. Сладостное предчувствие шептало мне, что она сидит у ворот дома, я спустился вниз и, смотри-ка, нашел ее там! О, какое это было свидание! Какой восторг, какая невыразимая нега любви вздымала грудь мою! Мисмис — позднее я узнал от малютки ее имя — сидела в изящной позе на задних лапах и умывалась, по многу раз проводя лапкой по мордочке и ушкам. С какой неопишуемой грацией она на моих глазах выполняла то, чего требовали опрятность и изящество, ей не нужны были презренные ухищрения туалета, чтобы оттенить или усилить дарованные ей природой чары. Я приблизился к ней более скромно, чем в первый раз, и уселся рядышком. Она не убежала, только испытующе посмотрела на меня и потупилась. «Прелестная, —

сказал я тихо, — будь моей!» — «Отважный кот, — ответила она в смущенье, — скажи мне, кто ты? Откуда ты меня знаешь? Если ты так же чистосердечен и правдив, как я, то поклянись, что искренно любишь меня!» — «О! — вскричал я восторженно. — Клянусь ужасами Орка, священной луной, всеми прочими звездами и планетами, кои засияют нам нынешней ночью, ежели небо будет безоблачным, клянусь — я люблю тебя!» — «И я тебя тоже!» — шепнула малютка и в нежной стыдливости склонила ко мне головку. Полный страсти, я простер к ней лапы, желая заключить в свои объятия, но вдруг два гигантских кота с сатанинским рычанием налетели на меня, безжалостно искусаи, исцарапали и в довершение всего столкнули в канаву, где я весь погрузился в зловонные помои. Я еле вырвался из когтей кровожадных хищников, явно не питавших никакого почтения к моей особе, и, громко мяукая от ужаса, пулей взлетел по лестнице. «На кого ты похож, Мурр! — расхохотался мой хозяин, увидев меня. — Ха-ха! Догадываюсь, что случилось. Ты, надо быть, пустился во все тяжкие, наподобие «Кавалера, блуждающего по лабиринту любви», и там тебе, видать, порядком досталось!» К немалой моей досаде, хозяин опять принялся смеяться. Затем он велел налить в лоханку теплой воды, без церемоний окунул меня несколько раз с головой, отчего я так расчихался и расфыркался, что едва не захлебнулся, потом туго запеленал меня в кусок фланели и уложил в корзину. От ярости и боли я почти лишился чувств, не мог шевельнуть ни одним членом. Но тепло воздействовало на меня благотворно, и мысли стали приходить в порядок. «Ах, — плакался я, — вот еще одно горькое разочарование! Как ими богата жизнь! Так вот какова она, любовь, воспетая мною с таким вдохновением! Вот оно, наивысшее счастье, наполняющее нас упоительным блаженством, способное вознести нас на небеса! Ах, а меня любовь низринула в канаву! Я отрекаюсь от чувства, не принесшего мне ничего, кроме укусов, мерзкого купанья и унижительного закутывания в гнусную фланель!» Но едва я поправился и снова обрел свободу, как образ Мисмис возник перед моим взором и уже преследовал меня неотступно, и я, не успев позабыть перенесенное унижение, с ужасом должен был признать, что все еще влюблен. Усилием воли я взял себя в лапы и, как надлежит рассудительному, ученому коту, принялся за чтение Овидия, ибо я хорошо помнил, что в «De arte amandi» встречал рецепты и против любви.

Там я прочел:

Venus otia amat. Qui finem quaeris amoris,

Cedit amor rebus, res age, tutus eris! [\[71\]](#)

Следуя этому совету, я собирался с новым рвением углубиться в науки, но на каждой странице перед глазами моими мелькала Мисмис, я думал, читал и писал только одно: «Мисмис!» Автор, подумал я, вероятно, подразумевал иные дела, а так как от других котов я слышал, что ловля мышей есть якобы чрезвычайно приятное и увлекательное занятие, то весьма возможно, что под словом «rebus» имелась в виду именно охота на мышей. Как только стемнело, я спустился в погреб и побрел по мрачным переходам, напевая: «Крадусь я лесом, тих, угрюм, курок ружья взведя...»

Но — ах! — вместо дичи, за которой я собирался охотиться, я увидел милый образ, выступивший из мрака мне навстречу. И опять жестокая боль любви пронзила мое слишком легко воспламеняющееся сердце. И я сказал: «Склони ко мне свой нежный взор, о утра свежая заря! Мурр с нареченной в дом войдут, где ждет их вечная любовь!» Так говорил я, окрыленный радостью, надеясь на победный венец. О несчастный! Пряча от меня глаза, пугливая кошечка умчалась на крышу.

А я, достойный жалости кот, все глубже погружался в пучину страсти, зажженной в груди враждебной звездой мне на погибель. Яростно возмущаясь против своей судьбы, я снова набросился на Овидия и прочитал такие строки:

*Exige quod cantet, si qua est sine voce puella,
Non didicit chordas tangere, posce lyram* [\[72\]](#).

— Ага! Скорее к ней, на крышу! — обрадовался я. — Найду свою нежную богиню там, где увидел ее впервые, и заставлю петь, да, петь, и если она возьмет хоть одну фальшивую ноту, все пройдет, я исцелюсь, я буду спасен!

В тот миг, когда я выбрался на крышу, чтобы подкараулить прелестную Мисмис, по ясному небу и впрямь плыла луна, именем которой я клялся ей в любви. Мисмис долго не показывалась, и вздохи мои перешли в громкие любовные стенания.

Наконец я затянул песенку на самый унылый мотив, какой только смог

придумать, и в ней говорилось приблизительно следующее:

*Сонные воды, шумные чащи,
Бурных предчувствий ливень кипящий,
Со мной рыдайте,
Ответ мне дайте —
Мисмис, малютка, куда пропала?
Уж не хлыщу ли с нарядной шкурой
Ее невинность потехой стала?
О горы, скалы,
В тоске дичаю. Утешьте Мурра!
О месяц милый,
Спаси, помилуй!
Сыщи мне крошку, пошарь по свету, —
От лютой боли спасенья нету.
А ты, о друг мой, советчик хмурый,
Дай в горе руку
Скорбному другу.
Утешь в несчастье беднягу Мурра.*

Как видишь, любезный читатель, достойному поэту вовсе не обязательно находиться в шумных чащах или сидеть у сонных вод — у ног его и без того будут плескаться шаловливые волны надежды, и в этих волнах он узрит все, что пожелает, и воспоем это, как пожелает. Если кого поразила возвышенная красота моих стихов, я скромно напомним, что находился в то время в экстазе, в состоянии влюбленной восторженности, а всем понятно, что заболевшие любовной лихорадкой, даже если они обычно не способны зарифмовать «радость» и «сладость» или «любовь» и «кровь», они, говорю, без малейшего усилия, не задумываясь, подберут рифму к этим не слишком необыкновенным словам, и из них фонтаном брызнут великолепнейшие стихи, подобно тому как человек, схвативший насморк, начинает неудержимо и отчаянно чихать. Этому экстазу прозаических натур мы уже обязаны многими превосходными творениями, и особенно примечательно, что Мисмисы рода человеческого, не отличавшиеся *beauté* [\[73\]](#), обретали на некоторое время громкую славу. И если такое случается с засохшим древом, то каков же должен быть успех

цветущего! Я хочу этим сказать, что ежели любовь способна обратить в поэтов столь прозаичных тварей, как собаки, то чего же следует ожидать от истинных поэтов в такую пору их жизни? Итак, я не сидел в шумной чаще или у сонных вод, а обретался на высокой голой крыше, где ничего не было, не считая капельки лунного света, и все-таки в моих волшебных стихах обращался я к чащам, водам и скалам и под конец к своему другу Овидию с мольбой помочь мне в моей любовной беде. Несколько трудней оказалось для меня подыскать рифму к моему имени Мурр, даже самого простого слова «хмурый» я, при всей своей восторженности, долго не мог придумать. Но то, что я все-таки эту рифму нашел, доказало мне преимущество нашей породы над человеческой, ибо слово «человек», сколь мне известно, не сообразуется ни с какой рифмой, по поводу чего некий остряк, сочинитель комедий, высказал суждение, что человек ни с чем не сообразное животное. Зато я — сообразное.

Не напрасно издавал я звуки, полные мучительной тоски, не напрасно заклинал чащи, воды, месяц милый вызвать ко мне королеву моих мечтаний: легкой, грациозной походкой моя красавица вышла из-за трубы! «Это ты так замечательно поешь, милый Мурр?» — спросила, увидев меня, Мисмис. «Как! — воскликнул я в радостном изумлении. — Как! Ты меня знаешь, чудесное создание?» — «Да, конечно, — промолвила она, — ты мне понравился с первого взгляда, и я в глубине души очень страдала, когда мои невежи-кузены так безжалостно столкнули тебя в канаву!» — «Молчи, — перебил я ее, — ни слова о канаве, дорогое дитя, скажи лучше, скажи, любишь ли меня?» — «Я осведомлялась о твоих обстоятельствах, — продолжала Мисмис, — и узнала, что твое имя — Мурр, что ты не только сам живешь в изобилии и роскоши у одного очень доброго господина и пользуешься всякими благами, но вполне можешь разделить их с нежной супругой. О, я очень, очень люблю тебя, милый Мурр!» — «О небеса! — воскликнул я в упоении. — О небеса! Возможно ли это? Грезы это иль действительность? О, будь тверд, мой рассудок, не покидай меня! Ах, неужели я все еще на земле? Неужели сижу на крыше? Или витаю в облаках? Разве я все еще кот Мурр? Не свалился ли я с луны? Приди ко мне на грудь, о любимая! Но прежде назови мне свое имя, божественная!» — «Меня зовут Мисмис», — тихо пролепетала малютка с нежной стыдливостью и доверчиво села возле меня. Как она была хороша! Белая шубка отливала серебром при лунном свете, а зеленые очи сияли мягким томным огнем.

«Ты...»

(Мак. л.) ...конечно, любезный читатель, тебе следовало бы узнать это несколько раньше, но я молю небо, чтобы мне не пришлось больше беспорядочно перескакивать с одного на другое, как я принужден был поступать доселе. Итак, как уже говорилось выше, с отцом принца Гектора случилось то же, что и с князем Иринеем, — он, сам не зная как, выронил из кармана свое владеньице. Принц Гектор, менее всего склонный к тихой и мирной жизни, хотя из-под него и вытащили княжеский трон, все же устоял на ногах и, желая если не править, то по крайней мере командовать, поступил на французскую службу, где выказал необыкновенную храбрость; но однажды, услышав, как некая бродячая певица, тренькая на цитре, пропела ему: «Ты знаешь край, где рдеют апельсины?» — тотчас же отправился в тот край, где на самом деле рдеют апельсины, то есть в Неаполь, и вместо французского мундира натянул неаполитанский. Там он так быстро получил чин генерала, как это доступно лишь принцам. Когда умер отец принца Гектора, князь Иринеи раскрыл большую книгу, куда он собственноручно заносил имена глав всех княжеских родов Европы, и отметил смерть своего светлейшего друга и товарища по несчастью. После того как это было совершено, он долго созерцал имя принца Гектора, а затем громко воскликнул: «Принц Гектор!» — и с такой силой захлопнул фолиант, что напугал гофмаршала, который отпрянул на три шага назад. Затем князь встал и начал медленно похаживать взад и вперед по комнате, нюхая испанский табак в таких количествах, что его достало бы для приведения в порядок целого океана мыслей. Гофмаршал долго говорил о почившем государе, обладавшем, кроме огромных богатств, прекрасным сердцем, о молодом принце Гекторе, обожаемом в Неаполе и монархом и народом, и т. п. Князь Иринеи, казалось, пропускал все это мимо ушей, но вдруг подошел вплотную к гофмаршалу, остановился, впери в него пронзающий фридриховский взгляд, с ударением произнес «Peut-être!» [\[74\]](#) и исчез в соседнем покое.

— Боже мой! — сказал гофмаршал. — У светлейшего князя, несомненно, зародилась первойшей важности мысль, а может быть, даже прожект.

Так оно и было. Князь Иринеи размышлял о богатстве принца, о его родстве с могущественными государями и пришел к заключению, что принц Гектор всенепременно еще променяет шпагу на скипетр, и у него явилась мысль, что брачный союз принца с принцессой Гедвигой мог бы иметь весьма благие последствия. Камергер, которого князь тотчас же отправил к принцу для выражения глубокого соболезнования по случаю кончины его отца, соблюдая строжайшую тайну, положил в карман

миниатюрный портрет принцессы, верно передававший даже оттенок ее кожи. Здесь надобно заметить, что принцессу действительно можно было бы назвать писаной красавицей, когда бы цвет ее кожи не так отливал желтизной. Поэтому она очень выигрывала при свечах. Камергер весьма ловко выполнил тайное поручение князя, который никому, даже княгине, ни словом не обмолвился о своем прожекте. Увидев портрет, принц пришел почти в такой же экстаз, как его сиятельный коллега в «Волшебной флейте». Подобно Тамино, он мог бы если не пропеть, то воскликнуть: «Волшебный образ твой!» — а затем: «Неужли я влюблен? Да, да, я, кажется, влюблен!» Обыкновенно не одна только любовь заставляет принцев стремиться к прекраснейшей, но принц Гектор, кажется, не думал ни о каких сторонних обстоятельствах, когда присел к столу и написал князю Иринею, что был бы счастлив, если бы ему милостиво позволили домогаться руки и сердца принцессы Гедвиги. Князь Ириней ответил, что, поелику он с радостью дает согласие на брак, которого желает от всего сердца, хотя бы из почтения к памяти сиятельного друга, никакого дальнейшего сватовства, в сущности, не требуется. Но, ради соблюдения необходимой формы, да благоволит принц прислать в Зигхартсвейлер какого-нибудь благовоспитанного мужчину достойного звания и заодно уполномочит его, по прекрасному старинному обычаю, заключить, вместо себя, брачный союз, дабы сам принц мог при полном параде взойти прямо на супружеское ложе. На что принц отвечал: «Нет, мой князь, я буду сам!»

Князю это пришлось не слишком по душе, он почитал венчание с доверенным лицом красивее, благороднее, величественнее и уже втихомолку предвкушал это торжество; его утешило лишь то, что перед бракосочетанием можно устроить пышный дворцовый праздник. Он намеревался торжественнейшим образом повесить принцу на грудь большой крест княжеского ордена, учрежденного отцом князя Иринея; ни один кавалер уже не носил, не имел права носить этот орден.

Итак, принц Гектор прибыл в Зигхартсвейлер, дабы увезти в свой дом принцессу Гедвигу, а кстати и получить большой крест давно забытого ордена. Он выразил желание, чтобы князь сохранил свой план в тайне, а главное, не сообщал ничего Гедвиге, ибо он должен, прежде чем просить руки принцессы, удостовериться в ее любви.

Князь не совсем понимал, что принц имел в виду, и высказал мысль, что, насколько ему не изменяет память, такая церемония, а именно — объяснение в любви перед бракосочетанием, никогда не была принята в княжеских домах. Однако если принц понимает под этим выражение некоторой *attachement* ^[75], то такие чувства предпочтительней во время

жениховства не обнаруживать, но, поскольку легкомысленная молодежь всегда склонна насмешничать над велениями этикета, подобную *attachement* следует выказать как можно позднее, хотя бы, скажем, за три минуты до обмена кольцами. Сколь прекрасно и возвышенно было бы, если бы вступающая в брак светлейшая чета в тот миг выказала друг другу некоторое отвращение, но, к несчастью, в нынешние времена на подобные правила высшей благопристойности смотрят как на нелепый вздор.

Когда принц впервые увидел принцессу Гедвигу, он шепнул своему адъютанту на непонятном для других неаполитанском наречии: «Клянусь всеми святыми! Она — красавица, но рождена близ Везувия, и его огонь сверкает в ее очах».

Принц Игнатий уже успел надоесть Гектору своими расспросами о том, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько их у принца, после чего тот, пройдя сквозь строй поклонов, хотел было снова обратиться к Гедвиге, но двери распахнулись, и князь пригласил его в парадный зал для участия в величественной церемонии, с каковой целью тут были собраны все особы, по своим качествам мало-мальски достойные допуска ко двору. На сей раз князь был менее строг, чем обычно, ибо зигхартсвейлерский кружок вряд ли можно было почитать двором, — его едва достало бы, чтобы устроить загородный пикник. Бенцон с Юлией тоже присутствовали на празднестве.

Принцесса Гедвига была молчалива, сосредоточенна, безучастна и, по-видимому, обращала на прекрасного чужестранца с юга не больше внимания, чем на всякое другое новое лицо при дворе, а когда ее фрейлина, краснощекая Нанетта, стала настойчиво шептать ей на ухо, что иноземный принц поразительно хорош собой, а такого красивого мундира она никогда в жизни не видывала, принцесса с раздражением спросила, не сошла ли она с ума.

И вот принц Гектор распустил перед принцессой пестрый павлиний хвост своей хвастливой любезности; почти оскорбленная неумеренностью его слащавых комплиментов, она расспрашивала его об Италии и Неаполе. Принц нарисовал перед нею рай, где она будет царить как богиня. Он доказал свое непревзойденное искусство вести беседу с дамой так, что каждое его слово превращалось в хвалебный гимн ее красоте и грации. Но принцесса ускользнула от него в самый разгар этого славословия, бросившись к Юлии, которую она заметила поблизости. Она прижала ее к груди, называя тысячей ласковых имен, восклицая, что это ее милая, любимая сестра, прелестная, нежная Юлия! Тут к ним подошел принц, несколько озадаченный бегством Гедвиги. Он устремил на Юлию долгий взгляд, такой загадочный, что та, покраснев до корней волос, опустила

глаза и смущенно обернулась к стоявшей позади нее матери. Но принцесса еще раз обняла ее с возгласом: «Милая, милая Юлия!» — причем у нее на глазах выступили слезы.

— Принцесса, — тихо проговорила Бенцон, — к чему такая порывистость?

Но Гедвига, не обращая внимания на советницу, вновь обратилась к принцу, чье красноречие мгновенно иссякло от изумления, и если раньше она была молчалива, серьезна и неприветлива, то теперь впала в необычайную судорожную веселость. Наконец слишком туго натянутые струны ослабли и звучавшие из глубины ее души мелодии стали более мягкими, ласковыми и девически нежными. Она казалась любезнее, чем когда-либо, и принц был, по-видимому, совершенно очарован. Начались танцы. После того как несколько танцев сменили друг друга, принц попросил разрешения показать неаполитанскую национальную пляску. Вскоре ему удалось так хорошо преподать ее танцующим, что все прекрасно усвоили нужные па, оттеняя даже томно-страстный характер танца. Однако никто не постиг этот характер лучше Гедвиги, танцевавшей с принцем. Она потребовала повторения, а когда танец кончился вторично, захотела протанцевать его в третий раз, не считаясь с увещаниями Бенцон, уже заметившей, как зловещая бледность разлилась по ее щекам. Только теперь танец может по-настоящему удался ей, уверяла Гедвига. Принц был в восторге. Он носился по зале с Гедвигой, каждое движение которой было полно грации. Во время одной из многочисленных сложных фигур принц страстно прижал к груди свою прекрасную даму, но в то же мгновение Гедвига поникла и без чувств упала ему на руки.

По мнению князя, нельзя было допустить большего неприличия на придворном балу, и только итальянские нравы принцу могли служить некоторым извинением.

Принц Гектор сам перенес бесчувственную принцессу в соседний покой и уложил ее на софу, а Бенцон стала тереть ей виски какой-то крепкой эссенцией, случившейся под рукой у лейб-медика. Впрочем, последний объяснил, что это нервный припадок, вызванный возбуждением от танца, и что он очень скоро пройдет.

Врач оказался прав: через несколько секунд принцесса, глубоко вздохнув, открыла глаза. Едва принц услышал, что Гедвига очнулась, он протиснулся сквозь плотное кольцо окруживших ее дам, опустился на колени перед софой, горько сетовал, кричал, что сердце у него разрывается, и обвинял себя одного в печальном происшествии. Но, увидев его, принцесса воскликнула с глубоким отвращением: «Прочь, прочь!» — и

снова впала в беспамятство.

— Пойдемте, дражайший принц, — сказал князь, беря его за руку, — пойдемте, должен вам сказать — на принцессу часто нападают весьма странные фантазии. Одному богу ведомо, в каком диковинном образе вы представились ей в эту минуту. Вообразите, милейший принц, еще ребенком, *entre nous soit dit* ^[76], принцесса однажды принимала меня целый день за Великого Могола и потребовала, чтобы я проехался верхом на лошади в бархатных туфлях, на что я в конце концов согласился, — правда, я ездил только по своему саду.

Принц Гектор откровенно расхохотался князю в лицо и велел подавать карету.

По настоянию княгини, опасавшейся за здоровье Гедвиги, Бенцон вместе с Юлией пришлось остаться во дворце. Княгиня знала, какую власть имела Бенцон над психикой принцессы и что благодаря этой власти она умела смягчить подобные болезненные припадки. Так и на сей раз под влиянием ласковых увещаний Бенцон Гедвига скоро очнулась в своей комнате.

Принцесса уверяла, ни мало ни много, что во время танцев принц превратился в чудовищного дракона и уязвил ее в сердце своим острым пылающим языком.

— Сохрани бог, — воскликнула Бенцон, — выходит, что принц Гектор настоящее *mostro turchino* ^[77] из сказки Гоцци! Что за выдумки! В конце концов, получается то же, что и с Крейслером, которого вы приняли за опасного безумца!

— Никогда! — горячо возразила принцесса и, смеясь, добавила: — Право, я бы не хотела, чтобы мой милый Крейслер так же внезапно превратился в *mostro turchino*, как принц Гектор!

Ранним утром, когда Бенцон, всю ночь просидевшая у постели принцессы, вошла в комнату Юлии, та, истомленная бессонной ночью, встретила ее бледная, с опущенной головой, точно больная голубка.

— Что с тобою, Юлия? — с испугом воскликнула советница, не привыкшая видеть дочь в таком состоянии.

— Ах, маменька, — печально проговорила Юлия, — ах, маменька, я никогда больше не приду сюда! У меня сердце содрогается, когда подумаю о минувшей ночи! В этом принце есть что-то страшное; не могу тебе описать, что я перечувствовала, когда он смотрел на меня. Его темные, зловещие глаза точно метнули в меня разящую молнию и едва не испепелили, бедную. Не смейся надо мною, маменька! Это был взгляд

убийцы, настигшего свою жертву, — она умирает от смертельного страха, прежде чем занесен кинжал! Да, я повторяю, какое-то неизъяснимое чувство, не могу выразить какое, точно судорогой потрясло все мое тело! Недаром рассказывают о василисках, чей взгляд, как ядовитый огненный луч, мгновенно убивает всякого, кто осмелится поднять на них глаза. Принц похож на такое опасное чудовище.

— Да, да! — громко рассмеялась советница Бенцон. — Теперь и в самом деле придется поверить, что сказка о *mostro turchino* не лишена достоверности, даже принц при всей своей красоте и любезности явился двум девушкам в образе дракона и василиска. Принцессу я считаю способной на самые химерические фантазии, но если таким нелепым страхам станет поддаваться моя спокойная и тихая Юлия, мое милое дитя...

— А Гедвига? — прервала ее Юлия. — Не знаю, какая злая, враждебная сила стремится отторгнуть ее от моего сердца, а меня толкает на борьбу со страшным недугом, разрушающим ее душу! Да, болезнью называю я состояние принцессы, и бедняжка не в силах ее побороть. Когда она вчера вдруг отвернулась от принца и начала меня ласкать и обнимать, я почувствовала, что она пылает будто в горячечном жару. А потом, еще этот танец, этот ужасный танец! Ты знаешь, маменька, как я ненавижу танцы, где мужчинам дозволено нас обнимать. Мне кажется, что в это мгновение мы оскорбляем все законы приличия и благонравия и даем мужчинам власть над собой, которая по крайней мере наиболее тонко чувствующим из них не приносит никакой радости. И вдруг Гедвига танцует, не в силах остановиться, этот южный танец, внушавший мне тем больше отвращения, чем дольше он продолжался. Глаза принца сверкали поистине сатанинским злорадством.

— Какой вздор! И чего только не рисует тебе воображение! — сказала Бенцон. — Однако я не стану порицать твои взгляды, оставайся им верна, но не будь несправедлива к Гедвиге, вообще не думай больше ни о ней, ни о принце, выбрось все это из головы! Хочешь, я позабочусь, чтобы некоторое время ты не виделась ни с Гедвигой, ни с принцем? Нет, твой покой я не дам нарушить, мое милое, мое доброе дитя! Подойди, я обниму тебя! — Мать нежно привлекла Юлию к себе.

— Мама, — сказала Юлия, пряча пылающее лицо на груди матери, — должно быть, и диковинные сны, что так меня смутили, навеяны моей страшной тревогой.

— Что же тебе приснилось? — спросила Бенцон.

— Я будто брела по роскошному саду, где под купами густых темных кустов цветут ночные фиалки и розы, наполняя воздух сладким ароматом.

Чудесное сияние, словно блеск луны, претворялось в музыку и пение, а когда золотой луч касался деревьев и цветов, они трепетали от восторга, кусты шелестели, ручьи что-то нашептывали и тихо, тоскливо вздыхали. Вдруг я поняла — это я, я сама и есть та песня, что льется над садом, и как только угаснет блеск звуков, изойду и я в мучительной тоске. Но тут чей-то кроткий голос промолвил: «Нет, звук есть блаженство, а не гибель, и я крепко держу тебя сильными руками, в тебе черпаю я вдохновение для своей песни, а она — вечна, как страстное томление». Так говорил стоявший передо мною Крейслер. Душа моя исполнилась божественным чувством покоя и надежды, и, сама не знаю как — говорю тебе всю правду, маменька, — я упала к нему на грудь. Но вдруг я почувствовала, как меня обвили железные руки и страшный, насмешливый голос воскликнул: «Не противься напрасно, несчастная, ты уже мертва и теперь будешь моей!» То принц держал меня в своих объятьях. Громко вскрикнув от испуга, я проснулась, накинула пеньюар, подбежала к окну и распахнула его — в комнате было жарко и душно. Вдали я заметила человека, он смотрел в подзорную трубу на окна дворца, но потом побежал по аллее, двигаясь каким-то удивительным образом, я бы сказала, шутовскими прыжками; он выделял всякие антраша и танцевальные па, воздевал руки к небу и при этом, как мне слышалось, громко пел. Я узнала Крейслера, и, хотя искренне посмеялась над его поведением, он все же представился мне добрым духом, защитником от принца. Мне казалось, что только теперь прояснилась для меня до конца душа Крейслера и только теперь я поняла, что под его едким юмором, которым он разит столь многих людей, скрывается верное и прекрасное сердце. Я была готова ринуться в парк и поведать Крейслеру обо всех ужасах моего кошмарного сна!

— Это глупый сон, — серьезно сказала Бенцон, — а его развязка еще глупее! Тебе нужен отдых, Юлия. Вздремни еще немного, я тоже собираюсь поспать часок-другой.

И она вышла из комнаты, а Юлия поступила так, как ей было велено.

Когда она проснулась, в окна ярко светило полуденное солнце и сильный аромат ночных фиалок и роз разливался по комнате.

— Что это, — в изумлении воскликнула Юлия, — мой сон! — Но когда она огляделась, то увидела, что над нею на спинке софы, где она спала, лежит великолепный букет из роз и ночных фиалок.

— Крейслер, мой милый Крейслер, — нежно сказала Юлия, взяла букет и погрузилась в мечтательные грезы.

Принц Игнатий прислал спросить, разрешит ли ему Юлия посидеть у нее часок. Она быстро оделась и поспешила в комнату, где ее уже ждал

Игнатий с полной корзинкой фарфоровых чашек и китайских кукол. С присущей Юлии добротой она могла целыми часами терпеливо играть с принцем, внушавшим ей глубокую жалость. У нее никогда не вырывалось ни одного насмешливого, тем более обидного слова, как это нередко случалось с другими, особенно с принцессой Гедвигой, и потому принц превыше всего ценил общество Юлии и даже называл ее часто своей маленькой невестой. Чашки и куклки были расставлены, и Юлия как раз обратилась к японскому императору от имени маленького арлекина (обе куклки стояли одна против другой), когда в комнату вошла Бенцон.

Некоторое время она наблюдала за игрой, потом поцеловала Юлию в лоб со словами: «Ах ты, мое милое, доброе дитя!»

Надвинулись поздние сумерки. Юлия, которой, по ее желанию, было разрешено не являться к столу, сидела одна в своей комнате и ждала мать.

Вдруг послышались легкие, скользящие шаги, дверь отворилась, и в комнату вошла принцесса, в своем белом платье похожая на привидение; лицо ее помертвело, взгляд был неподвижен.

— Юлия, — тихим, глухим голосом проговорила она, — Юлия! Называй меня глупой, взбалмошной, безумной, но не замыкай от меня своего сердца, я так нуждаюсь в твоём сострадании, в утешении! Меня сразил недуг от чрезмерного возбуждения и крайней усталости, и причиной всему — этот гнусный танец; теперь все позади, мне лучше! Принц уехал в Зигхартсвейлер! Меня тянет на воздух, идем побродим по парку!

Когда Юлия с принцессой дошли до конца аллеи, сквозь густую чашу пробился яркий свет и они услышали духовные песнопения.

— Это вечерняя литания в капелле Святой Марии, — воскликнула Юлия.

— Да, — ответила принцесса, — пойдем туда, помолимся! Помолись и ты за меня, Юлия!

— Мы будем молиться, — сказала Юлия, глубоко потрясенная состоянием подруги, — мы будем молиться, чтобы злой дух никогда не приобрел над нами власти, чтобы нашу чистую, смиренную душу не смущали бесовские соблазны.

Девушки подошли к капелле, находившейся в отдаленном конце парка; оттуда уже выходили крестьяне, только что певшие литанию перед украшенным цветами и освещенным лампадами образом святой Марии. Подруги преклонили колена на молитвенной скамеечке. И тут певчие на небольшом возвышении, построенном возле алтаря, запели гимн «Ave maris Stella» ^[78], недавно сочиненный Крейслером.

Гимн начинался тихо, затем напев стал громче, все более ширясь до

слов «dei mater alma» ^[79], и постепенно стихал, покуда не замер на словах «felix coeli porta» ^[80], словно унесся на крыльях вечернего ветра.

Девушки все еще стояли на коленях, охваченные пламенным благочестием. Священник бормотал молитвы, а издали, точно хор ангельских голосов с покрытого облаками ночного неба, звучал гимн «O sanctissima» ^[81], который по пути домой затянули крестьяне.

Наконец священник благословил молящихся. Тогда девушки поднялись с колен и обняли друг друга. Неизъяснимая печаль, сотканная из восторга и скорби, казалось, безудержно рвалась наружу из их груди, и горячие слезы, катившиеся из глаз, были каплями крови, которые сочились из их израненных сердец.

— То был он, — едва слышно прошептала принцесса.

— Он, — повторила Юлия.

Они поняли друг друга.

Умолкший лес стоял, полный предчувствия, словно ожидая, когда поднимется луна и прольет на него свое мерцающее золото. Хорал, все еще звучащий в ночной тиши, казалось, возносился к облакам, что алой грядой опустились на горы, как бы указуя путь яркому светилу, перед которым уже меркли звезды.

— Ах, — проговорила Юлия, — что же нас так волнует и пронзает нам душу такой скорбью? Послушай, каким утешением звучит доносящийся к нам издали хорал! Мы сотворяли молитву, и из золотых облаков полились к нам светлые голоса, сулящие небесное блаженство.

— Да, моя дорогая Юлия, — серьезно и твердо ответила принцесса, — там, над тучами, — спасение и блаженство, и я бы хотела, чтобы небесный ангел вознес меня к звездам прежде, чем мною овладеют темные силы. Я хотела бы умереть, но я знаю, меня похоронят в княжеском склепе, и погребенные там предки не поверят, что я умерла, они сбросят с себя оцепенение смерти и, восстав к призрачной жизни, прогонят меня. И тогда меня не примут ни мертвые, ни живые, и я нигде не найду приюта.

— Что ты говоришь, Гедвига, боже мой, что ты говоришь? — в испуге вскричала Юлия.

— Мне уже однажды это приснилось, — продолжала принцесса тем же вялым, почти равнодушным тоном. — А может быть, какой-нибудь мой свирепый предок стал вампиром и сосет мою кровь? Не оттого ли у меня так часто бывают обмороки?

— Ты больна, — воскликнула Юлия, — ты тяжело больна, Гедвига, тебе вреден ночной воздух, пойдем скорее домой! — С этими словами она

обняла принцессу, которая не прекословя позволила себя увести.

Месяц поднялся высоко над Гейерштейном, заливая волшебным светом деревья и кусты, а те шумели и шелестели на тысячу ладов, ласково перешептываясь с ночным ветерком.

— Как прекрасен все-таки мир! — сказала Юлия. — И как щедра природа, которая дарит нам свои дивные чудеса, будто добрая мать любимым детям!

— Ты так думаешь? — отозвалась принцесса и, немного помолчав, продолжала: — Я бы не хотела, чтобы ты слишком близко приняла к сердцу сказанные мною слова, и прошу тебя считать их изъяснением дурного расположения духа. Тебе еще неведома губительная скорбь жизни. Природа жестока, она бережет и лелеет только здоровых своих детей, больных же покидает и даже обращает против них свое грозное оружие. Ах, ведь ты знаешь, что прежде природа казалась мне картинной галереей, предназначенной для того, чтобы упражнять силу ума и рук, но теперь все переменилось, ибо я не вижу ничего, не жду от природы ничего, кроме ужасов и страданий. Мне было бы приятнее скользить по ярко освещенным залам среди разнообразного общества, чем бродить с тобою вдвоем в эту светлую лунную ночь.

Юлии стало страшно; она заметила, что силы Гедвиги быстро иссякают, и ей лишь с величайшим трудом удавалось поддерживать принцессу во время ходьбы.

Наконец они достигли дворца. Невдалеке от него на каменной скамье под кустом бузины виднелась какая-то темная фигура. Заметив ее, Гедвига радостно воскликнула: «Благодарение пречистой деве и всем святым, это она!» — и, точно почувствовав вдруг прилив сил, она отстранила Юлию и направилась прямо к сидящей фигуре, которая поднялась со скамьи и проговорила глухим голосом:

— Гедвига, мое бедное дитя!

Юлия увидела женщину, с головы до ног закутанную в темный плащ, черты ее лица скрывала густая тень. Юлия остановилась, трепеща от ужаса.

Женщина и принцесса опустились на скамью. Незнакомка нежно отвела локоны со лба принцессы, потом положила на него руки и тихо, медленно заговорила на каком-то незнакомом Юлии языке. Через несколько минут женщина крикнула Юлии:

— Девушка, беги скорее в замок, зови камеристок, вели перенести принцессу в дом! Она впала в сладкий сон и после него проснется здоровой и веселой.

Юлия, не теряя ни секунды, несмотря на изумление, немедленно исполнила все, что ей было приказано.

Когда она вернулась с камеристками, принцесса, заботливо укутанная шалью, действительно спала непробудным сном, а женщина скрылась.

— Скажи мне, — спросила Юлия на другое утро, когда принцесса проснулась совершенно исцеленная и не осталось ни малейших следов душевного расстройства, чего Юлия опасалась более всего, — скажи мне, ради бога, кто эта удивительная женщина?

— Не знаю, — отвечала принцесса, — я видела ее только раз в жизни. Помнишь, ребенком я однажды опасно заболела, и все врачи отказались меня лечить. Проснувшись как-то ночью, я вдруг увидела ее у своей постели, и она, как и теперь, меня убаюкала, я погрузилась в сладкую дремоту, после чего пробудилась совершенно здоровой. Минувшей ночью образ этой женщины впервые воскрес опять перед моими глазами, мне казалось, что она должна явиться вновь, чтобы спасти меня, и это действительно случилось. Прошу тебя, если ты меня любишь, не упоминай об этом случае, не проговоришь ни словом, ни жестом, что с нами произошло что-то необыкновенное. Вспомни Гамлета и будь моим дорогим Горацио! Без сомнения, с этой женщиной связаны какие-то таинственные обстоятельства, но пусть они так и останутся для нас тайной, мне кажется, что было бы опасно стараться обнажить ее. Разве не довольно того, что я здорова, весела и избавилась от всех преследовавших меня призраков?

Все удивлялись внезапному выздоровлению принцессы. Лейб-медик утверждал, что на нее так разительно подействовала ночная прогулка в капеллу Девы Марии, встряхнувшая ее нервы, и он только забыл прописать больной это средство. Но Бенцон сказала про себя: «Гм... у нее побывала старуха. Что ж, на сей раз это еще сойдет ей с рук!»

Но теперь настало время разрешить роковой для биографа вопрос: ты...

(*М. пр.*) ...любишь меня, прелестная Мисмис? О, повторяй, повторяй это мне тысячу раз, чтобы меня преисполнило еще более упоительное блаженство и я наговорил столько вздора, сколько приличествует герою-любовнику, придуманному лучшим сочинителем романов! Но, мое сокровище, ты-то уже заметила мою удивительную склонность к пению, так же как и мое совершенство в этом искусстве, а теперь, дорогая, не доставишь ли и ты мне удовольствие, не споешь ли мне маленькую песенку?

— Ах! — отвечала Мисмис. — Ах, возлюбленный Мурр, хоть я не

совсем новичок в пении, но ты знаешь, что случается с молодыми певицами, когда они в первый раз выступают перед артистами и знатоками своего дела. Страх и робость сжимают им горло, и прекраснейшие звуки, все трели и морденты самым злосчастным образом застревают в глотке, будто рыбы кости. Пропеть тогда арию просто немыслимо, и потому рекомендуется начинать с дуэта. Попробуем спеть небольшую песенку, дорогой, если тебе угодно!

Я с радостью согласился. Мы сейчас же затянули нежный дуэт: «С первого взгляда к тебе устремилось сердце мое...» и т. п. и т. п. Сначала Мисмис робела, но вскоре ее ободрил мой сильный фальцет. Голосок у нее был премилый, исполнение выразительное, мягкое и нежное — словом, она оказалась отличной певицей. Я был восхищен, хотя и понял, что приятель Овидий подвел меня и на сей раз. Мисмис так отличилась в искусстве *cantare* ^[82], что *chordas tangere* ^[83] оказалось ни к чему и незачем было требовать гитару.

Потом Мисмис пропела с поразительной легкостью и редкой выразительностью и изяществом известную арию «*Di tanti palpiti*» ^[84]. От героически мощного речитатива она без малейшего напряжения перешла на чисто кошачье нежное анданте. Эта ария была словно нарочно для нее создана, сердце мое переполнилось, и я испустил громкий радостный клик. Ах! Этой арией Мисмис могла бы вдохновить чувствительные души целого сонма котов! Мы спели еще один дуэт из новой оперы, который тоже так удался нам, как будто был нарочно для нас написан. Из нашей груди вырывались дивные рулады, бесподобные по блеску, ибо большей частью они состояли из хроматических гамм. Надобно вам заметить, что нашей кошачьей породе свойственны хроматизмы, поэтому всякий композитор, желающий сочинять музыку для котов, хорошо сделает, если построит и мелодию и все остальное на хроматической гамме. Жаль, я позабыл имя превосходного музыканта, сочинившего тот дуэт; очень милый и достойный человек и композитор вполне в моем вкусе.

Пока мы пели, на крыше появился черный кот, не сводивший с нас своего горящего взора.

— Извольте отсюда убраться, любезный друг, — закричал я ему, — а не то я выцарапаю вам глаза и сброшу вас с крыши; если же вам угодно петь с нами, то сделайте милость! — Я знал, что у этого юноши в черном превосходный бас, и потому предложил спеть одну вещь, правда, не особенно мною любимую, но очень подходившую к случаю, ввиду моей близкой разлуки с Мисмис. Мы пели: «Не свижусь я больше с тобой,

дорогой!» Но едва я начал уверять вместе с черным котом, что боги будут ко мне милостивы, как в нас полетел внушительный кусок черепицы и чей-то противный голос завопил: «Да замолчите ли вы, проклятые коты!» В смертельном страхе мы в одно мгновение бросились в разные стороны и скрылись на чердаке. О, лишенные эстетического чутья, бессердечные варвары, бесчувственные даже к самым трогательным жалобам любовной тоски, помышляющие только о мщении, гибели и смерти!

Как я уже говорил выше, то, что должно было излечить меня от любовного недуга, опутало меня еще сильнее; Мисмис была так музыкальна, что мы импровизировали вместе приятнейшим образом. Она научилась восхитительно вторить моим собственным мелодиям; из-за этого я окончательно одурел, и любовь меня так извела, что я вовсе иссох, стал бледен и жалок на вид. Наконец после долгих терзаний мне пришлось на ум последнее, хотя и отчаянное средство для излечения от любви. Я решил предложить Мисмис лапу и сердце. Она приняла предложение, и как только мы стали супругами, я заметил, что любовных страданий моих как не бывало. Я уписывал молочный суп и жаркое с отменным аппетитом, вернулась ко мне и прежняя жизнерадостность, бакенбарды распушились, шерстка приобрела прежний красивый лоск, ибо теперь я больше чем когда-либо следил за своим туалетом, между тем как моя Мисмис, напротив, совсем перестала им заниматься. Несмотря на это, я создал в честь моей Мисмис еще несколько сонетов, и они звучали тем прекрасней и правдивей, чем высокопарней я выражал свою мечтательную нежность, пока мне не показалось, что я довел ее до самых крайних пределов. Наконец, я посвятил своей любезной еще один обширный труд и таким образом в литературно-эстетическом отношении сделал все, что можно требовать от честного и пламенно влюбленного кота. С тех пор мы с Мисмис вели домовитую, тихую и счастливую жизнь на соломенной циновке у двери хозяина. Но есть ли прочное счастье в этом мире! Вскоре я стал замечать, что Мисмис часто бывает рассеянна в моем присутствии, а когда я с ней разговариваю, отвечает невпопад; часто у нее вырывались глубокие вздохи, петъ она предпочитала только томные любовные песни и под конец совсем ослабла и заболела. Когда я спрашивал, что с ней, она только гладила меня по щекам и отвечала: «Ничего, решительно ничего, мой милый, добрый папаша!» Но все это было мне совсем не по нутру. Часто ждал я ее напрасно на соломенной циновке и тщетно искал в погребѣ и на чердаке, а когда наконец находил и нежно упрекал ее, она оправдывалась тем, что для ее здоровья необходимы долгие прогулки и один врач кошачьей породы прописал ей даже поездку на воды. Но это мне

тоже было не по нутру. Должно быть, она почувствовала мою скрытую досаду и пыталась успокоить меня, осыпая ласками, но и в этих ласках ее было что-то особенное, чего я не могу выразить, что охлаждало меня, вместо того чтобы воспламенять страсть, и это мне опять-таки пришлось не по нутру. Не догадываясь о том, что такое поведение моей Мисмис должно иметь особые причины, я лишь понял, что мало-помалу во мне угасла последняя искорка любви к желанной и что рядом с нею меня одолевает смертельная скука. Поэтому я шел своей дорогой, а она своей; если же случай сводил нас иногда на соломенной циновке, то мы делали друг другу нежнейшие упреки, были самыми любящими супругами и воспевали наш мирный домашний уют.

Однажды меня посетил в комнате моего хозяина черный обладатель баса. Он начал говорить какими-то таинственными недомолвками, потом вдруг ни с того ни с сего спросил меня, живем ли мы в ладу с Мисмис, — словом, мне стало ясно: на душе у черного кота есть нечто такое, что он желает мне открыть. Наконец все объяснилось. Некий юноша, служивший в солдатах, вернулся домой и жил по соседству на маленький пенсион, который в виде рыбьих костей и объедков выбрасывал ему владелец небольшого трактира. Он обладал прекрасной осанкой, был сложен как Геркулес и к тому же носил богатый иностранный черно-сери-желтый мундир, а на груди у него сверкал почетный орден Поджаренного сала, полученный за доблесть, проявленную при очистке от мышей целого амбара, в чем, кстати, ему помогали несколько товарищей. На этого кота обратили свои взоры девицы и дамы. Все сердца начинали биться громче, когда он появлялся, отважный и дерзкий, высоко подняв голову, с пламенем во взоре. Он-то, по уверениям черного, и влюбился в мою Мисмис, и она отвечала ему взаимностью; было доподлинно известно, что они еженощно сходились на тайные любовные свидания за трубой или в погребе.

— Меня поражает, любезный друг, — говорил черный кот, — как вы, при вашей проницательности, давно этого не заметили! Но на любящих супругов часто нападает слепота, и я весьма опечален, что долг дружбы повелевает мне открыть вам глаза, ибо я знаю, вы по уши влюблены в свою очаровательную супругу.

— О Муций (так звали черного кота), о Муций, — воскликнул я, — люблю ли я, безумец, ее, эту прекрасную изменницу! Я молюсь на нее, я принадлежу ей душой и телом! Нет, она не могла нанести мне такого удара, верная душа! Муций, черный клеветник, получай награду за свой мерзостный поступок!

Я поднял лапу с выпущенными когтями, но Муций дружелюбно

посмотрел на меня и сказал, не теряя спокойствия:

— Не горячитесь, милейший, вы разделяете участь многих достойнейших мужчин! Всюду царит подлое непостоянство и особенно, к несчастью, у нашей братии.

Я опустил поднятую лапу, несколько раз высоко подпрыгнул, как бы в сильнейшем отчаянии, и яростно закричал:

— Возможно ли, возможно ли! О рать небес! Земля! И что еще? Прибавить ад? И кто же? Черно-серо-желтый кот? А она, супруга нежная, столь верная всегда и полная любви, коварно обмануть, презреть могла того, кто, убаюкан грезами любви, так часто почивал на бархатной груди? О, лейтесь, слезы, лейтесь по неверной! Тысяча проклятий! Нет, не бывать тому! Черт побери этого пегого бродягу за трубой!

— Успокойтесь, молю вас, — сказал Муций, — вы слишком предаетесь внезапно постигшему вас горю. Как истинный друг, я не хочу больше нарушать ваше приятное отчаяние. Если вы настолько безутешны, что захотите покончить с собой, я могу снабдить вас отменным крысиным ядом; впрочем, нет, я этого не сделаю, вы такой любезный, очаровательный кот, было бы до слез жаль вашей молодой жизни! Утешьтесь, отпустите Мисмис на все четыре стороны, на свете и кроме нее полно прелестных кошек. Прощайте, милейший!

С этими словами Муций прыгнул в открытую дверь.

Когда я, спокойно лежа под печкой, размышлял об открытиях, сделанных котом Муцием, я почувствовал, что в душе моей шевельнулось нечто похожее на тайную радость. Теперь я знал, что происходит с Мисмис, и муки неизвестности кончились. И все же я, приличия ради, выказал подобающее случаю отчаяние, и, как я полагал, те же приличия требовали, чтобы я задал черно-серо-желтому коту изрядную трепку.

Ночью я подстерег влюбленную пару за трубой и с криком: «Дьявольский, мерзкий соблазнитель!» — злобно набросился на своего соперника. Однако, значительно превосходя меня силой — что я, к несчастью, обнаружил слишком поздно, — он вцепился в меня и так свирепо отделал, что от шкуры моей полетели клочья, после чего он быстро скрылся. Мисмис лежала в обмороке; но когда я приблизился к ней, она вскочила так же проворно, как и ее любовник, и умчалась вслед за ним на чердак.

Весь разбитый, с окровавленными ушами, заковылял я вниз к своему хозяину, проклиная пришедшую мне в голову блажь — защищать от гнусных посягательств свою честь; теперь я нисколько не почитал для себя зазорным навсегда уступить Мисмис черно-серо-желтому коту.

«Какой жестокий рок! — думал я. — Во имя возвышенной романтической любви своей я попал в канаву, в водосточный желоб, а семейное счастье не принесло мне ничего, кроме жестоких побоев».

Наутро я немало удивился, когда, выйдя из комнаты хозяина, нашел Мисмис на соломенной циновке.

— Милый Мурр, — заговорила она ласково и спокойно, — мне кажется, я люблю тебя уже не так страстно, как прежде, и это очень меня печалит.

— О дорогая Мисмис, — отвечал я нежно, — у меня сердце разрывается, но я должен сознаться, что с тех пор, как произошли некоторые события, я тоже стал к тебе равнодушен.

— Не сочти за обиду, милый друг, — продолжала Мисмис, — но мне кажется, ты давно уже сделался для меня совершенно непереносим.

— Силы небесные! — воскликнул я вдохновенно. — Какое родство душ, я испытываю такое же чувство!

Придя к полному согласию в том, что мы сделали друг другу совершенно невыносимы и потому разлука наша неминуема, мы нежно обвили друг друга лапами и заплакали радостными и благодатными слезами!

Затем мы расстались; отныне каждый из нас убедился в величии души другого и превозносил его всякому, кто только хотел слушать. «Бывал и я в Аркадии!» — воскликнул я и с новым жаром приналег на искусства и науки.

(Мак. л.) ... — Да, — сказал Крейслер, — говорю вам со всей искренностью, — этот покой представляется мне грозней разъяренной бури. В томительное глухое затишье перед опустошительной грозой погружен теперь весь двор, который князь Ириней выставляет напоказ наподобие старинного альманаха с золотым обрезом duodecimo [\[85\]](#). Напрасно, светлейший повелитель, подобно второму Франклину, изобретает громоотводы в виде непрерывной смены блестящих празднеств — молния все-таки ударит и, может быть, опалит даже его собственный парадный камзол. Правда, принцесса Гедвига напоминает теперь всем своим видом светло и ясно льющуюся мелодию, сменившую дикие и беспокойные аккорды, что беспорядочно вырывались из ее израненной груди, но... Так вот, Гедвига, просветленная и радостная, горделиво выступает рука об руку с бравым неаполитанцем, а Юлия дарит его своей прелестной улыбкой и благосклонно внимает любезностям, которые принц, не сводя глаз с нареченной невесты, умеет отпускать ей так ловко, что они

рикошетом поражают ее юную неопытную душу еще вернее, чем если бы смертоносное оружие было направлено прямо в цель! А ведь сказывали, если верить Бенцон, что сначала Гедвига испугалась принца Гектора будто *mostro turchino*, а потом и кроткой, спокойной Юлии, этому чистому созданию, разряженный *général en chef* [86] явился в образе гадкого василиска! О, вы правы, чуткие души! Черт побери, да разве я не читал во «Всемирной истории» Баумгартена, что змий, лишивший нас рая, щеголял сверкающей золотом чешуей? Это приходит мне на ум, когда я смотрю на блистающего золотым шитьем Гектора. Впрочем, Гектором звали также одного весьма достойного бульдога, питавшего ко мне необыкновенную любовь и преданность. Хотел бы я, чтобы собака была рядом со мной, уж я натравил бы ее на светлейшего тезку, и она схватила бы его за полы, когда тот, надувшись, шествует между двумя милыми сестрами! Или научите меня, маэстро, вы ведь мастак по части фокусов, научите, как бы это по желанию, в нужную минуту обращаться в осу; я бы до тех пор донимал сиятельного пса, пока не вывел бы его из себя и не сбил с него проклятую спесь.

— Я дал вам высказаться до конца, Крейслер, — начал маэстро Абрагам, — и спрашиваю вас теперь, согласны ли вы выслушать меня спокойно? Тогда я вам открою некоторые вещи, подтверждающие ваши предчувствия.

— Разве я не степенный капельмейстер — я имею в виду не философский смысл этого слова, не то, что я постулировал свое «я» в степени капельмейстера, — нет, я отношу это к своей моральной способности сохранять степенность в благопристойном обществе и не ерзать, когда меня кусают блохи.

— Если так, — продолжал маэстро Абрагам, — то узнайте, Крейслер, что некая удивительная случайность позволила мне глубоко заглянуть в жизнь принца. Вы были правы, сравнив его со змием в раю. Под красивой оболочкой — уж этого у него не отнимешь — кроется яд развращенности, более того — гнусная подлость. Он замышляет недоброе, — из многого, что произошло, я заключаю, что он наметил своей жертвой прелестную Юлию.

— Ого! — вскричал Крейслер, заметавшись по комнате. — Так вот каковы твои сладкие песни?! Хорош гусь! Вот это ловко! Принц наш, оказывается, проныра, он протягивает лапы сразу и за дозволенными и за недозволенными плодами! Но берегись, сладкоречивый неаполитанец! Ты не знаешь, что Юлию охраняет храбрый капельмейстер с недурной музыкой в крови и, как только ты к ней приблизишься, он обойдется с

тобой, будто с окаянным квартквинтаккордом, который нужно разрешить. И капельмейстер поступит так, как требует его ремесло, то есть разрешит тебя, всадив пулю в голову или проткнув тебя вот этой скрытой в трости шпагой!

Тут Крейслер вытащил из трости шпагу, стал в позицию и спросил маэстро, достаточно ли он презентабелен, чтобы проткнуть сиятельную собаку.

— Успокойтесь, успокойтесь, Крейслер, — отвечал маэстро Абрагам. — Чтобы испортить принцу игру, отнюдь не требуется таких геройских подвигов. Для борьбы с ним есть другое оружие, и я дам вам его в руки. Вчера я сидел в рыбацкой хижине, когда принц проходил мимо со своим адъютантом. Они меня не заметили. «Принцесса хороша, — сказал принц, — но маленькая Бенцон божественна! Вся кровь во мне закипела, когда я ее увидел; она должна стать моей еще до того, как я предложу руку принцессе. Ты думаешь, она будет непреклонна?» — «Какая женщина устоит перед вами, ваша светлость», — отвечал адъютант. «Но, черт побери, — продолжал принц, — она, кажется, добродетельная девица!» — «И простодушная, — со смехом подхватил адъютант, — а как раз добродетельные и простодушные девицы, застигнутые врасплох натиском привычного к победам мужчины, покорно ему уступают, считая все перстом божьим, да еще загораются пламенной любовью к победителю! Так и с вами может случиться, ваша светлость». — «Это было бы недурно! — воскликнул принц. — Но как бы увидеть ее наедине! Как к ней подступить?» — «Ничего нет легче, — отвечал адъютант. — Я заметил, что малютка часто гуляет одна по парку... Если вы...» Но тут голоса замерли вдаль. Я не мог больше ничего разобрать! Вероятно, они сегодня же постараются привести в исполнение какой-нибудь адский план, и его надобно расстроить. Я мог бы сделать это сам, но по некоторым причинам мне бы не хотелось до срока показываться принцу. Поэтому, Крейслер, вам надлежит не откладывая отправиться в Зигхартсгоф и подстеречь Юлию, когда она, как обычно, в сумерки пойдет к озеру кормить ручного лебедя. Итальянский злодей, вероятно, дознался именно об этой ее прогулке. Но вы получите оружие и самые необходимые наставления, Крейслер, чтобы показать себя доблестным стратегом в бою с опасным принцем!

Биографа снова приводит в отчаяние крайняя отрывочность сведений, из которых он должен склеивать свою повесть. Пожалуй, здесь было бы уместно упомянуть, какие разъяснения и указания дал Крейслеру маэстро Абрагам. Ибо когда позднее и появится самое оружие, тебе, любезный читатель, невозможно будет понять все связанные с ним обстоятельства.

Однако злосчастный биограф не знает пока ни единого словечка из того наставления, посредством коего честный капельмейстер (это по крайней мере кажется достоверным) был посвящен в какую-то особо таинственную историю. Однако потерпи еще немного, благосклонный читатель! Вышеупомянутый биограф готов прозакладывать свой большой палец, столь необходимый для письма, что и эта тайна будет раскрыта до окончания книги.

Пока мы можем лишь рассказать, что, когда солнце стало клониться к закату, Юлия с корзинкой белого хлеба в руке, напевая, шла парком к озеру и остановилась посреди мостика неподалеку от рыбацкой хижины. Крейслер лежал в кустах, в засаде, держа у глаз сильную подзорную трубу, через которую он зорко следил за девушкой сквозь скрывавшие его ветки. Лебедь подплыл ближе, Юлия стала бросать ему кусочки хлеба, он их жадно глотал. Юлия кормила его, продолжая громко петь, а потому не услышала торопливых шагов приближавшегося к ней принца Гектора. Она вздрогнула, точно в сильном испуге, когда он внезапно очутился перед ней. Принц схватил ее руку, прижал к груди, к губам, а затем, став рядом с Юлией, перегнулся через перила моста. Юлия, глядя в озеро, продолжала кормить лебедя, а принц пылко ей что-то говорил.

— Эй, вельможа! Не корчи таких мерзостно-слащавых гримас! Разве ты не видишь, что я сижу совсем близко от тебя и могу надавать тебе пощечин! Но, боже мой, отчего все сильнее разгораются пурпуром твои щеки, небесное дитя? Отчего ты так странно смотришь на этого злодея? Ты улыбаешься? Да, под его жарким ядовитым дыханием должно раскрыться твое сердце, подобно бутону, развертывающему под палящим лучом солнца свои прекрасные лепестки, и тем ускорить свою гибель!

Так говорил Крейслер, наблюдая за парой, которую приближала к нему превосходная подзорная труба. Принц тоже начал бросать хлеб, но лебедь не брал его и стал громко, пронзительно кричать. Тогда принц обвинил Юлию рукой, бросая куски хлеба так, чтобы лебедю казалось, будто его кормит Юлия. При этом щека принца почти касалась щеки Юлии.

— Так, так, сановный негодяй! — говорил Крейслер. — Держи крепче свою добычу в когтях, высокопоставленный хищник; но знай, здесь, в кустах, некто уже целится в тебя и сейчас подобьет твои блестящие крылья! Нет, несдобровать тебе и твоей охоте!

Тут принц взял Юлию под руку, и они направились к рыбацкой хижине. Но у самой хижины Крейслер появился из-за кустов, подошел к идущей паре и, отвесив принцу глубокий поклон, сказал:

— Чудесный вечер! Живительный воздух, освежающий аромат! Ваша

светлость, должно быть, чувствуют себя как в прекрасном Неаполе!

— Кто вы такой, сударь? — резко прервал его принц, но в ту же минуту Юлия высвободила свою руку и, приветливо протянув ее Крейслеру, воскликнула:

— Как хорошо, что вы снова здесь, милый Крейслер! Знаете ли вы, до чего я по вас соскучилась! Право, мама бранит меня за то, что я веду себя как капризный, невоспитанный ребенок, если вы нас хоть один день не навестите. Я могла бы заболеть с досады, если бы поверила, что вы пренебрегли мною и нашими занятиями.

— Ах! — воскликнул принц, бросая ядовитые взгляды на Юлию и на Крейслера. — Так вы — *monsieur de Krusel*. Князь весьма благоприятно отзывался о вас!

— О, да будет благословен светлейший князь, — подхватил Крейслер, и на лице его странно заиграли сотни морщин и складочек. — Да будет он благословен за это, ибо теперь мне, быть может, удастся получить то, о чем я хотел умолять вашу светлость, а именно ваше милостивое покровительство. Я беру на себя смелость предполагать, что вы с первого взгляда подарили меня своей благосклонностью, ибо весьма оригинально соизволили мимоходом обозвать меня шутлом гороховым, а поскольку только шуты гороховые горазды на всякие выдумки, то...

— Да вы большой забавник, — перебил его принц.

— Нисколько, — отвечал Крейслер, — я, правда, люблю шутку, но только злую, а в такой шутке нет ничего забавного. В настоящее время я бы очень хотел поехать в Неаполь и записать на набережной несколько хороших рыбацких и бандитских песен *ad usum delphini* ^[87]. Вы как снисходительный покровитель искусств, милейший принц, быть может, не откажете мне в рекомендациях...

— Вы большой забавник, *monsieur de Krusel*, — снова перебил его принц, — это мне нравится, право, нравится, но сейчас я не стану мешать вашей прогулке. *Adieu!*

— О нет, ваша светлость, — воскликнул Крейслер, — я не могу упустить случая показаться вам в полном блеске. Не благоугодно ли вам войти в рыбацью хижину, там стоит маленькое фортепьяно, мадемуазель Юлия, вероятно, будет так добра спеть со мною дуэт!

— С превеликой радостью, — воскликнула Юлия и крепко уцепилась за руку Крейслера.

Принц стиснул зубы и гордо проследовал вперед. Входя, Юлия шепнула Крейслеру на ухо:

— Крейслер! Что у вас за странное настроение!

— О боже, — так же тихо ответил Крейслер, — и ты безмятежно спишь, убаюканная обольстительной грезой, когда уже приближается змея, готовая убить тебя своим ядовитым жалом?

Юлия взглянула на него с величайшим изумлением. Крейслер обратился к ней до этого на «ты» только один раз, в минуту высокого музыкального вдохновения.

По окончании дуэта принц, который еще во время пения много раз порывался кричать «bravo, bravissimo», рассыпался в бурных изъявлениях восторга. Он покрывал руки Юлии пламенными поцелуями, клялся, что никогда еще пение не потрясло так всю его душу, и умолял Юлию позволить ему запечатлеть поцелуй на божественных устах, из которых лился нектар этих райских звуков. Юлия испуганно отступила назад. Крейслер встал перед принцем и начал:

— Всемиловейший принц не соблаговолил порадовать меня ни единым словом похвалы, которую я надеялся наравне с мадемуазель Юлией заслужить как композитор и изрядный певец, из чего я заключаю, что мои ничтожные музыкальные познания производят недостаточно выгодное впечатление. Однако я также большой знаток в живописи и буду иметь честь показать вашей светлости миниатюрный портрет, изображающий особу, чья необыкновенная судьба и странный конец мне настолько известны, что я могу рассказать их всякому, кто пожелает меня выслушать.

— Несносный человек! — пробормотал принц.

Тем временем Крейслер вытащил из кармана маленькую шкатулку, достал из нее миниатюрный портрет и протянул его принцу. Тот взглянул на портрет, и вся краска сбежала с его лица, глаза остановились, губы задрожали.

— Maledetto! ^[88] — пробормотал он сквозь зубы и выбежал вон.

— Что это такое? — вскрикнула в смертельном испуге Юлия. — Ради всех святых, что это все значит? Скажите мне все, Крейслер!

— Вздор, — отвечал Крейслер, — веселые проказы, изгнание бесов! Взгляните, дорогая, какими огромными шагами, во всю прыть своих сиятельных ног бежит любезный принц! Боже мой! Он окончательно изменяет своей нежно идиллической натуре, даже не смотрит в озеро и не испытывает ни малейшего желания кормить лебедя, милый, добрый... дьявол!

— Крейслер, — проговорила Юлия, — ваш тон леденит мне душу, я чую недоброе, что произошло у вас с принцем?

Капельмейстер отошел от окна и, глубоко растроганный, посмотрел на Юлию, стоявшую перед ним, сложив руки и как бы моля доброго гения

избавить ее от страха, вызывавшего на глаза слезы.

— Нет, — сказал Крейслер, — ни один враждебный и фальшивый звук не должен нарушать небесную гармонию, царящую в твоей душе, невинное дитя! Духи ада бродят по свету под обманчивой личиной, но над тобой они не имеют власти, и тебе должны остаться неведомы их черные дела! Успокойтесь, Юлия! Позвольте мне сохранить молчание, все уже позади!

Тут в хижину вошла сильно взволнованная Бенцон.

— Что случилось? Что случилось? — воскликнула она. — Принц как бешеный проносится мимо, даже не замечая меня. У самого дворца его встречает адъютант, они с жаром о чем-то между собою говорят, потом, насколько я понимаю, принц дает адъютанту какое-то очень важное поручение, потому что в то время как принц направляется во дворец, адъютант стремглав бежит в отведенный им павильон. Садовник сказал мне, что ты стояла с принцем на мостике; тогда, не знаю почему, меня охватило страшное предчувствие какого-то несчастья — я побежала сюда; скажите, что же случилось?

Юлия рассказала все как было.

— Тайны? — резко спросила Бенцон, бросив на Крейслера пронизывающий взгляд.

— Почтеннейшая советница, — ответил Крейслер, — бывают минуты, положения, обстоятельства, когда, мне кажется, лучше держать язык за зубами, ибо стоит раскрыть рот, как понесешь околесицу, которая раздражает благоразумных людей!

И больше он не проронил ни слова, несмотря на то что Бенцон казалась оскорбленной его молчанием.

Капельмейстер проводил советницу с дочерью до дворца, а потом зашагал обратно в Зигхартсвейлер. Когда он скрылся в густых аллеях парка, из павильона вышел адъютант принца и последовал за Крейслером. Вскоре в лесной чаще раздался выстрел!

В ту же ночь принц покинул Зигхартсвейлер, попрощавшись с князем письмом и обещая вскоре вернуться. Когда на следующее утро садовник со своими людьми обходил парк, он нашел шляпу Крейслера со следами крови.

Сам же Крейслер бесследно исчез. Его...

Том второй



Раздел третий. МЕСЯЦЫ УЧЕНИЯ. ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА СЛУЧАЯ

(М. пр.) Страстное томление, пылкое желание теснят нашу грудь; но вот наконец мы заполучили то, чего домогались с такими муками и терзаниями, и желание немедля хладеет в ледяном равнодушии, и мы отбрасываем прочь предмет наших вожделений, как сломанную игрушку. Но едва это произойдет, как наступает горькое раскаяние в поспешном

поступке и мы уже алчем вновь. Так вся наша жизнь проносится между Желанием и Отвращением. Уж таковы мы, кошки! Слова эти верно живописуют мой род, откуда происходит также и надменный лев, что и побудило знаменитого Горнвиллу в тиковском «Октавиане» назвать его большой кошкой. Да, повторяю я, таковы мы, кошки, быть иными не в нашей власти, и кошачье сердце нечто весьма и весьма непостоянное.

Первейший долг честного биографа ничего не таить и ни в коей мере не щадить себя. Вот почему я, положив лапу на сердце, хочу признаться, что, невзирая на несказанное рвение, с каким я набросился на искусства и науки, во мне вдруг пробуждалась мысль о прекрасной Мисмис и частенько прерывала мои штудии.

Мне чудилось, что я не должен был порывать с нею, что я пренебрег верным любящим сердцем, лишь на миг ослепленным дурным наваждением. Ах, часто, когда я хотел усладить себя великим Пифагором (в ту пору я изрядно штудировал математику), нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь все мои катеты и гипотенузы, и передо мною вставала она, чудная Мисмис, в маленькой, неизъяснимо милой бархатной шапочке, и в прелестных глазах ее, цвета свежей травы, искрились лучи нежнейших упреков! Какие прыжки и пируэты, какие грациозные извивы хвоста! В восторге вновь воспламенившейся любви хочу я обнять прелестную, но — ах! — исчезает прочь дразнящее видение.

Немудрено, что грезы эти, прилетавшие из Аркадии любви, заставили меня погрузиться в некую унылость, каковая неминуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и изящных искусств, тем более что вскоре она обратилась в лень, коей я не в силах был противостоять. Мощным усилием хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом вознамерившись вновь отыскать Мисмис. Но едва лишь я ставил лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие сферы, где я мог бы найти свою милую, на меня находили стыд и робость, я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под печку.

Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих познаний, то по крайней мере вес мой заметно увеличился. Я с удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглощекий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью и нечто, внушающее почтение.

Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа. И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда он угощал меня лакомым кусочком. Прежде я терся у его ног, кувыркался и прыгал ему на

колени, когда он утром, встав с постели, восклицал: «Доброе утро, Мурр!» Теперь же я пренебрегал всем этим и довольствовался приветливым «мяу» да с гордым изяществом выгибал дугой спину — искусство, в котором, как известно благосклонному читателю, мы, коты, не имеем себе равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру в птичку. Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра. А именно: мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, приноровясь к такту движения, гонялся за ними до тех пор, пока не схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала меня необыкновенно, я воображал перо настоящей птицей, входил в раж, и таким образом и дух мой и тело, одновременно упражняясь, развивались и крепили. Да, даже эту игру презрел я теперь; хозяин мог дергать свои перья сколько ему было угодно, я оставался недвижим на подушке. «Кот, — сказал он мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя лапкой вслед перу, то и дело летавшему над подушкой возле самого моего носа, — кот, ты совсем не таков, как прежде: ты делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее! Я полагаю, ты жрешь и спишь сверх всякой меры».

Луч света заронили эти слова в мою душу. Только воспоминаниями о Мисмис, о поруганном рае любви объяснял я прежде мою вялую мрачность; теперь лишь я понял, сколь ощутительны притязания земной жизни — именно они удалили меня от моих высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе, позволяющие постичь, отчего наша душа, прикованная к тирану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него своей свободой. Под этими вещами я разумею преимущественно лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую конским волосом подушку. Такую сладкую кашу служанка хозяина умела готовить совершенно божественно, и я каждое утро с величайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отличного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий вкус к наукам, они представлялись мне черствым хлебом, и даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, то и в ней не находил улады. Самые прославленные творения новейших авторов, знаменитейшие трагедии увенчанных лаврами поэтов не могли удержать мой дух от праздного блуждания мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в единоборство с поэтами, и мне сдавалось, что она куда более смыслит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого,

жирного и густого.

О пагубный дурман, мешающий телесные и духовные радости! Да, дурманом я зову это, ибо дурманыщий сон овладевал мною и влек меня к иному, опасному предмету соблазна, к широкой, набитой конским волосом подушке, где я безмятежно засыпал. И тут же мне являлся пленительный образ драгоценной Мисмис! О небо, сколь удивительно все было связано меж собой: молочная каша, пренебрежение науками, меланхолия, мягкая подушка, прозаичность моей натуры, воспоминания об утраченной любви! Хозяин был прав: я ел и спал чересчур много! С каким стоическим мужеством пытался я быть умеренней, но слаба кошачья плоть: самые благие, самые великолепные намерения разлетались в прах от сладкого запаха молочной каши, тонули в гостеприимной пучине подушки.

И вот однажды я услышал, как хозяин, входя в комнату, говорил кому-то в сенях: «Пожалуй, я согласен! Может быть, общество его расшевелит. Но если вы будете выкидывать ваши глупые штуки, прыгать на стол, опрокинете на пол мою чернильницу или еще что-нибудь, я вышвырну к черту вас обоих!»

Сказав это, хозяин приоткрыл дверь и впустил кого-то. Это был не кто иной, как друг Муций. Я едва его узнал: шерстка, прежде гладкая и лоснящаяся, была взъерошена, кое-где свалялась, глаза глубоко запали; во всей его внешности и манерах, прежде вполне терпимых, хоть и немного неотесанных, теперь обозначалось нечто высокомерное и грубое.

— Ага, — фыркнул он на меня. — Ага, наконец-то я нашел тебя! И где? Под твоей проклятой печкой! Но позволь!.. — Он прыгнул к тарелке и вмиг уничтожил жареную рыбу, припасенную мною на ужин. — Скажи, — говорил он мне в промежутках, — скажи, где ты прячешься, черт побери! Почему ты не показываешься ни на одной крыше? Тебя никогда не увидишь там, где можно повеселиться.

Я объяснил, что, отказавшись от любви к прелестной Мисмис, я всецело предался наукам, а потому о прогулках нечего было и думать; к обществу же я нимало не стремлюсь, ибо у хозяина имею все, чего только можно пожелать: молочную кашу, рыбу, мясо, мягкую подушку и т. д. Спокойная, беззаботная жизнь для кота с моими наклонностями и дарованиями есть наивысшее благо, и я опасюсь, как бы она не расстроилась, едва я выйду в свет, тем более что, как я с прискорбием чувствую, моя слабость к малютке Мисмис еще не вовсе прошла и встреча с ней может легко толкнуть меня на опрометчивый поступок, в каковом мне пришлось бы горько раскаиваться.

— Позднее ты можешь мне подкинуть еще рыбку, — вставил Муций,

небрежно прошелся согнутой лапой по лицу, бороде и ушам и развалился возле меня на подушке.

— Счастье, — начал он вкрадчивым голосом, несколько секунд помурлыкав в знак своего удовольствия, — счастье для тебя, брат Мурр, что мне взбрело в голову навестить тебя в твоей келье и что твой хозяин беспрепятственно впустил меня! Тебе угрожает величайшая опасность, какая только может угрожать молодому, многообещающему коту-буршу, у которого голова на плечах и кровь в жилах, — я хочу сказать, тебе угрожает опасность сделаться отвратительным филистером. Ты тут обронил, что науки принуждают тебя дорожить своим временем и тебе недосуг встречаться с котами. Прости, брат, но я этому не верю! Такой круглый, упитанный, гладкий — ты вовсе не похож на книгоеда, изможденного ночными бдениями! Спокойная жизнь — будь она проклята! — и сделала тебя ленивым и неповоротливым! Уверяю тебя, ты чувствовал бы себя совсем иначе, кабы помаялся, как наш брат, прежде чем подцепил рыбью кость или поймал птичку.

— Я думал, — прервал я друга, — что ваше положение можно назвать прекрасным и вы счастливы. Ведь прежде вы были...

— Об этом, — гневно накинулся на меня Муций, — в другой раз. И что ты все время тычешь мне под нос твое «вы»! Нет, ты филистер и ничего не понимаешь в студенческих обычаях!

Я извинился перед разгневанным другом, и он продолжал уже мягче:

— Итак, я уже сказал, ты ведешь жизнь бездельника, брат Мурр, тебе нужно встряхнуться, нужно выйти в свет!

— О небо, — воскликнул я в ужасе, — что говоришь ты, брат Муций! Мне — выйти в свет? Неужели ты забыл — всего несколько месяцев тому назад я тебе рассказывал в погребке о том, как я однажды выпрыгнул в свет из английской коляски, какие опасности грозили мне отовсюду, как, наконец, меня спас добрый Понто и привел к моему хозяину.

Муций злобно засмеялся.

— Да, — сказал он, — в этом-то все и дело! Добряк Понто! Этот фатоватый шут, самовлюбленный и тщеславный лицемер, возившийся с тобою только потому, что у него тогда не было другого развлечения, а ты его забавлял. Попробовал бы ты подойти к нему на благородном собрании или на балу, он бы тебя не узнал — ты ведь не его породы. Да ведь он растерзает тебя за то, что ты посмел приблизиться к нему в неподобающем месте. Добряк Понто — это он тебя развлекал нелепыми человеческими историями, вместо того чтобы посвятить тебя в светскую жизнь! Нет, мой дорогой Мурр, приключение твое столкнуло тебя совсем с иным

жизненным кругом, чем тот, какой тебе предуказан. Извини меня за резкость, но все твои отшельнические штудии не только не принесут тебе никакой пользы, но даже скорее повредят. Ибо ты все-таки филистер, а во всем свете нет существа скучней и пошлей ученого филистера.

Я откровенно признался другу Муцию, что не вполне уразумел значение слова «филистер», так же как и его мнение на этот счет.

— О брат мой, — ответил Муций, приятно улыбнувшись, что его очень красило и на мгновение напомнило мне прежнего Муция. — О брат мой Мурр, напрасно я пытался бы объяснить тебе это, ибо ты никогда не постигнешь, что такое филистер, покуда сам остаешься им. Но если ты хочешь теперь же ознакомиться с некоторыми основными приметами кошачьего филистерства, я должен...

(Мак. л.) ...весьма странное зрелище. Посреди комнаты стояла принцесса Гедвига, лицо ее было смертельно бледно, мертв и неподвижен был ее взгляд. Принц Игнатий играл с ней как с заводной куклой. Он поднимал ее руку вверх — рука поднималась, он опускал ее вниз — рука опускалась. Он слегка толкал принцессу вперед — она шла; он останавливал ее — она застывала на месте; он усаживал ее в кресло — она садилась. Принц так увлекся этой игрой, что не заметил входящих.

— Что вы делаете, принц? — воскликнула княгиня. Потирая руки и хихикая, принц стал уверять ее, что сестра Гедвига теперь добрая и послушная, делает все, что он хочет, и совсем не ссорится с ним и не бранит его, как раньше. И с этими словами он снова начал, командуя по-военному, ставить принцессу во всевозможные позиции, и каждый раз, когда она как заколдованная застывала в том положении, в какое он ее ставил, он громко смеялся и подпрыгивал от радости.

— Это невыносимо, — простонала княгиня дрожащим голосом, и слезы заблестели в ее глазах, а лейб-медик подошел к принцу и воскликнул строго и повелительно:

— Оставьте принцессу в покое, всемилостивейший государь! — Затем он взял Гедвигу на руки, осторожно положил ее на софу и задернул полог. — Теперь, — обратился он к княгине, — принцессе нужнее всего полный покой. Я прошу, чтобы принц оставил комнату.

Принц Игнатий заупрямился, хныкал и жаловался, что вот всякие люди, которые не принцы и даже не дворяне, осмеливаются ему перечить. Он хочет остаться у сестры принцессы, она теперь ему милее самых красивых его чашек, и господин лейб-медик не должен ему ничего приказывать.

— Идите в вашу комнату, милый принц, — кротко сказала княгиня. — Принцессе нужно сейчас спать, а после обеда к вам придет фрейлейн Юлия.

— Фрейлейн Юлия! — воскликнул принц, смеясь и прыгая, как ребенок. — Фрейлейн Юлия! Ах, это прекрасно! Я покажу ей свои новые картинки, где в сказке о морском царе я изображен в виде принца Лосося с большим орденом. — Он церемонно поцеловал княгине руку и затем с гордым видом протянул лейб-медику свою руку для поцелуя, но тот схватил ее, подвел принца к двери и, почтительно кланяясь, раскрыл ее перед ним.

Принц остался весьма доволен тем способом, каким его выпроводили.

Княгиня — воплощенная скорбь — упала в кресло, опустила голову на руку и тихо проговорила с выражением глубочайшего страдания:

— Какой смертный грех тяготеем надо мной, за что небо карает меня так сурово? Сын, осужденный на вечное детство, — и теперь Гедвига — моя Гедвига! — И княгиня погрузилась в мрачное раздумье.

Между тем лейб-медик с трудом влил принцессе в рот несколько капель какого-то целительного снадобья, позвал камеристок и, наказав им немедленно сообщить ему, если в состоянии принцессы произойдет хоть малейшее ухудшение, велел отнести так и не вышедшую из своего оцепенения Гедвигу в ее комнату.

— Ваша светлость, — обратился лейб-медик затем к княгине, — каким бы странным и тревожным ни казалось состояние принцессы, я все же смею вас заверить, что оно скоро пройдет без всяких опасных последствий. Принцесса страдает тем особым, странным родом столбняка, который встречается во врачебной практике так редко, что многие знаменитейшие врачи ни разу в своей жизни не имели случая его наблюдать. Поэтому я должен почитать себя поистине счастливым... — Тут лейб-медик запнулся.

— Ах, — сказала княгиня горько, — узнаю истинного лекаря, которого не трогает самое большое несчастье, если только он может обогатить свои познания.

— Совсем недавно, — продолжал лейб-медик, пропуская мимо ушей упрек княгини, — я нашел в одной ученой книге случай болезни, совершенно схожей с болезнью принцессы. Одна дама, рассказывает автор, прибыла из Везуля в Безансон хлопотать в суде по какой-то тяжбе. Важность дела, мысль, что потеря процесса переполнила бы чашу постигших ее несчастий, повергла бы ее в нужду и бедность, вызвала в ней сильнейшую тревогу, которая перешла в болезненную экзальтацию. Она проводила ночи без сна, почти не ела, а в церкви била земные поклоны с

необычайным жаром; словом, ее болезненное состояние всячески давало себя знать. И, наконец, в тот самый день, когда ее дело должно было решиться, с ней внезапно приключилось, по мнению присутствовавших при этом, нечто вроде апоплексического удара. Приглашенные врачи нашли эту даму неподвижно сидящей в кресле; ее сверкающие, широко открытые глаза были устремлены ввысь, веки недвижимы, сплетенные руки воздеты к небу. Ее лицо, прежде печальное и бледное, казалось теперь цветущим, даже веселым и привлекательным, как никогда раньше; дыхание было свободно и ровно, пульс бился слабо, медленно, но ритмично, почти как у спокойно спящего человека. Ноги и руки были податливы и без всякого сопротивления принимали любое положение. Но болезненное состояние дамы — и это свидетельствовало о невозможности обмана — сказывалось в том, что она не могла сама переменить приданную ей позу. Ее дергали за подбородок — рот раскрывался да так и оставался открытым. Поднимали вверх ее руки, то одну, то другую, — они не опускались; их загнули за спину и подняли так высоко, что никто не мог бы долго продержаться в таком положении, а она держалась. Ее тело можно было сгибать как угодно, оно оставалось в полнейшем равновесии. Она казалась совершенно нечувствительной ко всему: ее трясли, щипали, мучили, ставили ногами на раскаленную жаровню, кричали в уши, что она выиграла процесс, — все было напрасно; она не подавала никаких признаков сознательной жизни. Мало-помалу она пришла в себя, но речь ее была бессвязна. Наконец...

— Продолжайте, — сказала княгиня, когда лейб-медик сделал паузу, — продолжайте! Не скрывайте от меня ничего, даже самого ужасного. Не правда ли, она сошла с ума, эта дама?

— Мне остается, — повел далее речь лейб-медик, — добавить к этому, что тяжелое состояние этой дамы длилось только четыре дня, что, когда ее привезли обратно в Везуль, она окончательно выздоровела, ее необыкновенная болезнь не оставила никаких дурных последствий.

Княгиня снова погрузилась в печальное раздумье, а лейб-медик тем временем распространялся о средствах лечения, которые он намерен применить к принцессе, и под конец расплылся в таких глубокомысленных рассуждениях, как если бы выступал на консилиуме перед ученышими докторами.

— Чем, — перебила наконец княгиня словоохотливого лейб-медика, — чем могут помочь все премудрые науки, если здоровье духа находится в опасности?

Лейб-медик помолчал несколько мгновений, затем продолжал:

— Светлейшая княгиня, пример с необыкновенным столбняком,

случившимся с дамой в Безансоне, показывает, что в основании этой болезни лежит причина психическая. Как только дама немного пришла в себя, лечение ее начали с того, что внушили ей бодрость, уверив, что она выиграла злополучную тяжбу. Опытнейшие врачи говорят в один голос, что такое состояние вызывается прежде всего каким-нибудь внезапным и сильным душевным потрясением. Принцесса Гедвига необычайно, в высшей степени раздражительна, возбудима, я бы даже сказал, что ее нервная система, в сущности, уже сама по себе несколько отклоняется от нормы. Весьма вероятно, что ее болезненное состояние вызвано также каким-то сильным душевным потрясением. Надо постараться открыть причину, и тогда, быть может, удастся благотворно воздействовать на психику принцессы. Поспешный отъезд принца Гектора... Вы знаете, государыня, что матери видят иной раз глубже любого врача и могут дать ему в руки наилучшее средство исцеления.

Княгиня выпрямилась и сказала холодно и гордо:

— Даже какая-нибудь мешанка оберегает тайны женского сердца — члены княжеских фамилий поверяют свои тайны только церкви и ее служителям, но врач не из их числа.

— Как можно, — живо воскликнул лейб-медик, — как можно так резко отделять духовное от телесного? Врач — второй духовник, и ему должно заглядывать в глубины психического бытия, в противном случае он на каждом шагу может ошибиться. Вспомните историю больного принца, светлейшая государыня!

— Довольно! — перебила княгиня врача с заметным раздражением. — Я никогда не унижусь до того, чтобы совершить что-либо противное приличию или допустить, будто что-то противное приличию, хотя бы только в мыслях или чувствах, могло вызвать болезнь принцессы.

С этими словами княгиня удалилась и оставила лейб-медика одного.

«Странная женщина эта княгиня! — обратился он к самому себе. — Она хотела бы уверить весь свет и себя в том числе, будто известка, которой природа связывает душу и тело, должна быть совсем особого сорта, ежели она предназначена для сотворения князей, и никак не похожа на ту, что идет на нас, бедных детей праха — простых бюргеров. Да не осмелюсь подумать, что у принцессы есть сердце, ибо вы должны следовать примеру того испанского царедворца, что отверг шелковые чулки, поднесенные в подарок добрыми голландскими бюргерами его повелительнице, — он счел это неприличным напоминанием о том, что у испанской королевы такие же ноги, как и у всякой другой женщины. И все же держу пари: причину ужаснейшего нервного заболевания, которое

постигло принцессу, нужно искать в сердце — этой лаборатории всех женских горестей».

Лейб-медик вспомнил о поспешном отъезде принца Гектора, о непомерной, болезненной раздражительности принцессы, о ее страстном, как он полагал, чувстве к принцу, и ему показалось несомненным, что какая-нибудь неожиданная ссора влюбленных, глубоко задев принцессу, вызвала ее внезапную болезнь.

Из дальнейшего мы увидим, основательны ли были предположения лейб-медика. Что до княгини, то, вероятно, она предполагала нечто подобное и потому именно и сочла противными приличию все расспросы и выпытыванья врача — ведь всякое глубокое чувство при дворе отвергали как нечто низменное и непозволительное. Княгиня была от природы женщина с душой и сердцем, но странное, смешное и отвратительное чудовище, чье имя — этикет, как зловещий кошмар, сдавило ей грудь, и ни один вздох, ни одно внутреннее движение отныне не вырывалось наружу. Поэтому-то она и сохраняла самообладание даже при таких сценах, как та, что произошла между принцем и принцессой, и гордо указывала на дверь всякому, кто спешил ей на помощь.

Покуда во дворце происходило все это, в парке творилось нечто такое, о чем тоже следует рассказать.

В кустах слева от входа стоял толстый гофмаршал; вынув из кармана маленькую золотую табакерку и взяв щепотку табаку, он обтер ее несколько раз рукавом камзола, протянул камердинеру князя и сказал:

— Драгоценнейший друг, мне известно, вы питаете слабость к подобным искусным безделицам, примите же настоящую табакерку как ничтожный знак моего к вам сердечного благоволения, на которое вы всечасно можете рассчитывать. Скажите же, милейший, как обстояло дело с этой странной, необычайной прогулкой?

— Почтительнейше благодарю, — ответил камердинер, кладя золотую табакерку в карман, затем он откашлялся и продолжал: — Могу вас уверить, ваше высокопревосходительство, что мой светлейший повелитель весьма встревожены с того времени, как у их светлости принцессы Гедвиги пропали, неизвестно почему, их пять чувств. Сегодня они целые полчаса стояли у окна, совершенно выпрямившись, и так ужасно барабанили светлейшими перстами правой руки по стеклу, что оно звенело и дребезжало. Однако все это были отличные марши, приятной мелодии и бодрого духа, как любил говорить мой покойный зять, придворный трубач. Ваше превосходительство знает, что мой покойный зять, придворный трубач, был искусный музыкант. У него было фантастическое басовое

тремоло, его верхний регистр, его нижний регистр звучали чисто, как у соловья, а уж что касается среднего...

— Знаю, — перебил гофмаршал болтуна, — знаю, милейший! Ваш покойный зять был превосходнейший трубач, но теперь... Что делали, что говорили их светлость, когда они изволили барабанить марши?

— Делали, говорили? — сказал камердинер. — Гм! Не очень-то много. Их светлость обернулись, посмотрели на меня поистине испепеляющим взглядом, устрашающе дернули за колокольчик и громко закричали: «Франсуа, Франсуа!» — «Ваша светлость, я уже здесь!» — воскликнул я. Но всемилостивейший тгаш повелитель сказали гневно: «Осел, так бы сразу и говорил! — и сейчас же: — Одеть для прогулки!» Я исполнил приказание. Их светлость изволили надеть шелковый зеленый кафтан без звезды и направились в парк. Они запретили мне следовать за ними, но, ваше превосходительство, надо ведь знать, где находятся всемилостивейший повелитель, если вдруг какое-нибудь несчастье... Ну, словом, я следовал за ними издалека и убедился, что всемилостивейший повелитель направились в рыбацью хижину.

— К маэстро Абрагаму? — воскликнул гофмаршал в полном изумлении.

— То-то и оно! — заметил камердинер и соорил многозначительную, таинственную физиономию.

— В рыбацью хижину, — повторил гофмаршал, — к маэстро Абрагаму. Никогда их светлость не посещали маэстро в рыбацкой хижине. — Наступило многозначительное молчание; затем гофмаршал спросил: — И ничего более не произнесли их светлость, решительно ничего?

— Решительно ничего, — ответил камердинер важно. — Однако, — добавил он с лукавым смешком, — окно рыбацкой хижины выходит в густой кустарник; в нем есть прогалина. Оттуда можно разобрать каждое слово, которое скажут в хижине. Можно было бы...

— О, если б вы сделали это, любезнейший! — воскликнул восхищенный гофмаршал.

— Слушаюсь, — сказал камердинер и стал осторожно прокрадываться вперед.

Но когда он вылез из кустарника, он наткнулся прямо на князя, который как раз возвращался во дворец, и чуть не сшиб его с ног. «Vous êtes un grand ^[89] болван!» — загремел на него князь, бросил гофмаршалу холодное «dormez bien» ^[90] и удалился во дворец, сопровождаемый камердинером.

Совершенно ошеломленный, гофмаршал застыл на месте, бормоча: «Рыбачья хижина! Маэстро Абрагам! Dormez bien», — и решил без промедления отправиться к канцлеру, дабы посоветоваться с ним о неслыханном событии, а также, если это окажется под силу, предугадать новое расположение светил на придворном небе, предвещаемое этим событием.

Маэстро Абрагам проводил князя до кустарника, где стояли гофмаршал и камердинер, затем возвратился — так велел ему князь, не желавший, чтобы его заметили из окон дворца в обществе маэстро. Благосклонный читатель знает, как хорошо удалось князю скрыть свой таинственный визит в рыбачью хижину к маэстро Абрагаму. Но, кроме камердинера, еще одна особа подслушала князя без его ведома.

Маэстро Абрагам уже подходил к самой хижине, как вдруг совершенно неожиданно из вечернего сумрака, затемнившего дорожки, ему навстречу вышла советница Бенцон.

— А, — воскликнула Бенцон с горьким смехом, — князь просил у вас совета, маэстро Абрагам. Вы и вправду подлинная опора княжеского дома; и отца и сына жалуете своей мудростью и богатым опытом, а когда добрый совет слишком дорог или вовсе недоступен...

— На этот случай, — перебил советницу маэстро Абрагам, — имеется советница, вернее, блистательная звезда, что одна здесь все озаряет и влиянию которой бедный старый органщик обязан своим существованием, а также возможностью спокойно завершить свой скромный жизненный путь.

— Не шутите так горько, маэстро Абрагам! — сказала Бенцон. — Звезда, озаряющая своим сияньем все вокруг, может быстро померкнуть, а потом и вовсе исчезнуть с горизонта. Весьма странные события, кажется, всколыхнули этот замкнутый семейный круг, который жители этого городка, да еще какой-нибудь десяток людей, кроме них, привыкли называть двором. Быстрый отъезд страстно ожидавшегося жениха, опасное состояние Гедвиги — да, все это сильно потрясло бы князя, не будь он таким бесчувственным человеком.

— Не всегда вы были такого мнения, госпожа советница, — перебил ее маэстро Абрагам.

— Я не понимаю вас, — сказала Бенцон презрительным тоном, бросив на маэстро пронизывающий взгляд, и быстро отвернулась.

Князь Ириней, доверяя маэстро Абрагаму и даже признавая за ним духовное превосходство, отбросил прочь всю свою княжескую щепетильность и, навестив органного мастера в рыбачьей хижине, излил

перед ним душу, однако умолчал о взглядах Бенцон на все тревожные события дня. Маэстро знал это и потому вовсе не поразился волнению советницы, хотя и был удивлен тем, что она, при ее холодном и замкнутом нраве, не смогла его скрыть.

Но советница, видно, была глубоко уязвлена тем, что присвоенная ею монополия в опеке над князем снова подвергается опасности, да еще в самую критическую, роковую минуту. По некоторым причинам, каковые, быть может, выяснятся позже, советница горячо желала брака принцессы Гедвиги с принцем Ректором. Союз этот, считала она, поставлен на карту, и всякое вмешательство кого-нибудь третьего представлялось ей опасным. Помимо того она впервые увидела себя окруженной необъяснимыми тайнами, впервые молчал и князь. Могла ли она, привыкшая держать в своих руках все нити интриг этого химерического двора, быть более обижена?

Маэстро Абрагам хорошо знал, что лучшее возражение рассерженной женщине — нерушимое спокойствие; поэтому он даже слова не проронил и молча шагал рядом с Бенцон, которая, углубившись в свои мысли, направлялась к мосту, уже знакомому благосклонному читателю. Облокотясь на перила, советница устремила свой взор на далекий кустарник, которому солнце, как будто прощаясь с ним, посылало пламенные, сверкающие лучи.

— Прекрасный вечер, — произнесла Бенцон, не оборачиваясь.

— Да, — ответил маэстро Абрагам, — тихий, спокойный, ясный, как искренняя, безмятежная, не ведающая зла душа.

— Не вините меня, любезный маэстро, — продолжала советница сухо, оставив свой обычный дружеский тон, — за то, что я чувствую себя больно задетой, когда князь вдруг избирает своим доверенным только вас и советуется только с вами, да к тому же еще о таких делах, в которых опытная женщина может лучше помочь и советом и делом. Я не могла скрыть эту мелочную досаду, но теперь она уже прошла, совсем прошла. Я совершенно спокойна — ведь нарушена только форма. Князю следовало бы самому рассказать мне все, что я теперь узнала другим способом, и я могу только вполне одобрить то, что вы ему говорили, дорогой маэстро! Сознаюсь, я совершила нечто непохвальное. Но так как побудило меня к этому не столько женское любопытство, сколько глубокое участие ко всему, что затрагивает княжеское семейство, меня можно извинить. Знайте же, маэстро: я подслушивала вашу беседу с князем и разобрала все до слова...

При этих словах Бенцон маэстро Абрагама охватило странное чувство — смесь язвительной иронии и глубокой горечи. Так же, как и княжеский

камердинер, он давно догадался, что, спрятавшись в кустах под окном рыбацкой хижины, можно легко услышать все, что в ней говорят, но с помощью искусного акустического приспособления ему удалось устроить так, что от разговора в хижине до находящегося снаружи человека доходил только смутный, нечленораздельный шум; разобрать в нем хотя бы слово было совершенно невозможно. Вот почему жалкой показалась ему попытка Бенцон прибегнуть ко лжи, дабы проникнуть в тайну, о которой она смутно догадывалась, тогда как князь, ничего о ней не подозревая, никак не мог открыть ее маэстро Абрагаму. О чем толковали князь с маэстро в рыбацкой хижине, читатель узнает после.

— О, — воскликнул маэстро, — о моя драгоценнейшая, вас привел к рыбацкой хижине живой ум предприимчивой, умудренной опытом женщины. Как смог бы разобраться я, бедный человек, хоть и старый, однако неопытный во всех этих вещах, без вашей помощи! Я как раз собирался подробно рассказать вам, что открыл мне князь; но теперь в этом отпала надобность — ведь вам уже все известно. Быть может, драгоценнейшая, вы окажете мне честь и выскажете с полной откровенностью все ваши опасения; быть может, все не так страшно, как оно кажется на первый взгляд.

Маэстро Абрагаму так хорошо удался тон простодушной доверчивости, что Бенцон, несмотря на всю ее проницательность, никак не могла решить, мистифицирует он ее или нет, и в растерянности упустила ту нить, которую было поймала, чтобы связать из нее хитроумную петлю для маэстро. И вот, тщетно стараясь выжать из себя хоть слово в ответ, стояла она на мосту как пригвожденная и смотрела вниз на озеро.

Маэстро несколько минут наслаждался ее терзаниями; но вскоре его мысли обратились к происшествиям этого дня. Он хорошо знал, что Крейслер стоял в их центре; глубокая скорбь о потере любимейшего друга овладела им, и невольно у него вырвалось восклицание:

— Бедный Иоганнес!

Тут Бенцон быстро повернулась к нему и сказала с внезапной порывистостью:

— Как, маэстро Абрагам, неужели вы так безрассудны, чтобы поверить в гибель Крейслера? Разве окровавленная шляпа — доказательство? И что могло бы так неожиданно привести его к ужасному решению застрелиться? Но тогда нашли б и его самого.

Маэстро немало удивился, услышав, что Бенцон говорит о самоубийстве, когда напрашивалось совсем иное подозрение. Но прежде чем он собрался возразить, советница воскликнула:

— Слава богу, что он исчез, этот несчастный, причиняющий всюду, где он появляется, непоправимое зло. Его страстная натура, его озлобление — иначе я не могу определить его хваленый юмор — зароняют тлетворные семена во всякую чувствительную душу, с которой он заводит свою ужасную игру. Если бы издевательское пренебрежение всеми условностями, упрямое сопротивление всем принятым формам обнаруживало превосходство ума, то мы все должны были бы преклонить колена перед этим капельмейстером; но пусть уж он лучше оставит нас в покое и не восстает против всего, что подсказано трезвым взглядом на жизнь и признано основой нашего благополучия. А посему хвала небесам, что он исчез! Я надеюсь, что никогда больше его не увижу!

— И все-таки, — мягко заговорил маэстро, — вы когда-то были другом моего Иоганнеса, госпожа советница, вы заботились о нем в самую скверную, критическую пору его жизни и сами направляли его на дорогу, откуда его совлекли как раз те условности, которые вы так усердно защищаете! Почему же вы теперь вдруг напали на моего славного Крейсlera? Что дурное вдруг открыли в нем? Разве можно его ненавидеть лишь за то, что, когда волею случая он попал в новый для него круг, жизнь встретила его немилостиво, лишь за то, что ему угрожал преступный замысел и за ним крался итальянский бандит?

При этих словах маэстро советница заметно вздрогнула.

— Что за адская мысль, — сказала она дрожащим голосом, — зародилась у вас в мозгу, маэстро Абрагам? Но если это и так, если и вправду Крейсler погиб, то это была справедливая месть за невесту, которую он свел с ума. Внутренний голос подсказывает мне, что один Крейсler виновен в ужасном недуге принцессы. Беспощадно напрягал он нежные струны души Гедвиги, пока они не лопнули.

— В таком случае итальянский молодчик, — ядовито ответил маэстро Абрагам, — оказался так скор на руку, что его месть опередила само злодеяние. Вы ведь слышали, сударыня, все, о чем мы говорили с князем в рыбацкой хижине, и, стало быть, знаете, что принцесса Гедвига впала в оцепенение в тот самый миг, когда в лесу грянул выстрел.

— Право, — сказала Бенцон, — можно поверить во все химерические рассказы, которыми нас теперь потчуют, в передачу мыслей на расстоянии и прочее. Но повторяю — какое счастье для нас, что он исчез! Состояние принцессы может измениться — и изменится! Судьба удалила нарушителя нашего покоя, и признайтесь сами, маэстро Абрагам, ведь в душе нашего друга царил такой разлад, что навряд ли он в этой жизни мог обрести мир. Итак, если даже допустить, что...

Но советница не кончила; маэстро Абрагам, с трудом сдерживавший свой гнев, внезапно вспыхнул.

— Почему вы все против Иоганнеса? — воскликнул он, повысив голос. — Какое зло он вам причинил? Зачем лишаете его пристанища и самого малого местечка на земле? Вы не знаете? Ну, так я вам скажу. Крейслер не чета вам; он не понимает ваших вычурных и пустых речей. Стул, который вы ему подставляете, чтобы он занял место в вашем кругу, для него слишком мал и узок. Он ничем не походит на вас, и это вас злит. Он не признает вечными те договоры, что были заключены вами, когда вы устраивали вашу жизнь; он считает даже, что в своем безумном ослеплении вы не видите подлинной жизни и что та чопорная важность, с коей вы мните управлять царством, которое всегда останется для вас за семью замками, поистине смехотворна, — и все это называете вы озлоблением. Превыше всего он почитает иронию, порожденную глубоким проникновением в суть человеческого бытия; эту иронию можно назвать прекраснейшим даром природы, ибо природа черпает ее из чистейшего источника своей внутренней сущности. Но вы — важные, серьезные люди, вы не расположены иронизировать и шутить. Дух истинной любви живет в нем; но согреет ли он оледеневшее навеки сердце, где никогда и не теплилась искра, которую этот дух мог бы раздуть в пламя? Вы не переносите Крейслера, потому что вам не по нутру его превосходство над вами, которого вы не можете не признать; потому что вы сторонитесь его как человека, чьи мысли направлены на более высокие предметы, чем это принято в вашем маленьком мире.

— Маэстро, — глухо произнесла Бенцон, — горячность, с которой ты защищаешь своего друга, завела тебя слишком далеко. Ты хотел меня уязвить? Что ж, это тебе удалось, ты разбудил во мне мысли, спавшие уже давно-давно. Ты говоришь, оледенело мое сердце? А знаешь ли ты, слышало ли оно когда-нибудь приветливый голос любви и не нашла ли я утешенье и покой только в тех условностях, что так презирал необузданный Крейслер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший немало страданий, что стремление возвыситься над этими условностями и приобщиться к мировому духу, обманывая самого себя, — опасная игра? Я знаю, холодной и бездушной прозой во плоти бранит меня Крейслер, и ты только повторяешь его мысли, называя меня оледеневшей; но проникали ли вы когда-нибудь сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным панцирем? Для мужчин в любви не вся жизнь, это лишь ее вершина, откуда еще ведут вниз надежные пути; для нас же высший миг озаренья, пробуждающий нас к жизни и определяющий весь смысл ее, —

это миг первой любви. И захочет враждебный рок отравить этот миг — вся жизнь слабой женщины погублена, и она обречена на безотрадное прозябание; но женщина, более сильная духом, преодолевает себя и как раз в обыденных житейских условиях обретает новое равновесие, дарующее ей мир и покой. Дай мне сказать тебе все, старик, — здесь, в ночном мраке, поглощающем мои признания, дай мне сказать тебе все! Когда пришел тот миг моей жизни, когда я увидела того, кто зажег во мне пыл самой глубокой любви, на какую только способно женское сердце, — я стояла перед алтарем с тем самым Бенцоном, который потом стал мне лучшим мужем на свете. Полное его ничтожество дало мне все, чего только я могла желать, — покойную жизнь, и никогда ни одна жалоба, ни один упрек не вырвались из моих уст. Я ограничивала себя сферой обыденного, и если даже в этой сфере случалось нечто, увлекавшее меня в сторону, если некоторые свои поступки, которые можно счесть недозволенными, я оправдываю лишь случайным стечением обстоятельств, то осуждать меня вправе лишь та женщина, которая, как я, прошла до конца тернистый путь, ведущий к отречению от всякого более высокого счастья — пусть оно только сладостное мечтанье. Со мною познакомился князь Ириней. Но я умолчу о том, что давно уже прошло; только о настоящем может идти речь. Я позволила тебе заглянуть в мою душу, маэстро Абрагам. Ты знаешь теперь, почему я опасюсь вторжения всего чуждого, всякого необычного начала в события, здесь происходящие. Моя собственная судьба в те роковые часы моей жизни встает передо мной как глумливый, предостерегающий призрак. Я обязана спасти тех, кто мне дорог; мой план готов. Маэстро Абрагам, не становитесь мне поперек дороги, если же вы хотите бороться со мной, то остерегайтесь, как бы я не раскрыла все ваши хитрые фокусы!

— Несчастливая женщина! — воскликнул маэстро Абрагам.

— Меня называешь ты несчастной, — возмутилась советница, — меня, которая смогла победить враждебный рок и там, где, казалось, уж все потеряно, найти покой и удовлетворение?

— Несчастливая женщина, — снова воскликнул маэстро тоном, говорившим о его глубоком волнении, — бедная, несчастная женщина! Ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не подозреваешь, что это отчаянье, подобно вулкану, исторгло из твоей души весь ее огненный пыл! В своем угрюмом ослеплении ты принимаешь мертвый пепел, где не распустится больше ни почки, ни цветка, за тучное поле самой жизни и надеешься еще снять с него плоды. Ты хочешь возвести замысловатое здание на фундаменте из камня, раздробленного молнией, и не страшишься, что оно рухнет в то мгновенье, когда будут весело развеиваться

пестрые ленты венка, возвещающего победу строителя? Юлия, Гедвига — я знаю, для них и сотканы те искусные планы! Несчастливая женщина, берегись, как бы то гибельное чувство, то озлобление, в котором ты несправедливо упрекаешь моего Иоганнеса, не вырвалось из глубин твоей собственной души; как бы все твои мудрые прожекты не оказались только рогатками на пути к тому счастью, которым ты никогда не наслаждалась сама и которого хочешь теперь лишить своих близких. О твоих планах, а равно и о пресловутых условностях, якобы принесших тебе покой, на самом же деле толкнувших тебя на позорные поступки, я знаю куда больше, чем ты предполагаешь.

Глухой нечленораздельный крик, вырвавшийся у Бенцон при этих словах маэстро, выдал ее глубокое потрясение. Органщик остановился; но так как Бенцон тоже молчала, не двигаясь с места, он хладнокровно продолжал:

— У меня нет ни малейшей охоты ввязываться в какую бы то ни было борьбу с вами, многоуважаемая. А что касается моих так называемых фокусов, то вам, почтеннейшая госпожа советница, прекрасно известно, что с тех пор, как покинула меня моя Невидимая девушка... — И вдруг мысль о потерянной Кьяре сжала сердце старика такой тоской, какой он давно не испытывал. Ему показалось, будто он видит ее образ в темной дали, будто он слышит ее сладостный голос. — О Кьяра, моя Кьяра! — воскликнул он в мучительной скорби.

— Что с вами? — спросила Бенцон, быстро обернувшись к нему. — Маэстро Абрагам, что за имя вы произнесли? Однако я повторяю, оставьте в покое прошлое! Судите обо мне не с той странной точки зрения на жизнь, которую вы разделяете с Крейслером. Обещайте мне не злоупотреблять доверием, которым почтил вас князь Ириней, обещайте не становиться мне поперек дороги!

Но маэстро так глубоко погрузился в скорбные воспоминания о своей Кьяре, что едва слышал, о чем ему говорила советница, и отвечал ей невпопад.

— Не отталкивайте меня, — продолжала советница. — Вы, кажется, и в самом деле осведомлены о многом лучше, нежели я предполагала; но возможно, что и я владею тайнами, представляющими для вас большую ценность, так что я, наверное, смогла бы оказать вам услугу, о которой вы даже и не помышляете. Будем вместе властвовать над этим маленьким двором — он и впрямь нуждается в помочах. «Кьяра», — воскликнули вы с такой тоской, что...

Сильный шум в замке прервал советницу. Маэстро Абрагам очнулся от

своих грез; шум...

(М. пр.) ...прибавить следующее. Кот-филистер даже при сильной жажде приступает к миске с молоком с величайшей осторожностью, ему важно прежде всего не замочить усов и бороды, дабы соблюсти благопристойность, ибо благопристойность превыше всего. Если ты придешь в гости к коту-филистеру, то он предложит тебе все, что угодно, но угостит лишь заверениями в дружбе, когда ты соберешься уходить; сам же после в одиночку и украдкой съест все лакомые кусочки, которые он тебе предлагал. Кот-филистер благодаря верному, безошибочному чутью везде, на чердаке, в погребе и т. п., умеет сыскать себе лучшее местечко и растянуться там с наивозможнейшими удобствами и приятностью. Он много говорит о своих добрых качествах и о том, что — хвала небу! — он не может пожаловаться на судьбу за невнимание к этим добрым качествам. Весьма велеречиво объясняет он тебе, как заполучил теплое место, как сохраняет его за собой и что еще сделает, дабы улучшить свое положение. Но если ты хочешь рассказать ему наконец что-нибудь о себе самом и своей судьбе, не столь благосклонной, он немедля зажимуривает глаза, поджимает уши, притворяясь, будто спит или просто мурлыкает. Кот-филистер прилежно вылизывает и начищает свою шкуру до блеска, и, даже охотясь за мышами, он отряхивает лапы на каждом шагу, как только попадает в сырое место; пусть он и прозевает дичь, зато при всех обстоятельствах он пребудет изящным, аккуратным, пристойно одетым субъектом. Кот-филистер боится и избегает малейшей опасности, и если тебе что-нибудь угрожает и ты просишь его о помощи, он, расточая священнейшие клятвы в своем дружеском участии, чрезвычайно сожалеет, что именно сейчас его положение и разные причины, с коими он должен считаться, не позволяют ему тебе помочь. Вообще все дела и поступки кота-филистера всегда зависят от тысячи тысяч соображений. Так, например, он учтив и любезен даже с маленьким мопсом, весьма чувствительно укусившим его за хвост, учтив, чтобы не испортить отношений с дворовой собакой, чьей протекции он сумел добиться, и только ночью, исподтишка выцарапает он глаз этому мопсу. День спустя он выражает свое сердечное соболезнование дорогому другу — мопсу и обличает злобу коварных врагов. Впрочем, все его уловки подобны хорошо устроенной лисьей норе, позволяющей ему всегда улизнуть от тебя в тот момент, когда ты считаешь его уже пойманным. Охотнее всего кот-филистер пребывает под родной печкой, где он чувствует себя в безопасности; крыша — не по нему: от неоглядного простора у него кружится голова. Итак, вы видите, друг Мурр, это и есть ваш образ жизни.

Ну а теперь, если я вам скажу, что кот-бурш прям, честен, бескорыстен, сердечен, всегда готов помочь другу, что ему неведомы никакие другие соображения, кроме предписываемых честью и совестью, словом, что кот-бурш — полный антипод кота-филистера, то вам будет нетрудно возвыситься над филистерством и стать настоящим, порядочным котом-буршем.

Живо почувствовал я справедливость слов Муция. Я понял, что не знал только самого слова «филистер», но характер этот был мне очень даже знаком, ибо я встречал уже многих филистеров, то есть скверных малых нашего рода, которых я презирал ото всей души. Тем болезненнее чувствовал я поэтому свое тяжкое заблуждение, из-за которого я мог бы попасть в категорию этих презренных личностей, и решил следовать во всем совету Муция, чтобы скорее стать порядочным котом-буршем. Один молодой человек рассказал однажды моему хозяину о каком-то неверном друге и обрисовал его очень странным, непонятным мне выражением. Он его назвал «напомаженным малым». Я подумал, что прилагательное «напомаженный» очень подходит к существительному «филистер», и спросил мнение друга Муция. Едва произнес я слово «напомаженный», как Муций, ликуя, подпрыгнул и, крепко обняв меня, воскликнул:

— Милый друг, теперь я убедился, что ты меня вполне понял. Да, напомаженный филистер и есть то презренное создание, которое посягает на благородных буршей, и наше горячее желание травить его до смерти, где бы оно нам ни попадалось. Да, друг Мурр, теперь ты доказал свое глубокое, верное чутье ко всему благородному и великому; позволь же еще раз прижать тебя к этой груди, где бьется честное немецкое сердце. — И тут друг Муций обнял меня снова и сообщил, что в ближайшую же ночь намерен ввести меня в круг буршей; в полночь я должен явиться на крышу, откуда он поведет меня на пирушку к Пуффу, старосте котов-буршей.

В комнату вошел хозяин... Я, как всегда, прыгнул ему навстречу, потерся об него и стал кататься по полу, чтобы выказать ему мою радость. Муций также уставился на него, довольно поблескивая глазами. Хозяин пощекотал мне слегка голову и шею, окинул взглядом комнату и, найдя все в должном порядке, сказал:

— Вот это правильно! Вы вели себя тихо и мирно, как подобает порядочным, благовоспитанным людям. Это заслуживает награды.

С этими словами он пошел к двери, ведущей в кухню, и мы, Муций и я, отгадав его благодетельную мысль, побежали вслед с веселым «мяу-мяу-мяу!». И в самом деле, хозяин открыл кухонный шкаф и достал оттуда остовы и мелкие косточки двух цыплят, которых он вчера уничтожил.

Известно, что мой род считает куриные косточки деликатнейшим лакомством на свете, потому-то глаза Муция и заблестали ярким огнем; он изогнул свой хвост грациознейшим образом и громко замурлыкал, когда хозяин поставил перед нами миску на пол. Хорошо помня о «напомаженном филистере», я подвинул другу Муцию лучшие кусочки, как-то: шейки, грудки, гузки, и удовольствовался более жесткими костями крылышек и ножек. Когда мы справились с цыплятами, я хотел было спросить друга Муция, не угодно ли ему чашку сладкого молока. Но «напомаженный филистер» крепко сидел у меня в голове, и я, отказавшись от этой церемонии, немедля вытащил чашку, стоявшую, как я знал, под шкафом, и приветливо пригласил Муция распить ее со мной, чокнувшись с ним за его здоровье. Муций вылакал ее дочиста, потом пожал мне лапу и сказал со слезами радости на глазах:

— Поистине, друг Мурр, ты живешь, как Лукулл! Но вы доказали мне, что верное, честное, благородное сердце бьется в вас, что суетные утехы мирские не совратят вас на путь презренного филистерства. Благодарю вас, сердечно благодарю!

Честным немецким пожатием лапы, по обычаю предков, обменялись мы с ним на прощанье. Муций, должно быть желая скрыть слезы умиления, тут же отважным прыжком выскочил через открытое окно на близлежащую крышу. Даже я, кого природа одарила в избытке пружинистой силой, изумился этому смелому прыжку, и мне представился случай вновь воздать хвалу моему роду, состоящему из прирожденных гимнастов, кои не нуждаются ни в шестах, ни в трамплинах.

Помимо этого, на примере друга Муция я убедился, сколь часто под грубой, отпугивающей внешностью таится нежная, чувствительная душа.

Я вернулся в комнату и улегся под печкой. Здесь, в одиночестве размышляя о том, как сложилось все мое прежнее бытие, обозревая мое недавнее душевное состояние, весь мой образ жизни, ужаснулся я при мысли, сколь близок был я к бездне, и друг Муций представился мне, невзирая на кое-где сваливавшуюся шубку, прекрасным ангелом-спасителем. В новый мир должен войти я, — я должен заполнить пустоту в груди, сделаться другим котом! Как трепетало мое сердце в радостном и боязливом ожидании!

Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина обычным «мя-яу» выпустить меня.

— Охотно, — отвечал он, отворяя двери, — охотно, Мурр. Вечное подпечколежанье и сон тебе ничего хорошего не принесут. Иди-иди, появись опять в свете, побудь среди котов. Может быть, ты найдешь

родственников тебе по духу хвостатых юношей, с которыми ты развлечешься и делом и шуткой.

Ах, сколь верно предчувствовал хозяин, что предо мной занимается заря новой жизни! Наконец, когда пробило полночь, явился друг Муций и повел меня по крышам соседних домов на итальянскую, почти плоскую крышу, где десять статных, но одетых так же небрежно и странно, как Муций, кот-юношей встретили нас громкими кликами ликования. Муций представил меня друзьям, превознес мои достоинства, мой верный, честный нрав, главным образом напоирая на то, как радушно угостил я его рыбой, куриными косточками и сладким молоком, и в заключение сказал, что я хотел бы войти в их компанию как добрый кот-бурш. Все дали свое согласие.

Тут произошли некие торжественные церемонии, о коих я умолчу, ибо благосклонные читатели моего рода могут заподозрить, будто я вступил в запрещенный орден, и еще, чего доброго, заставят меня держать ответ за это. Однако я заверяю с полной искренностью, что о каком-нибудь ордене со всеми его атрибутами, как, например, статутами, тайными знаками и т. д., даже и речи не было; наш союз основывался единственно на сходстве убеждений. Ибо вскоре объявилось, что каждый из нас предпочитает молоко — воде и жаркое — хлебу.

После окончания церемоний я получил от каждого братский поцелуй, все присутствовавшие коты пожали мне лапу и стали называть меня на «ты». Потом мы уселись за простую, но веселую трапезу, за коей последовала изрядная попойка. Муций изготовил отменный кошачий пунш. Если какой-либо юноша-кот, охотник до наслаждений, восплает жаждой узнать рецепт этого драгоценного напитка, я — увы! — не смогу ему дать о том никаких удовлетворительных сведений. Мне ведомо лишь, что изысканная тонкость сего пунша, равно как и его победительная сила, достигается преимущественно изрядной примесью селедочного рассола.

Голосом, загремевающим далеко по крышам, староста Пуфф затянул прекрасную песню «Gaudeamus igitur» ^[91]. С неизъяснимым блаженством чувствовал я, что и духом и телом я истинный «juvenis» ^[92], и не желал думать ни о какой «tumulus» ^[93], ибо нашему роду жестокий рок редко посылает тихое упокоение в земле. Пели и другие прекрасные песни, как, например, «Пускай политики болтают». И, наконец, староста Пуфф ударил мощной дланью по столу и провозгласил, что теперь надлежало бы спеть истинно вдохновенную песнь посвящения, а именно: «Esse quam bonum...» ^[94], и затянул тотчас хорал «Esse...» и т. д. и т. д.

Никогда раньше не слышал я эту песню, столь глубокую по мысли, столь истинно гармоническую и мелодическую по своей композиции, что ее с полным правом можно назвать чудесной и таинственной. Творец ее, насколько мне ведомо, доныне неизвестен; многие приписывали ее великому Генделю; другие, напротив того, утверждали, будто бы она существовала уже задолго до времени Генделя, ибо, как гласит виттенбергская хроника, ее пели, когда принц Гамлет еще состоял в фуксах. Однако безразлично, кто бы ее ни сочинил, — это творение великое, бессмертное, и более всего удивляет в нем, какой простор для приятнейших, неисчерпаемых импровизаций предоставляет певцу соло, искусно вплетенное в хор. Некоторые из этих импровизаций, услышанные мною в ту ночь, я сохранил в памяти.

Едва хор умолк, пятнистый черно-белый юноша внезапно затянул:

*Шпиц весь свет облаять рад,
Пудель тяпнет грубо.
Одному дан прочный зад,
А другому — зубы...*

Хор

Ессе quāt и т. д.

Затем серый:

*Снял филистер свой колпак,
Вежливо кивая,
Смел и радостен простак —
Вывезет кривая!*

Хор

Ессе quāt и т. д.

Затем рыжий:

*Рыба любит глубь реки,
Птица в небо рвется.
Крылья их и плавники
Кто добыть возьмется?*

Хор

Ессе quāt и т. д.

Затем белый:

*Фыркай, злись, урчи, мяучь,
Только не царапай.
Вкрадчив будь, учтив, невуч,
Цапай тихой сапой!*

Хор

Ессе quāt и т. д.

Затем друг Муций:

*Всё про нас макаки врут,
Знать, решили слопать.
Точат зубы, нос дерут...
Дудки, близок локоть!*

Хор

Ессе quāt и т. д.

Я сидел подле Муция, и посему теперь наступил мой черед импровизировать. Все соло, до того пропетые, так сильно отличались от стихов, которые я слагал ранее, что я пришел в немалое беспокойство и страх, как бы не погрешить против тона и композиции столь целостного творения. Оттого, когда хор закончился, я еще безмолвствовал. Уже многие подняли стаканы и восклицали «Pro роена» [\[95\]](#), но я, напрягши всю мощь своего духа, запел:

*Хвост к хвосту, к челу чело, —
Нас не троньте, крошки,
Мы филистерам назло
Забулдыги-кошки!*

Хор

Ессе quāt и т. д.

Моя импровизация снискала долгие, несмолкаемые похвалы. Великодушные юноши, ликуя, ринулись ко мне и, заключив меня в свои лапы, прижимали к своей трепещущей груди. Итак, и здесь распознали во мне дивный гений! То была одна из прекраснейших минут моей жизни. Затем в честь многих великих, славных котов, преимущественно тех, коим, невзирая на их величие и славу, чуждо всякое филистерство, что доказали они и словом и делом, было провозглашено пламенное «ура!», после чего мы расстались.

Однако пунш изрядно-таки ударил мне в голову. Мне чудилось, будто крыши кружатся; я едва смог с помощью хвоста, употребленного мною в виде балансира, сохранять равновесие. Верный Муций, заметив мое состояние, подхватил меня и счастливо доставил через слуховое окно домой. От столь сильного головокружения, никогда мною доселе еще не испытанного, я еще долго не мог...

(Мак. л.) ...так же хорошо знал, как и остроумная госпожа Бенцон. Но что именно сегодня, сейчас я получу весть о тебе, верная душа, этого не предчувствовало мое сердце. — Так сказал маэстро Абрагам, узнав с радостным удивлением руку Крейсlera на полученном письме, запер его, не распечатывая, в ящик письменного стола и отправился в парк.

Издавна маэстро Абрагам имел обыкновение несколько часов, а то и дней не распечатывать полученные письма. «Если письмо неинтересно, — говаривал он, — то промедление несущественно; если в нем дурная весть, я сберегу еще несколько веселых или по крайней мере беспечных часов, если же добрая, то человек рассудительный может и потерпеть, чтобы потом полнее насладиться радостью». Это обыкновение маэстро Абрагама следует осудить, ибо человек, у коего письма всегда залеживаются, совершенно непригоден ни к коммерции, ни к сочинению политических, равно как и литературных обзрений; из вышеизложенного явствует также, сколь много бедствий может проистечь отсюда для лиц, каковые не состоят ни коммерсантами, ни газетчиками. А что до настоящего биографа, то он совершенно не доверяет стоическому равнодушию маэстро Абрагама и приписывает это его обыкновение скорее сильной его робости перед тайной запечатанного письма. Ибо есть некое совсем особое удовольствие в получении писем, и оттого-то особенно приятны нам лица, ближайшим образом содействующие этому удовольствию, а именно почтальоны, как заметил уже где-то один остроумный писатель. Да, пожалуй, это можно было бы назвать очаровательным самообманом. Биограф припоминает, что,

когда он, будучи в университете, долго и тщетно ожидал письма от некоей возлюбленной особы, что доставляло ему немалые муки, он со слезами на глазах попросил почтальона, чтобы тот постарался как можно скорее принести ему письмо из родного города, за что получит как следует на выпивку. Парень с хитрой миной пообещал исполнить просьбу и через несколько дней, когда письмо и в самом деле пришло, торжествуя, вручил его — будто и впрямь только от него зависело сдержать свое слово — и без зазрения совести взял деньги. Впрочем, биограф, должно быть, чересчур приверженный к самообману, не знает, испытываешь ли ты, любезный читатель, вскрывая полученное письмо, такое же чувство, как он, — при всей огромной радости, такой же странный страх, вызывающий сердцебиение, даже когда письмо навряд ли содержит что-нибудь важное для тебя? Быть может, здесь пробуждается то сжимающее сердце чувство, с каким мы глядим в ночь будущего. И как раз потому, что достаточно легкого нажатия пальца, чтобы сокровенное стало явным, единый этот миг и полон такого напряжения, такой неизъяснимой тревоги. Увы! Сколько прекрасных надежд разбила роковая печать, сколько дорогих грез, страстных, заветных желаний нашего сердца превратилось в ничто. Маленький листок почтовой бумаги стал как бы волшебным заклятием, иссушившим цветущий сад, где мечтали мы бродить, и жизнь предстала перед нами неприветливой, безотрадной пустыней. Но если не мешает собраться с духом, прежде чем вверить сокровенное легкому нажатию пальца, то можно простить и маэстро Абрагаму ранее осужденную нами привычку, привязавшуюся, впрочем, и к самому биографу с той роковой поры, когда каждое полученное им письмо напоминало ящик Пандоры, откуда, едва только он раскрывался, вылетали на свет тысячи бед и несчастий. Хотя маэстро Абрагам и теперь запер письмо капельмейстера в ящик своего пульта, или письменного стола, и отправился погулять в парк, благосклонный читатель все же немедля узнает дословно содержание письма. Иоганнес Крейслер писал:

«Дорогой маэстро!

«La fin couronne les œuvres» ^[96], — мог бы я воскликнуть, подобно лорду Клиффорду в шекспировском «Генрихе VI», когда весьма благородный герцог Йоркский нанес ему какой-то штукой смертельный удар. Ибо, свидетель бог, моя шляпа свалилась тяжелораненая в кусты, и я вслед за ней, навзничь, как тот, о ком говорят: он сражен, или — он пал в бою. Такие люди редко снова поднимаются, однако Ваш Иоганнес, дорогой маэстро, совершил это, и притом немедленно. О моем тяжелораненом

товарище, павшем, правда, не бок о бок со мной, а полетевшем через мою голову или, скорей, с головы, я уже не мог позаботиться, так как был достаточно занят тем, чтобы изрядным скачком в сторону — я беру здесь слово «скачок» не в философском, а исключительно в гимнастическом смысле, — увернуться от дула пистолета, который некто случившийся поблизости, чуть ли не в трех шагах, направил прямо на меня. Но я совершил нечто большее: я неожиданно перешел от обороны к нападению, бросился на пистолянта и без дальнейших церемоний воткнул в него свою шпагу. Вы всегда упрекали меня, маэстро, в том, что я не силен в историческом жанре и не способен ничего рассказать без ненужных фраз и отступлений. Что ж Вы скажете теперь о весьма лаконичном рассказе про мое итальянское приключение в зигхартсгофском парке? Кстати, великодушный князь столь милостиво управляет им, что терпит там даже бандитов, — возможно, приятного разнообразия ради?

Примите все сказанное, дорогой маэстро, лишь как предварительный краткий указатель содержания исторической хроники, которую я, если не помешает мое нетерпение и господин приор, хочу написать для Вас вместо обычного письма. О самом приключении в лесу мне остается добавить немного. Когда грянул выстрел и просвистела пуля, я тотчас же понял, что сей гостинец предназначался мне, ибо, падая, ощутил жгучую боль в левой стороне головы, которую конректор в Генионесмюле справедливо называл упрямой. И в самом деле, мой доблестный череп упрямо воспротивился гнусному свинцу, так что след от раны едва заметен. Но сообщите мне, дорогой маэстро, сообщите мне сейчас же, или сегодня вечером, или по крайности утром, как можно раньше, в кого заехал я шпагой! Мне было бы очень приятно услышать, что я пролил не обыкновенную человеческую кровь, а хотя бы несколько капель принцева ихора, — во всяком случае, я надеюсь, что это так. Да, маэстро! Вот и привел меня случай к поступку, что предвещал мне зловещий дух у Вас в рыбацкой хижине! Неужто маленькая шпага в то мгновение, когда я воспользовался ею для защиты против убийцы, превратилась в страшный меч Немезиды, карающей злодеяние? Напишите мне обо всем, маэстро, и прежде всего о том, что это за оружие Вы вложили мне в руки, то есть что это за маленький портрет? Но нет — нет, не сообщайте мне о нем ничего! Пусть этот лик Медузы, перед чьим взором оцепенел дерзкий преступник, остается для меня самого необъяснимой тайной. Мне сдается, будто этот талисман потеряет свою силу, как только я узнаю, какое созвездие превратило его в волшебное оружие. Поверите ли Вы мне, маэстро, я до сих пор даже не рассмотрел еще как следует Вашу маленькую картинку. Настанет пора, Вы расскажете

мне о ней все, что мне нужно знать, и тогда я верну Вам талисман. Ни слова более о нем! Итак, продолжу историческую хронику.

Как только я проткнул шпагой вышеупомянутого некто, вышеупомянутого пистолянта, и он свалился без звука на землю, я бросился прочь с быстротой Аякса, ибо слышал в парке голоса и считал себя еще в опасности. Мое намерение было бежать в Зигхартсвейлер; однако в ночной темноте я сбился с дороги. Я мчался все быстрее и быстрее, еще надеясь найти путь; перелез через канаву, взбежал на крутой холм и наконец без чувств свалился в кустарник. Внезапно словно молния блеснула у меня перед глазами; я ощутил резкую боль в голове и очнулся от глубокого, обморочного сна. Рана сильно кровоточила; с помощью носового платка я перевязал ее, причем так искусно, что это сделало бы честь самому ловкому ротному хирургу на поле брани, и весело и радостно осмотрелся кругом. Неподалеку от меня возвышались могучие руины какого-то замка. Вы замечаете, маэстро, к немалому своему удивлению, я попал на Гейерштейн.

Боль в ране утихла, я чувствовал себя свежим и бодрым. Когда я выбрался из кустов, служивших мне спальней, солнце уже взошло и, как бы посылая свой радостный утренний привет, заливало поля и рощи яркими лучами. Птички пробудились в кустах и, щебеча, купались в прохладной утренней росе, потом вдруг взмывали ввысь. Глубоко подо мной, еще окутанный ночным туманом, лежал Зигхартсгоф; но вскоре пелена спала и в пламенеющем золоте показались деревья и кусты. Озеро парка напоминало ослепительно сияющее зеркало. Я отыскал рыбацью хижину — белую маленькую точку; даже мост мог я рассмотреть совершенно ясно. Вчерашний день обступил меня, но так, как если бы он был давно прошедшей порою, от которой мне ничего не осталось, кроме скорби воспоминаний о навеки потерянном, раздирающей мне сердце и в то же время наполняющей его сладостным блаженством. «Шутник, что, собственно, хочешь ты сказать этим? Что потерял ты навеки в этот давно прошедший вчерашний день?» — так, слышу я, восклицаете Вы, маэстро. Ах, маэстро! Вот я и вновь на одинокой вершине Гейерштейна, и я вновь простираю руки, как орлиные крылья, чтобы лететь туда, где царило сладостное очарование, где любовь, что живет вне времени и пространства, ибо она вечна, как мировой дух, открывалась мне в полных предвестия небесных звуках, в этой жажде жажд, в этом никогда не утолимом желании. Я уже знаю, перед самым моим носом усаживается голодный оппонент — дьявол его возьми! — и, аргументируя от земного хлеба насущного, спрашивает меня с издевкой, возможно ли, чтобы у звука были голубые

глаза? Я представляю ему убедительное доказательство, что звук, собственно, есть луч, сияющий нам из царства света сквозь разорванное облачное покрывало. Но оппонент идет далее и спрашивает со злобным смешком: «А лоб, волосы, губы, руки и ноги — неужто все это тоже есть у самого простого, чистого звука?» О боже, я знаю, что хочет сказать бездельник: пока я еще *glebae adscriptus* ^[97], как он и все остальные, пока мы все питаемся не только солнечными лучами и время от времени должны садиться на некий стул, а не только восседать на ученой кафедре, — вся эта вечная любовь и это никогда не утолимое желание, ничего не желающее, кроме себя самого, о чем умеет болтать всякий дурак... Маэстро, я не хотел бы видеть Вас на стороне голодного оппонента, это было бы мне весьма неприятно. И скажите сами, разве нашлась бы у Вас хоть одна разумная причина для этого? Выказывал ли я когда-нибудь склонность к ребячливым выходкам? Разве, дожив до зрелых лет, не сумел я остаться непоколебимо рассудительным? Желал ли я когда-нибудь, как мой кузен Ромео, быть перчаткой, только для того чтобы целовать щеку Юлии? Верьте, маэстро, пусть люди говорят что им угодно, в голове я ничего не таю, кроме нот, а в душе и сердце — ничего, кроме звуков. Ибо, черт возьми, как иначе мог бы я сочинить такую чинную гармоничную церковную штуку, как та вечерняя месса, что лежит законченная вон там на пульте? Однако хроника опять забыта. Я продолжаю.

Вдали я услышал песню; все ближе и ближе раздавался сильный мужской голос. Вскоре я увидел монаха-бенедиктинца, который, спускаясь по узкой тропинке, пел латинский гимн. Неподалеку от меня он остановился, умолк и стал осматривать местность, сняв широкополую дорожную шляпу и вытирая платком пот со лба; затем он исчез в кустах. Мне пришла охота присоединиться к нему. Это был человек более чем упитанный, солнце жгло все сильнее и сильнее, и я подумал, что он, наверное, отыскивает укромное местечко для отдыха. Я не ошибся; войдя в кустарник, я увидел, что преподобный отец расположился на густо поросшем мохом камне. Другой камень повыше, рядом с первым, служил ему столом; он разостлал на нем белый платок, достал из дорожной сумки хлеб и жареную птицу и начал обрабатывать ее с большим аппетитом. «*Sed praeter omnia bibendum quid*» ^[98], — обратился он к самому себе и, вытащив из кармана маленький серебряный кубок, налил в него вина из плетеной бутылки. Только было хотел он выпить, как я со словами «Хвала Иисусу Христу» подошел к нему. Держа кубок у рта, поднял он на меня глаза, и я мгновенно узнал в нем моего старого доброго друга из бенедиктинского

аббатства в Канцгейме, достойного отца Гилария, регента хора. «Во веки веков», — забормотал отец Гиларий, уставившись на меня вытаращенными глазами. Я вспомнил тотчас же о моем головном уборе, вероятно придававшем мне странный вид, и начал:

— О мой дорогой и достойный друг Гиларий, не принимайте меня за беглого бродягу-индуса или за придурковатого селянина, ибо я не кто иной, как ваш приятель, капельмейстер Иоганнес Крейслер, и никем иным быть не желаю.

— Клянусь святым Бенедиктом, — воскликнул радостно отец Гиларий, — я сейчас же узнал вас, божественный композитор и превосходный друг! Но, *per diem* [\[99\]](#), скажите мне, откуда вы? Что с вами случилось, с вами, кто, как я думал, *in floribus* [\[100\]](#) при эрцгерцогском дворе?

Я без дальнейших околичностей рассказал вкратце отцу Гиларию обо всем, что со мной случилось и как я был вынужден воткнуть свою шпагу в кого-то, кому вздумалось упражняться на мне в стрельбе по мишени, и этот кто-то был, вероятно, один итальянский принц, звавшийся Гектором, как многие достойные охотничьи собаки. «Что же теперь предпринять? Вернуться в Зигхартсвейлер или... Посоветуйте мне, отец Гиларий!»

Так закончил я свой рассказ. Отец Гиларий, вставлявший иногда «гм! — так! — ага! — святой Бенедикт!», взглянул себе под ноги, пробормотал: «*Vibamus*» [\[101\]](#) — и единым духом опорожнил серебряный кубок.

Потом он воскликнул, смеясь:

— Право, капельмейстер, лучший совет, который я для начала могу вам дать, это подсесть ко мне и позавтракать. Я рекомендую вам этих куропаток; их вчера подстрелил наш достопочтенный брат Макарий, который, как вы, должно быть, помните, нигде не дает промаху, кроме как в респонзориях, а когда вы отведаете соус, которым залиты эти птички, возблагодарите брата Эвзебия, самолично зажарившего их из любви ко мне. Что же касается до вина, то оно вполне достойно оросить глотку беглого капельмейстера. Добрый боксбейтель, *carissime* [\[102\]](#) Иоганнес, добрый боксбейтель из приюта святого Иоанна в Вюрцбурге! Мы, недостойные слуги божьи, получаем вино лучшего качества. *Ergo bibamus* [\[103\]](#).

С этими словами он налил кубок и протянул его мне. Я не заставил себя просить — пил и ел, как путник, нуждающийся в подкреплении.

Отец Гиларий выбрал превосходнейшее местечко для своего завтрака. Густая листва берез затеняла усеянную цветами поляну, а кристально чистый лесной ручей, плескавшийся по выступам скалы, еще более

увеличивал освежительную прохладу. Уединенность этого потаенного уголка умиротворила меня и успокоила, и покуда отец Гиларий рассказывал обо всем, что случилось за это время в монастыре, не забывая вернуть в рассказ свои обычные шутки и свою очаровательную кухонную латынь, я прислушивался к голосам леса и ручья, напевавшим мне утешительные мелодии.

Отец Гиларий, вероятно, приписал мое молчание тяжелой заботе, причиненной мне всем случившимся.

— Не робейте, капельмейстер! — снова начал он, протягивая мне наполненный кубок. — Вы пролили кровь — это верно, а пролитие крови — грех; но *distinguendum est inter et inter* [\[104\]](#). Каждому его жизнь дороже всего, у каждого она одна. Вы защищали вашу, а этого, как вполне доказано, церковь вовсе не запрещает, и ни наш достопочтенный господин аббат, ни какой-нибудь другой служитель божий не откажут вам в отпущении грехов, даже если вы по недосмотру заехали в княжеские потроха. *Ergo bibamus! Vir sapiens non te abhorrebit, domine!* [\[105\]](#) Но, дорогой Крейслер, если вы возвратитесь в Зигхартсвейлер, вас ехиднейшим манером допросят о *cur, quomodo, quando, ubi* [\[106\]](#), а если вы обвините принца в нападении с целью убийства, поверят ли вам? *Ibi jacet lepus in pipere* [\[107\]](#). Вот видите, капельмейстер, какой... но, *bibendum quid* [\[108\]](#). — Он опорожнил до краев налитый кубок и продолжал: — Да, недурной совет подсказал мне боксбейтель! Так вот, я как раз направлялся в монастырь Всех святых, чтобы достать у тамошнего регента что-нибудь для близящегося праздника. Дважды, трижды перерыл я все свои ящики; все старо, приелось, а музыка, сочиненная вами, когда вы были в аббатстве, — да, она красива и свежа; однако не сочтите за обиду, капельмейстер, — она написана так странно, что никак нельзя отвести глаз от партитуры. Только покосишься через решетку на какую-нибудь пригожую девчонку внизу, сейчас же пропустишь паузу или что-нибудь еще, начинаешь неверно отбивать такт — и все летит вверх тормашками, — а брат Якоб колотит по органным клавишам бим-бим-бам-бам — *ad patibulum cum illis* [\[109\]](#). Итак, я мог бы... но *bibamus!*

После того как мы оба выпили, поток его речи полился дальше:

— *Desunt* [\[110\]](#), кого нет, а кого нет, нельзя спросить. Вот я и думаю, что вам нужно пропутешествовать со мной обратно в аббатство, которое, если идти по верной дороге, находится отсюда в двух часах ходьбы. Там вы будете безопасны от всякого преследования, *contra hostium insidias* [\[111\]](#). Я приведу вас туда как музыку во плоти, и вы можете оставаться там сколько

пожелаете или пока вы будете находить это удобным. Достопочтенный господин аббат позаботится обо всем необходимом для вас. Вы наденете самое тонкое белье и натянете на себя бенедиктинскую рясу, кстати, она будет вам очень к лицу. Но чтобы вы не походили в пути на раненого с картинки о милосердном самаритянине, напяльте на себя мою дорожную шляпу, я же покрою свою лысину капюшоном. *Vibendum quid*, дражайший!

С этими словами он снова опорожнил кубок, выполоскал его в ручье, быстро уложил все в свою дорожную сумку, нахлобучил мне на лоб свою шляпу и весело воскликнул:

— Капельмейстер, спешить нам надобности нет, и ежели мы побредем с вами вразвалочку, все же доберемся как раз, когда зазвонят «*Ad conventum conventuales*» ^[112], то есть когда его преподобие садятся за стол.

Вы понимаете, дорогой маэстро, что я нимало не возражал против предложения веселого отца Гилария, напротив — мне пришлось очень по душе мысль отправиться в монастырь, который в некотором отношении мог стать для меня спасительным убежищем.

Мы шагали не торопясь, беседуя на всяческие темы, и прибыли в аббатство, как хотелось отцу Гиларию, когда звонили к трапезе. Дабы предупредить всевозможные расспросы, отец Гиларий сказал аббату, что, случайно узнав о моем пребывании в Зигхартсвейлере, он предпочел вместо нот из монастыря Всех святых прихватить по дороге самого композитора, у коего неисчерпаемый запас музыки всегда с собой.

Аббат Хризостом — помнится, я много рассказывал вам о нем — принял меня с той сердечной радостью, что свойственна лишь людям доброго нрава, и с похвалой отозвался о решении отца Гилария.

Теперь, маэстро Абрагам, представьте себе, как я, преображенный в заправского монаха-бенедиктинца, сижу в высокой, просторной комнате главного корпуса аббатства и усердно сочиняю вечерни и гимны и даже по временам делаю наброски к торжественной литургии, как вокруг меня собираются играющие и поющие братья и хор мальчиков, как усердно я репетирую с ними и как я дирижирую за решеткой хоров! В самом деле, я чувствую себя словно погребенным в этом уединении и мог бы сравнить себя с Тартини — из страха перед местью кардинала Корнаро итальянец удрал в миноритский монастырь в Ассизи, где только спустя много лет его обнаружил один падуанец, случившийся в церкви и узнавший на хорах потерянного друга, — порыв ветра на мгновение приподнял завесу, скрывавшую оркестр. С Вами, маэстро, могло бы произойти то же, что с тем падуанцем; но я все-таки обязан был Вам сообщить, где я; иначе Вы придумали бы бог весть что. Наверное, мою шляпу нашли и недоумевали

— где же голова?

Маэстро! Особенный, благотворительный покой сошел в мою душу — быть может, здесь мне и суждено наконец бросить якорь? Когда я на днях опять гулял возле маленького озера в обширном саду аббатства и увидел в воде свое отражение, странствующее рядом со мной, я сказал себе: «Человек, что бредет там внизу, это человек спокойный, рассудительный, он уже не мятется в туманных и безграничных просторах, он крепко держится найденной дороги, и счастье для меня, что человек этот не кто иной, как я сам». Из другого озера однажды на меня посмотрел зловещий двойник. Но тише, тише об этом! Маэстро, не называйте мне никого, не рассказывайте мне ни о чем, даже о том, кого я проткнул! Но о себе пишите побольше! Братья пришли на репетицию, и я заключаю мою историческую хронику, а вместе и письмо. Прощайте, мой дорогой маэстро, и вспоминайте обо мне, и проч. и проч.».

Прогуливаясь в одиночестве по дальним запущенным дорожкам парка, маэстро Абрагам размышлял о судьбе своего любимого друга, о том, что он, едва только обрел его, потерял снова. Он видел мальчика Иоганнеса и себя самого в Генионесмюле перед фортепьяно старого дяди; малыш почти с мужской силой гордо отбарабанивал труднейшие сонаты Себастьяна Баха, а он, Абрагам, за это украдкой совал ему в карман пакетик со сладостями. Ему казалось, что это было всего несколько дней тому назад; и он удивлялся, что мальчик был не кто иной, как Крейслер, теперь впутанный в удивительную, причудливую игру таинственных обстоятельств. Вместе с мыслями о том прошедшем времени, о роковом настоящем, перед маэстро встала картина его собственной жизни.

Отец его, строгий, крутой человек, почти силой приставил его к ремеслу органщика, которое казалось Абрагаму простым и грубым. Отец не терпел, чтобы кто-нибудь другой, кроме органного мастера, брался за постройку органа, и поэтому, прежде чем допустить своих учеников к изготовлению внутреннего механизма, он делал из них искусных столяров, литейщиков и т. д. Точность и долговечность органа, удобство игры на нем для старика были всем; в душе, в звуке он ничего не смыслил, и это удивительно сказывалось на построенных им органах, справедливо порицаемых за жесткость и резкость звука. Помимо того, старик весь был во власти ребяческих затей давних времен. Так, к одному своему органу он приделал царей Давида и Соломона, покачивавших во время игры головой как бы от удивления; каждый его инструмент был украшен бьющими в литавры, трубящими, отбивающими такт ангелами, петухами, которые

кукарекали и хлопали крыльями и т. п. Мальчик Абрагам, выдумав какой-нибудь фокус для нового органа, какое-нибудь пронзительное «кукареку», приводил отца в восторг и только так избегал заслуженных или незаслуженных колотушек. С робкой и страстной тоской призывал Абрагам срок, когда он, по обычаю ремесленников, отправится странствовать. Наконец пора эта наступила, и Абрагам оставил отчий дом, чтобы никогда туда не возвращаться.

Во время путешествия, совершенного в обществе нескольких подмастерьев, большей частью разгульных грубых парней, он забрел однажды в аббатство Св. Власия, расположенное в Шварцвальде, и услышал там знаменитый орган старого Иоганна-Андреаса Зильбермана. Вместе с глубокими и дивными звуками этого инструмента впервые в его душу проникло волшебство гармонии; он почувствовал себя перенесенным в другой мир, и с этого мгновения им завладела любовь к искусству, которым прежде он занимался с таким отвращением. Теперь его среда, да и жизнь, какую он вел до сих пор, представились ему столь недостойными, что он напряг все силы, стараясь вырваться из затягивавшего его болота. Природный ум, понятливость позволили Абрагаму сделать гигантские шаги в научном образовании, и все же часто ощущал он свинцовые гири прежнего воспитания и пошлого времяпрепровождения. Кьяра — союз с этим странным, таинственным существом был вторым мигом озарения в его жизни, и оба эти мгновения: пробуждение чувства гармонии и любовь Кьяры, образовали некий дуализм его поэтического бытия, благотельно подействовавший на его грубую, но сильную натуру. Едва он покинул постоянные дворы, кабаки, где в густом табачном чаду раздавались непристойные песни, случай или, вернее, его искусство делать механические игрушки, которым он умел сообщать видимость таинственного, о чем уже известно благосклонному читателю, перенесли его в совершенно неведомую обстановку, где он, оставаясь вечным чужаком, удержался лишь потому, что сохранил свойственное ему упорство. Это упорство все крепло, и так как оно было не упорством простака, а основывалось на ясном, здоровом человеческом разуме, правильных взглядах на жизнь и порожденной ими меткой насмешке, то, естественно, и произошло, что там, где юношу едва терпели, мужчина внушал почтение как носитель слишком опасного начала. Нет ничего легче, как импонировать знатному обществу, которое всегда гораздо ниже того, чем его считают. Как раз об этом и подумал маэстро Абрагам в ту минуту, когда он возвратился с прогулки в рыбацью хижину и от души разразился громким смехом, облегчившим его стесненную грудь.

Глубочайшую скорбь, прежде вовсе чуждую маэстро, вызвало у него живое воспоминание о том мгновенье в церкви аббатства Св. Власия и об утраченной Кьяре. «Зачем теперь вновь так часто идет кровь из раны, которую я считал зажившей? — обратился он к себе самому. — Зачем предаюсь я пустым мечтаниям, когда, кажется, мне нужно бы деятельно вмешаться в работу механизма, неправильно заведенного, вероятно, каким-то злым духом?» При мысли, что его своеобразному образу жизни и занятиям угрожает опасность — откуда, он сам не знал, — маэстро охватил страх, пока ход размышлений не привел его, как было сказано, к знатному обществу, его развеселившему, — и тотчас же он почувствовал заметное облегчение; вот он уже вошел в рыбацью хижину, чтобы наконец прочесть письмо Крейсlera.

В княжеском дворце между тем происходило нечто достопримечательное.

Лейб-медик сказал:

— Удивительно! Это выходит за границы всякого опыта, всякой практики.

Княгиня:

— Так и должно было произойти, и принцесса не скомпрометирована.

Князь:

— Разве я не запретил этого категорически? Но у этого *crapule* [\[113\]](#), у этих прислуживающих ослов нет ушей. Ну, обер-егерь должен позаботиться о том, чтобы принцу больше не попал в руки порох.

Советница Бенцон:

— Слава богу, она спасена!

В это время принцесса Гедвига глядела в окошко своей спальни, изредка беря аккорды на гитаре, которую Крейсler в дурном настроении отшвырнул прочь и потом вновь получил от Юлии освященной, как он говорил. На софе сидел принц Игнатий, плакал и жаловался: «Больно, больно!», а возле него — Юлия, прилежно чистившая картофель в маленькую серебряную миску.

Все это относилось к событию, которое лейб-медик с полным правом назвал удивительным и выходящим за границы всякой практики. Принц Игнатий, как не раз уже замечал благосклонный читатель, сохранил игривую невинность ума и счастливую непосредственность шестилетнего мальчика. Среди его игрушек была маленькая, отлитая из металла пушка, служившая ему для его любимой игры, которой, однако, он очень редко мог увеселяться, так как для нее нужны были некоторые припасы, не всегда бывшие под рукой, а именно несколько крупинки пороха, крупная дробинка

и птичка. Когда принцу случалось достать все это, он выстраивал свои войска, производил военный суд над птичкой, затеявшей мятеж в утраченных владениях папы-князя, заряжал пушку и расстреливал птичку, предварительно намалевав ей черное сердце на грудке и привязав к подсвечнику. Иногда это ему не удавалось, и тогда он завершал справедливую казнь государственного изменника с помощью перочинного ножа.

Фриц, десятилетний сын садовника, поймал для принца очень красивую, пеструю коноплянку и за это, как всегда, получил крону. Вслед за этим принц немедленно прокрался в егерскую — егерей там не было, — отыскал мешочек дробы и рог с порохом и сделал необходимые припасы. Он уже собирался приступить к экзекуции, которую следовало ускорить, так как пестрый щебечущий мятежник пытался ускользнуть, — как вдруг ему пришло в голову, что принцесса Гедвига, ставшая ведь теперь такой послушной, разумеется, не откажется от удовольствия присутствовать при казни маленького изменника. Он взял под мышку ящик, где находилась его армия, под другую — пушку, зажал птичку в кулак и тихо-тихо, так как князь запретил ему видаться с принцессой, прокрался в спальню Гедвиги. Принцесса лежала на постели все в том же каталептическом состоянии. Камеристок возле нее как раз не оказалось; это было плохо и вместе с тем хорошо, как мы сейчас увидим.

Не медля, принц привязал птицу к подсвечнику, построил армию в ряды и зарядил пушку; затем он поднял принцессу с постели, заставил ее подойти к столу и объяснил, что сейчас она изображает генерала, командующего войсками; он же останется владельческим князем и, кроме того, зажжет фитили у артиллерии и уничтожит мятежника. Избыток припасов погубил принца; он не только набил чересчур много пороха в пушку, но и рассыпал его вокруг по столу. Едва он поднес фитиль, как раздался необыкновенный взрыв, а рассыпанный вокруг порох загорелся и порядочно обжег ему руку. Принц громко вскрикнул и даже не заметил, что принцесса в момент взрыва упала на пол. Выстрел прогремел по всему коридору, все ринулись на шум, предчувствуя недоброе; даже князь и княгиня, позабыв от страха об этикете, вместе со слугами бросились к дверям. Камеристки подняли принцессу с пола и положили ее на постель; тем временем послали за хирургом, за лейб-медиком. Взглянув на стол, князь тотчас же увидел, что случилось, и с гневно сверкающими глазами обратился к принцу, который отчаянно вопил и стонал:

— Видишь, Игнатий, к чему приводят твои глупые, детские забавы! Вели помазать руку мазью от ожогов и не вой, как уличный мальчишка!

Розгой бы по зад... — Губы князя тряслись, речь стала невнятной, понять его было невозможно, и он величественно покинул комнату. Глубокий ужас охватил слуг; ибо всего в третий раз князь обращался к принцу по имени и на «ты» и каждый раз это означало дикий, еле подавляемый гнев.

Когда лейб-медик объяснил, что кризис уже наступил и что, как он надеется, опасное состояние принцессы скоро пройдет и она совершенно выздоровеет, княгиня промолвила с меньшим волнением, чем можно было бы ожидать:

— Dieu soit loué! [\[114\]](#) Пусть меня извещают о дальнейшем! — Но плачущего принца она обняла очень нежно, утешила его ласковыми словами и последовала за князем.

В это время в замке появилась Бенцон, собравшаяся вместе с Юлией навестить несчастную Гедвигу. Едва услышала она, что случилось, как тотчас же бросилась в покой принцессы, подлетела к ее постели, упала на колени, схватила руку Гедвиги и пристально заглянула ей в глаза; а Юлия горько рыдала, воображая, что вскоре ее подруга заснет вечным сном. Но вдруг Гедвига глубоко вздохнула и сказала глухим, еле слышным голосом:

— Он мертв?

Тотчас же принц Игнатий перестал плакать, хоть боль и не утихла, и вне себя от радости, что экзекуция удалась, ответил, смеясь и хихикая:

— Да, да, сестра-принцесса, он мертв, выстрел попал ему в самое сердце!

— Да, — продолжала принцесса, снова закрыв раскрывшиеся было глаза, — да, я знаю это. Я видела каплю крови, она выкатилась из самого сердца, но тут же упала в мою грудь — и я превратилась в кристалл, и только эта капля жила в моем трупце!

— Гедвига, — начала советница тихо и мягко, — очнитесь от дурных, зловещих грез! Гедвига, узнаете ли вы меня? — Принцесса слабо махнула рукой, как бы желая, чтобы ее оставили. — Гедвига, — продолжала Бенцон, — Юлия здесь.

Улыбка пробежала по лицу принцессы. Юлия наклонилась над ней и тихо поцеловала побледневшие губы подруги. Тогда Гедвига прошептала еле слышно:

— Все прошло. Еще несколько минут, и я соберусь с силами.

Никто до сих пор не вспомнил о маленьком государственном изменнике, лежавшем на столе с раздробленной грудью. Только теперь он попался Юлии на глаза, и она лишь в это мгновение поняла, что принц Игнатий снова играл в свою отвратительную, ненавистную ей игру.

— Принц, — сказала она, и щеки ее запылали. — Принц, что сделала

вам эта бедная птичка? За что вы так безжалостно умертвили ее? Это очень глупая, ужасная игра. Вы давно обещали мне бросить ее и все-таки не сдержали слова. Если вы сделаете это еще раз — я никогда больше не буду выстраивать ваши чашки или учить ваших кукол говорить и не расскажу вам истории о морском царе!

— Не сердитесь, фрейлейн Юлия, — захныкал принц, — не сердитесь. Ведь эта пестрая бестия исподтишка отрезала полы на мундирах всех солдат и сверх того затеяла мятеж. Ой, больно, больно!

Бенцон посмотрела на принца, потом на Юлию со странной усмешкой и воскликнула:

— Так вопить из-за пустячного ожога! Но в самом деле, этот хирург вечно запаздывает со своими мазями. Однако есть простое домашнее средство, помогающее и непростым людям. Пусть принесут сырого картофеля! — Советница направилась к двери, но вдруг, словно охваченная какой-то внезапной мыслью, остановилась, вернулась обратно, обняла Юлию, поцеловала ее в лоб и сказала: — Ты мое милое доброе дитя и никогда не обманешь моих надежд. Берегись лишь эксцентрических, сумасшедших глупцов и охраняй свою душу от злых чар их соблазнительных речей! — С этими словами она бросила испытующий взгляд на принцессу, казалось, мирно и сладко дремавшую, и вышла.

Тут вошел хирург с необъятным пластырем в руках, повторяя бесконечные уверения, что он уже с давних пор ожидает всемилостивейшего принца в его комнате, так как он не осмеливался предположить, что в спальне всемилостивейшей принцессы... Он собрался было наклеить пластырь на принца, но камеристка, принесшая несколько крупных картофелин в серебряной миске, заступила ему дорогу и стала уверять его, что тертый картофель — лучшее средство против ожогов.

— И я, — перебила Юлия камеристку, беря у нее миску с картофелем, — я сама хочу сделать из него для вас, мой принчик, самый деликатный пластырь.

— Боже милостивый! — воскликнул перепуганный хирург. — Остановитесь! Разве мыслимо употреблять домашнее средство для обожженных пальцев высокой княжеской особы! Искусство — только одно искусство может и обязано тут помочь! — Он снова приступил к принцу, но тот отскочил назад, воскликнув:

— Прочь отсюда, прочь! Пусть пластырь для меня сделает фрейлейн Юлия, а искусство убирается вон из комнаты!

Искусство откланялось и, бросив ядовитый взгляд на камеристку, исчезло вместе со своим искусно приготовленным пластырем.

Юлия заметила, как принцесса Гедвига стала дышать все сильнее и сильнее; но как же удивилась она, когда...

(М. пр.) ...заснуть. Я ворочался на моем ложе во все стороны; я перепробовал всевозможные положения. То вытягивался я во всю длину; то сворачивался в клубок, приклонив голову на подушечки моих лап, изящно обвив себя хвостом, так что он закрывал мне глаза; то бросался на бок, вытянув лапы неподвижно вдоль тела и свесив с ложа свой хвост в безжизненном равнодушии. Все, все было тщетно! Все бессвязнее становились мои мысли, смутней — представления, пока наконец я не впал в то лихорадочное состояние, что надлежит именовать не сном, а поединком между сном и бодрствованием, как утверждают по праву Мориц, Давидсон, Нудов, Тидеман, Винхольт, Райль, Шуберт, Клуге и все иные физиологические авторы, кои писали о сне и сновидениях и коих я не читал.

Яркое солнце уже светило в комнату хозяина, когда я очнулся от этого бреда, от этой схватки меж сном и бодрствованием, и обрел полное сознание. Но что это было за сознание, что за пробуждение! О юноша кот, ты, который вливаешь эти строки, наостри уши и будь внимателен, дабы мораль не ускользнула от тебя! Восчувствуй, что я говорю тебе о состоянии, невыразимую безутешность коего я могу живописать тебе лишь слабыми красками! Восчувствуй это состояние, повторяю я тебе, и соразмерь, по возможности, свои силы, когда тебе случится в первый раз наслаждаться кошачьим пуншем в компании котов-буршей. Пей понемногу и соблюдая меру, а если кто воспротивится этому, сошлись на меня и на мой опыт. Тому порукой авторитет самого кота Мурра, который, надеюсь, признает и оценит каждый!

Итак! Что до моего физического самочувствия, то я ощущал не только изнеможение и бессилие, но и совсем по-особому терзавшие меня дерзостные, непомерные притязания желудка, не достигавшие цели именно по причине своей непомерности и порождавшие только бесполезное бурчанье в моих внутренностях, в коем участвовали даже мои потрясенные нервы, болезненно трепетавшие и содрогавшиеся от непрестанного желания и бессилия моих потуг. То было гнуснейшее состояние!

Но душевная подавленность едва ли не была еще чувствительнее. Вместе с горестным раскаянием и сокрушением по поводу вчерашнего дня, который я, собственно, не мог счесть достойным порицания, в мою душу сошло безнадежное равнодушие ко всему земному. Я презирал все блага земли, все дары Природы, самое Мудрость, Разум, Остроумие и т. д.

Величайших философов, даровитейших поэтов почитал я теперь тряпичными куклами, так называемыми дергунчиками, и — что было пагубнее всего — это презрение перешло и на меня самого, и мне сдавалось, что я — всего-навсего обыкновенный, жалкий крысолов! Нет ничего более гнетущего! Мысль, что меня постигло величайшее несчастье, что вся твердь земная есть юдоль скорби, повергла меня в неизъяснимую муку. Я зажмурил глаза и заплакал навзрыд.

— Ты кутил, Мурр, и теперь у тебя кошки на душе скребут? Да, так оно и бывает! Ну, выпишь хорошенько, старина. Потом станет лучше. — Так обратился ко мне хозяин, когда я оставил завтрак нетронутым и испустил несколько горестных вздохов.

О боже! Хозяин не знал, не мог знать моих страданий, он не подозревал, как компания буршей и кошачий пунш воздействуют на нежную, чувствительную душу!

Вероятно, был уже полдень; я еще не покидал своего ложа, и вдруг — только небу ведомо, как удалось ему пробраться, — брат Муций предстал передо мной. Я пожаловался ему на мое злосчастное состояние. Но, вместо того чтобы, как я надеялся, пожалеть меня и утешить, он разразился непристойно громким смехом и воскликнул:

— Ха-ха! Брат Мурр, ведь это кризис, и ничего более, переход от недостойного, филистерского отрочества к достойному буршеству, а ты вообразил, будто ты болен и несчастен. Ты еще не привык к благородным студенческим пирушкам. Но сделай мне удовольствие и не жалуйся по крайней мере хозяину на свои страдания. И так уж наше племя опорочено из-за этой мнимой болезни и злоречивый род людской дал ей имя, указывающее на нас; мне неохота его повторять. Но поднимайся скорее, соберись с силами, — идем со мной. Свежий воздух пойдет тебе на пользу, и потом — прежде всего тебе надо опохмелиться. Идем же! Ты узнаешь на деле, что это значит.

С тех пор как брат Муций вызволил меня из филистерства, он приобрел неограниченную власть надо мной; я делал все, что он хотел. Поэтому с невероятными усилиями восстал я с моего ложа, потянулся, сколько это было возможно при моих изможденных членах, и последовал за верным братом на крышу. Мы прошлись несколько раз туда и назад, и в самом деле, на душе у меня стало немного лучше, светлее. Потом брат Муций повел меня за трубу, и здесь, как я ни противился этому, мне пришлось пропустить несколько глотков чистого селедочного рассолу. Это и значило, как он мне тут же пояснил, опохмелиться.

О! Чудом из чудес было поразительное воздействие этого средства!

Что сказать мне? Непомерные притязания желудка умолкли; бурчанье утихло, нервная система успокоилась; жизнь была вновь прекрасна. Я вновь ценил земные блага, Науку, Мудрость, Разум, Остроумие и т. д.; я был возвращен самому себе. Я вновь был дивный, несравненный кот Мурр.

О Природа, Природа! Возможно ль, чтобы несколько капель, поглощенных легкомысленным котом в неукротимом, свободном порыве, могли произвести мятеж против тебя, против благодетельного убеждения, взлелеянного тобою с материнской любовью в его груди, что этот мир с его благами, жареной рыбой, куриными косточками, молочной кашей и проч. и проч. есть самый совершенный из всех миров и что Кот — есть самое совершенное в этом мире, ибо блага эти сотворены лишь для него и ради него? Но философски мыслящий кот познает эту истину; в ней глубокая мудрость — то безутешное, ужасное состояние есть лишь некий противовес, производящий нейтрализующее действие, необходимое для дальнейшего существования в условиях бытия, — и, следовательно, оно (то есть состояние) основано на вечных предначертаниях Вселенной. Опохмеляйтесь, коты-юноши, и утешьтесь этим философским выводом из опыта вашего ученого и проницательного товарища по несчастью!

Довольно сказать, что некоторое время я вел бодрую, веселую жизнь бурша на всех соседних крышах в компании с Муцием и другими честнейшими, испытанными, веселыми юношами, белыми, рыжими и пестрыми. Я перехожу к более важному событию в моей жизни, возымевшему некоторые последствия.

Однажды, когда ночью при ярком лунном сиянии я направлялся с братом Муцием на попойку, устроенную буршами, мне повстречался черно-серо-рыжий предатель, похитивший у меня мою Мисмис. Возможно, что, увидев ненавистного соперника, которому мне пришлось, к стыду моему, поддаться, я несколько смутился. Он же прошел мимо, чуть не задев меня, не поздоровавшись, и мне показалось, будто он язвительно усмехнулся в сознании завоеванного им превосходства надо мной. Я вспомнил об утраченной Мисмис, о полученных побоях, и кровь закипела у меня в жилах. Муций заметил мое волнение, и когда я сообщил ему о том, что мне почудилось, он сказал:

— Ты прав, брат Мурр. Этот молодчик скорчил такую кривую рожу, он вел себя так дерзко, разумеется, он хотел тебя оскорбить. Ладно, мы скоро узнаем это. Если я не ошибаюсь, пестрый филистер затеял здесь поблизости новую интрижку; каждый вечер он пробирается на эту крышу. Подождем немного. Наверное, мосье скоро вернется, и тогда все

разъяснится.

Действительно, вскоре Пестрый надменно возвратился и уже издали смерил меня презрительным взглядом. Я отважно и дерзко направился ему навстречу; мы прошли так близко друг от друга, что наши хвосты несколько неделикатно коснулись один другого. Тотчас же я остановился, обернулся и сказал твердым голосом:

— Мяу!

Он тоже остановился, обернулся и надменно ответил:

— Мяу!

И каждый пошел своей дорогой.

— Он тебя оскорбил! — воскликнул Муций в сильном гневе. — Завтра же я потребую к ответу этого надменного пестрого молодчика!

На следующее утро Муций отправился к Пестрому и спросил его от моего имени, задел ли он мой хвост. Тот велел мне ответить: «Да, он задел мой хвост». Я на это: «Если он задел мой хвост, то я должен считать, что он оскорбил меня». Он на это: «Я могу считать это чем угодно». Я на это: «Я считаю, что он меня оскорбил». Он на это: «Я не в состоянии судить, что такое оскорбление». На это я: «Я знаю это очень хорошо и лучше его». Он на это: «Я не та личность, чтобы он стал меня оскорблять». Я на это снова: «Я считаю, что он меня оскорбил». Он на это: «Я безмозглый малый». На это я, дабы верх был за мной: «Если я безмозглый малый, то он — презренный шпиц». Тут же последовал вызов.

Примечание издателя на полях

О Мурр, о кот мой! Или правила чести не изменились со времен Шекспира, или я ловлю тебя на литературной лжи, то есть на лжи, нужной тебе для того, чтобы разукрасить происшествие, о котором ты рассказываешь. Разве рассказ о вызове на дуэль пестрого любителя поживиться за чужой счет не есть чистейшая пародия на семикратно отвергнутую ложь Оселка в «Как вам это понравится»? Разве не нахожу я в описании твоей так называемой дуэли все ступени перехода от учтивого возражения, тонкой насмешки, прямого выпада, смелого отпора до дерзкой контратаки, и может ли хоть как-нибудь спасти тебя то, что ты заканчиваешь откровенной бранью вместо откровенной лжи? Мурр, кот мой! Рецензенты обрушатся на тебя; но по крайней мере ты доказал, что

читал Шекспира с пониманием и пользой, а это оправдывает многое.

Признаю по чести, я ощутил некоторую дрожь в теле, когда получил вызов, где говорилось о дуэли на когтях. Я вспомнил, как изувечил меня пестрый предатель, когда я, побуждаемый яростью и местью, напал на него; и я пожалел, что с помощью Муция одержал верх в споре. Муций, верно, увидел, что при чтении кровожадной записки я побледнел, и вообще заметил мое душевное состояние.

— Брат Мурр, — сказал он, — сдается мне, что эта первая дуэль, которую тебе надобно выдержать, вызывает в тебе некоторую дрожь.

Нимало не медля, я открыл другу всю свою душу и сказал ему, что поколебало мое мужество.

— О брат мой! — воскликнул Муций. — О дорогой брат мой Мурр! Ты забываешь, что, когда этот драчливый негодяй так гнусно тебя исколотил, ты был зеленый новичок, не то что ныне — славный бурш. Да и твою борьбу с Пестрым нельзя назвать ни настоящей дуэлью по всем правилам, ни просто поединком, это была только филистерская потасовка, не приличествующая коту-буршу. Заметь себе, брат Мурр, что люди, завидующие нашим особым дарованиям, упрекают нас в страсти к бесчестным потасовкам, и когда нечто подобное случится у них, они с издевкой именуют это «кошачьей дракой». Уже поэтому порядочный кот, кот добрых правил и с честью в душе, должен уклоняться от подобных стычек и тем самым устыдить людей, очень склонных при удобном случае давать и получать колотушки. Итак, дорогой брат, прочь всякий страх и робость! Сохрани мужество в твоём сердце и верь, что в настоящей дуэли ты как следует отомстишь пестрому франту за все испытанные обиды и так отделаешь его, что он надолго забудет о своих любовных интрижках и своей вздорной спеси. Но постой! Мне начинает казаться, что, после всего случившегося между вами, единоборства на когтях совершенно недостаточно, вам надо биться до конца, то есть на клыках. Нам следует выслушать мнение буршей.

Муций доложил собранию буршей о случае, происшедшем между мною и Пестрым. Доклад был так превосходно аргументирован, что все тут же согласилось с оратором, и я попросил своего друга передать спесивому обидчику, что хотя я и принимаю вызов, однако тяжесть нанесенного оскорбления позволяет мне драться только на клыках. Пестрый принялся было возражать, ссылаясь на свои тупые зубы и т. д., но когда Муций со свойственной ему твердостью и серьезностью заявил, что в данном случае речь может идти только о поединке с решительным исходом, то есть на

клыках, и что, если он, Пестрый, не пойдет на это, ему придется проглотить «презренного шпица», — дуэль на клыках была делом решенным.

Наступила ночь, когда должно было произойти единоборство. В назначенный час я прибыл с Муцием на крышу дома, стоявшего на границе околотка. Вскоре явился и мой противник в сопровождении статного кота, который был, пожалуй, еще пестрее и глядел еще надменнее и наглее того. Как мы и предположили, это оказался его секундант; они были товарищами по разным походам, сделанным ими вместе, и оба участвовали в покоренье амбара, за что Пестрый получил орден Поджаренного сала. Кроме того, тут же находилась — заботами предусмотрительного и осторожного Муция, как я потом узнал, — маленькая светло-серая кошка, необыкновенно сведущая в хирургии; она умела лечить самые тяжелые и опасные раны и вылечивала их в короткий срок. Было условлено, что поединок состоится в три прыжка, а если и при третьем прыжке не будет решающего исхода, тогда обсудят, продолжать ли дуэль новыми прыжками или считать дело поконченным. Секунданты отмерили шаги, и мы стали в позицию друг против друга. Как велит обычай, секунданты подняли отчаянный крик, и мы бросились один на другого.

Только я собирался схватить моего противника, как он поймал мое правое ухо и так укусил его, что я невольно громко закричал. «Разойдитесь!» — воскликнул Муций. Пестрый отпустил меня; мы снова встали в позицию.

Новый вопль секундантов — второй прыжок. Теперь я надеялся ловчей схватить моего противника; но предатель увернулся и так укусил меня в левую лапу, что кровь брызнула струей. «Разойдитесь!» — снова воскликнул Муций.

«Собственно, дело покончено, — сказал секундант моего противника, обращаясь ко мне, — ибо вы, милейший, из-за сильной раны в лапе очутились «hors de combat» ^[115]. Но от гнева и неистовой злобы я вовсе не чувствовал боли и возразил, что третий прыжок покажет, остались ли еще во мне силы и можно ли считать дело поконченным. «Ладно, — сказал секундант, язвительно усмехаясь, — если вы непременно хотите пасть от лапы превосходящего вас противника, пусть будет по-вашему». Но Муций хлопнул меня по плечу и воскликнул: «Браво, браво, брат мой Мурр! Истый бурш презирает такие царапины. Держись смелее!»

В третий раз вопль секундантов — третий прыжок. Как ни был я разъярен, я заметил хитрость моего противника, всегда прыгавшего немного в сторону, оттого-то я и промахивался, а ему всякий раз удавалось

схватить меня. Сообразив это, на сей раз я тоже прыгнул в сторону, и пока он собирался меня схватить, я успел укунить его в шею, да так, что он не мог даже крикнуть и только застонал. «Разойдитесь!» — воскликнул теперь секундант моего противника. Я тотчас отпрыгнул, а Пестрый упал без сознания, и кровь потоком хлынула из глубокой раны. Светло-серая кошка сейчас же поспешила к нему и, чтобы хоть как-нибудь унять кровь до перевязки, пустила в ход одно домашнее средство, которое, как уверял Муций, всегда было в ее распоряжении, так как она постоянно носила его при себе. Она тотчас влила в рану некую жидкость и тут же окропила ею лежавшего с ног до головы; судя по острому, едкому запаху, эта жидкость действовала сильно и живительно. Однако ни на одеколон, ни на примочки Тедена она не походила.

Муций пламенно прижал меня к своей груди и сказал:

— Брат Мурр, ты отстоял свою честь, как и приличествует коту, у которого сердце не напрасно бьется и груди! Мурр, ты возвеличишься, ты станешь украшением буршества; ты не потерпишь порока, ты будешь всегда первый, когда понадобится поддержать нашу славу.

Секундант моего противника, помогавший тем временем светло-серому хирургу, надменно подошел к нам, утверждая, будто я при третьем прыжке бился не по правилам. Но брат Муций стал в позицию и, сверкая глазами и выпустив когти, заявил, что всякий, утверждающий это, будет иметь дело с ним и что все будет вмиг покончено тут же на месте. Секундант счел благоразумным не возражать более, молча взвалил на спину раненого друга, который уже немного пришел в себя, и удалился вместе с ним через слуховое окно. Пепельно-серый хирург спросила, не нуждаюсь ли и я в ее домашнем средстве. Но я отказался, хотя лапа и уши у меня сильно болели, и припустился домой в упоенье от одержанной победы и удовлетворенной жажды мести за похищенную Мисмис и полученные побои.

Для тебя, о юноша кот, для тебя столь обстоятельно поведал я историю моего первого поединка на поле чести. Помимо того что сия достопримечательная история посвятит тебя во все тонкости кодекса чести, ты можешь почерпнуть из нее также и полезную в жизни мораль. А именно: отвага и мужество — ничто против уловок, и посему доскональное их штудирование необходимо, дабы не быть поверженным на землю, но прочно держаться на ней. «Chi non se ajuta, se nega» ^[116], — говорит Бригелла в «Счастливых нищих» Гоцци, и сей муж прав, доподлинно прав. Намотай это себе на ус, юноша кот, и нимало не гнушайся уловками, ибо в них, как в недрах изобильных, сокрыта истинная житейская мудрость.

Когда я спустился вниз, я нашел дверь уже закрытой, и поэтому мне пришлось удовольствоваться для ночного ложа соломенной циновкой, лежавшей у порога. Должно быть, я потерял много крови, и со мной приключилось нечто вроде обморока. Внезапно я ощутил, что меня осторожно уносят. Это был мой добрый хозяин, который, услышав меня за дверью — сам того не замечая, я, наверное, слегка взвизгивал, — открыл ее и заметил мои раны.

— Бедный Мурр, — воскликнул он, — что с тобой сделали? Однако тебя изрядно покусали! Но я надеюсь, ты не остался в долгу у твоего противника!

«О, если бы ты знал!» — подумал я. И от мысли о полной победе, о славе, коей я покрыл себя, я почувствовал себя снова на седьмом небе. Добрый хозяин положил меня на мое ложе, вытащил из шкафа жестяную коробочку с мазью, приготовил два пластыря и наложил их мне на ухо и на лапу. Спокойно и терпеливо я позволял ему проделывать все это, испустив лишь легкое, тихое «мррр!», когда первая перевязка сделала мне немного больно.

— Ты, Мурр, умный кот, — сказал хозяин. — Ты не отвергаешь, как другие ворчащие сорванцы из твоего рода, желанья твоего хозяина помочь тебе. Только води себя спокойно, а придет время зализывать рану на лапе, тогда ты сам снимешь повязку. Ну а что до разорванного уха — тут уж ничего не поделаешь, бедняга, придется тебе терпеть пластырь.

Я обещал это и в знак моего удовольствия и благодарности за помощь протянул хозяину здоровую лапу; он, как обычно, взял ее и осторожно потряс, нимало не сжимая. Хозяин знал толк в обхождении с образованными котами.

Вскоре я ощутил благодетельное действие пластыря и обрадовался, что отверг злополучное домашнее средство маленького пепельно-серого хирурга. Муций, посетив меня, нашел, что я весел и бодр. Вскоре я уже был в состоянии отправиться с ним на буршескую пирушку. Можно вообразить, с каким неописуемым ликованием меня встретили. Меня полюбили вдвое против прежнего.

С этих пор я зажил прекрасной жизнью бурша, и меня несколько не заботило, что от нее выпадали лучшие волосы из моей шубы. Но долговечно ли счастье в мире сем? Не подстерегает ли нас враждебная сила в каждом наслаждении, нами вкушаемом, но...

(Мак. л.) ...высокий и крутой холм — в равнинной стране он сошел бы за гору. Наверх вела широкая, удобная дорога, обсаженная благоухающими

кустами; каменные скамейки и беседки, во множестве расставленные по обеим сторонам, доказывали гостеприимную заботу о путешественнике. Только взойдя наверх, можно было убедиться, как обширно и великолепно здание, которое издали казалось одиноко стоящей церковью. Гербы, епископская митра, посох и крест, высеченные из камня над воротами, показывали, что прежде здесь была епископская резиденция, и надпись «Benedictus, qui venit in nomine Domini» ^[117] приглашала входить набожных гостей. Но каждый посетитель невольно останавливался, пораженный, захваченный видом церкви с великолепным в стиле Палладио фасадом, с двумя высокими, легкими башнями; она была центром аббатства, а к ней с обеих сторон примыкали флигели. В главном здании находились покои аббата, а в боковых флигелях — кельи братьев, трапезная и другие залы собраний, а также комнаты для приема проезжих гостей. Неподалеку от монастыря расположились хозяйственные строения, мызы, дом управляющего; ниже, в долине, красивая деревушка Канцгейм опоясывала холм как пестрый, пышный венок.

Эта долина простиралась до подножия далеких гор. Многочисленные стада паслись на зеленых лугах, прорезанных зеркально-светлыми ручьями; крестьяне из сел, разбросанных там и сям, весело проезжали через тучные нивы; ликующее пенье птиц звучало из приветливых рощ; призывный клич рогов доносился из далекого темного леса; по широкой реке, струившейся через долину, быстро скользили доверху нагруженные лодки, плеща белыми парусами, и можно было слышать веселые возгласы лодочников. Всюду пышное изобилие, щедро ниспосланное благословение природы, всюду деятельная, вечно стремящаяся вперед жизнь. Вид с холма из окошка аббатства на приветливый ландшафт возвышал душу и наполнял ее сердечной отрадой.

При всем благородстве и грандиозности церкви, ее внутреннее убранство, вероятно, можно было справедливо упрекнуть в излишестве и монашеском безвкусице из-за обилия крикливо вызолоченной деревянной резьбы и крошечных образков; зато тем больше бросалась в глаза чистота стиля в архитектуре и убранстве покоев аббата. С хоров открывался вход в обширную залу, служившую монахам для собраний и одновременно для хранения музыкальных инструментов и нот. Длинный коридор, образованный ионийской колоннадой, вел из залы в покои аббата. Шелковые обои, картины лучших мастеров всевозможных школ, бюсты, статуи великих людей церкви, ковры, изящная настилка полов, драгоценная утварь — все здесь говорило о богатстве благоденствующего монастыря. Это богатство, видное во всем, не было той блестящей роскошью, что

ослепляет взор, но не успокаивает его, ошеломляет, но не радует. Все было на своем месте, не лезло хвастливо в глаза, одно не мешало эффекту другого, поэтому ценность отдельных украшений не нарушала приятного чувства от общего вида покоев. Это приятное впечатление происходило исключительно оттого, что в убранстве не было ничего лишнего, а точное чувство меры и есть, вероятно, то, что обычно называют хорошим вкусом. Удобство и уютность покоев аббата граничили с пышностью, нигде не переступая этой границы, — словом, ничто не оскорбляло священного сана хозяина.

Аббат Хризостом, прибыв в Канцгейм несколько лет тому назад, велел обставить свои покои так, как они выглядели и теперь, и по этой обстановке можно было очень живо представить себе характер аббата и его образ жизни, даже не видав его самого и не зная о его высокой образованности. Ему лишь недавно перевалило за сорок. Высокий, статный, с одухотворенным, мужественно красивым лицом, с обращением, полным привлекательности и достоинства, аббат внушал всякому, кто с ним соприкасался, глубокое уважение, подобающее его духовному званию. Ревностный воитель церкви, неутомимый защитник прав своего ордена, своего монастыря, он казался податливым и снисходительным. Но эта-то мнимая податливость была оружием, которым он, отлично им владея, побеждал любое сопротивление, даже самых высших властей. Если и можно было заподозрить, что за простодушными, елейными речами, казалось полными чистосердечия, таится монашеское лукавство, то, слушая аббата, собеседник обнаруживал лишь гибкость выдающегося ума, проникшего в тайные пружины церковной жизни. Аббат был воспитанник римской Конгрегации пропаганды.

Сам не очень склонный отречься от радостей жизни, поскольку они совместимы с церковным уставом и обычаями, он и своим многочисленным подчиненным дал всю свободу, какую только они могли требовать при своем положении. Так и шло в монастыре: одни, увлеченные различными науками, изучали их в уединенных кельях, а в это время другие беззаботно гуляли в парке и развлекались веселыми разговорами; одни, склонные к мечтательной набожности, постились и проводили время в постоянных молитвах, другие же наслаждались яствами за обильно уставленным столом и выполняли только те религиозные обряды, которые были предписаны правилами ордена; одни не желали покидать аббатства, другие же отправлялись в далекий путь или же, когда наступала пора, меняли длинное монашеское одеяние на короткую охотничью куртку и рыскали по окрестностям, став отважными охотниками. Наклонности

монахов были различны, и каждый мог свободно следовать своей собственной, но все они единодушно сходились в энтузиастическом пристрастии к музыке. Почти каждый из них был образованный музыкант, и между ними попадались виртуозы, которые сделали бы честь любой княжеской капелле. Богатое собрание нот, превосходный выбор инструментов позволяли каждому упражняться в том роде музыкального искусства, в каком ему хотелось, а частое исполнение избранных музыкальных произведений давало возможность сохранять должное совершенство в технике.

Этим-то музыкальным увлечением приезд Крейсlera в аббатство дал новый толчок. Ученые захлопнули свои книги, благочестивые сократили свои молитвы, все собралось вокруг Крейсlera, которого они любили и чьи произведения они ценили больше всех остальных. Сам аббат был сердечно привязан к нему и вместе со всеми старался выказать Крейслеру свое уважение и любовь. Местность, где стояло аббатство, можно было назвать раем; жизнь в монастыре доставляла весьма приятные удобства, например, отличный стол и благородное вино, о котором заботился отец Гиларий; среди братии царил сердечная веселость, исходившая от самого аббата, к тому же Крейслер, неумоимо занимавшийся своим искусством, купался в родной стихии; поэтому его экспансивный характер стал спокойнее; он сделался кроток и мягок, как ребенок. Но важнее всего была вновь обретенная вера в себя, а с этим исчез и призрачный двойник, что питался кровью, сочившейся из его растерзанного сердца.

Где-то уже говорилось о капельмейстере Иоганнесе Крейсlere, что друзья никогда не могли заставить его что-нибудь записать, а если это когда и случалось, то сколько бы радости ни доставляла ему удача, он сейчас же бросал произведение в огонь. Наверное, это происходило в ту роковую пору, грозившую бедному Иоганнесу неотвратимой гибелью, о которой настоящему биографу до сих пор мало что известно. По крайней мере теперь, в Канцгеймском аббатстве, Крейслер остерегался уничтожать свои сочинения, так и лившиеся из самой его души; и его настроение выражалось в сладостной и благодетельной печали, пронизывавшей его творения, тогда как прежде он часто вызывал из глубин гармонии только могущественных духов, порождавших в человеческой груди страх, ужас, все муки безнадежно страстного томления.

Однажды вечером на хорах церкви состоялась последняя репетиция законченной Крейслером мессы; ее должны были исполнять на следующее утро. Братья разошлись по своим кельям; Крейслер остался один под колоннадой и смотрел на ландшафт, распростертый перед ним в мерцании

последних лучей заходящего солнца. Ему казалось, будто он снова слышит откуда-то издали свое произведение, только что так живо исполненное братьями. И когда наступил черед «Agnus Dei» ^[118], его вновь охватило невыразимое блаженство того мгновения, когда в нем родилось это «Agnus». «Нет, — воскликнул он, и жаркие слезы показались в его глазах, — нет, это не я! Это ты, ты одна, ты, моя единственная мысль, ты, моя единственная мечта!»

Удивительно, как возникла эта часть композиции, в которой аббат и братья нашли выражение самого пылкого благочестия и небесной любви. Полный мыслями о мессе, им начатой, но далеко еще не законченной, Крейслер как-то увидел во сне, будто день святого, для которого предназначалось сочинение, уже настал, звонят колокола, он стоит за пультом, перед ним готовая партитура, аббат, сам служащий обедню, подает знак, и его «Kyrie» ^[119] начинается.

Часть за частью исполняется его месса, исполнение отличное, сильное, оно поражает его, увлекает — и вот уже «Agnus Dei». Но тут он вдруг с ужасом видит в партитуре белые страницы, на них нет ни одной ноты; братья смотрят на него, ожидая, что внезапно застывшая капельмейстерская палочка сейчас поднимется, что заминке придет конец. Свинцовой тяжестью легли на него смущение, страх, и хотя весь «Agnus» уже готов в его душе, он никак не может перенести его на партитуру. Неожиданно появляется милый ангельский образ, подходит к пульта, начинает небесным голосом «Agnus», и этот ангельский образ — Юлия! В порыве высокого воодушевления Крейслер пробудился и записал «Agnus», прозвучавший ему в блаженном сне. И этот сон приснился Крейслеру ныне еще раз. Он услышал голос Юлии; выше и выше вздымались волны напева, и когда наконец вступил хор: «Dona nobis pacem» ^[120], он погрузился в море бесконечной, блаженной радости, переполнявшей его...

Легкий удар по плечу вывел Крейслера из овладевшего им экстаза. Перед ним стоял аббат Хризостом, устремив на него благосклонный взгляд.

— Не правда ли, — начал аббат, — не правда ли, сын мой Иоганнес, теперь ты радуешься от всего сердца, что тебе удалось великолепно и сильно воплотить в жизнь сокровенное твоей души? Я полагаю, ты вспоминаешь о своей торжественной мессе, которую я считаю одним из лучших творений, когда-либо тобою созданных.

Крейслер молча уставился на аббата; он еще был не в силах вымолвить ни слова.

— Ну, ну, — продолжал аббат с добродушной усмешкой, — спустись

вниз из высших сфер, куда ты воспарил. Я совершенно уверен, ты мысленно сочиняешь и не оставляешь работы, конечно, радостной для тебя, но опасной, ибо она в конце концов истощит твои силы. Отвлекись на время от творческих мыслей, пойдем погуляем по этому прохладному коридору и непринужденно поболтаем друг с другом!

Аббат говорил об устройстве монастыря, о том, как живут монахи, восхвалял истинно светлое и набожное настроение, охватившее здесь всех, и напоследок спросил Крейсlera, не ошибается ли он, аббат, полагая, что Крейслер, с тех пор как он находится в монастыре, стал спокойнее, непринужденнее, постояннее в деятельном влечении к высокому искусству, прославляющему служение церкви.

Крейслеру ничего не оставалось, как согласиться с этим и сверх того уверить, что аббатство открылось ему спасительным убежищем и что здесь все кажется ему таким родным, как будто он и впрямь брат ордена и никогда больше не покинет обители.

— Оставьте мне, достопочтенный отец, — так закончил Крейслер, — оставьте мне иллюзию, которой так способствует это одеяние! Позвольте мне верить, что, сбитый с пути опасной бурей, я, по милости благосклонной судьбы, пристал к затерянному островку, где и скрылся и где никогда не отлетит прекрасный сон, который есть не что иное, как вдохновение художника!

— В самом деле, сын мой Иоганнес, — ответил аббат, и особенная приветливость засияла на его лице, — платье, в которое ты облачился, чтобы казаться нашим братом, тебе очень к лицу, и я хотел бы, чтобы ты его никогда не снимал. Ты самый достойный бенедиктинец, какого только можно увидеть... Однако, — продолжал аббат после некоторого молчания, — не будем этим шутить. Вы знаете, Иоганнес, как я полюбил вас с того мгновения, когда познакомился с вами, как все возрастает моя сердечная дружба вместе с высоким уважением к вашему отличному таланту. Кого любят, о том заботятся, и эта-то забота заставила меня с боязнью наблюдать за вами все время, что вы здесь находитесь. В результате этих наблюдений я пришел к убеждению, от которого не могу отказаться. Давно уже я хотел открыть вам мое сердце; я ожидал благоприятного момента — он настал: Крейслер, отрекитесь от света! Вступайте в наш орден!

Как ни нравилось Крейслеру в аббатстве, как ни хотелось ему продлить свое пребывание там, дававшее ему мир и покой, побуждая к плодотворной художественной деятельности, предложение аббата неприятно поразило его, ибо он весьма далек был от мысли похоронить себя среди монахов, отказавшись от своей свободы, хотя уже несколько раз

такая причуда приходила ему на ум, и аббат, вероятно, это заметил. Удивленный, он посмотрел на аббата, а тот, не дав ему вставить ни слова, продолжал:

— Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде чем отвечать. Мне было бы радостно доставить церкви надежного служителя; но сама церковь осуждает искусственные уговоры и хочет только возбудить искру истинного познания, дабы она вспыхнула светлом горящим пламенем веры, отвергнув всякое обольщение. И я хочу только раскрыть вам и довести до ясного сознания то, что, наверное, смутно теплится в вашей душе. Нужно ли мне говорить вам, Иоганнес, о существующем среди мирян сумасбродном предубеждении против монастырской жизни? Будто бы только ужасная судьба толкает человека в монашескую келью, где, отрекшись от всех наслаждений света, он обречен на непрерывную муку безотрадной жизни. Тогда монастырь был бы мрачной тюрьмой, где царит безутешная скорбь о навеки потерянных радостях, отчаяние, безумие изощренных самоистязаний, где сокрушенные, бледные призраки влачат жалкое существование, изливая терзающий сердце страх в монотонном бормотании молитв.

Крейслер не мог удержаться от улыбки, так как, когда аббат говорил о сокрушенных призраках, он вспомнил упитанных бенедиктинцев и особенно бравого краснощекого отца Гилария, не знавшего более страшных мучений, нежели приятие внутрь плохого вина, и иного страха, кроме как перед новой партитурой, в которой он не мог сразу разобраться.

— Вы улыбаетесь, — продолжал аббат, — контрасту между нарисованной мною картиной и монастырской жизнью, какой вы ее здесь узнали, и, конечно, имеете основания для этого. Возможно, что иные, сломленные земными страданиями, бегут в монастырь, отказавшись навсегда от всех мирских радостей, и благо им, если церковь примет их, ибо в ее лоне найдут они мир, который один только может утешить их в испытанных бедствиях и вознести над гибельной участью мирских стремлений! Но как много таких, кого приводит в монастырь истинная склонность к благочестивой, созерцательной жизни, кто не приспособлен к жизни в миру, всегда теряясь перед гнетом житейских мелочей, возникающих на каждом шагу, и чувствует себя хорошо только в добровольно избранном уединении! Однако, кроме тех и других, есть еще третьи, кто, не имея решительной склонности к монастырской жизни, только в монастыре и находит свое место. Я разумею тех, что всегда остаются чужестранцами в свете, ибо они причастны к высшему бытию и не мыслят жизни без служения этому высшему бытию; но оттого, что они

неустанно преследуют недостижимое, они мечутся туда и сюда, вечно алкая в никогда не утолимом страстном томлении, и тщетно ищут покоя и мира; их незащищенную грудь поражает каждая выпущенная стрела; для их ран нет другого бальзама, кроме горькой насмешки над врагом, постоянно вооруженным против них. Только одиночество, однообразная жизнь, не нарушаемая враждебными силами, и, прежде всего, беспрестанное, свободное созерцание светлого мира, к которому они принадлежат, могут дать им равновесие и наполнить их душу неземным блаженством, недостижимым средь превратностей мирской жизни. И вы, Иоганнес, вы один из этих людей, коих предвечный, повергнув в земную скорбь, возвышает к небесному блаженству. Живое чувство высшего бытия, которое будет, да и должно вечно ссорить вас с пошлой земной суетой, могущественно сияет в искусстве; оно причастно к другому миру и, являя собою священную тайну небесной любви, заключено в вашем сердце, исполненном страстного томления. Это искусство — сама пламенная набожность, и, предавшись ему, вы совершенно отрешитесь от пестрой светской жизни, которую вы пренебрежительно отбрасываете от себя, как мальчик, созревший в юношу, — ненужную игрушку. Оградите же себя навсегда от вздорных насмешек язвительных глупцов, так часто терзавших вас до крови! Друг простирает к вам руки, дабы принять вас и ввести в надежную гавань, безопасную от всех бурь.

— Глубоко, — сказал серьезно и мрачно Иоганнес, когда аббат умолк, — глубоко чувствую я, мой достойнейший друг, истину ваших слов; правда, я не гожусь для мира, который предстает мне вечным загадочным недоразумением. И все же — я охотно признаюсь в этом — предубеждение, всосанное мною с молоком матери, заставляет меня бояться самой мысли надеть это платье; оно представляется мне тюрьмой, откуда я никогда не смогу выбраться. Мне кажется, будто этот мир, где капельмейстер Иоганнес находил все же немало хороших садилов с благоухающими цветами, для монаха Иоганнеса обратится внезапно в глухую, неприветливую пустыню; будто для того, кто однажды замешался в живую жизнь, отречение...

— Отречение? — перебил капельмейстера аббат, возвысив голос. — В чем же отречение для тебя, Иоганнес, когда дух искусства день ото дня все сильнее овладевает тобою и могучим взмахом крыла ты возносишься в сияющие облака? Какая радость жизни способна еще ослепить тебя? Однако, — продолжал он мягче, — создатель вложил в нашу грудь чувство, потрясающее с непобедимой мощью все наше существо. Это — таинственные узы, связующие дух и тело; дух полагает, будто он стремится

к высшему идеалу химерического блаженства, на самом же деле хочет только того, к чему понуждают нас потребности тела, и так возникает взаимодействие, порождающее продолжение рода человеческого. Нужно ли мне добавлять, что я говорю о плотской любви и что я вовсе не считаю безделицей полное отречение от нее. Но, Иоганнес, если ты отречешься, ты спасешь себя от гибели. Никогда, никогда не сможешь ты вкусить и не вкусишь химерического счастья земной любви!

Аббат произнес эти слова так торжественно, так напыщенно, как будто перед ним лежала открытая книга судеб и он возвещал из нее бедному Крейслеру все уготованные ему мучения, которых он мог избежать, лишь вступив в монастырь.

Но тут на лице Крейслера началась та странная игра мускулов, что обычно предшествовала появлению овладевавшего им духа иронии.

— Ха-ха! — воскликнул он. — Ваше высокопреподобие не правы, совершенно не правы. Ваше высокопреподобие заблуждаются в моей персоне, сбиты с толку моим одеянием, которое я надел, чтобы некоторое время подтрунивать над людьми *en masque* [\[121\]](#) и, оставаясь неузнанным, говорить им на ухо их настоящие имена: пусть они знают, кто они. И разве я не вполне сносный мужчина, еще в цвете лет, довольно приятной наружности, и притом достаточно образованный и любезный? Разве не могу я вычистить прекраснейший черный фрак, надеть его, облачившись с ног до головы в шелковое белье, смело подступить к любой краснощекой, к любой каре- или голубоглазой профессорской дочке или дочке надворного советника и спросить у нее без дальнейших околичностей, с наивозможнейшей сладостью изящнейшего *amoroso* [\[122\]](#) в манерах, лице и голосе: «Прелестнейшая, не пожелаете ли вы отдать мне вашу руку и к ней в придачу вашу драгоценную особу?» И профессорская дочка опустила бы глаза и тихо-тихо пролепетала бы: «Поговорите с папа!» Или же дочка надворного советника бросила бы на меня мечтательный взгляд и потом стала бы уверять, что она давно втайне заметила любовь, для которой я лишь теперь обрел язык, и мимоходом заговорила бы об отделке на подвенечном платье. И, о боже, как охотно почтительные господа папаши сбыли бы с рук своих дочерей в ответ на предложение такой почтенной персоны, как эрцгерцогский экс-капельмейстер. Но я мог бы также воспарить на романтические высоты, завести идиллию и предложить руку и сердце ясноглазой арендаторской дочке в ту минуту, когда она варит козий сыр, или, как второй нотариус Пистофолус, побежать на мельницу и отыскать там мою богиню в небесных облаках мельничной пыли. Кто бы

отверг верное, честное сердце, ничего не желающее, ничего не требующее, кроме свадьбы, свадьбы, свадьбы? Нет для меня счастья в любви? Ваше высокопреподобие совсем не подумали о том, что я, собственно, и есть тот человек, который будет безмерно счастлив в любви, что моя немудреная тема — это «Коль хочешь ты меня, то я беру тебя», а ее дальнейшие вариации после свадебного *allegro brillante* будут разыгрываться в браке. Далее, ваше высокопреподобие не знает, что уже и раньше я очень серьезно подумывал о супружестве. Конечно, я был тогда еще юноша с недостаточным опытом и образованием, ибо мне было всего семь лет; но тридцатитрехлетняя девица, избранная мною в невесты, обещала мне, скрепив свою клятву объятиями и поцелуями, выйти замуж только за меня, ни за кого другого, и я сам не знаю, почему потом дело расстроилось. Заметьте же, ваше высокопреподобие, что счастье любви улыбалось мне уже в детском возрасте, — так подать мне скорее шелковые чулки, шелковые чулки и башмаки, чтобы с руками и ногами ринуться в жениховство и неудержимо лететь к той, что уже протянула мне нежнейший указательный пальчик, ждущий с нетерпением обручального кольца! Как ни недостойно честного бенедиктинца увеселяться козлиными прыжками, но я сейчас же немедленно станцую на глазах вашего высокопреподобия матлот, или гавот, или вальс-галоп, единственно от радости, охватывающей меня, когда я думаю о невесте и свадьбе. Ха-ха! По части блаженства любви и брака я молодец! Я бы хотел, чтобы вы поняли это, ваши высокопреподобие!

— Я, — ответил аббат, когда Крейслер наконец остановился, — я не хотел перебивать вашу странно-шутливую речь, Крейслер, ибо она как раз доказывает то, что я утверждал. Я прекрасно почувствовал жало, которое должно было меня уколоть, но не укололо. Благо мне, что я не верю в химерическую любовь, бесплотно витающую в воздухе и не имеющую ничего общего с основой человеческого естества! Возможно ль, что вы, при вашем болезненном возбуждении духа... Но довольно об этом! Пора ближе подойти к преследующему вас опасному врагу. Вы ничего не слышали о судьбе того несчастного художника, Леонгарда Этлингера, во время вашего пребывания в Зигхартсгофе?

Крейслер весь содрогнулся от таинственного ужаса, когда аббат назвал это имя. С его лица бесследно сбежал всякий след только что владевшей им горькой иронии, и он спросил глухим голосом:

— Этлингер? Этлингер? Что мне до него? Какое мне до него дело? Я никогда его не знал; то была лишь игра воспаленной фантазии, когда мне однажды примерещилось, будто он говорит со мною из озера.

— Успокойся, — сказал аббат нежно и мягко, пожимая руку Крейсlera, — успокойся, сын мой Иоганнес! У тебя нет ничего общего с тем несчастным, кого заблуждение могущественно разросшейся страсти низринуло в пучину гибели, но его ужасная судьба может послужить для тебя предостерегающим примером. Сын мой Иоганнес, ты стоишь на еще более скользком пути, чем он; поэтому беги, беги! Гедвига! Иоганнес, дурной сон крепко держит принцессу в цепях, что кажутся нерасторжимыми, пока свободный дух не разобьет их. А ты?

Тысячи мыслей пронеслись в голове Крейсlera при этих словах аббата. Он убедился, что аббату известно не только о всех обстоятельствах княжеского дома в Зигхартсгофе, но и о всем том, что случилось во время его пребывания там. Ему стало ясно, что принцессе при ее болезненной чувствительности его близость грозила опасностью, о которой он и не подозревал. А кто другой, кроме Бенцон, мог подозревать об этой опасности и потому добиваться его удаления со сцены? Разумеется, Бенцон была связана с аббатом, известившим ее о пребывании Крейсlera в аббатстве, и, таким образом, она была двигательной пружиной всех поползновений его преподобия. Живо вспомнились ему те мгновения, когда принцесса действительно казалась охваченной зарождавшейся в душе страстью; однако при мысли, что сам он мог быть предметом ее страсти, он почувствовал какой-то таинственный страх. Ему казалось, что какая-то чуждая духовная сила хочет насильственно вторгнуться в его душу и похитить у него свободу мысли. Внезапно принцесса Гедвига встала перед ним и пристально посмотрела на него своим странным взглядом; и в то же мгновение электрический удар отдался эхом во всех его нервах, как в тот раз, когда он впервые прикоснулся к руке принцессы. Зато прежнего таинственного страха теперь как не бывало, он чувствовал, как электрическая теплота отрадно пронизала все его существо. Тихо, будто во сне, он проговорил:

— Маленькая плутовка, Raja torpedo, ты опять дразнишь меня, хоть и знаешь, что тебе нельзя безнаказанно ранить меня, так как я только из-за любви к тебе пошел в монахи.

Аббат взглянул на капельмейстера проницательным взором, словно хотел пронизать все его «я», затем торжественно спросил:

— С кем говоришь ты, сын мой Иоганнес?

Но Крейслер уже пробудился от своих грез, ему пришло в голову, что аббат, если он был извещен о всем случившемся в Зигхартсгофе, должен знать также и о дальнейшем ходе событий и что было бы хорошо побольше узнать об этом.

— Я, ваше высокопреподобие, — ответил он аббату, лукаво улыбаясь, — говорю, как вы слышали, не с кем иным, как с Raja torpedo, которая непрошено вмешивается в нашу разумную беседу и хочет сбить меня с толку еще больше, чем вы. Но я вижу по всему, что кое-кто считает меня таким же большим дураком, как блаженной памяти придворного портретиста Леонгарда Этлингера, намеревавшегося не только писать высокую персону, которой, естественно, не было до него дела, но и полюбить ее, и притом совсем так, как Ганс свою Грету. О боже, да разве у меня хоть раз не достало почтительности, когда я брал прекраснейшие аккорды, аккомпанируя гнусному верещанию? Заводил ли я разговоры о недостойных или вздорных материях, о любви и ненависти, когда их маленькое высокородное своенравие изволили чудно кривляться, увеселяясь всякими удивительными забавами, и морочить честных людей магнетическими видениями? Скажите, поступал ли я так когда-нибудь?

— Но однажды ты, Иоганнес, — прервал его аббат, — заговорил о любви артиста...

Крейслер пристально взглянул на аббата, сложил руки и воскликнул, воздев очи горе:

— О небо! Так значит — *это*? Высокочитимые люди, — продолжал он, и шутовская усмешка вновь появилась на его лице, а голос пресекся от внутренней скорби, — высокочитимые люди, разве вы никогда не слышали, хотя бы на самых обыкновенных подмостках, как принц Гамлет говорит честному человеку по имени Гильденстерн: «Хоть вы и умеете меня расстроить, но не умеете на мне играть». Черт возьми! Ведь так произошло и со мною! Зачем подслушиваете вы доверчивого Крейсlera, если гармония любви, заключенная в его груди, только режет вам уши? О Юлия!

Внезапно пораженный чем-то неожиданным, аббат, казалось, тщетно искал слов, а Крейслер стоял перед ним, вперив свой полный экстаза взор в огненное море заката.

Тут на башнях аббатства раздались звуки колоколов и словно чудесные голоса неба понеслись к сияющим золотом вечерним облакам.

— С вами хочу я умчаться, аккорды! — воскликнул Крейслер, широко раскинув руки. — Пусть возвещаемая вами безутешная скорбь поднимется во мне и сама уничтожит себя в моей груди, пусть ваши голоса, подобно небесным гонцам мира, возвестят, что скорбь растворилась в надежде, в страстном томлении вечной любви!

— Уже звонят к вечерне, — сказал аббат, — я слышу шаги братьев. Утром, дорогой друг, мы, я думаю, еще поговорим о некоторых событиях в Зигхартсгофе.

— О! — воскликнул Крейслер, который только теперь вспомнил о том, что хотел выведать у аббата. — О ваше высокопреподобие, я хотел бы многое узнать о веселой свадьбе и тому подобном. Принц Гектор ведь не помедлит схватить руку, которой он уже издавна домогался? С великолепным женихом никаких неприятностей не случилось?

Тут вся торжественность исчезла с лица аббата, и он произнес со свойственным ему мягким юмором:

— С великолепным женихом, добрый мой Иоганнес, ничего не случилось, но его адъютанта, должно быть, укусила в лесу какая-то оса.

— Ха-ха! — рассмеялся Крейслер. — Оса, которую он жаждал истребить огнем и мечом!

Братья вошли в коридор и...

(*М. пр.*) ...старается ли она выхватить из-под самого носа честного, безобидного кота лакомый кусок? Недолго мы так благоденствовали, ибо наше славное содружество на чердаке получило удар, от которого ему не суждено было оправиться, и расстроившая все наши кошачьи радости вражья сила появилась в образе могучего, взбесившегося филистера по имени Ахиллес. С гомеровским тезкой у него было мало сходного, разве что геройство последнего заключалось преимущественно в медвежьей ловкости и бессмысленном горлопанстве. Ахиллес был, собственно, обыкновенной дворняжкой, но состоял на должности сторожевой собаки, и хозяин, к коему он поступил на службу, привязал его на цепь, дабы укрепить его привязанность к дому, оттого-то он мог рыскать на воле лишь по ночам. Некоторые из нас сострадали ему, невзирая на его невыносимый нрав; однако он не очень-то близко принимал к сердцу утрату своей свободы, ибо он был настолько безрассуден, что воображал, будто эта тяжеловесная цепь дарована ему для почета и украшения. К немалому раздражению Ахиллеса, наши собеседования тревожили его сон по ночам, когда ему полагалось рыскать по двору и охранять дом от всяких насильственных покушений, и он угрожал нам, нарушителям его покоя, лихой смертью. Но так как он при своей ловкости не мог взобраться даже на чердак, не то что на крышу, мы нимало не внимали его угрозам и вели себя по-прежнему. Тогда Ахиллес принял другие меры; он повел наступление против нас, как искусный генерал, начав с тайной подготовки, а потом перейдя к открытой перестрелке. Как только мы начали пенье, всевозможные шпицы, которым он порой оказывал честь играть с ними, захватив их в свои неуклюжие лапы, по его приказанию подняли такой зверский лай, что мы не могли разобрать ни одной осмысленной ноты.

Более того! Кое-кто из этих филистерских лизоблюдов ворвался на чердак, и когда мы показали им когти, они, уклонившись от честного, открытого боя, подняли такой ужасный шум, рычание и лай, что не только был нарушен сон сторожевого пса, но и сам хозяин дома не мог сомкнуть глаз. Не видя конца подобному галдежу, он вышел из себя и схватил арапник, чтобы прогнать буянов, бесновавшихся над его головой.

О кот, читающий это! Если в груди твоей сокрыто истинное мужество, а в голове — светлый разум, если твои уши не отупели, то существует ли для тебя, говорю я, что-либо отвратительнее, противнее, ненавистнее и притом ничтожнее, нежели визжащий, пронзительный, диссонирующий во всех тонах лай исступленного шпица? Этого маленького, виляющего, тявкающего создания с жеманными ужимками — берегись его, кот! Не доверяй ему! Поверь мне, приветливость шпица опаснее, нежели выпущенные когти тигра! Однако умолчим о горьком и, увы, столь богатом опыте, который мы в сем смысле обрели, и возвратимся к дальнейшему ходу нашей истории.

Итак, хозяин, как сказано, схватил арапник, чтобы прогнать буянов с чердака. Но что же случилось? Шпицы завияли ему навстречу хвостами, облизали ноги и представили все дело так, будто гвалт был поднят только ради его покоя, хотя хозяин из-за него-то как раз и лишился безмятежного сна. Они, мол, лаяли только на нас, так как мы учиняем нетерпимые бесчинства на крыше, распевая песни слишком звонкими и резкими голосами. Хозяин, увы, поддался болтливому красноречию шпицев и поверил им, тем более что сторожевой пес, когда он спросил его об этом, не преминул подтвердить все, ибо он затаил в душе злобную ненависть к нам. И началось преследование. Слуги сгоняли нас отовсюду метлами и черепицами; везде были поставлены западни и капканы, куда мы должны были попадаться и, к сожалению, попадались на самом деле. Мой дорогой друг Муций сам попал в беду, то есть в капкан, раздробивший ему самым плачевным образом заднюю лапу.

Так и закончилась наша веселая совместная жизнь, и я вернулся назад под печку хозяина, дабы в глубоком одиночестве оплакивать судьбу моего несчастного друга.

Однажды в гости к моему хозяину пришел господин Лотарио, профессор эстетики, а за ним в комнату впрыгнул Понто.

Не могу выразить, сколь неприятное, зловещее чувство пробудил во мне один вид Понто. Хотя он и не был ни сторожевой пес, ни шпиц, все же он был из того рода, чей подлый, враждебный нам образ мыслей разрушил мою жизнь в веселом обществе котов-буршей, и уже потому дружба,

которую Понто мне выказывал, была весьма подозрительна. Кроме того, мне показалось, что во взгляде Понто, во всем его существе было нечто высокомерное, насмешливое, и посему я порешил лучше вовсе не говорить с ним. Тихо-тихо сполз я с моей подушки, одним прыжком скрылся в печке и запер за собой дверцу.

Господин Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало меня интересовавшем, тем более что все мое внимание обратилось на молодого Понто, который, поплясав по комнате, фатовато напевая себе под нос какую-то песенку, вспрыгнул на подоконник, высунулся из окошка и, по обычаю фанфаронов, то и дело раскланивался с проходившими мимо знакомыми, даже слегка таякая, вероятно, чтобы привлечь к себе взгляды красавиц из его племени. Казалось, обо мне ветреник даже и не вспомнил, и хотя я, как было сказано, вовсе не желал с ним разговаривать, все же мне было совсем не по душе, что он даже не справился обо мне. Совсем иначе и, как мне показалось, куда учтивей и разумнее вел себя профессор-эстетик господин Лотарио; поискав меня взглядом по комнате, он обратился к хозяину со словами:

— Но где же ваш превосходный мосье Мурр?

Для честного кота-бурша нет более гнусного обращения, чем «мосье»; но чего только не приходится терпеть от эстетиков на этом свете! Я простил профессору обиду.

Маэстро Абрагам уверил его, что с некоторых пор я отделился от него и редко бываю дома, особенно по ночам, и оттого выгляжу истощенным и усталым. Но я только что лежал на подушке, и он, право, не знает, куда я столь стремительно исчез.

— Я предполагаю, маэстро Абрагам, — продолжал профессор, — что ваш Мурр... Но не спрятался ли он и не подслушивает ли здесь где-нибудь! Давайте посмотрим!

Я тихо подался в задний угол печки; но можно представить, как я наострил уши: ведь речь шла обо мне. Хозяин Понто тщетно обшарил все углы, к немалому удивлению маэстро, воскликнувшего со смехом:

— Право, профессор, вы оказываете неслыханную честь моему Мурру!

— Ого! — ответил наш гость. — У меня не выходит из головы подозрение против вас и вашего педагогического эксперимента, имеющего целью превратить кота в поэта и сочинителя. Или вы уже совсем забыли о сонете, о глоссе, похищенной Понто чуть ли не из лап вашего Мурра. Но, как бы там ни было, я воспользуюсь отсутствием Мурра, чтобы сообщить вам об одном дурном предположении и настоятельно рекомендовать

присматривать за поведением Мурра. Хотя прежде кошки меня мало заботили, все же от меня не ускользнуло, что многие раньше учтивые и разумные коты теперь вдруг переменили свои повадки, грубо нарушая порядок и обычаи. Они уже не гнут смиренно спину и не ласкаются, как прежде, а приняли надменный вид и вовсе не боятся выдать свою первобытную дикую натуру сверкающими взглядами и гневным ворчаньем и даже выпускать когти. Они столь же мало заботятся о том, чтобы иметь внешность благовоспитанных светских людей, как и о скромном, тихом поведении. Они пренебрегают и чисткой усов, и облизыванием шерсти до лоска, и откусыванием отросших не в меру когтей; лохматые, взъерошенные, с растрепанными хвостами бегают они, вызывая ужас и отвращение у всех воспитанных котов. Но что особенно достойно порицания и вовсе нетерпимо — это тайные сборища, которые устраивают они по ночам, и при этом предаются бесчинству, называя его пением, хотя нет ничего непереносимее для уха, чем этот бессмысленный аритмичный крик, фальшивый и лишенный всякой гармонии. Я боюсь, я очень боюсь, маэстро Абрагам, что ваш Мурр ступил на плохую дорожку и участвует в этих недостойных увеселениях, а это не принесет ему ничего, кроме изрядных побоев. Меня огорчило бы, если бы вы даром положили столько трудов на этого серого малого и если бы он со всей своей ученостью опустил до пошлого, беспорядочного существования вульгарных, беспутных котов.

Когда я услышал, сколь гнусно уничтожают меня, моего доброго Муция, всех моих великодушных братьев, я невольно испустил горестный звук.

— Что это было? — воскликнул профессор. — Я уверен, Мурр спрятался где-то в комнате. Понто! Allons! Ищи, ищи!

Одним прыжком Понто соскочил с подоконника и стал обнюхивать комнату. Перед печкой он остановился, сперва заворчал, затем громко залаял и подпрыгнул.

— Он в печке! Это несомненно! — заявил маэстро и отворил дверцы.

Я спокойно продолжал сидеть, поглядывая на своего хозяина ясными, блестящими глазами.

— Так и есть! — воскликнул он. — Так и есть. Он сидит тут, забившись глубоко в печку. Ну-с, не угодно ли тебе выйти? Вылезай!

Хоть у меня было мало охоты покидать свое убежище, я должен был повиноваться приказанию хозяина, ибо не желал допустить насилия над собой и таким образом остаться в накладе. Вот я и выполз. Едва я появился на свет, как профессор и хозяин воскликнули разом:

— Мурр! Мурр! На кого ты похож! И что это за штуки? Разумеется, я был в золе с ног до головы, к тому же моя внешность и вправду с некоторых пор заметно пострадала, поэтому мне пришлось узнать себя в сделанном профессором изображении котов-отщепенцев, и я вполне мог представить себе, какое жалкое зрелище являл я собой. Я сравнил мой достойный сожаления вид с видом моего друга Понто, красовавшегося в своей ловко сшитой, блестящей, красиво завитой шубе, и меня охватил глубокий стыд. Тихо и печально я отполз в угол.

— И это, — воскликнул профессор, — разумный, благонравный кот Мурр, изящный писатель, остроумный поэт, пишущий сонеты и глоссы? Нет, это самый обыкновенный домашний кот, из тех, что толпами бездельничают на кухне да только и умеют, что ловить мышей в погребах и на чердаках. Эй, скажи мне, мой благонравный скот, скоро ли ты получишь докторскую степень и взойдешь на кафедру профессором эстетики? Право же, премилую докторскую мантию нацепил ты на себя!

Насмешливые речи продолжались и дальше в том же роде. Что мне оставалось делать? Только поплотней прижать уши — таков уж был мой обычай во всех подобных случаях, то есть когда меня поносили.

Под конец профессор и хозяин разразились звонким хохотом, пронзившим мне сердце. Но, пожалуй, еще горше их смеха было для меня поведение Понто. Он не только одобрял насмешки своего хозяина всевозможными ужимками, корчил брезгливые рожи, но и открыто выставлял свой страх приблизиться ко мне — то и дело отскакивал в сторону, как бы боясь запачкать свою красивую чистую шубу. И должен признаться — немалое испытание для кота, сознающего свое превосходство, терпеть пренебрежение от какого-то фатишки-пуделя.

Профессор пустился в пространные разговоры с хозяином; они, по видимому, не касались до меня и до моего рода, и к тому же понял я из них, собственно, немного. Однако, насколько я мог заметить, речь шла о том, что было бы лучше: противодействовать ли часто превратным и необузданным влечениям экзальтированного юношества открытой силой или же искусным и незаметным образом ограничивать его, давая ему простор для обретения собственного опыта, который вскоре сам по себе уничтожит эти влечения. Профессор был за открытую силу, ибо устройство всего ко всеобщему благу требует, чтобы каждый человек, сколь бы он этому ни противился, был бы как можно скорее втиснут в форму, обусловленную отношением отдельных частей к целому; иначе возникнет чудовищная несоразмерность, а она может послужить причиной всяческих бед. При этом профессор упоминал о любителях бить стекла под крики

«Pereat!» [\[123\]](#), что я не вполне понял. Маэстро, напротив, полагал, что с экзальтированными юношами, при их характере, нужно обходиться как со слегка помешанными: если открыто им противодействовать, их помешательство усиливается, тогда как самостоятельно достигнутое осознание своего заблуждения начисто излечивает их и позволяет более не опасаться возврата болезни.

— Ну, — воскликнул под конец профессор, вставая и берясь за трость и шляпу, — ну, маэстро, вы должны со мной согласиться хотя бы в том, что нужно беспощадно применять открытую силу против экзальтированных стремлений, когда они разрушительно вторгаются в жизнь! Поэтому — я опять возвращаюсь к вашему коту Мурру — все же очень хорошо, что порядочные шпицы, как я слышал, разогнали проклятых котов, так нечеловечески оравших и притом мнивших себя на удивление великими виртуозами.

— Как на это взглянуть, — ответил хозяин. — Если бы им позволили петь, быть может, они и сделали бы тем, чем они ошибочно себя воображали, то есть хорошими виртуозами, а теперь они сомневаются и в истинной виртуозности.

Профессор откланялся; Понто выскочил вслед за ним, даже не удостоив меня прощальным поклоном, как это он всегда делал раньше с большой приветливостью.

— Я сам тоже недоволен твоим поведением, Мурр, — обратился хозяин ко мне. — Пора тебе раз и навсегда образумиться и остепениться и вновь заслужить лучшую репутацию, чем та, какой ты, по-видимому, теперь пользуешься. Если бы ты был способен меня вполне понять, я бы тебе советовал быть всегда тихим и приветливым и совершать все, что тебе хочется предпринять, втихомолку, ибо именно так легче всего обрести хорошую репутацию. Для примера я могу назвать тебе двух людей: один из них каждый день в одиночестве садится в угол и тихо пьет вино, бутылку за бутылкой, покуда не делается совершенно пьян, однако от долгих практических упражнений он так хорошо умеет скрывать это, что никто и не подозревает о его состоянии. Другой, напротив, лишь иногда выпивает стакан вина в компании веселых, сердечных друзей. Напиток развязывает ему язык, раскрывает сердце; его настроение поднимается, он говорит много и горячо, но не оскорбляя ни нравов, ни приличий. И его-то свет зовет присяжным винососом, а тот — тайный пьяница — слывет тихим, умеренным человеком. Ах, Мурр, славный мой кот, если бы ты знал жизнь света, ты увидел бы, что филистер, скрывающийся в своей скорлупе, поступает умнее всех. Но как можешь ты знать, что такое филистер, хотя и

среди твоего племени, наверное, много их!

При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого радостного фыркания и мурлыканья, сознавая, что благодаря наставлениям Муция и собственному опыту я достиг совершенного познания кошачьего рода.

— Мурр, кот мой! — воскликнул хозяин, громко смеясь. — Сдается мне, что ты меня понимаешь, и профессор прав, обнаружив в тебе какой-то особенный разум и устранившись тебя, как своего эстетического соперника.

Для подтверждения, что это и вправду так, я издал звучное, гармоническое «мяу» и без дальнейших околичностей вспрыгнул хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел парадный шелковый шлафрок с большими цветами на желтом поле, и я его, разумеется, запачкал. С гневным «чтоб тебя...» маэстро отшвырнул меня так стремительно, что я перекувырнулся и в совершенном испуге, прижав уши и закрыв глаза, замер на полу. Но хвала мягкосердечию моего доброго хозяина!

— Ну, — сказал он приветливо, — ну, ну, Мурр, кот мой, тут не было злого умысла! Знаю, знаю, ты руководствовался добрыми намерениями: ты хотел доказать мне свою симпатию, но ты сделал это неуклюже, а в таких случаях кому дело до намерений! Ну иди сюда, мой маленький трубочист! Я вычищу тебя, и ты снова будешь походить на вполне порядочного кота.

С этими словами хозяин скинул шлафрок, взял меня на руки и не побрезговал вычистить мне шкуру мягкой щеткой, а потом маленьким гребешком расчесал мне волосы до блеска.

Когда туалет был закончен и я прогуливался мимо зеркала, то сам подивился тому, сколь внезапно я стал другим котом. И таким красивым я предстал перед собою, что не мог удержаться и с удовольствием помурлыкал самому себе. Не буду отрицать: великие сомнения касательно достоинств и пользы буршеского клуба зашевелились во мне. Мое бегство в печку сдавалось мне теперь сущим варварством, объяснимым лишь своеобразным одичанием, и я уже совсем не нуждался в предостережениях маэстро, воскликнувшего: «Только не лазить мне снова в печку!»

На следующую ночь мне почудилось, будто я слышу тихое царапанье в двери и боязливое «мяу!», кого-то мне напомнившее. Я подкрался и спросил, кто там. Тогда — я тотчас же признал его по голосу — мне ответил бравый староста Пуф:

— Это я, верный брат Мурр. Я принес тебе печальнейшую новость.

— О небо, что...

(Мак. л.) ...очень несправедливо поступала, моя дорогая, милая подруга! Нет, ты для меня больше, чем подруга, ты — моя верная сестра. Я мало тебя любила, мало доверялась тебе. Только теперь я открою тебе мое сердце, только теперь, так как я знаю...

Принцесса запнулась, слезы потоком хлынули из ее глаз. Она снова нежно прижала Юлию к сердцу.

— Гедвига, — мягко сказала Юлия, — разве раньше ты не любила меня всей душой? Разве у тебя когда-нибудь были тайны, которых ты не хотела мне доверить? Что ты знаешь? О чем ты только теперь проведала? Но нет, нет! Ни слова больше, пока твой пульс снова не успокоится, пока в твоих глазах не потухнет мрачный огонь!

— Не знаю, чего вы все от меня хотите, — ответила принцесса с внезапным раздражением и чуть ли не с обидой. — По-вашему, я больна, а я никогда не чувствовала себя такой сильной и здоровой. Вас напугал мой странный припадок, и все-таки возможно, что такой электрический удар, приостановивший всю жизненную деятельность, был для меня нужнее и полезнее всех средств, предложенных в злополучном самообольщении тупоумной, убогой медициной. Какое несчастье для меня этот врач, вознамерившийся управлять человеческой натурой, как часовым механизмом, который нужно только вычистить и завести! Он мне отвратителен с его каплями, его эссенциями! Неужели от всего этого должно зависеть мое благополучие? Нет, тогда земная жизнь была бы ужасающей насмешкой мирового духа!

— Твое чрезмерное возбуждение как раз и доказывает, — перебила Юлия принцессу, — что ты еще больна, Гедвига, и что тебе нужно беречься больше, чем ты это делаешь.

— И ты хочешь сделать мне больно! — воскликнула принцесса, поспешно вскочила, подбежала к окошку, отворила его и высунулась в парк. Юлия пошла за ней и, обняв ее, попросила с нежной грустью остерегаться хотя бы сурового осеннего ветра и не нарушать покоя, столь целительного для нее, по мнению врача. Но принцесса ответила, что как раз струя холодного воздуха, льющаяся в окно, подкрепляет ее и восстанавливает ее силы.

С глубочайшей сердечностью Юлия заговорила о недавних днях, когда над всем словно витал темный, грозный дух; о том, что им нужно собрать все свои внутренние силы, чтобы не растеряться от события, внушившего ей чувство, сравнимое лишь с самой настоящей смертельной боязнью привидений. Она подразумевала таинственное столкновение, происшедшее между принцем Гектором и Крейслером и заставлявшее предполагать

самое ужасное; ибо вероятнее всего, бедный Иоганнес должен был пасть от руки мстительного итальянца, и спасся он, по мнению маэстро Абрагама, только чудом.

— И этот ужасный человек, — сказала Юлия, — должен был стать твоим мужем? Нет, никогда! Хвала всевышнему! Ты спасена. Он никогда не возвратится. Не правда ли, Гедвига? Никогда!

— Никогда! — ответила принцесса глухим, еле слышным голосом. Затем, глубоко вздохнув, она сказала тихо, как во сне: — Пусть этот чистый небесный огонь только светит и греет, не опалая сокрушительным пламенем, и из души художника сверкает воплощенной в жизнь мечтой она сама — его любовь! Так говорил ты здесь тогда...

— Кто говорил это? — воскликнула потрясенная Юлия. — О ком вспомнила ты, Гедвига?

Принцесса провела рукой по лбу, как бы силясь возвратиться к действительности. Потом, шатаясь, она добрела с помощью Юлии до софы и опустилась на нее в совершенном изнеможении. Юлия, озабоченная состоянием принцессы, хотела было позвать камеристку, но Гедвига нежно усадила ее рядом с собой и прошептала:

— Нет, моя девочка, ты, только ты должна быть возле меня! Не думай, что у меня опять что-то вроде болезни! Нет, это была мысль о величайшем блаженстве, ставшая слишком ощутимой и грозившая разбить мое сердце, и ее небесный восторг превратился в смертельную боль. Побудь со мной, моя девочка! Ты сама не знаешь, какая у тебя удивительная, волшебная власть надо мной. Дай я загляну в твою душу, как в прозрачное, чистое зеркало, чтобы я в нем снова узнала себя! Юлия, часто мне кажется, будто на тебя сходит небесное вдохновение и будто слова, слетающие с твоих губ как дыхание любви, — утешительное пророчество. Юлия, моя девочка, останься со мной, не покидай меня никогда, никогда!

С этими словами принцесса, крепко сжимая руки Юлии, упала с закрытыми глазами на софу.

Юлия достаточно привыкла к тому, что порою принцессой овладевало болезненное перенапряжение духа; но теперешний ее пароксизм был для нее нов, совершенно нов и загадочен. Прежде это было страстное ожесточение, проистекавшее из несоответствия внутреннего чувства образу жизни и, разрастаясь до ненависти, оно оскорбляло детскую душу Юлии. Но теперь Гедвига казалась, чего никогда не было, совершенно изнемогающей от боли и невыразимой скорби, и эта безутешность столь же тронула Юлию, сколь усилила ее тревогу за любимую подругу.

— Гедвига! — воскликнула она. — Милая Гедвига, я не покину тебя;

ни одно преданное сердце не привязано к тебе более моего; но скажи мне, о, скажи, доверься же мне, что мучит и терзает твою душу? Я погорюю, я поплачу вместе с тобой!

И тут по лицу Гедвиги скользнула странная улыбка; нежный румянец затрепетал на щеках, и, не открывая глаз, она прошептала тихо:

— Ведь правда, Юлия, ты не влюблена?

Странно почувствовала себя Юлия при этом вопросе принцессы: ее словно потряс внезапный испуг.

В чьем девичьем сердце не шевелились предчувствия страсти, этого, по-видимому, главного условия женского существования, ибо только полюбившая женщина — вполне женщина? Но чистая, детская, набожная натура не внемлет этим предчувствиям, она не желает разбираться в них и с похотливой нескромностью срывать покров со сладостной тайны, раскрывающейся лишь в тот миг, что сулит смутное томление. Так было и с Юлией: когда она неожиданно услышала вопрос о том, о чем не осмеливалась думать, то, испуганная, будто ее уличили в грехе, в котором она сама не отдавала себе отчета, она силилась проникнуть в глубину своей собственной души.

— Юлия, — повторила принцесса, — ведь ты не любишь? Скажи мне! Будь искренна!

— Как странен твой вопрос, — ответила Юлия. — И что я могу тебе ответить?

— Говори, о, говори же, — умоляла принцесса.

Тут душа Юлии вдруг озарилась солнечным сиянием, и она нашла слова, чтобы выразить открывшееся ей в собственном сердце.

— Что творится в твоей душе, Гедвига, когда ты спрашиваешь меня об этом? — начала она очень серьезно и спокойно. — Что такое для тебя любовь, о которой ты говоришь? Не правда ли, нужно ощущать влечение к любимому с такой непреодолимой силой, чтобы существовать и жить только мыслями о нем, отказаться ради него от самой себя и видеть в нем все свои стремления, все надежды, все желания, весь свой мир? И эта страсть должна возносить на вершины блаженства, да? У меня кружится голова от подобной высоты — ведь внизу зияет бездонная пропасть со всеми ужасами безвозвратной гибели. Нет, Гедвига, мое сердце не понимает такой любви, столь же ужасной, как и греховной, и я буду твердо верить, что оно останется навеки чистым, навеки свободным от нее. Но может, конечно, случиться, что мы отличаем какого-нибудь мужчину из всех других или даже чувствуем искреннее восхищение перед ним за выдающуюся мужественную силу его духа. Даже более того: в его

присутствии мы чувствуем какую-то таинственную, сердечную отраду; кажется, будто наш дух только сейчас проснулся, будто только сейчас засияла нам жизнь; мы веселы, когда он приходит, и мы печалимся, когда он нас покидает. Ты назовешь это любовью? Ну, так почему бы мне не признаться тебе, что покинувший нас Крейслер вызывает во мне это чувство и что мне тяжело его не видеть?

— Юлия! — воскликнула принцесса, внезапно вскочив и пронизывая Юлию горящим взглядом. — Можешь ли ты вообразить его в объятиях другой и не испытывать при этом невыразимой муки?

Юлия покраснела и ответила голосом, выдававшим, как сильно она была оскорблена.

— Никогда я не воображала его в моих объятиях!

— Ты не любишь его! Ты не любишь его! — резко воскликнула принцесса и снова упала на софу.

— О! — сказала Юлия. — Если б он вернулся! Чисто и невинно чувство к этому дорогому человеку в моем сердце, и если я никогда больше его не увижу, мысль о нем, незабываемом, будет освещать мою жизнь прекрасной светлой звездой. Но, конечно же, он вернется назад! Как же можно...

— Никогда! — перебила Юлию принцесса раздраженным, резким тоном. — Никогда не сможет и не посмеет он возвратиться. Говорят, что он находится в аббатстве Канц-гейм и собирается, покинув свет, вступить в орден Святого Бенедикта.

На глазах Юлии показались светлые слезы; она молча встала и отошла к окошку.

— Твоя мать права, вполне права, — продолжала принцесса. — Хорошо, что его нет, этого сумасшедшего. Как злой дух ворвался он в тихие палаты нашего сердца, нарушил согласие наших душ. И музыка его была той волшебной сетью, которой он нас опутал. Никогда не захочу я вновь увидеть его.

Ударами кинжала были для Юлии слова принцессы; она схватилась за шляпу и шаль.

— Ты хочешь меня покинуть, моя милая подружка, — воскликнула принцесса. — Останься, останься и утешь меня, если можешь. Таинственным ужасом веет от этих зал, от парка! Так знай же... — С этими словами Гедвига подвела Юлию к окну, указала на павильон, где жил адъютант принца Гектора, и начала глухим голосом: — Взгляни туда, Юлия! Те стены скрывают грозную тайну; кастелян, садовники клянутся, что с отъездом принца там никто не живет, что двери крепко заперты, и все-

таки... О, взгляни сейчас туда! Взгляни же — ты ничего не видишь в окне?

В самом деле, Юлия увидела в окне, прорезанном во фронте павильона, темную фигуру, которая тут же исчезла.

По мнению Юлии, ощущавшей, как болезненно содрогается рука принцессы в ее руке, здесь и речи не могло быть о какой-нибудь грозной тайне или о чем-нибудь сверхъестественном, скорее всего кто-нибудь из слуг без позволения занял пустой павильон. Павильон можно обыскать, и тогда сейчас же выяснится, что это за фигура показывается в окне. Но принцесса уверяла, что старый верный кастелян по ее желанию уже давно сделал все это и клялся, что в павильоне не найдено и следа человека.

— Дай я тебе расскажу, — сказала принцесса, — что произошло три ночи тому назад! Ты знаешь, что сон часто бежит от меня и что тогда я встаю и расхаживаю по комнатам, пока меня не одолеет усталость, помогающая мне заснуть. И вот третьего дня меня как раз мучила бессонница, и я забрела в эту комнату. Внезапно я заметила, как по стене пробежал трепещущий отблеск света. Я посмотрела в окно и увидела четырех человек: один из них нес потайной фонарь. Затем они скрылись в направлении павильона, но я не успела заметить, вошли ли они туда. Немного погодя окно осветилось, и в нем замелькали тени, потом опять стало темно, однако скоро в кустах замерцал ослепительный свет, падавший, должно быть, из открытой двери павильона. Свет все приближался, пока наконец из кустов не вышел монах бенедиктинец, несший в левой руке факел, а в правой — распятие. За ним следовали четыре человека с носилками на плечах, покрытыми черными сукнами. Едва они прошли несколько шагов, как навстречу им двинулась какая-то фигура в широком плаще. Они остановились, положили носилки; фигура отдернула покрывало, и стал виден труп. Я едва не упала без чувств и успела только заметить, что люди снова подняли носилки и поспешили за монахом по широкой тропинке, которая вскоре выводит из парка на дорогу в аббатство Канцгейм. С тех пор эта фигура показывается в окне, и, наверное, это пугающий меня дух злодейски убитого.

Юлия была склонна считать все происшествие сном или, если принцесса на самом деле бодрствовала у окна, — игрой возбужденного воображения. Кто мог быть этот мертвец, которого с такими таинственными церемониями уносили из павильона, — ведь никто не умер, и кто бы мог поверить, что этот неизвестный мертвец появляется по ночам там, откуда его унесли? Юлия высказала все это Гедвиге и добавила, что виденье в окне могло быть также оптическим обманом, а то и шуткой старого мага, маэстро Абрагама, который горазд на подобные проделки и,

возможно, обратил пустой павильон в обиталище привидений.

— Так быстро, — мягко улыбаясь, сказала принцесса, совершенно овладевшая собой, — находим мы объяснение, случись что-нибудь чудесное, сверхъестественное! А что до мертвеца, то ты забываешь, что произошло в парке перед тем, как Крейслер нас покинул.

— Ради бога, — воскликнула Юлия, — неужели и вправду там совершилось ужасное дело? Кто? От чьей руки?

— Ты ведь знаешь, моя девочка, — продолжала Гедвига, — что Крейслер жив. Но жив и тот, кто тебя любит. Не смотри на меня так испуганно! Разве ты не подозревала раньше, о чем мне надо тебе сказать, дабы ты знала то, что может тебя погубить, если скрывать это и дальше? Принц Гектор любит тебя, тебя, Юлия, со всей дикой страстью итальянца. Я была его невестой, я и теперь его невеста, но та, кого он любит, это ты, Юлия.

Последние слова принцесса подчеркнула с особой резкостью, но, впрочем, без того выражения, которое выдает чувство внутренней горечи.

— О силы небесные! — воскликнула Юлия порывисто, и слезы хлынули из ее глаз. — Гедвига, ты хочешь разбить мне сердце? Какой мрачный дух говорит твоими устами! Нет, нет, ты можешь вымещать на мне, бедняжке, свои дурные сновидения, так расстроившие тебя, я охотно снесу это, но никогда я не поверю, что страшные сны твои могут сбыться. Гедвига, одумайся! Ведь ты уже не обручена с этим ужасным человеком, явившимся к нам воплощением гибели. Он никогда не вернется назад; никогда не будешь ты его женой.

— Нет, вернется, — ответила принцесса, — вернется! Приди же в себя, дитя! Когда церковь свяжет меня с принцем, только тогда, может быть, разрешится чудовищное недоразумение, сделавшее меня столь несчастной. Тебя спасет чудесное предопределение неба. Мы разлучимся. Я последую за мужем, ты останешься здесь.

От внутреннего волнения принцесса умолкла; Юлия тоже не могла произнести ни слова. Обе, заливаясь слезами, упали друг другу в объятия.

Доложили, что чай уже подан. Юлия пришла в такое волнение, которое никак не вязалось с ее рассудительным, спокойным характером. Она не могла быть на людях, и мать охотно разрешила ей отправиться домой, так как и принцесса тоже нуждалась в покое.

Фрейлейн Наннета в ответ на расспросы княгини уверила ее, что и после обеда и вечером принцесса чувствовала себя прекрасно, но пожелала оставаться наедине с Юлией. Насколько она могла заметить из соседней комнаты, принцесса и Юлия рассказывали друг другу всякую всячину,

представляли комедию и то смеялись, то плакали.

— Милые девушки! — прошептал гофмаршал.

— Милостивая принцесса и милая девица! — поправил его князь, сверкнув на маршала совершенно круглыми очами. Потрясенный своим ужасным промахом, тот хотел было разом проглотить порядочный кусок сухаря, предварительно размоченного чаем. Но кусок застрял у него в глотке, и он так страшно раскашлялся, что должен был спешно оставить залу. Позорной смерти от удушья он избежал только благодаря искусству придворного квартирмейстера, исполнившего на его спине опытным кулаком отличное соло на литаврах. Провинившись в двух неприличностях, гофмаршал побоялся, как бы не совершить еще и третью; поэтому он не осмелился вернуться в залу и попросил извинить его перед князем внезапно приключившимся нездоровьем.

Отсутствие гофмаршала расстроило партию в вист, которую князь обычно разыгрывал по вечерам. Когда приготовили игорные столы, все напряженно ждали, что сделает сиятельная особа в столь критическом случае. Но князь не сделал ничего; дав знак остальным садиться за игру, он взял за руку советницу Бенцон, повел ее к канапе, предложил ей сесть и сам уселся рядом.

— Мне было бы весьма прискорбно, если б гофмаршал задохся от сухаря, — сказал он затем, как всегда тихо и мягко, Бенцон. — Однако он, как я уже примечал неоднократно, по вероятности, чрезвычайно рассеян, ибо он назвал принцессу Гедвигу девушкой, а его рассеянность была бы в висте чрезвычайно пагубна. Итак, дорогая Бенцон, мне сегодня весьма желательно и приятно вместо партии в вист здесь, в уединении, доверительно обменяться с вами несколькими словами, как прежде. Ах — как прежде! Но вам известна моя привязанность к вам, любезная сударыня! Она не прекратится никогда; княжеское сердце постоянно, ежели только неотвратимые обстоятельства не потребуют перемены.

С этими словами князь поцеловал руку Бенцон много нежнее, чем позволяли его положение, возраст и обстановка.

Бенцон, со сверкающими от радости глазами, заверила его, что она давно уже выжидала случая поговорить с князем с глазу на глаз, так как ей надобно кое-что сообщить ему, что, наверное, не будет для него неприятным.

— Узнайте же, всемилостивейший государь, — сказала советница, — советник посольства снова написал, что наше дело внезапно приняло более благоприятный оборот, и...

— Тише, дражайшая! — перебил ее князь. — Ни слова более о

государственных делах! Ибо и князь облекается в шлафрок и надевает ночной колпак, когда, почти сокрушенный бременем правления, он отправляется на покой; не таков, разумеется, единственно Фридрих Великий, король прусский, который, что, вероятно, вам как особе начитанной известно, даже и в постели надевал фетровую шляпу. Словом, я полагаю, что и князю свойственно слишком многое из того, что... словом, что составляет, как говорится, мещанские добродетели, как-то: супружество, отеческие радости и тому подобное, и он не в силах вовсе отрешиться от этих чувств; donc [\[124\]](#) по меньшей мере извинительно, что он предается им в те мгновения, когда государство, заботы о надлежащей благоустроенности двора и страны не всецело поглощают его. Дражайшая Бенцон, подобное мгновение настало! Семь подписанных бумаг лежат у меня в кабинете, и теперь дозвоьте мне совершенно забыть о моем сане, — дозвоьте мне здесь за чаем быть единственно отцом семейства — «Немецким отцом семейства» барона фон Геммингена! Дозвоьте мне говорить о моих — да! — о моих детях, причиняющих мне столько горя, что я порою готов впасть в совершенно неприличное расстройство чувств!

— О ваших детях будет идти речь, всемилостивейший государь? — колко спросила Бенцон. — Иначе говоря, о принце Игнatii и принцессе Гедвиге. Говорите, всемилостивейший государь, говорите. Может быть, я смогу дать вам совет и принести утешение, подобно маэстро Абрагаму.

— Да, — продолжал князь, — совет и утешение были бы мне по временам необходимы. Так вот, сперва касательно принца; разумеется, ему нет надобности в особых дарованиях, коими природа наделяет тех, кто иначе по причине своего низкого звания оставался бы в забвении и ничтожестве. Но все же для него было бы желательно несколько более esprit [\[125\]](#), он — simple [\[126\]](#) и пребудет им. Взгляните, вот он сидит, болтает ногами, делает в игре промах за промахом и хихикает и смеется, как семилетний мальчик! Бенцон! Entre nous soit dit [\[127\]](#) — он никогда не освоит искусства письма в той мере, в какой оно ему потребно, — его княжеская подпись подобна каракулям. Всеблагое провидение, что-то будет? Недавно я был потревожен в моих занятиях мерзким лаем под окном. Я бросил взор вниз, дабы прогнать отвратительного шпица, и что же я узрел? Поверите ли, дражайшая сударыня? Это был принц, с громким лаем, подобно безумцу, скакавший вслед за мальчишкой садовника. Они играли в собаку и зайца. Я сомневаюсь, есть ли у него хоть некоторый разум? Таковы ли должны быть княжесственные увлечения? Обретет ли принц когда-либо хоть малейшую самостоятельность?

— Поэтому необходимо, — ответила Бенцон, — поскорее женить принца и выбрать для него жену, чья прелесть, обаяние и ясный разум пробудят его дремлющие чувства, — жену, достаточно добрую, чтобы снизойти к его ребячливости и постепенно возвысить его до себя. Женщине, предназначенной принадлежать принцу, эти свойства необходимы, чтобы вызволить его из этого душевного состояния, которое — с болью говорю я это, всемилостивейший государь! — наконец может обратиться в подлинное безумие. Поэтому тут все решают только эти редкие свойства, и нельзя строго считаться с происхождением.

— Никогда, — сказал князь, наморщив лоб, — никогда не бывало мезальянсов в нашем доме. Откажитесь от помысла, коего я не могу одобрить. Я был всегда и ныне готов исполнить все иные ваши пожелания.

— Мне это вовсе не известно! — резко вставила Бенцон. — Как часто справедливые желания должны были умолкать ради химерических соображений! Но есть требования, которые выше всяких условностей.

— *Laissons cela!* [\[128\]](#) — перебил князь Бенцон, откашлявшись и взяв щепотку табаку. После некоторого молчания он продолжал: — Еще более принца меня печалит принцесса. Скажите, Бенцон, возможно ль, чтобы от нас произошла дочь со столь странным нравом и, даже более того, со столь странной болезненностью, повергающей в затруднение самого лейб-медика? Не наслаждалась ли всегда княгиня цветущим здоровьем? Была ли она склонна к мистическим нервным припадкам? Я сам? Не был ли я всегда сильным и телом и духом князем? Как же явилось у нас дитя, которое — к моей горькой печали, мне надлежит признать это — кажется вовсе безумным, попирающим и отвергающим все княжеские благоприличия?

— Для меня натура принцессы также непостижима, — ответила Бенцон. — Мать была всегда невозмутима, разумна, свободна от всех губительных, пылких страстей. — Последние слова Бенцон произнесла тихо и глухо, про себя, опустив глаза.

— Вы разумеете княгиню? — спросил князь с ударением, так как ему показалось непристойным, что к слову «мать» не было добавлено «княгиня».

— О ком же другом могла я думать? — сдержанно ответила Бенцон.

— Не развеял ли в прах последний фатальный случай с принцессой весь успех моих трудов и радость от скорого ее супружества? — продолжал князь. — Ибо, дорогая Бенцон — *entre nous soit dit*, — единственно внезапная каталепсия принцессы, приписываемая мною лишь сильной простуде, виною тому, что принц Гектор нежданно уехал. Он хочет

разорвать с нами — *juste ciel!* [\[129\]](#) — и я должен признаться, что не могу пенять на него за это, так что, ежели бы приличия и без того уже не запрещали мне всякого более короткого сближения, один его отъезд удержал бы меня, князя, от дальнейших шагов к осуществлению желания, от коего я отступаюсь весьма неохотно и только по принуждению. Согласитесь со мной, любезная сударыня, что всегда несколько страшно иметь супругу, подверженную подобным удивительным припадкам. Что, ежели такая княжественная, однако каталептическая супруга остановится, подобно автомату, посреди наиблестящего двора, принудив тем достойных особ, там присутствующих, подражать ей, оставаясь недвижимыми? Без сомнения, двор, настигнутый всеобщей каталепсией, явил бы собою торжественнейшее и возвышеннейшее зрелище в мире, ибо в нем малейшее нарушение надлежащего достоинства было бы невозможно даже для легкомысленнейших особ. Однако чувство, охватывающее меня в подобные семейно-отеческие мгновения, позволяет мне заметить, что такое состояние невесты должно некоторым образом внушать леденящий ужас княжественному жениху, и посему, Бенцон, вы, достойная, разумная дама, — вы, вероятно, сыщете возможность покончить дело с принцем, какой-либо способ?..

— Этого совсем не нужно, всемилостивейший государь! — живо перебила советница князя. — Вовсе не болезнь принцессы так быстро оттолкнула принца; в этой игре другая тайна, и в эту тайну замешан капельмейстер Крейслер.

— Как? Что вы сказали, Бенцон? Капельмейстер Крейслер? — воскликнул князь в полном удивлении. — Следовательно, правда, что он?..

— Да, всемилостивейший государь, — подтвердила советница, — принца удалило столкновение с Крейслером, которое, вероятно, должно было завершиться слишком героическим образом.

— Столкновение? — перебил князь советницу. — Столкновение... завершиться героическим образом? Выстрел в парке! Окровавленная шляпа! Бенцон, это невозможно! Принц — капельмейстер, дуэль — *rencontre!* [\[130\]](#) И то и другое немыслимо.

— Всемилостивейший государь, — продолжала советница, — нет никакого сомнения, что Крейслер оказал огромное влияние на чувства принцессы и что этот непонятный страх, более того — ужас, который она испытывала в присутствии Крейслера, превратился в гибельную страсть. Возможно, принц был достаточно наблюдателен и заметил, что в Крейслере, сразу же выступившем против него с враждебной, ядовитой

иронией, он имеет опасного противника, от которого он и счел нужным избавиться. Это толкнуло его на поступок, который — хвала создателю! — не увенчался успехом и не может быть оправдан ничем, кроме как кровавой ненавистью за оскорбленную честь и ревностью. Я признаю, что все это не объясняет скоропалительного отъезда принца и что тут, как я уже сказала, кроется какая-то тайна. Принц, по словам Юлии, убежал, испуганный портретом, который показал ему Крейслер, всегда носивший портрет с собой. Но как бы то ни было, а Крейсlera нет, и кризис принцессы уже миновал. Поверьте мне, всемилостивейший государь, если Крейслер остался бы, бурная страсть к нему вспыхнула б в сердце принцессы, и она охотнее умерла бы, чем отдала принцу свою руку. Теперь все это обернулось иначе; скоро принц Гектор вернется, и его брак с принцессой положит конец всем тревогам.

— Бенцон! — вскипел князь. — Какая дерзость со стороны презренного музыканта! Его намеревается полюбить принцесса, отказывая в своей руке любезнейшему принцу? Ah le coquin! [\[131\]](#) Ну, лишь ныне я вас совершенно уразумел, маэстро Абрагам! Вам придется избавить меня от этой фатальной личности, дабы она никогда более не возвращалась!

— Все, что мог бы предложить для этого мудрый маэстро Абрагам, — сказала советница, — оказалось бы излишним, потому что все уже совершилось как нужно. Крейслер находится в аббатстве Канцгейм и, как пишет мне аббат Хризостом, наверное, решится покинуть свет и вступить в орден. Я уже осведомила об этом принцессу в благоприятную минуту и, так как я не заметила при этом в ней никакого особого волнения, могу поручиться, что угрожающий кризис, как я говорила, уже миновал.

— Божественнейшая, достолюбезнейшая сударыня! — заговорил князь. — Сколь много преданности явили вы мне и моим детям! Сколь печетесь вы о благе, о процветании моего дома!

— В самом деле? — заметила Бенцон горько. — Это я-то? Могла ли я, имела ли я право всегда заботиться о счастье ваших детей?

Бенцон сделала на этих словах особое ударение; князь молча смотрел себе под ноги и, сложив руки, перебирал большими пальцами. Наконец он тихо пробормотал:

— Анджела! Все еще никаких следов? Совсем исчезла?

— Да, это так, — ответила Бенцон, — и я опасаюсь, что несчастное дитя сделалось жертвой какой-нибудь гнусности. Ее как будто видели в Венеции; но, конечно, это ошибка. Признайтесь, всемилостивейший государь, вы поступили ужасно жестоко, велев оторвать дитя от материнской груди и обрекая его на безнадежное изгнание. Эта рана,

нанесенная мне вашей суровостью, никогда не перестанет болеть.

— Бенцон, — сказал князь, — не назначил ли я вам и ребенку значительное пожизненное содержание? Мог ли я сделать больше? Останься Анджела здесь, разве не был бы я принужден каждое мгновение страшиться, что наши *faiblesses* ^[132] обнаружатся и возмутят благопристойный покой нашего двора? Вы хорошо знаете княгиню. И знаете также, что у нее иногда бывают особые причуды.

— Значит, — заговорила советница, — деньги, пожизненное содержание должны вознаградить мать за всю боль, за всю скорбь, за все горькие слезы о потерянном ребенке? Право, всемилостивейший государь, можно по-другому позаботиться о своем ребенке и лучше успокоить мать, чем все золото мира.

Бенцон произнесла эти слова со взглядом и с выражением, несколько смутившими князя.

— Досточтимая сударыня, — начал он растерянно, — что за странные мысли? Или вы полагаете, что бесследное исчезновение нашей милой Анджелы для меня не прискорбно и не бедственно? Она, вероятно, сделалась бы учтивой и прекрасной девицей, ибо она произошла от красивых, прелестных родителей.

Князь снова очень нежно поцеловал руку Бенцон, но она быстро отдернула ее и со сверкающим пронзительным взглядом прошептала князю на ухо:

— Признайтесь, всемилостивейший государь, вы были несправедливы, жестоки, настояв на удалении ребенка. И разве вы не обязаны исполнить мое желание? Я, будучи довольно добра, охотно сочла бы это некоторым возмещением за мои страдания.

— Бенцон, — ответил князь еще смиреннее, чем прежде, — добрейшая, божественная Бенцон, разве наша Анджела не сможет сыскаться? Я свершу нечто героическое, дабы исполнить ваше желание, дражайшая сударыня. Я хочу довериться маэстро Абрагаму и обсудить это с ним. Он — разумный, сведущий человек; вероятно, он может помочь.

— О! — перебила Бенцон князя. — Оставьте маэстро Абрагама! Вы думаете, всемилостивейший государь, что он и впрямь расположен что-нибудь сделать для вас, что он привязан к вашему дому? Но как удастся ему что-нибудь выпытать о судьбе Анджелы, после того как все розыски во Флоренции и Венеции оказались напрасны и, что самое скверное, у него было похищено таинственное средство узнавать неведомое!

— Вы разумеете его жену, злую колдунью Кьяру? — спросил князь.

— Еще очень сомнительно, — ответила советница, — заслужила ли

такое прозвище женщина, одаренная высшими, чудесными силами, притом, вероятно, только кем-то вдохновляемая. Во всяком случае, было несправедливо и бесчеловечно похитить у маэстро Абрагама любимое существо, к которому он был привязан всей душой, вернее, которое было частью его самого.

— Бенцон! — воскликнул князь в полном испуге. — Бенцон, сегодня я вас не узнаю! У меня голова идет кругом! Не вы ли сами были согласны, что надлежит удалить опасное создание, с помощью коего маэстро Абрагам вскоре раскрыл бы наши отношения? Не вы ли сами одобрили мое послание к эрцгерцогу, в коем я излагал ему, что, поелику волшебство в стране давно воспрещено, далее невозможно терпеть особ, кои промышляют оным занятием, и безопасности ради их надлежит на время заключить под стражу? Разве не единственно из сострадания к маэстро Абрагаму над таинственной Кьярой не была учинена открытая расправа: ее схватили без всяческого шума и выслали, мне даже неведомо куда, ибо я более о том не заботился. В чем же возможно меня упрекнуть?

— Прошу прощения, всемилостивейший государь, — ответила Бенцон, — и все же вас можно упрекнуть по меньшей мере за поспешный поступок. Знайте, всемилостивейший государь, маэстро Абрагам проведаль, что его Кьяру удалили по вашему приказанию. Он тих, он приветлив; но неужели вы, всемилостивейший государь, полагаете, что он не лелеет в сердце ненависти и жажды мести тому, кто похитил у него самое дорогое в мире? И этому человеку хотите вы довериться, хотите открыть ему душу?

— Бенцон, — сказал князь, вытирая крупные капли пота со лба. — Бенцон, вы меня нервируете до чрезвычайности, можно сказать, неописуемо! Боже милостивый! Подобаает ли князю так терять *contenance*? ^[133] Черт побери! Бог мой, уж не бранюсь ли я здесь, за чаем, как драгун! Бенцон! Отчего вы не сказали мне этого раньше? Он уже знает все! В рыбацкой хижине, когда я был в совершенном расстройстве чувств из-за припадка принцессы, я излил ему свою душу. Я сказал об Анджеле, я открыл ему все, Бенцон, это ужасно! J'etais un ^[134] осел! Voila tout! ^[135]

— А он? — напряженно спросила Бенцон.

— Сколько я помню, — продолжал князь, — маэстро Абрагам завел сперва речь о прежней нашей *attachement* ^[136] и о том, каким счастливым отцом я мог бы стать, вместо того чтобы быть, как ныне, отцом несчастнейшим. Когда я закончил свои признанья — и это уж достоверно, — маэстро молвил с улыбкою, что все ему давно уже известно и что, по всей вероятности, вскоре выяснится, где пребывает Анджела. Многие

тайны станут тогда явью, многие обманы рассеются.

— Маэстро сказал это? — спросила Бенцон дрожащими губами.

— Sur mon honneur [\[137\]](#), — ответил князь, — он сказал это! Тысяча дьяволов! Пардон, Бенцон, но я гневен. А вдруг старик пожелает мне отомстить? Бенцон, que faire? [\[138\]](#)

Князь и Бенцон безмолвно уставились друг на друга.

— Светлейший повелитель! — тихо пролепетал камер-лакей, поднося князю чай.

— Bête! [\[139\]](#) — крикнул князь, стремительно поднявшись и выбив из рук лакея поднос вместе с чашкой. Все в ужасе вскочили из-за игорных столов. Игра кончилась; князь, овладев собой, улыбнулся, кинул испуганному обществу приветливое «adieu» и направился с княгиней во внутренние покои. На лице каждого можно было ясно прочесть: «Боже, что это, что это значит? Князь не играл, так долго, так горячо говорил с советницей и потом так ужасно разгневался!»

Между тем советница Бенцон не могла, разумеется, предчувствовать, какая сцена ожидает ее в собственном доме, стоявшем бок о бок с замком. Не успела она войти, как навстречу ей бросилась Юлия совершенно вне себя и... Но наш биограф очень доволен, что на сей раз он может рассказать обо всем приключившемся с Юлией, пока у князя пили чай, гораздо лучше и яснее, чем о многих других событиях этой запутанной, по крайней мере до сих пор, истории. Итак...

Мы знаем, что Юлии было позволено уйти домой пораньше. Лейб-егерь освещал ей дорогу факелом. Едва они отошли на несколько шагов от замка, как вдруг лейб-егерь остановился и поднял факел вверх.

— Что там? — спросила Юлия.

— Эге! — протянул в ответ лейб-егерь. — Фрейлейн Юлия, заметили вы фигуру, быстро прошмыгнувшую вон там перед нами? Я не знаю, что и подумать, но несколько вечеров подряд здесь шныряет какой-то человек, и, судя по тому, как он скрывается ото всех, он, должно быть, затеял недоброе. Мы уже расставляли ему всевозможные ловушки, но он ускользает из рук, вернее, пропадает на наших глазах, как призрак или как сама нечистая сила.

Юлия вспомнила о виденье в окне павильона и задрожала от леденящего страха.

— Пойдемте скорее отсюда, ах, пойдемте скорее! — крикнула она егерю. Но тот, смеясь, заявил, что милой барышне, мол, нечего бояться: прежде чем привидение сможет причинить ей какой-либо вред, ему

придется иметь дело с ним, лейб-егерем; кроме того, неизвестное существо, замеченное в окрестностях замка, бесспорно состоит из костей и мяса, как и другие честные люди, а трусит и боится света, словно заяц.

Юлия отослала спать свою горничную, которая жаловалась на головную боль и лихорадочный озноб, и надела ночное платье без ее помощи. Теперь, когда она была одна в своей комнате, в ее душе снова встало все, о чем говорила ей принцесса в состоянии, объясняемом только болезненным возбуждением. И все-таки не было сомнений, что это болезненное возбуждение могло иметь лишь психическую причину. Невинные, чистые душой девушки редко отгадывают истину в таких запутанных случаях. Точно так же и Юлия, когда она снова восстановила все в памяти, могла предположить только, что принцесса охвачена ужасной страстью, так страшно изображенной самой Юлией, как если бы предчувствие этой страсти таилось в ее собственной душе, и что принц — тот человек, кому принцесса предалась всей душой. И теперь, заключила она, Гедвигой, бог знает почему, овладела безумная мысль, будто принц любит кого-то другого, мысль эта мучит ее как неустанно преследующий призрак, и поэтому душа принцессы в ужасном смятении.

«Ах, — сказала Юлия сама себе, — добрая, милая Гедвига, как только принц Гектор вернется, ты сразу убедишься, что тебе нечего опасаться твоей подруги!»

Но когда Юлия произнесла эти слова, мысль, что принц ее любит, выступила в ее душе так ясно, что она испугалась ее силы и жизненности и почувствовала невыразимый страх: если правда то, о чем говорила принцесса, то ее, Юлии, гибель предрешена. Тогдашнее странное, отталкивающее впечатление от взгляда принца, от всего его существа снова пришло ей на ум; тогдашний страх снова пробежал по ее телу. Она вспомнила о том мгновении на мосту, когда принц, обняв ее, кормил лебедя, те замысловатые речи, какие он произносил, и как ни безобидны представлялись они ей тогда, теперь они показались ей полными глубокого значения. Она вспомнила и о зловещем сне, когда она почувствовала, как охватили ее железные руки — это принц крепко держал ее, — о том, как она, проснувшись, заметила в саду Крейсlera, и весь он стал ей понятен, и она подумала, что он защитит ее от принца.

— Нет! — громко воскликнула Юлия. — Нет! Это не так, это не может быть так, это невозможно! Это злой дух, сама преисподняя будит грешные сомнения во мне, несчастной! Нет, он не получит власти надо мной!

С мыслями о принце, о тех опасных мгновениях, где-то в потаенной глубине души Юлии зашевелилось чувство, о грозности которого можно

было догадаться только по тому, что от стыда за это чувство кровь бросилась ей в лицо и на глазах выступили горячие слезы. Благо для милой, набожной Юлии, что она обладала достаточной силой, чтобы заклясть злого духа и не дать ему утвердиться в ее сердце.

Здесь надо бы вновь повторить, что принц Гектор был самый красивый и любезный мужчина, какого только можно представить, что его искусство нравиться было основано на глубоком знании женщин, приобретенном им в жизни, полной счастливых приключений, и что именно молодая, чистая девушка могла испугаться победоносной силы его взгляда, всего его существа.

— О Иоганнес! — сказала она нежно. — О добрая, прекрасная душа! Разве не найду я у тебя обещанной мне защиты? Разве ты не утетишь меня, говоря со мной небесными звуками, что так громко отдаются эхом в моей груди?

С этими словами Юлия открыла фортепьяно и начала играть и петь любимые сочинения Крейсера. Скоро и вправду она утетила и повеселела; пение перенесло ее в другой мир; для нее больше не существовало ни принца Гектора, ни даже Гедвиги, чьи болезненные видения, должно быть, ее расстроили.

— Ну, теперь еще мою самую любимую канцонетту! — сказала Юлия и начала «Mi lagnero tacendo» ^[140], положенную на музыку столь многими композиторами. Действительно, эта песня удалась Крейсеру лучше всех. Сладостная скорбь страстного томления любви была выражена мелодией, простой и правдивой, с силой, непреодолимо захватывающей каждую впечатлительную душу.

Юлия окончила; совершенно погрузившись в мысли о Крейсере, она взяла еще несколько отрывочных аккордов, прозвучавших как эхо ее внутренних переживаний. Вдруг двери распахнулись; она взглянула туда, и, прежде чем успела подняться со стула, принц Гектор упал к ее ногам и удержал, схватив ее за руки. От внезапного ужаса она громко вскрикнула; но принц Гектор Девой Марией и всеми святыми заклинал ее успокоиться и подарить ему лишь две минуты небесного восторга видеть ее, слышать ее. Затем он стал уверять ее в выражениях, какие могли быть подсказаны только неистовством самой пылкой страсти, что он обожает ее, одну ее, что мысль о браке с Гедвигой для него ужасна, смертельна, что поэтому он хотел убежать, но вскоре, увлекаемый могуществом страсти, которая окончится только с его смертью, он вернулся, чтобы увидеть Юлию, поговорить с ней, сказать ей, что только она одна — вся его жизнь, все для него.

— Прочь! — воскликнула Юлия в безнадежном душевном смятении.
— Прочь! Вы убиваете меня, принц!

— Никогда! — воскликнул принц, в неистовстве любви прижимая руку Юлии к губам. — Никогда. Настало мгновенье, что дарует мне жизнь или смерть! Юлия, небесное дитя! Неужели ты отвергнешь меня, отвергнешь того, для кого ты — вся жизнь и блаженство? Нет, ты любишь меня, Юлия, я знаю это! О, скажи мне, что ты любишь меня, и мне разверзнутся небеса неизреченного восторга!

С этими словами принц обнял Юлию, почти потерявшую сознание от страха и ужаса, и пылко прижал ее к груди.

— Горе мне! Кто сжалится надо мной? — воскликнула Юлия, почти задыхаясь.

Тут вдруг огонь факелов осветил окна, и у двери послышались голоса. Пламенный поцелуй обжег губы Юлии. Принц исчез.

Как было сказано, Юлия вне себя бросилась навстречу матери, и та с ужасом услышала от нее, что произошло. Стараясь всеми мерами утешить бедную Юлию, советница начала уверять ее, что принца, к его позору, вытащат из потаенного убежища, где он, по-видимому, находится.

— О мама, не делай этого! — сказала Юлия. — Я погибла, если князь, если Гедвига об этом узнают... — Рыдая, она упала к матери на грудь и спрятала лицо.

— Ты права, мое милое, доброе дитя, — ответила Бенцон. — До поры до времени никто не должен знать, что принц здесь, что он преследует тебя, милая, благочестивая Юлия! Заговорщики будут вынуждены молчать. Ибо нет ни малейшего сомнения — у принца есть союзники, так как иначе он столь же мало мог бы оставаться незамеченным в Зигхартсгофе, сколь и прокрасться в наш дом. Мне непонятно, как удалось принцу выскользнуть из дому, не встретив меня и освещавшего мне дорогу Фридриха. Старого Георга мы нашли неестественно глубоко спящим; но где же Нанни?

— Горе мне, — пролепетала Юлия, — горе мне, что она сказалась больной и мне пришлось ее отослать!

— Наверное, я смогу ее вылечить, — сказала советница и быстро распахнула двери соседней комнаты. Там стояла больная Нанни, совершенно одетая; она подслушивала и теперь в страхе и ужасе упала в ноги Бенцон.

Нескольких вопросов было для советницы достаточно, чтобы узнать, что принц с помощью старого, слывшего таким верным кастеляна...

(М. пр.) ...должен был я узнать! Муций, мой верный друг, мой

сердечный брат, вследствие тяжелого ранения задней ноги испустил дух. Ужасное известие поразило меня жестоко; лишь теперь я ощутил, чем был для меня Муций. Пуф сообщил, что на следующую ночь в погребе дома, где жил мой хозяин и куда принесли тело, должны были справлять поминки. Я обещал не только быть в надлежащее время, но и позаботиться о яствах и напитках, дабы обряд свершился согласно старым благородным обычаям. Я и впрямь позаботился обо всем этом, весь день снося вниз мои обильные припасы рыбы, куриных косточек и зелени.

Для читателей, имеющих охоту до наиточнейших объяснений и посему желающих узнать, что предпринял я, дабы доставить напитки вниз, я замечу: в этом без всяких моих стараний пособила мне одна приветливая служанка. С этой служанкой я часто встречался в погребе, а также имел обыкновение посещать ее на кухне, ибо она казалась весьма расположенной к представителям моего рода и особенно ко мне, отчего мы, как только встречались, играли в самые приятные игры. Она подносила мне различные кусочки, бывшие в сущности хуже, нежели те, что получал я от хозяина, — однако я поглощал их единственно из галантности, показывая вид, будто они мне чрезвычайно пришлись по вкусу. Это весьма трогало сердце служанки, и она делала то, на что, в сущности, я метил. Иными словами, я вскакивал к ней на колени, и она так неподражаемо чесала мне голову и за ушами, что я утопал в неге и блаженстве, и весьма привык к руке, что «в будни веником метет, а в праздник лучше всех обнимет и прижмет». К этой приветливой особе и обратился я, когда она выносила из погреба большой горшок чудного молока, и выказал ей самым понятным образом свое живейшее желание удержать молоко для себя.

— Глупый Мурр, — сказала девица, которой столь же отлично было известно мое имя, как и прочим обитателям дома и даже всем соседствовавшим с нами. — Ты, разумеется, просишь молока не для себя одного, ты хочешь попотчевать друзей. Ладно, забирай молоко, серенькая шкурка! А я уж наверху достану другого. — С этими словами она поставила горшок на землю, немного погладила меня по спине, причем я изящнейшим кувырканием выказал ей свою радость и благодарность, и поднялась по лестнице из погреба наверх. Заметь себе при сем, о юный кот, что знакомство, вернее, некоторого рода сентиментально-задушевные сношения с приветливой кухаркой для молодых людей нашего рода и положенья столь же приятны, сколь и полезны.

В полночь я направился в погреб. Горестное, душераздирающее зрелище! Тело дорогого и столь любимого друга лежало посредине на катафалке, состоявшем, конечно, соответственно неизменной скромности

покойного, лишь из пучка соломы. Все коты уже собрались. Не в силах произнести ни слова, мы пожали друг другу лапы и расселись вокруг катафалка. Затем прозвучала жалобная песня, ее пронзающие сердце звуки грозно раздавались под сводами погребя. То был безутешнейший, ужаснейший скорбный плач, неслыханный вовеки, — никакое человеческое горло не смогло б его произвести.

После того как песнопение закончилось, из круга выступил красивый, благопристойно одетый в белое и черное юноша, стал у изголовья гроба и произнес нижеследующую надгробную речь, переданную им потом в письменном виде мне, хотя он произносил ее в порыве вдохновенья без всяких записок.

ТРАУРНАЯ РЕЧЬ

над гробом безвременно усопшего кота Муция, кандидата философии и истории, произнесенная его верным другом и братом котом Гинцманом, кандидатом поэзии и красноречия

*Дорогие, во печали собравшиеся братья!
Отважные, великодушные буриши!*

Что есть кот? Нечто брренное, преходящее, как и все, рожденное на земле! Ежели достоверно, как утверждают знаменитейшие врачи и физиологи, что смерть есть преимущественно полное прекращение дыхания, о, тогда наш честный друг, наш отважный брат, наш верный храбрый товарищ в беде и в радости, о, тогда наш благородный Муций воистину мертв. Зрите, вот лежит он, благородный муж, распростершись на холодной соломе. Даже легчайший вздох не сорвется с навеки умолкнувших уст. Смежены очи, сиявшие прежде злато-зеленым блистанием то нежного пламени любви, то сокрушительного гнева; смертная бледность оледенила лик; бессильно свисли уши, повис и хвост. О брат Муций, где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое звонкое радостное «мяу», увеселявшее все сердца, твое мужество, твоя стойкость, твой ум и твои шутки? Все, все похитила злая смерть! И ныне тебе и самому неясно, существовал ли ты когда или нет? А меж тем ты был олицетворением здоровья и силы, не знал телесных страданий — мнилось:

тебе суждено жить вечно! Ни единое колесико твоего внутреннего механизма не было даже повреждено! Ангел смерти не размахнулся мечом своим над твоей головой, как ежели бы механизм вдруг стал и вновь завести его было бы уже невозможно; нет, враждебное начало насильственно вторглось в твой организм и злодейски разрушило то, что процветало б еще долго. Да, еще не раз сияли б очи, еще не раз звучали б шутки и радостные песни из этих уст, из этой охладелой груди; еще не раз кольцами извивался б этот хвост, возвещая душевную крепость; еще не раз доказали бы эти могучие лапы свою силу, свое искусство отважнейшими прыжками. А ныне? О, могла ль природа позволить безвременно разрушить сотворенное ею в столь тяжких трудах на долгие времена? Или и впрямь есть некий темный дух, именуемый случаем, со злодейской, деспотической необузданностью нарушающий те соразмерные вечным началам природы ритмические колебания, кои, по-видимому, суть условия всяческого бытия? О ты, опочивший, если б ты мог поведать об этом скорбящему здесь, но живому собранию! Однако, дорогие присутствующие отважные собратья, дозвоьте мне не входить в столь глубокомысленные соображения, а предаться сетованиям о столь преждевременно утраченном друге Муции!

У надгробных проповедников есть обыкновение представлять присутствующим полное жизнеописание усопшего с превозносительными добавлениями и замечаниями, и это обыкновение весьма похвально, ибо оно навевает на самого опечаленного слушателя скуку и отвращение; а как явствует из опыта и свидетельств испытаннейших психологов, скука наилучшим образом разрушает всякую печаль, и таким образом надгробный проповедник сразу исполняет обе свои обязанности: воздает должную хвалу усопшему и утешает покинутых им. Тому немало примеров, и неудивительно, что самые удрученные скорбью уходят домой довольные и веселые, ибо, радуясь избавленью от мук надгробной речи, они легко переносят утрату отошедшего в лучший мир. Дорогие собравшиеся здесь братья, сколь охотно последовал бы я достохвальному, испытанному обыкновению, сколь охотно представил бы и я вам полное, обстоятельное жизнеописание опочившего друга и брата и обратил бы вас из котов опечаленных в котов довольных, но это невозможно, это поистине невозможно. Внемлите, дорогие возлюбленные братья, когда я говорю вам, что о самой жизни усопшего, о рождении, воспитании и дальнейшей его карьере я не знаю почти ничего, посему я мог бы преподносить вам лишь побасенки, неподобающие серьезности сего места, у тела опочившего, и торжественности нашего расположения духа. Не обессудьте, братья! Вместо этой длинной, скучной болтовни я хочу просто сказать в

нескольких словах, как скверно кончил этот бедняга, который лежит здесь пред нами окоченелый и мертвый, и каким честным славным парнем был он при жизни! Но, о небо, я сбился с тона и правил красноречия, хотя я и кандидат этой науки, и надеюсь, если судьбе будет угодно, сделаться professor poeseos et eloquentiae! [\[141\]](#)

(Гинцман умолк, почистил правой лапкой уши, лоб, нос и усы, долго созерцал недоуменным взглядом тело, откашлялся, снова провел лапкой по лицу и, повысив голос, продолжал.)

О горький рок, о злая смерть! Зачем столь жестоко настигла ты в цвете лет усопшего юношу? Братья, каждый оратор обязан до тошноты повторять своим слушателям то, что им уже давно известно, посему и я говорю, что, как всем вам известно, брат, отошедший в мир иной, пал жертвой яростной ненависти шпицев-филистеров. Туда, на ту крышу, где прежде увеселялись мы, где царили мир и радость, где звонкие песни оглашали окрестность, где лапа об лапу и сердце к сердцу мы составляли единое целое, туда хотел он пробраться, дабы в тихом уединении отметить со старостой Пуфом память этих прекрасных дней — истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже миновавших; но шпицы-филистеры, кои преследуют все попытки возродить наш веселый кошачий союз, поставили капканы в темном углу чердака; в один из них и попался злосчастный Муций, разможил себе заднюю ногу и — должен был умереть! Болезненны и опасны раны, наносимые филистерами, ибо филистеры пользуются всегда оружием тупым и зазубренным. Но, сильный и могучий по природе своей, наш друг, отошедший в лучший мир, мог бы невзирая на опасные раны подняться исцеленным; однако сознавать свое поражение, нанесенное презренными шпицами, видеть себя поверженным во прах на самой вершине блистательного поприща, постоянно помышлять о позоре, всеми нами испытанном, — оказалось не под силу навсегда ушедшему, и глубокая, невыносимая скорбь сокрушила его. Он отверг все необходимые перевязки, отверг лекарства, — говорят, он умереть хотел!

(Я, все мы при этих последних словах Гинцмана ощутили горестную боль и разразились такими жалобными воплями и криками, что скалы и те б смягчились. Когда мы несколько успокоились и могли слушать, Гинцман с пафосом продолжал.)

О Муций, обрати свой взор на нас, здесь стоящих, на слезы,

проливаемые нами по тебе, усопший кот, услышь безутешные стенания по тебе, нами возносимые! Да! Взгляни на нас сверху или снизу, как тебе ныне удобнее, да пребудет дух твой меж нас, ежели только ты еще им располагаешь, ежели то, что обитало внутри тебя, не использовано в ином месте! Братья, как я уже сказал, я придержу язык насчет биографии покойного, так как я ничего о ней не знаю, но тем живее в моей памяти его превосходные качества, и я хочу, о возлюбленные братья мои, сунуть их вам под нос, дабы вы восчувствовали в полной мере ужасную утрату, кою вы претерпели со смертью дивного кота! Внемлите вы, о юноши, намеренные никогда не сворачивать со стези добродетели! Внемлите! Муций был — как, увы, лишь немногие в этой жизни — достойный член кошачьего общества! Добрый и верный супруг, превосходный любящий отец, ревностный поборник правды и справедливости, неутомимый благодетель, опора бедных, верный друг в нужде.

Достойный член кошачьего общества? — Да! Ибо он всегда выказывал наилучший образ мыслей и был даже готов понести некоторые жертвы, если все отвечало его желаниям, а враждовал единственно лишь с теми, кто ему перечил и не покорялся его воле. Добрый и верный супруг? — Да! Ибо он устремлялся за другими кошками лишь тогда, когда они были красивее и моложе его супруги и когда его увлекало к тому непреодолимое желание. Превосходный, любящий отец? — Да! Ибо никогда не было слыхано, чтобы он имел обыкновение, подобно грубым бессердечным отцам нашего рода, когда на них нападает особый аппетит, закусывать кем-либо из своих малюток — напротив, он рад был, что мать уносила их всех с собою и он более ничего не знал о том, где они обретаются.

Ревностный поборник правды и справедливости? — Да! Ибо он жизнь свою положил бы за них, но оттого, что жизнь дана нам лишь однажды, он не слишком о них пекся, а стало быть, нельзя и пенять на него. Неутомимый благодетель, опора бедных? — Да! Ибо из года в год он в канун Нового года выносил во двор бедным братьям, нуждающимся в пропитании, селедочный хвостик или несколько тонких косточек, и, свершив этим свой долг, как достойный друг кошачества, он справедливо рычал на тех нуждающихся котов, которые домогались от него еще чего-то. Верный друг в нужде? — Да! Ибо, впав в нужду, он не отвергал тех из своих друзей, которых до этого оставлял в небрежении или вовсе забывал об их существовании.

Усопший брат наш! Что сказать мне о твоей доблести, о твоём высоком, светлом чувстве ко всему прекрасному и благородному, о твоей учености, о твоём художественном вкусе, о тысячах добродетелей, в тебе

сочетавшихся? Что скажу я, что сказать мне об этом, не усилив тем многократно нашу справедливую скорбь о вашем горестном сошествии в иной мир? Друзья мои, растроганные братья! — ибо мне удалось, к немалому моему удовольствию, заставить вас то и дело трогаться с мест, как я замечаю по вашим недвусмысленным движениям, — итак, растроганные братья, возьмем в образец опочившего, дабы идти вослед его достойным стопам! Уподобимся в совершенстве покойному, и мы также обретем во смерти покой истинно мудрого, воссиявшего всеми добродетелями кота, подобно усопшему.

Зрите ж, сколь мирно покоится он, не шевеля даже лапой, сколь бессильна моя хвала его совершенствам вызвать у него хотя б малейшую улыбку удовольствия! Однако смею заверить вас, скорбящие братья, что и горчайшее порицание, злейшие, оскорбительнейшие поношения одинаковым образом не возмутили б сон опочившего; даже сам дьявольский шпиц-филистер, коему он прежде незамедлительно выдрал бы оба ока, мог бы вступить в этот круг, нимало не приведя его во гнев, не потревожив его кроткого, сладостного покоя.

Превыше похвал и порицаний, превыше всяческой вражды, всяческих насмешек, всяческих лукавых глумлений и поношений, превыше превратной суеты житейской вознесся ныне наш дивный Муций; нет у него более для друга ни приятной улыбки, ни пламенного объятия, ни честного пожатия лапы, но зато нет и когтей, нет и зубов для врага. Своими добродетелями он достиг в смерти покоя, коего тщетно алкал в жизни. Однако сдается мне, что все мы здесь сидящие и завывающие о друге найдем покой, не превращаясь в подобный ему образец всех добродетелей, и что, конечно, есть иное побуждение к совершенствованию, чем стремление к покою смерти. Но это только предположение, которое я предоставляю вам для дальнейшей обработки.

Только что я вознамерился вселить в вас мысль о том, чтобы вы всю вашу жизнь посвятили главным образом тому, как научиться столь же прекрасно испустить дух, как друг Муций; но, пожалуй, я этого не сделаю, ибо вы можете противопоставить мне разные сомнения. А именно, я полагаю, вы можете мне возразить, что покойному тоже нужно было бы научиться быть осторожным и избегать капканов, дабы не умереть преждевременно. И потом, я вспоминаю, как один весьма юный котенок-школьник на увещание учителя, что кот должен употребить всю свою жизнь на то, чтобы научиться умереть, довольно дерзко возразил, что это не может быть слишком трудным делом, ибо оно каждому удастся с первого раза! Посвятим же теперь, о горестные юноши, несколько

мгновений тихому созерцанию!

(Гинцман умолк и опять провел правой лапой по ушам и лицу; потом он, плотно зажмурив глаза, вероятно, погрузился в глубокие размышления. Наконец, когда это слишком затянулось, староста Пуф толкнул его и прошептал: «Гинцман, не иначе как ты заснул? Сделай милость, кончай свою речь! Ведь мы все чертовски проголодались!» Гинцман поднялся, снова стал в изящную ораторскую позу и продолжал.)

Дорогие мои братья! Я надеялся извлечь еще несколько возвышенных мыслей и блестяще закончить свою торжественную речь; но мне ничего не приходит в голову. Я думаю, что от сильной скорби, которую я силился ощутить, я несколько оступел. Позвольте поэтому считать мою речь, которой вы не сможете отказать в полнейшем одобрении, законченной. Теперь же споем наше обычное «De — или Ex profundis» [\[142\]](#).

Так закончил благовоспитанный юноша свою надгробную речь; хотя она показалась мне в риторическом смысле весьма гладкой и впечатляющей, все же многое в ней я нашел излишним. Мне показалось, что Гинцман старался скорее выказать свой блистательный ораторский талант, чем воздать честь бедному Муцию после его печальной кончины. Все, что он говорил, совсем не подходило к другу Муцию, простому, бесхитроустному, честному коту с душой доброй и верной, как я имел случай убедиться. Кроме того, воздаваемые Гинцманом похвалы были весьма двусмысленны, и оттого, собственно, речь после ее произнесения мне не понравилась, но, пока оратор говорил, меня подкупали его изящество и его бесспорно выразительная декламация. Староста Пуф, казалось, был того же мнения; мы обменялись взглядами, в которых сквозило согласие относительно речи Гинцмана.

Как повелевало заключение речи, мы запели «De profundis», звучавшее, если возможно, еще более горестно и душераздирающе, чем ужасная погребальная песнь перед речью. Известно, что певцы нашего рода превосходно владеют могучими выражениями глубочайшей скорби и безнадежнейшего горя, будь ли то жалобы страстно тоскующей или поруганной любви или сетования о дорогом умершем; даже холодное и бесчувственное существо — человек бывает глубоко потрясен этим пением и облегчает свою стесненную душу только крепким проклятием. Когда «De profundis» окончилось, мы подняли тело покойного кота и опустили в глубокую могилу, вырытую в углу погребя.

Но в это мгновение случилось нечто самое неожиданное и самое трогательное во всей похоронной церемонии. Три кошечки-девушки, прекрасные как день, подбежали к открытой могиле и стали бросать в нее картофельную и петрушечную ботву, а четвертая, старшая, исполняла при этом простую и сердечную песню. Мелодия была мне известна; если не ошибаюсь, текст песни, откуда был взят мотив, начинается словами «О елочка, о елочка!» и т. д. Это были, как мне шепнул на ухо староста Пуф, дочери умершего Муция, справлявшие таким образом поминки по своему отцу.

Я не мог отвести глаз от певицы. Она была прелестна; звук ее сладостного голоса, трогательная глубоко чувствительная мелодия траурной песни увлекли меня совершенно. Я не мог сдержать слез. Однако скорбь, которую исторгла песнь у меня, была скорбь совсем особая, странная, ибо она даровала мне сладчайшую отраду.

Прямо скажу — все мое сердце рвалось к певице. Мне казалось, никогда не видел я молодой кошки столь грациозной, со столь благородной осанкой и взором, короче, столь neodолимой красоты.

Четыре дюжих кота наскребли когтями как можно бельцу песку и земли и с трудом засыпали могилу; церемония закончилась, и мы поспешили к столу. Прекрасные, грациозные дочери Муция хотели удалиться. Но мы не допустили этого; напротив, им пришлось участвовать в поминальной трапезе, и я оказался столь ловок, что повел прекраснейшую к столу и уселся бок о бок с ней. Если ранее меня ослепила ее красота, очаровал ее сладостный голос, то теперь ее светлый, ясный разум, ее искренность, нежность чувств, ее душа, источавшая сияние чистой, скромной женственности, вознесли меня на небеса высочайшего восторга. В ее устах, в ее сладостных речах все облекалось особой волшебной прелестью; ее разговор был грациозной, нежной идиллией. Так, например, она с жаром рассказывала о молочной каше, которую она вкушала за несколько дней до смерти отца, и когда я вставил, что у моего хозяина готовят эту кашу отлично, заправляя ее как следует маслом, она посмотрела на меня своими скромными глазами голубки, излучавшими зеленые стрелы, и спросила тоном, потрясшим мне сердце:

— О сударь, наверное... наверное, вы очень любите молочную кашу? С маслом! — повторила она немного спустя, как бы погружаясь в мечтательные грезы.

Кто не знает, что красивых, цветущих девушек семи или восьми месяцев от роду — а прекраснейшей, вероятно, столько и было — ничто так не украшает, как легкий оттенок мечтательности, вернее, эта

мечтательность часто совершенно неотразима. Должно быть, поэтому так и получилось, что, воспламененный любовью, я пылко сжал лапку прелестнейшей и громко воскликнул:

— Ангельское дитя, завтракай со мной молочной кашей, и я не променяю своего счастья ни на какое блаженство в мире!

Она казалась смущенной и, краснея, опустила глазки долу, но оставила свою лапку в моей, что возбудило во мне прекраснейшие надежды. Я однажды слышал, как гость моего хозяина, уже пожилой господин, если не ошибаюсь, адвокат, говорил, что для молоденькой девушки очень опасно долго оставлять свою руку в руке мужчины, потому что он по праву может принять это за *traditio brevi manu* [\[143\]](#) и основать на этом всяческие притязания, которые потом нелегко отклонить. У меня была великая охота к подобным притязаниям, и я собрался было предъявить их, но наш разговор был прерван возлиянием в честь покойного.

Меж тем три младших дочери покойного Муция вызвали восхищение всех котов своим веселым нравом и игривой наивностью. Яства и напитки уже заметно уменьшили боль и скорбь, общество становилось все веселее и оживленнее. Шутили, смеялись, и, когда убрали со стола, строгий староста Пуф предложил немного потанцевать. Мигом было расчищено место, три кота настроили свои голоса, и вскоре воскресшие к жизни дочери Муция лихо запрыгали и завертелись с юношами.

Я ни на шаг не отходил от прекраснейшей; я пригласил ее на танец, она подала мне лапку — мы понеслись в рядах танцующих. Ее дыхание касалось моей щеки, моя грудь трепетала, прикасаясь к ее груди, я крепко обнял ее очаровательный стан! Ах, блаженные, небесно блаженные мгновенья!

Когда мы станцевали два-три тура, я отвел прекраснейшую в угол погребка и, как велит галантный обычай, угостил ее всеми прохладительными напитками, какие только можно было достать, ибо собрание, собственно, было затеяно не для танцев. Теперь я дал волю своим чувствам. Я то и дело прижимал ее лапку к моим губам и уверял ее, что я был бы счастливейшим из смертных, если бы она захотела хоть чуточку полюбить меня.

— Несчастный! — раздался вдруг голос за самой моей спиной. — Несчастный, на что посягаешь ты? Ведь это дочь твоя, Мина!

Я затрепетал, ибо сразу понял, чей это голос, — то была Мисмис!

Как причудливо играл со мною случай; в тот миг, когда, казалось, я вовсе позабыл о Мисмис, мне открыли, что я воспылал любовью к моей собственной дочери, чего я не мог и предчувствовать! Мисмис была в

глубоком трауре; я не знал, что мне обо всем этом и думать.

— Мисмис, — спросил я нежно, — что привело вас сюда? Почему вы в трауре? И — о боже! — эти девушки — сестры Мины?

Тогда я узнал нечто необычайное: мой ненавистный, черно-серо-желтый соперник, побежденный в том смертельном поединке благодаря моей рыцарской доблести, немедленно оставил Мисмис и скрылся неведомо куда. Тогда Муций попросил ее руки, и она ему охотно отдала ее; совершенное умолчание Муция об этом обстоятельстве делало ему честь и доказывало нежность его чувств; итак, те веселые наивные кошечки приходились Мине только сводными сестрами.

— О Мурр, — нежно воскликнула Мисмис, рассказав мне обо всем случившемся. — О Мурр, ваше дивное сердце ошиблось только в чувстве, переполнившем его. Любовь нежнейшего отца, а не страстного любовника пробудилась в нем, когда вы увидели нашу Мину. Нашу Мину! О, сколь сладостное слово! Мурр, можете ли вы, услышав его, оставаться бесчувственным? Неужто в вашей душе погасла вся любовь к той, которая так сердечно вас любила и — о небо! — любит вас и сейчас, ибо она осталась бы верной вам до самой смерти, если б не вмешался другой и не совратил бы ее своим гнусным искусством обольщения? О слабость, твое имя Кошка! Так думаете вы — я знаю, — но разве не в том добродетель Кота, чтобы прощать слабую Кошку? Мурр, вы видите меня согбенной, безутешной от потери третьего нежного супруга; но в этой безутешности снова вспыхивает во мне любовь, что была прежде моим счастьем, моей гордостью, моей жизнью! Мурр, услышьте мое признание: я все еще люблю вас, и я думала снова с вами повенча... — Слезы сдавили ей горло.

Вся эта сцена была для меня весьма мучительна. Мина сидела неподалеку, бледна и прекрасна, как первый снег, порой целующий осенью последние цветы и тотчас тающий горькой водою.

(Примечание издателя: Мурр! Мурр! Уже опять плагиат! В «Чудесной истории Петера Шлемиля» герой книги описывает свою возлюбленную, по имени тоже Мина, теми же словами.)

Молча рассматривал я их обеих, мать и дочь; дочь нравилась мне бесконечно более, и так как у нашего рода ближайшие родственные отношения никаких законных препятствий к браку не... Меня выдал, вероятно, мой взор, ибо Мисмис, казалось, отгадала мои сокровеннейшие мысли.

— Варвар! На что замышляешь ты посягнуть? — воскликнула она и,

быстро подпрыгнув к Мине, пылко ее обняла и привлекла к себе на грудь. — Как? Ты не страшишься обесчестить это любящее тебя сердце и совершать одно преступление за другим?

Хоть я и не очень-то понял, какие претензии ко мне были у Мисмис и в каких преступлениях она могла меня упрекнуть, но все же счел за лучшее сделать хорошую мину при плохой игре, дабы не расстраивать ликование, которым завершились поминки. Посему я уверил бывшую совершенно вне себя Мисмис, что единственно неизреченное сходство Мины с нею ввело меня в заблуждение, и я полагаю, что мою душу воспламенило то самое чувство, которое я берег для нее, для все еще прекрасной Мисмис. Она вскоре осушила свои слезы, уселась рядом со мной и завела такой непринужденно-доверчивый разговор, как будто между нами никогда не было никаких раздоров. Вдобавок юный Гинцман пригласил прекрасную Мину на танец, так что можно вообразить, в каком неприятном, мучительном положении я находился.

К счастью для меня, старшина Пуф увел Мисмис на заключительный танец, ибо иначе мне пришлось бы выслушивать еще бог весть какие странные предложения. Я тихо-тихо выкрался из погреба наверх и подумал: «Утро вечера мудренее».

В этих поминках я усматриваю поворотный пункт, заключивший мои месяцы ученья; отныне я вступил в другой круг жизни.

(Мак. л.) ...заставило Крейсlera спозаранку отправиться в покои аббата. Он застал достопочтенного отца как раз, когда тот с топором и долотом в руке занимался расколачиванием большого ящика, где, судя по его форме, вероятно, была запакована картина.

— А! — воскликнул аббат навстречу входящему Крейслеру. — Хорошо, что вы пришли, капельмейстер! Вы сможете помочь мне в этой трудной работе. Ящик забит таким множеством гвоздей, как будто его заколачивали навечно. Он прислан прямо из Неаполя, и в нем есть картина, которую я хочу пока повесить в моем кабинете и не показывать братьям. Поэтому я никого не хотел звать на помощь; но вам теперь придется мне помочь, капельмейстер!

Крейслер принялся за дело, и немного погодя прекрасная большая картина в великолепной позолоченной раме была вызволена из ящика. К удивлению капельмейстера, место над маленьким алтарем в кабинете аббата, где раньше висела прелестная картина Леонардо да Винчи, изображавшая святое семейство, теперь пустовало. Аббат считал это полотно одним из лучших в его богатом собрании оригиналов старых

мастеров, и все же это мастерское произведение должно было уступить место новой картине; Крейслер с первого взгляда признал ее замечательную красоту, его поразила ее новизна.

С большим трудом аббат и Крейслер укрепили картину при помощи больших винтов на стене, после чего святой отец отошел подальше, чтобы удобней было смотреть на полотно, и стал разглядывать его с таким сердечным удовольствием, с такой видимой радостью, что казалось, будто, помимо и впрямь достойной удивления живописи, тут есть еще какой-то особый интерес. Темой картины было чудо. Окруженная небесным сиянием Святая Дева в левой руке держала лилию; а указательным и средним пальцами правой руки прикасалась к обнаженной груди какого-то юноши, и было видно, как из открытой раны под ее пальцами густыми каплями выступает кровь. Юноша приподнялся с ложа, на котором он был распростерт, — казалось, он пробудился от смертного сна. Глаза его еще были закрыты, но просветленная улыбка на прекрасном лице показывала, что он видит Божью мать в блаженном сне, она унимает боль его ран, и смерть утрачивает над ним свою власть. Каждый знаток подивился бы правильности рисунка, искусному расположению группы, верному распределению света и тени, великолепно написанным одеждам, высокой прелести облика Марии, а особенно жизненности красок, большей частью не дающейся новейшим художникам. Однако ярче и поразительнее всего истинный гений художника открывался в непередаваемом выражении лиц. Мария была самой прекрасной и привлекательной женщиной, какую только можно было представить, и все же ее высокий лоб был озарен властным небесным величием, ее темные глаза сияли мягким блеском неземной благодати. Небесный экстаз пробуждающегося к жизни юноши также был схвачен художником с редкой силой творческого духа. Крейслер и впрямь не знал ни одного произведения новейшего времени, которое можно было бы поставить рядом с этой дивной живописью. Он высказал свои мысли аббату, подробно распространяясь об отдельных красотах полотна, и потом добавил, что едва ли художники новейшего времени произвели что-нибудь более совершенное.

— На это есть веские основания, капельмейстер, — сказал аббат улыбаясь. — И какие — вы сейчас узнаете. Странная вещь получается с нашими молодыми художниками. Они учатся и учатся, изобретают, рисуют, делают громадные картоны, а в конце концов выходит нечто мертвое, застывшее, не способное вторгнуться в жизнь, ибо оно само безжизненно. Вместо того чтобы тщательно копировать творения великого мастера, избранного ими себе в пример и образец, и таким путем проникать в его

самобытный дух, наши молодые художники хотят сами мигом сделаться мастерами и писать точь-в-точь, как он, но от этого только впадают в мелочную подражательность, выставляющую их в столь же смешном и ребячливом виде, что и тех людей, которые, желая уподобиться великому человеку, стараются, как он, откашливаться, картавить и ходить ссутулясь. Нашим молодым художникам недостает истинного вдохновения, только оно одно способно вызвать картину из глубины души и открыть ее взору художника во всем блеске и всей полноте жизни. Сколько из них тщетно мучатся, чтобы обрести то возвышенное расположение духа, без которого не создается ни единое творение искусства. Однако то, что бедняги считают истинным вдохновением, возвышавшим ясный и спокойный дух старых мастеров, — есть лишь странная смесь высокомерного восхищения своими собственными замыслами и боязливой, мучительной заботы: а как бы не отклониться в исполнении от старых образцов даже в ничтожнейших мелочах. Вот и получается, что образ, сам по себе живой, которому жить бы и жить светлой радостной жизнью, превращается в отвратительную гримасу. Молодые наши художники не в силах довести возникшие в их душе образы до ясной выразительности. Быть может, это происходит оттого, что при всем своем умении они все же слабы в красках? Словом, в лучшем случае они рисовальщики, но никак не живописцы. Неправда, будто знание красок и обращения с ними навеки утрачено и будто молодым художникам недостает прилежания. Что касается первого, то это немыслимо, ибо искусство живописи с начала христианства, когда оно впервые стало подлинным искусством, никогда не покоилось на месте — напротив: от мастера к ученику, от ученика к мастеру образуется непрерывный движущийся ряд, и хотя это движение мало-помалу привело к отклонениям от истинного искусства, оно никак не могло повлиять на передачу технического умения. А что до прилежания, то наших художников можно упрекнуть скорее в его избытке, нежели в недостатке. Я знаю одного молодого художника, который, когда картина у него уже начинает получаться, до тех пор переписывает ее и переписывает, покуда все не исчезает в тусклом свинцовом тоне, и, быть может, только тогда она отвечает его внутренним замыслам, ибо образы его не в силах обрести полноты живой жизни.

Взгляните сюда, капельмейстер, вот картина, дышащая истинной дивной жизнью, ибо ее создало истинное благочестивое вдохновение. Само чудо вам ясно. Юноша, приподнявшийся на ложе, брошен убийцами совершенно беспомощным, обречен на смерть, и теперь он, прежде безбожник, в адском безумии презиравший заповеди церкви, — теперь он

громко взмолился Пресвятой Деве о помощи, и небесная богоматерь соблагОВОЛИЛА спасти его от смерти для того, чтобы он еще жил, узрел свои заблуждения и посвятил бы себя с благочестивой преданностью служению церкви. Этот юноша, кому посланница небес даровала столь великую милость, и есть художник, создавший картину.

Крейслер высказал аббату свое немалое удивление и заключил, что чудо, должно быть, произошло в новейшие времена.

— И вы, — заметил кротко и ласково аббат, — и вы, дорогой мой Иоганнес, также придерживаетесь безрассудного мнения, будто врата небесной милости ныне закрыты, будто сострадание и милосердие в образе святого, к кому отчаянно взывает угнетенный человек в великом страхе перед погибелью, более не странствуют по земле, дабы явиться страждущему и принести ему мир и утешение? Поверьте мне, Иоганнес, никогда не прекращались чудеса; но человеческое око ослеплено греховным безбожием; оно не может выдержать неземного сияния небес, и оттого ему недоступно познание небесной благодати, когда она возвещает о себе видимым знамением. И все же, дорогой мой Иоганнес, самые дивные божественные чудеса случаются в сокровенной глубине человеческой души, и об этих чудесах всеми силами своими и должен возвещать человек словом, звуком и красками. Об этом-то и возвестил дивно монах, написавший это полотно, возвестил о чуде своего обращения, и именно так — Иоганнес, я говорю о вас, и это вырывается у меня из самого сердца, — именно так возвещаете вы из сокровенных глубин вашей души могучими звуками о дивном чуде познания вечного, чистейшего света. И то, что вы в силах это сделать, разве не есть благодатное чудо, явленное предвечным для вашего спасения?

Крейслер почувствовал себя странно взволнованным словами аббата и — что редко с ним бывало — проникся полной верой в свою внутреннюю творческую силу; чувство блаженной отрады охватило его.

Меж тем он не мог отвести взгляда от чудесной картины, и, как это часто бывает, особенно в таких случаях, когда, увлеченные сильными световыми эффектами переднего или среднего плана, мы только потом открываем фигуры на темном заднем плане, Крейслер лишь теперь заметил фигуру человека в широком плаще, убегавшего через двери. Один из лучей сияния, окружавшего небесную царицу, падал на кинжал в руке человека и тем самым как бы изобличал в нем убийцу. Лицо его, повернутое к зрителю, было искажено выражением беспредельного ужаса.

Крейслера будто молния поразила: в облике убийцы он узнал черты принца Гектора; ему показалось, что и пробуждающегося к жизни юношу

он уже где-то видел, хотя и очень мимолетно. Какой-то ему самому непонятный страх удержал его, и он ничего не сказал об этом аббату; но все же спросил его, не считает ли он неподходящим и нарушающим эффект то, что художник расположил на заднем плане, хотя и в тени, предметы современного обихода и, как только теперь он заметил, одел пробуждающегося юношу, то есть самого себя, в современное платье.

Действительно, на заднем плане картины, сбоку, стоял маленький стол и рядом с ним стул, на спинке стула висела турецкая шаль, а на столе лежала офицерская шляпа с султаном и сабля. На юноше была современная сорочка с воротником, расстегнутый сверху донизу жилет и темный, тоже совсем расстегнутый сюртук, своеобразный покрой которого позволял ему ложиться мягкими складками. Небесная царица была одета как обычно на картинах лучших старых мастеров.

— Меня, — ответил аббат на вопрос Крейсlera, — меня несколько не возмущает стаффаж на заднем плане, так же как и сюртук юноши, — напротив, я полагаю, что если бы художник, хотя бы в ничтожнейших мелочах, отклонился от истины, им владела бы не благодать небесная, а мирская суетность и безумство. Он должен был изобразить чудо так, как оно действительно свершилось, соблюдая верность месту, обстановке, одежде действующих лиц и так далее. Каждый видит из этого, что чудо совершилось в наши дни, и таким образом картина благочестивого монаха стала одним из прекраснейших трофеев победоносной церкви в наше время неверия и испорченности.

— И все-таки, — сказал Крейслер, — эта сабля, эта шаль, этот стол и стул мне не по душе, и я хотел бы, чтобы художник убрал этот стаффаж с заднего плана и набросил бы на себя хитон вместо сюртука. Скажите сами, ваше высокопреподобие, могли бы вы представить себе священную историю в современных костюмах, святого Иосифа во фризском сюртуке, спасителя во фраке, Деву Марию в платье со шлейфом и с турецкой шалью, накинутой на плечи? Не показалось бы вам все это недостойной, даже отвратительной профанацией чего-то самого возвышенного? И все же старые, особенно немецкие мастера изображали все библейские истории в костюмах своего времени, а было бы совершенно неверно утверждать, что те одежды больше подходили для живописного изображения, чем нынешние, которые, за исключением некоторых женских платьев, довольно нелепы и совсем неживописны. Ведь мода старых времен доходила, сказал бы я, до крайностей, до чудовищных преувеличений; стоит только вспомнить о туфлях с аршинными, загнутыми кверху носками, о раздувающихся шароварах, о разрезных камзолах и рукавах и так далее. А

уж совершенно невыносимо обезображивали фигуры и лица многие женские наряды, которые можно видеть на старых картинах, где молодые цветущие девушки, писанные красавицы, единственно из-за наряда, выглядят старыми, угрюмыми матронами. Однако эти картины никого не отталкивали.

— Дорогой мой Иоганнес, — ответил аббат, — теперь мне будет легко в нескольких словах показать вам отличие старых набожных времен от испорченных нынешних. Видите ли, тогда истории Священного писания так проникли в человеческую жизнь, вернее, сказал бы я, жизнь так зависела от них, что всякий верил: чудесное совершается у него на глазах и всемогущее небо может во всякое время повелеть свершиться новому чуду. Таким образом, Священное писание, к которому обращал набожный художник свой духовный взор, представало перед ним жизнью вполне современной; он видел, как порою являлась небесная благодать меж людей, его окружавших, и он запечатлевал их на полотне такими, какими наблюдал в жизни. Для нынешних дней истории Священного писания — нечто весьма далекое, они как бы существуют сами по себе и, отрешенные от настоящего, сохраняют тусклую жизнь только в воспоминанье; тщетно стремится художник увидеть их в жизни, ибо — пусть он даже и не признается в этом себе самому — его дух осквернен суетой мирскою. Посему пошло и смеха достойно и когда порицают старых мастеров за незнание костюмов, в котором находят причину тому, что на своих картинах они представляли только наряды своего времени, и когда молодые художники стараются облечь святых в безрассуднейшие и противнейшие вкусу наряды Средневековья, показывая тем, что они не созерцали непосредственно в жизни события, которые замыслили изобразить, а удовольствовались их отражением на картинах старых мастеров. Именно потому, дорогой Иоганнес, что нынешнее время слишком осквернено и находится в омерзительном несоответствии со всеми этими благочестивыми преданиями, именно потому, что никому не под силу представить себе эти чудеса происходящими среди нас, — именно потому их изображение в наших нынешних костюмах казалось бы нам, разумеется, безвкусным, безобразным и даже богохульственным. Но ежели всемогущий соизволит, чтоб пред нашими очами и вправду свершилось чудо, то было б вовсе непозволительно переиначивать одежды нашего времени. Так же нынешним молодым художникам, ежели они хотят обрести почву под ногами, должно думать о том, чтобы, изображая давние события, соблюдать всю доступную им верность в одеждах тогдашней поры. Прав, повторяю я снова, прав творец этой картины, обозначая в ней приметы

нынешнего времени, и как раз этот стаффаж, что вы, дорогой Иоганнес, нашли неподходящим, наполняет меня священным набожным трепетом, ибо я воображаю самого себя вступающим в тесные покои дома в Неаполе, где всего лишь несколько лет тому назад было сотворено чудо и этот юноша пробудился от вечного сна.

Слова святого отца натолкнули Крейсlera на размышления: капельмейстер вынужден был признать во многом правоту аббата; и все же он полагал, что о высокой набожности старого времени и испорченности теперешнего аббат говорит уж слишком как монах, требующий знамений, чудес, озарений и действительно созерцающий их, тогда как благочестивое детское чувство, чуждое судорожному экстазу дурмнящего культа, не нуждается в них, чтобы упражняться в истинно христианской добродетели; а эта-то добродетель ничуть не исчезла с земли. Если бы это и вправду случилось, то всемогущий, отказавшись от нас и предав нас полному произволу мрачного демона, не пожелал бы тогда никакими чудесами возвращать нас на правильный путь.

Но обо всех этих размышлениях Крейслер не поведал аббату и молча продолжал рассматривать картину. И чем внимательнее он глядел на нее, тем яснее выступали черты убийцы на заднем плане. Крейслер убедился, что живой оригинал картины был не кто иной, как принц Гектор.

— Мне кажется, ваше преподобие, — начал Крейслер, — там на заднем плане я вижу отважного вольного стрелка, он метит в благородную дичь, то есть в человека, и он травит его на разный манер. На сей раз он, как я вижу, взял в руки отличный, прекрасно отточенный стальной капкан и не промахнулся; но с огнестрельным оружием он явно не в ладах, потому что не так давно, устроив охоту на резвого оленя, он жестоко промазал. Право, мне очень хочется знать curriculum vitae [\[144\]](#) этого решительного охотника или хотя б фрагменты его, могущие указать, где, собственно, мне надлежит быть, и не лучше ли мне прямо обратиться к Пресвятой Деве за охранной грамотой.

— Дайте только срок, капельмейстер! — сказал аббат. — Меня удивило бы, если бы в скором времени не разъяснилось многое, теперь еще скрытое за туманной завесой. Ваши желания, о которых я узнал только теперь, могут исполниться самым радостным образом. Странно — да, уж столько-то я могу вам сказать, — довольно странно, что в Зигхартсгофе так грубо ошибаются в вас. Маэстро Абрагам, вероятно, единственный, кто понял вашу душу.

— Маэстро Абрагам? — воскликнул Крейслер. — Вы знаете старика, ваше преподобие?

— Вы забыли, — ответил аббат улыбаясь, — что наш прекрасный орган своим новым эффектным устройством обязан искусству маэстро Абрагама. Но довольно об этом! Будем терпеливо ждать того, что принесет нам грядущее.

Крейслер распрощился с аббатом; он устремился в парк, чтобы отдаться разным нахлынувшим на него мыслям; но когда он уже спускался с лестницы, он услышал, как кто-то его позвал: «Domine, domine Capellmeistere, paucis te volo!» ^[145] Это был отец Гиларий, уверявший, что он с величайшим нетерпением ожидал конца долгого совещания Крейслера с аббатом. Он только что из погреба, где исполнял обязанности келаря и кстати раздобыл божественнейшего многолетнего вюрцбургского вина. Совершенно необходимо, чтоб Крейслер тотчас же осушил бокал за завтраком и убедился, что этот благородный напиток укрепляет дух и сердце, горит огнем в жилах и бесспорно создан для такого достойного композитора и превосходного музыканта, как Крейслер. Капельмейстер знал, что попытка ускользнуть от воодушевленного этой идеей отца Гилария была бы напрасной, и к тому же при охватившем его настроении он и сам был не прочь насладиться стаканом доброго вина. Поэтому он последовал за веселым келарем, приведшим его в свою келью, где на маленьком, покрытом чистой салфеткой столике Крейслера уже ожидала бутылка благородного напитка, свежий белый хлеб, соль и тмин.

— Ergo bibamus! — воскликнул отец Гиларий, налил вино в изящные зеленые бокалы и весело чокнулся с капельмейстером. — Не правда ли, — начал он, когда бокалы были осушены, — не правда ли, капельмейстер, его преподобие охотно околпачил бы вас монашеским клобуком? Не поддавайтесь, Крейслер! Мне в рясе неплохо, и я ни за что не хотел бы ее снять, однако *distinguendum est inter et inter!* Для меня добрый стакан вина да порядочное церковное пение — это все; но вы — вы! Ведь вы предназначены совсем для другого! Вам еще улыбается жизнь совсем по-иному; вам еще светят огни совсем другие, чем алтарные свечи! Ну, Крейслер, короче говоря, чокнемся! *Vivat* ваша милая, и когда вы устроите свадьбу, то как бы ни сердился аббат, а я вам пришлю лучшего вина, какое только есть в нашем богатом погребе!

Крейслер почувствовал себя неприятно задетым словами Гилария: нам всегда бывает больно, когда мы видим, как неуклюжие, грубые руки хватают что-нибудь снежно-чистое.

— Чего только вы не знаете, — сказал Крейслер, отдергивая свой бокал, — сидя тут в четырех стенах!

— Domine, domine Kreislere ^[146], — воскликнул патер Гиларий, — не сердитесь! Video mysterium ^[147]; но я придержу язык. Вы не хотите выпить за вашу... Ладно, будем завтракать in camera et faciemus bonum cherubim ^[148] и bibamus, чтобы господь сохранил у нас в аббатстве до сих пор царившие здесь покой и веселие!

— Разве они в опасности? — спросил Крейслер с любопытством.

— Domine, — зашептал Гиларий, доверчиво придвигаясь к Крейслеру, — domine dilectissime! ^[149] Вы уже достаточно долго у нас и поэтому знаете, как дружно мы живем, как сливаются самые различные наклонности братьев в общей веселости, которой способствует вся обстановка, мягкость монастырских порядков, весь наш образ жизни. Это, наверно, продолжалось бы еще очень долго. Но — знайте, Крейслер! Только что прибыл долгожданный отец Киприан, настоятельно рекомендованный аббату Римом. Он еще молодой человек, но на его высохшем, неподвижном лице нельзя найти и следа веселости — напротив того, его мрачные, немые черты дышат неумолимой суровостью, обличающей в нем аскета, дошедшего до самых жестоких самобичеваний. При этом все его поведение говорит о враждебном пренебрежении ко всему окружающему, вероятно происходящем на самом деле от чувства духовного превосходства над всеми нами. Он уже справился в отрывистых словах о монастырской дисциплине, и, кажется, наш образ жизни сильно разгневал его. Вот увидите, Крейслер, этот пришелец перевернет вверх ногами все наши порядки, при которых нам было так хорошо! Вот увидите, пунс гробо! ^[150] Святоши быстро примкнут к нему, и вскоре образуется партия против аббата, которой, наверное, и достанется победа, так как я почти уверен, что отец Киприан — эмиссар его святейшества, перед которым аббат должен будет смириться. Крейслер, что станет с нашей музыкой, с вашей уютной жизнью у нас? Я говорил о нашем прекрасно слаженном хоре, о том, что мы уже можем хорошо исполнять творения величайших мастеров; но мрачный аскет скорчил ужасающую мину и заявил, что подобная музыка годна для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцелл Второй справедливо хотел изгнать ее вовсе — per diem! Если нам запретят хор и закроют от меня винный погреб, то... Но пока — bibamus! Не стоит загадывать вперед; ergo — бульк-бульк!

Крейслер заметил, что, возможно, новый пришелец кажется более строгим, чем он есть на самом деле, а он, Крейслер, со своей стороны, никак не может поверить, что аббат при его твердом характере так легко поддастся воле приезжего монаха, тем более что у него самого нет

недостатка в связях с влиятельными лицами в Риме.

В это мгновение зазвонили колокола в знак того, что сейчас должен произойти торжественный прием приезжего брата Киприана в орден Святого Бенедикта.

Крейслер вместе с отцом Гиларием, выпившим остаток вина из своего бокала с почти боязливым *bibendum quid*, отправился в церковь. Из окна коридора, где они проходили, можно было видеть, что делалось в покоях аббата.

— Смотрите, смотрите! — воскликнул отец Гиларий, потащив Крейсlera к окну.

Крейслер взглянул и увидел в покоях аббата какого-то монаха, с которым святой отец о чем-то говорил, и при этом лицо его заливал густой румянец. Наконец аббат стал на колени перед монахом, и тот благословил его.

— Разве я не был прав, — шепнул Гиларий, — когда говорил вам, что в этом приезде монахе, который вдруг как снег на голову свалился в наше аббатство, есть что-то странное, особенное?

— Да, — ответил Крейслер, — с этим Киприаном что-то связано, и меня не удивит, если в самом скором времени тут обнаружатся кое-какие дела.

Отец Гиларий поспешил к братьям, дабы вместе со всей торжественной процессией — впереди крест, а по бокам послушники с зажженными свечами и хоругвями — отправиться в церковь.

Когда аббат с приезжим монахом проходил мимо Крейсlera, тот с первого взгляда узнал в Киприане юношу, которого художник изобразил воскрешенным к жизни Святой Девой. Внезапно его осенила еще одна догадка. Он ринулся вверх в свою комнату, вытащил маленький портрет, подаренный ему маэстро Абрагамом, — да, он не ошибся! Это был тот самый юноша, только помоложе, посвежее и в офицерском мундире. Когда же...

Раздел четвертый.

БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫСШЕЙ КУЛЬТУРЫ.

ЗРЕЛЫЕ МЕСЯЦЫ МУЖЧИНЫ

(М. пр.) ... Трогательная речь Гинцмана, поминки, прекрасная Мина, вновь сыскавшаяся Мисмис, танец — все это возбудило единоборство противоречивейших чувствований в моей груди, так что я, как принято говорить в обыденной жизни, был просто вне себя и в безнадежном душевном смятении желал очутиться в погребке, в могиле, подобно моему другу Муцию. Итак, я достиг предела, и, право, я не знаю, что было бы со мною, не живи во мне истинный, высокий поэтический дух, одаривший меня в изобилии стихами, которые я не преминул записать. Божественность поэзии открывается преимущественно в том, что сложение стихов — хоть рифма подчас и стоит немало поту — приносит дивную душевную отраду, преодолевающую всякое земное страдание, и даже, как говорят, голод и зубную боль. К примеру, когда смерть похищает у нас мать или жену, должно, как и полагается, обезуметь от скорби; однако мысль о божественной погребальной песне, зачатой нами во глубине души, подарит нам немалое утешенье, и мы снова выберем супругу единственно лишь для того, чтобы не лишиться надежды на новое трагическое вдохновение подобного рода.

Вот строки, живописующие с истинно поэтической силою мое состояние и переход от страдания к радости:

*Кто бродит там, во тьме подвала,
Где так пустынна тишина?
Кто шепчет мне «приди» устало,
Чья в мире жалоба слышна?
Холодный погреб сырость точит,
Здесь погребен мой верный друг,
Моей поддержки в смерти хочет
Его бездомный скорбный дух.*

*Но нет, не тень, не призрак друга
Стенаньем наполняет тьму.
Рыдает верная супруга
По избранному своему.
И, прежней страстью околдован,
Ринальдо рвется к ней назад.*

Но как! Я вижу когти снова
И ревностью взбешенный взгляд.

Она, жена! Куда мне деться?
Волненье, боль... Но, боже мой,
Как первый снег, как утро детства,
Сама невинность предо мной.
Она идет! Светлеют дали,
И я робею, хоть не трус,
И пахнет свежестью в подвале.
В груди легко, на сердце — груз.

Потерян друг, она явилась.
Блаженство, горечь, страх, мечты...
Супруга! Дочь! Опасность! Милость!
О сердце, как не лопнешь ты?
Дурманыт нас волненьем ложным
И танцев вихрь и шепот тризн,
Им верить нужно осторожно,
Неверный шаг — и рухнет жизнь.

С дороги прочь! Я вас не вижу,
Кокетка дочь, злодейка мать!
Любовь иль злоба вами движут —
Самим вам, кошки, не понять.

Лгут ваши песни, взгляды, мины,
Фальшивый род невест и жен.

*Уйди, Мисмис, с дороги, Мина!
Бегу — и Муций отомщен.*

*О друг мой, каждое жаркое
Тебя напоминает мне,
И, рыбий хвост грызя с тоскою,
Я тихо плачу в тишине.*

Нет, действие самого процесса стихосложения оказалось столь благодатным, что я не мог удовольствоваться одним этим стихотворением и сочинил их несколько, одно за другим, причем с такой же легкостью и так же удачно. Лучшие из них я сообщил бы здесь же благосклонному читателю, если б не намеревался приложить к ним многие приготовленные в часы досуга остроты и экспромты, при одной мысли о которых я едва не лопаюсь со смеху. Все это я предполагаю выпустить в свет под общим заглавием «Плоды досуга и вдохновенья». К немалой моей чести, я должен сказать, что даже в юношеские годы, когда буря страстей еще не отбушевала, мой ясный разум и тонкое чувство меры одерживали верх над чрезмерным опьянением чувств. Как раз благодаря этому мне удалось окончательно подавить внезапно вспыхнувшую любовь к прекрасной Мине. Здравомысленно, я признал эту страсть при моем положении несколько безрассудной; к тому ж я проведал, что Мина, невзирая на обманчивую, детски скромную внешность, была дерзким, своенравным существом и при всяком удобном случае заезжала всей когтистой пятерней в глаза скромнейшим котам-юношам. Но, дабы избавиться от повторных приступов страсти, я заботливо избегал встреч с Миной, а так как необоснованные притязания Мисмис и ее странное, возбужденное поведение ужасали меня еще более, то я уединился в комнате, чтобы не встречать ни ту, ни другую, и не посещал ни погребов, ни чердака, ни крыши. Казалось, мой хозяин благосклонно взирал на мое уединение; он позволял мне сидеть на кресле у него за спиной, когда занимался науками за письменным столом, и я, вытянув шею, заглядывал из-под его руки в книгу, которую он читал. Так мы, то есть я и мой хозяин, проштудировали много отличнейших книг, как, например: Арне «De prodigiosis naturae et

artis operibus, Talismanes et Amuleta dictis» [\[151\]](#), Беккеров «Заколдованный мир», «О достопамятных вещах» Франческо Петрарки и т. п. Это чтение меня рассеяло необыкновенно и побудило мой дух к новому взлету.

Хозяин вышел. Солнце сияло столь приветливо, благоухание весны струилось в окно столь заманчиво, что я позабыл о моих намерениях и вздумал прогуляться на крышу. Но едва очутился я наверху, как сразу приметил вдову Муция, вышедшую мне навстречу из-за трубы. От ужаса я как вкопанный застыл на месте, ожидая, что вот-вот на меня посыплется град упреков и заклинаний. Но как я ошибся! Следом за ней вышел юный Гинцман, рассыпаясь пред прекрасной вдовою в сладчайших комплиментах; она остановилась и встретила его ласковыми словами. Они поздоровались друг с другом с самой сердечной нежностью и потом быстро прошли мимо меня, не поклонившись и делая вид, будто они не замечают меня. Юный Гинцман, должно быть, сгорал со стыда, так как он понурил голову и опустил глаза; но легкомысленная вдова бросила на меня насмешливый взгляд.

Здесь следует признать, что кот — и это прежде всего касается его психического склада — есть существо все же совершенно сумасбродное. Разве не могло, не должно было меня радовать, что вдова Муция обзавелась любовником на стороне? И все же я не мог преодолеть некоей внутренней досады, весьма походившей на ревность. И тогда я поклялся не посещать крышу, где, как я считал, мне нанесли большую обиду. Вместо столь дальних прогулок я теперь усердно прыгал на подоконник, грелся, глядел вниз на улицу, чтоб рассеяться, предавался глубокомысленным размышлениям и таким образом сочетал приятное с полезным.

При этом меня глубоко занимала мысль, почему мне никогда не приходило на ум по собственному свободному побуждению усесться перед дверьми дома или прогуляться по улице, как делали это, по моим наблюдениям, многие из моего племени безо всякого страха и боязни. Я представил себе необычайную приятность такой прогулки и пришел к мысли, что теперь, будучи вполне зрелым котом и накопив достаточно житейского опыта, я уже не подвергнусь тем опасностям, какие мне угрожали, когда судьба меня, несовершеннолетнего юношу, вышвырнула в свет. Поэтому я смело спустился с лестницы и для начала уселся на пороге погреться на солнышке. Само собой разумеется, что я принял позу, по которой каждый мог с первого взгляда признать во мне образованного, хорошо воспитанного кота. Сидеть подле двери дома понравилось мне несказанно. Покамест солнечные лучи благотворно согревали мне шкурку, я, согнув лапу, тщательно чистил мордочку и усы. Несколько проходивших

мимо девушек, судя по их большим ранцам с застежками, вероятно возвращавшихся из школы, не только выказали свое великое удовольствие, приметив меня, но и преподнесли мне кусочек булки, за что я их со свойственной мне галантностью поблагодарил.

Я больше забавлялся преподнесенным мне подарком, чем вправду собирался его проглотить; но сколь был велик мой ужас, когда внезапно громкое ворчание прервало мою игру и передо мной предстал могучий старик, приходившийся Понто дядей, — пудель Скарамуш. Одним прыжком хотел я умчаться прочь от дверей, но Скарамуш крикнул:

— Не будь трусишкой и сиди смирно! Ты думаешь, я собираюсь тебя слопать?

С самой смиренной учтивостью я спросил его, в чем мое ничтожество могло бы услужить господину Скарамушу? Но он грубо ответил:

— Ни в чем, ровно ни в чем не можешь ты мне услужить, мосье Мурр, да это и невозможно. Но я хотел спросить у тебя, может быть, ты знаешь, где скрывается мой беспутный племянник, молодой Понто? Ты ведь однажды уже шатался с ним, и, к моей немалой досаде, вы с ним, кажется, большие друзья-приятели. Ну! Скажи мне, знаешь ты, где носится этот юнец? Я уже несколько дней его и в глаза не видал.

Задетый надменным, пренебрежительным обращением ворчливого старика, я холодно ответил, что никогда не было и не могло быть и речи о тесной дружбе между мной и молодым Понто, тем более что в последнее время Понто вовсе от меня отдалился, впрочем, я и не очень-то искал его общества.

— Ну, это меня радует, — проворчал старик, — это все-таки показывает, что юнец еще не совсем потерял честь и не водится со всяким сбродом.

Такого я уже не мог вынести. Гнев одолел меня, во мне проснулся дух буршества. Я позабыл всякий страх и, фыркнув в лицо презренному Скарамушу: «Старый грубиян!», занес правую лапу с выпущенными когтями, целясь пуделю в левый глаз. Старик отступил на два шага и сказал уже не так грубо, как раньше:

— Ну, ну, Мурр, не стоит обижаться. Вы, впрочем, хороший кот, и я лишь хочу вам посоветовать: берегитесь этого сорванца Понто! Он, поверьте мне, малый честный, но легкомысленный, да, да, легкомысленный и склонный ко всяким проказам. Нет у него серьезного отношения к жизни, не признает он никаких правил! Берегитесь, говорю я вам, иначе он очень скоро заманит вас в компанию не вашего круга и вам придется с невероятными усилиями принуждать себя к светскому обхождению,

противному глубочайшим основам вашей натуры, непосильному для вашей индивидуальности, губительному для вашего нрава, простого и открытого, в чем вы только что меня убедили. Видите ли, мой добрый Мурр, вы как кот достойны всяческого уважения, я уже говорил это, — и склонны охотно выслушивать полезные поучения. Видите ли, сколько бы ни портили юнца проказы, проделки и даже сомнительные выходки, все же иногда в нем проскальзывает мягкое, часто даже слащавое добродушие, всегда свойственное людям с сангвиническим темпераментом, — словом, то, что подразумевает французское выражение «Au fond [\[152\]](#), он все же славный малый», и это может извинить все, в чем он погрешит против порядка и приличий. Но этот «fond», где запрятано зерно добра, покоится так глубоко и завален столькими отбросами от разнузданных оргий, что непременно зачахнет в зародыше. Вместо настоящего чувства добра нам часто преподносят это нелепое добродушие, черт бы его побрал, так как оно не позволяет распознавать дух зла под блестящей маской. О кот, доверьтесь опыту старого пуделя, искушенного в свете, и не позволяйте морочить себя этим «Au fond, он славный малый»! Если вы увидите моего беспутного племянника, вы можете прямо высказать ему все, что я вам говорил, и совершенно прекратить всякую дружбу с ним. Ну, счастливо оставаться! Вы, конечно, уже этого есть не станете, мой добрый Мурр?

С этими словами старый пудель Скарамуш живо подхватил лежавший передо мной кусочек булки и спокойно зашагал дальше, опустив голову, так что его заросшие длинными волосами уши волочились по земле, и чуть-чуть повиливая хвостом.

Задумчиво смотрел я вслед старцу, чья жизненная мудрость глубоко запала мне в душу.

— Он ушел? Он ушел? — зашептал кто-то у меня за спиной, и я немало удивился, увидев юного Понто, прокравшегося за двери и выжидавшего, пока его дядя уйдет. Неожиданное появление юного пуделя несколько меня смутило, ибо поручение старого дяди, которое, собственно, я должен был бы теперь выполнить, все же показалось мне немного опасным. Я вспомнил об ужасных словах, однажды сказанных мне Понто: «Если ты замыслишь против меня недоброе, то помни, что я превосхожу тебя силой и ловкостью. Один прыжок, один хороший укус моих острых зубов — и тебе тут же крышка!» Я счел более благоразумным промолчать.

От этих внутренних колебаний мое обхождение, вероятно, показалось холодным и принужденным; Понто уставился на меня острым взглядом, однако тут же разразился звонким смехом и воскликнул:

— Я замечаю, друг Мурр, что старик уже наговорил тебе бог весть

каких ужасов о моем поведении; наверное, разрисовал меня беспутным малым, предающимся всяческим дурачествам и разврату. Не будь глупцом и не верь ничему, что он тут наговорил! Прежде всего посмотри на меня повнимательнее и скажи, как ты находишь мою внешность?

Осмотрев юного Понто, я нашел, что никогда он не был так упитан и не выглядел так блестяще, что никогда его одежда не была так привлекательна и элегантна и никогда еще все его существо не дышало такой отрадной гармонией. Я откровенно высказал ему это.

— Ну хорошо, мой добрый Мурр, — сказал Понто, — неужто ты думаешь, что пудель, проводящий время в дурном обществе, предающийся низкому разврату, беспутствующий изо дня в день — не потому, что он находит в этом особый вкус, а единственно от скуки, как это и вправду случается со многими пуделями, — неужто ты думаешь, что этот пудель мог бы выглядеть так, каким ты видишь меня? Ты особенно восхваляешь гармонию во всем моем существе. Уже это должно тебя вразумить, как жестоко ошибается мой дядя. Ну а так как ты литературно образованный кот, то припомни одного мудреца, ответившего тому, кто порицал распутников особенно за дисгармонию в их внешнем облике: «Возможно ль, чтобы порок был гармоничен?» Не удивляйся ни на секунду, друг Мурр, черным наветам моего старика: желчный и скупой — таковы обычно все дядюшки, — он обратил на меня весь свой гнев потому, что должен был уплатить за меня несколько небольших карточных долгов *par honneur* [\[153\]](#) знакомому колбаснику, допускающему у себя запрещенные игры и дающему игрокам значительные ссуды колбасами, которые он начиняет мозгами, кашей и печенкой. Старик все еще вспоминает о том времени, когда мой образ жизни был и вправду непохвальным, но оно уже давно миновало и сменилось безупречной благопристойностью.

В это мгновенье мимо проходил дерзкий пинчер, который так вытаращил на меня глаза, будто никогда не видал мне подобных, и начал выкрикивать мне прямо в уши грубейшие непристойности. Затем он схватил меня за хвост, благо я вытянул его во всю длину, что ему, видимо, не понравилось. Но пока я, поднявшись во весь рост, готовился к защите, Понто уже прыгнул на неотесанного забияку, стоптал его и несколько раз швырнул его оземь, так что тот, поджав хвост, с самыми горестными воплями стрелой умчался прочь.

Это доказательство доброго расположения Понто и его деятельной дружбы растрогало меня необыкновенно, и я подумал, что выражение «*Au fond*, он славный парень», которое дядя Скарамуш хотел опорочить в моих глазах, все же применимо к Понто в лучшем смысле, чем ко многим

другим, и может извинить его с большим основанием, чем их. Мне стало даже представляться, что старик, должно быть, видит все в слишком черном свете и что Понто хотя и способен на легкомысленные поступки, но никогда не сделает ничего дурного. Я высказал все это моему другу совершенно непритворно и в учтивейших выражениях поблагодарил его за защиту.

— Меня радует, милый Мурр, — ответил Понто, по своему обычаю, бегая веселыми, плутоватыми глазками, — что старику педанту не удалось ввести тебя в заблуждение и ты узнал мое доброе сердце. Не правда ли, Мурр, я здорово проучил высокомерного юнца? Будет он меня помнить! Собственно, я сегодня уже целый день подстерегал его: разбойник вчера украл у меня колбасу и за это должен был ответить. А что заодно была отомщена нанесенная им тебе обида и я таким образом мог доказать тебе свою дружбу — это мне только приятно; я, как говорит пословица, убил сразу двух зайцев. Но теперь вернемся к нашему разговору. Осмотри меня снова как можно тщательнее, милый кот, и скажи, ты не замечаешь никаких достопримечательных перемен в моей наружности?

Я внимательно посмотрел на моего юного друга и — скажите на милость! — только теперь обратил внимание на серебряный ошейник изящной работы, где было выгравировано: «Барон Алкивиад фон Випп, Маршаль-штрассе № 46».

— Как, Понто? — воскликнул я удивленно. — Ты покинул своего хозяина, профессора эстетики, и перешел к барону?

— Собственно, не я покинул профессора, — ответил Понто, — а он сам меня прогнал, к тому же пинками и колотушками.

— Возможно ли! — удивился я. — Ведь прежде твой хозяин всячески выказывал тебе свою любовь и благосклонность?

— Ах, — ответил Понто, — это глупая, досадная история, и только благодаря странной игре насмешливого случая она окончилась для меня счастливо. Виной всему было мое дурацкое добродушие, к которому примешалось немного тщеславного хвастовства. Я без конца выказывал хозяину мою внимательность и при этом немного кичился моим искусством, моей образованностью. Так, я привык приносить ему без каких бы то ни было приказаний всякие мелочи, валявшиеся на полу. Ну а ты, вероятно, знаешь, что у профессора Лотарио цветущая молодая жена, писаная красавица; она его нежнейше любит, в чем он никак не может сомневаться, ибо она уверяет его в этом каждую минуту, осыпая его ласками, когда он, зарывшись в книги, готовится к предстоящей лекции. Она — воплощенная домовитость, так как никогда не выходит из дому

раньше двенадцати часов и встает в половине одиннадцатого; к тому же дама эта отнюдь не гнушается обсуждать с кухаркой и горничной все домашние дела до мельчайших подробностей, а также пользоваться их кошельком, потому что деньги на недельное пропитание из-за непредвиденных расходов тают слишком быстро, а к профессору она не смеет обратиться. Проценты по этим займам она отдает малонашенными платьями; эти же платья и, вероятно, также перья на шляпе, украшающие ее горничную каждое воскресенье на удивление всем служанкам, должно быть, являются наградой за некоторые тайные услуги.

При всех совершенствах эту милую женщину можно было бы, пожалуй, упрекнуть в некотором сумасбродстве, если вообще это можно назвать сумасбродством: ее главной заботой, ее горячим и постоянным желанием было одеваться по последней моде; самое элегантное, самое дорогое для нее недостаточно элегантно, недостаточно дорого; не успеет она надеть платье и трех раз, а шляпу — четырех, и месяца не поносить турецкую шаль, как уже чувствует к ним неодолимое отвращение и спускает за бесценок самые дорогие туалеты или, как я говорил, наряжает в них служанку. Что у жены профессора эстетики есть чувство формы и вкус, совершенно неудивительно, и супруг должен только радоваться, когда этот вкус обнаруживается в том, что его супруга с заметным удовольствием останавливает свои сверкающие, огненные глаза на красивых юношах, а иногда и преследует их взглядами. Несколько раз замечал я, как тот или иной любезный молодой человек, посещавший лекции профессора, сбивался с дороги и, осторожно открывая вместо дверей аудитории двери на половину профессорши, так же осторожно входил туда. Я даже был близок к мысли, что ошибка эта происходила преднамеренно или по крайней мере никого не заставляла раскаиваться в ней, так как никто не спешил ее исправить, и каждый, кто входил к профессорше, выходил от нее лишь порядочное время спустя и при этом с таким улыбающимся, довольным видом, как если бы посещение профессорши было для него так же приятно и полезно, как лекция профессора по эстетике. Прекрасная Летиция — так звалась профессорша — не питала ко мне особого расположения. Она видеть не могла, когда я заходил к ней в комнату, и, пожалуй, была права, так как, конечно, и самый цивилизованный пудель не к месту там, где он на каждом шагу рискует разорвать кружева или запачкать платья, разбросанные по всем стульям. Однако злой гений профессорши однажды заставил меня проникнуть в ее будуар.

Как-то господин профессор выпил за обедом вина больше обычного и потому воодушевился до чрезвычайности. Придя домой, он, против

обыкновения, проследовал прямо в комнату своей жены, и я — сам не знаю, по какой странной прихоти, — проскользнул в двери вслед за ним. Профессорша была в пеньюаре, белом, как только что выпавший снег; весь ее наряд обнаруживал не столько небрежность, сколько подлинное искусство туалета, скрытое под внешней простотой и столь же опасное, как хорошо замаскированный враг. В самом деле, профессорша была очаровательна, и слегка возбужденный вином профессор почувствовал это сильнее, чем когда-либо. Полный любви и восторга, он называл свою прелестную супругу самыми игривыми прозвищами, осыпал ее самыми нежными ласками, совершенно не замечая какой-то рассеянности, какого-то беспокойства и неудовольствия, ясно сквозивших во всем поведении профессорши. Все возрастающая нежность воодушевленного эстетика была мне неприятна и тягостна. Я вернулся к моему прежнему времяпрепровождению и стал рыскать по комнате. И как раз когда профессор в совершенном упоении громко воскликнул: «Единственная, непревзойденная, божественная женщина, приди же...» — я, приплясывая на задних ногах, грациозно и, как всегда в таких случаях, слегка повиливая хвостом, доставив ему поноску — мужскую перчатку лимонного цвета, найденную мной под софой госпожи профессорши.

Эстетик устался на перчатку и воскликнул, как будто с него внезапно спугнули сладкий сон: «Что это? Чья это перчатка? Как она попала в эту комнату?» С этими словами он вырвал перчатку у меня из пасти, осмотрел ее, поднес к носу и снова громко воскликнул: «Откуда здесь эта перчатка? Петиция, говори, кто был у тебя?» — «Как, — ответила милая, верная Летиция неуверенным голосом, тщетно силясь подавить свое смущение, — как ты нынче странен, дорогой Лотар! Чья эта перчатка? Чья она? Здесь была майорша, прощаясь, она никак не могла найти перчатку и решила, что выронила ее на лестнице». — «Майорша? — завопил профессор совершенно вне себя. — Маленькая, хрупкая женщина? Да вся ее рука влезет в один этот большой палец! Что за дьявол! Кто был здесь, какой разряженный олух?! Эта проклятая штука пахнет душистым мылом! Несчастная, кто был здесь? Какой преступный адский обман разрушил мой покой, мое счастье? Бесчестная, гнусная женщина!»

Профессорша уже готовилась упасть в обморок, как вдруг вошла горничная, и я, довольный, что могу избавиться от семейной сцены, для которой дал повод, проворно юркнул за дверь.

На другой день профессор был очень молчалив и углублен в себя; казалось, его занимала одна-единственная мысль, казалось, его мучила одна-единственная проблема. «Кто он?» — таковы были слова, иногда

невольно слетавшие с его безмолвных губ. Под вечер он взял шляпу и палку. Я подпрыгнул и радостно залаял. Он долго смотрел на меня, светлые слезы выступили у него на глазах, затем сказал с глубочайшей сердечной скорбью: «Мой добрый Понто — верная, честная душа!» Потом он быстро выбежал за ворота, и я за ним по пятам, твердо решив развеселить беднягу всеми фокусами, какие только я знал. Тут же за воротами мы встретили барона Алкивиада фон Випп, одного из самых изящных щеголей в нашем городе, гарцевавшего на красивой английской лошади. Как только барон увидел профессора, он подскакал к нему и спросил о здоровье профессора и госпожи профессорши. Профессор в замешательстве пробормотал, запинаясь, несколько непонятных слов. «Действительно, очень жаркая погода», — сказал наконец барон и вытащил из кармана сюртука шелковый платок, но при этом выронил перчатку, и я, по установившемуся обычаю, тут же принес ее своему хозяину. Профессор поспешно вырвал у меня перчатку, воскликнув: «Это ваша перчатка, господин барон?» — «Ну конечно, — ответил тот, удивленный порывистостью профессора, — я думаю, что выронил ее из кармана, а ваш услужливый пудель поднял ее». — «Тогда, — резким тоном сказал профессор, протягивая ему вместе с первой перчаткой вторую, найденную мною под софой у профессорши, — тогда я имею честь преподнести вам близнеца этой перчатки, которого вы потеряли вчера».

Не ожидая ответа от заметно смущенного барона, профессор стремглав ринулся прочь.

Я, конечно, остерегся следовать за профессором в комнату его дорогой супруги, так как я предчувствовал бурю. Вскоре и впрямь послышались ее раскаты, достигавшие даже сеней. Здесь, сидя в углу, я и прислушивался к ним и увидел, как профессор с лицом, на котором разгорелось пламя сильнейшей ярости, вышвырнул горничную из дверей комнаты, а потом, когда она еще осмелилась отпустить ему дерзости, — и из дому. Наконец поздно ночью мой хозяин в полном изнеможении поднялся в свою комнату. Тихим повизгиванием я дал ему понять мое сердечное сочувствие к его беспросветному горю. Тогда он обнял меня за шею и прижал к груди, как если б я был его лучшим, задушевым другом. «Добрый, честный Понто, — сказал он жалобно, — верная душа! Только благодаря тебе я пробудился от обманчивого сна, мешавшего мне узнать о моем позоре; только тебе я обязан тем, что сбросил ярмо, в которое запрягла меня неверная женщина, и могу вновь стать свободным, ничем не скованным человеком. Понто, как мне отблагодарить тебя? Никогда, никогда не покидай меня! Я буду заботиться о тебе, как о своем самом лучшем, самом верном друге; только

ты сможешь меня утешить, когда я стану отчаиваться при мысли о моей злосчастной судьбе».

Эти трогательные излияния благородной и в то же время благодарной души были прерваны кухаркой, ворвавшейся в комнату с бледным, расстроенным лицом и принесшей профессору ужасную весть, что госпожа профессорша лежит в страшнейших судорогах и вот-вот испустит дух. Профессор полетел вниз.

После этого я несколько дней почти не видал моего хозяина. Забота о моем пропитании, которую обычно любовно брал на себя сам профессор, была поручена кухарке, и эта ворчливая мерзкая особа с неохотой приносила мне вместо прежних вкусных кушаний самые скверные, почти несъедобные куски. Иногда она совсем забывала обо мне, и я был вынужден попрошайничать у добрых знакомых и даже отправляться на охоту, чтобы утихомирить свой голод.

Наконец-то однажды, когда я, голодный и обессиленный, свесив уши, бродил по дому, профессор уделил мне внимание. «Понто, — воскликнул он, улыбаясь и сияя, точно само небесное светило. — Понто, мой старый честный пес, где же ты пропадал? Неужели я так долго тебя не видел? Я уверен, что тебя, вопреки моей воле, совсем забросили и кормили как попало. Ну, иди же, иди. Сегодня я накормлю тебя сам».

Я тут же последовал за благосклонным хозяином в столовую. Его встретила госпожа профессорша, цветущая, как роза, с тем же солнечным сиянием на лице, что и у господина супруга. Они были так нежны друг с другом, как никогда до этого; она называла его: «Мой ангел!», а он ее: «Моя мышка!», и при этом оба миловались и целовались, словно голуби. Радостно было смотреть на них. Милая госпожа профессорша была приветлива и со мной, и ты можешь себе представить, славный Мурр, что при моей врожденной галантности я сумел повести себя с изящной учтивостью. Разве мог я предчувствовать, что меня ждет?

Мне самому было бы очень тяжело, а главное, тебя утомило бы, если б я подробно рассказывал тебе о всех коварных шутках, которые сыграли со мною мои враги, чтобы погубить меня. Я ограничусь всего несколькими необходимыми штрихами, чтобы нарисовать тебе верную картину моего безрадостного положения. У моего хозяина была привычка за едой отпускать мне мои обычные порции супа, зелени и мяса в углу столовой возле печки. Я ел так благопристойно, так опрятно, что на полу никогда не было даже малейшего жирного пятнышка. Поэтому я пришел просто в ужас, когда однажды за обедом моя миска, едва я к ней притронулся, разлетелась в куски, и жирный бульон пролился на красивый паркет.

Профессор гневно набросился на меня с грубой бранью, и на побледневшем лице профессорши, хоть она и старалась меня оправдать, тоже можно было прочесть сильную досаду. Она выразила мнение, что отвратительное пятно нельзя будет вывести, так что придется уж соскоблить это место или поставить новую плитку. Профессор питал глубокое отвращение ко всяким таким починкам: он слышал уже шум рубанков и молотков столярных подмастерьев, и таким образом все участливые-оправдания профессорши только дали ему как следует почувствовать последствия моей мнимой неловкости и доставили мне, кроме брани, несколько добрых пощечин. Сознавая свою невиновность, я стоял совершенно смущенный и совсем не знал, что думать и что сказать. И лишь когда эта история повторилась, я заметил коварство: мне ставили полуразбитую миску, и она при малейшем прикосновении неизбежно разлеталась в куски.

Больше я не смел заходить в столовую; пищу мне выносила за двери кухарка, но так скупно, что я, гонимый голодом, вечно искал, где бы стибрить хоть кусок хлеба или какую-нибудь кость. Из-за этого каждый раз поднимался страшный шум, и мне приходилось терпеть упреки в корыстной краже, когда речь могла идти только об удовлетворении насущнейших потребностей.

Дело пошло еще хуже. Кухарка, подняв крик, пожаловалась, что у нее из кухни исчезла целая баранья нога и что, конечно, виновник пропажи — я. Эта история как одно из важнейших домашних происшествий дошла и до профессора. Тот сказал, что он никогда прежде не замечал во мне склонности к воровству и что шишка воровства у меня совсем неразвита. Невероятно также, чтобы я один управился с целой бараньей ногой, не оставив никаких следов. Стали искать и — нашли в моей постели остатки баранины! Мурр! Слушай, клянусь тебе положить лапу на сердце, что я был совершенно невиновен, что мне никогда и в голову не приходило красть жаркое; но разве помогли мне клятвы в моей невиновности, если улики были против меня! Профессор разгневался тем более, что он уже принял мою сторону и теперь увидел себя обманутым в своем хорошем мнении обо мне. Я получил здоровую взбучку.

С тех пор чем сильнее давал мне почувствовать профессор свое отвращение, тем приветливее была со мной госпожа профессорша, она гладила меня, чего прежде никогда не делала, и даже потчевала иногда лакомым кусочком. Как мог я подозревать, что все это только лицемерный обман? И все же это скоро обнаружилось.

Двери столовой были открыты; с пустым желудком, томясь, глядел я в

нее и скорбно думал о тех счастливых временах, когда я, как только распространялся сладостный аромат жаркого, не напрасно глядел на профессора с мольбой во взоре; при этом я, как говорится, держал нос по ветру. Вдруг профессорша воскликнула: «Понто, Понто!» — и ловко протянула мне прекрасный кусок жаркого, держа его между большим и милостивым указательным пальчиками. Возможно, что в порыве вспыхнувшего аппетита я схватил его немного стремительнее, чем полагается, но, поверь мне, Мурр, я не укусил нежной лилейной ручки. Однако профессорша, громко вскрикнув: «Злой пес!» — упала в кресло будто в обмороке, и я, к моему ужасу, увидел на большом пальце несколько капель крови. Профессор разъярился; он бил меня, топтал ногами, так жестоко и немилосердно обошелся со мной, что, если б я не спасся самым поспешным бегством из дому, я, конечно, не сидел бы с тобой, мой славный кот, здесь перед дверьми и не грелся бы на солнышке.

О возвращенье нечего было и думать. Я понял, что мне не выпутаться из тенет, сплетенных профессоршей в отместку за баронскую перчатку, и решил поискать себе другого хозяина. Прежде, при отличных дарованиях, которыми снабдила меня природа, это было бы мне очень легко; но голод и скорбь меня так ослабили, что из-за моего жалкого вида мне, как я опасался, везде могли отказать. Печальный, мучимый гнетущей заботой о пропитанье, я выбрался за ворота и тут же заметил, что впереди меня идет господин барон Алкивиад фон Випп. Я и сам не знаю, как во мне зародилась мысль предложить ему свои услуги. Вероятно, какое-то неясное чувство подсказало мне, что таким образом я получу возможность отомстить неблагодарному профессору, как это и произошло позже на самом деле.

Приплясывая, я подбежал к барону, встал на задние лапы и, когда он посмотрел на меня с некоторой благосклонностью, без дальнейших церемоний последовал за ним в его жилище. «Посмотрите, — сказал барон молодому человеку, кого он называл своим камердинером, хоть у него и не было другого слуги, — посмотрите, Фридрих, что это за пудель пристал ко мне? Если б он был покрасивее!» Но Фридрих похвалил выражение моего лица, так же как и мой изящный стан, и выразил мнение, что мой хозяин, наверное, плохо со мной обращался и потому я бросил его. Он добавил, что пудели, приблудившиеся сами, по своему желанию, обычно бывают верными, честными собаками, поэтому барон решился оставить меня у себя. Хотя стараниями Фридриха я приобрел вполне элегантный вид, барон, казалось, все же был невысокого мнения обо мне и неохотно соглашался, чтобы я сопровождал его на прогулках. Но скоро все пошло

иначе. Как-то на прогулке мы встретили профессоршу. Да, мой славный Мурр, нрав у твоего друга, честного пуделя, поистине добродушнейший — да, да, именно так должен я выразиться. Ибо, уверяю тебя, что, хотя профессорша сделала мне много зла, я все же почувствовал непритворную радость, вновь увидев ее. Я плясал перед ней, весело лаял и на все лады давал ей понять мою радость. «Скажите пожалуйста — Понто!» — воскликнула она, погладив меня, и многозначительно посмотрела на остановившегося фон Виппа. Я прыгнул обратно к моему хозяину, и он меня приласкал. Должно быть, ему пришло что-то интересное на ум, несколько раз он пробормотал себе под нос: «Понто, Понто, если б это было возможно!»

Так мы дошли до расположенного вблизи парка. Профессорша вновь присоединилась к своей компании и села за один из столиков, где, однако, не было дорогого, доброго господина профессора. Неподалеку от нее сел барон Випп, но так, чтобы не выпускать из глаз профессоршу и в то же время не привлекать постороннего внимания. Я стал перед моим хозяином и с любопытством глядел на него, виляя хвостом, как будто ожидая приказаний. «Понто, возможно ли это? — повторил он. — Ну, — прибавил он после краткого молчания, — ну что ж, попробуем». С этими словами он достал листок бумаги, написал несколько слов карандашом, скатал его в трубочку, спрятал мне под ошейник, указал на профессоршу и прошептал: «Понто, allons!» [\[154\]](#) Я не был бы таким умным, искушенным в свете пуделем, каков я есть, если б тут же не понял все. Я немедленно подбежал к столу, где сидела профессорша, и сделал вид, будто мне очень хочется попробовать превосходного пирожного, лежавшего перед ней. Профессорша была сама приветливость, одной рукой она подала мне пирожное, а другой чесала мне шею. Я почувствовал, как она вытаскивает листок. Вскоре после этого она оставила общество и направилась на одну из боковых дорожек. Я последовал за ней и увидел, как она жадно прочла слова барона, как вынула из своей вязаной сумочки карандаш, написала на той же записке несколько слов и снова свернула ее в трубочку. «Понто, — позвала она затем, посмотрев на меня лукавым взглядом, — надо не только уметь носить поноску, но и знать, кому и когда ее подавать. Я надеюсь на твой ум и понятливость». С этими словами профессорша спрятала записочку под ошейник, и я не преминул как можно скорее вприпрыжку возвратиться к своему хозяину. Тот немедленно догадался, что я принес ответ, ибо тут же вытащил записку из-под ошейника. Должно быть, слова профессорши были весьма приятны и утешительны, так как глаза барона засверкали радостью, и он воскликнул в восторге: «Понто, Понто, ты —

божественный пудель; моя счастливая звезда привела тебя ко мне!» Ты можешь себе представить, дорогой мой Мурр, что я был немало обрадован — ведь я увидел, как сильно я повысился во мнении своего хозяина. Радость эта заставила меня почти без всякого приглашения проделать все кунштюки, какие только возможны. Я говорил по-собачьему, делал «умри!», оживал снова, отвергал кусок булки из рук еврея и поедал его с аппетитом из рук христианина и т. д. «Необыкновенно понятливая собака!» — воскликнула старая дама, сидевшая возле профессорши. «Необыкновенно понятливая!» — ответил барон. «Необыкновенно понятливая!» — прозвучал как эхо голос профессорши. Короче, скажу тебе, мой добрый Мурр, что я взял на себя заботу о доставке корреспонденции описанным способом и обязанность эту выполняю и по сей день. Порой, когда профессор отсутствует, я даже бегаю с письмецом к нему на дом. А по временам, когда господин барон Алкивиад фон Випп пробирается в сумерки к милой Летиции, я остаюсь у двери дома и, едва только завижу вдали профессора, поднимаю такой яростный, дьявольский вой и лай, что мой хозяин чует так же хорошо, как и я, приближение врага и исчезает.

Я подумал, что, пожалуй, не мог бы одобрить поведения Понто. Воспоминанье об усопшем Муции, мысль о моем собственном отвращении ко всяческим ошейникам заставили меня прийти к следующему выводу: добропорядочный кот с честной душой погнушался бы подобным сводничеством. Все это я высказал юному Понто совершенно непритворно. Но он рассмеялся мне в лицо и спросил: так ли уж строга кошачья мораль и не забирался ль и я по временам в чужой огород, то есть не совершал ли чего-нибудь, что не укладывалось на узкой полочке морали? Я вспомнил Мину и замолчал.

— Прежде всего, добрый Мурр, — продолжал Понто, — есть весьма простое и мудрое житейское правило: как ни вертись, а от судьбы не уйдешь. Ты кот с образованием и потому подробнее можешь об этом прочесть в одной весьма поучительной и в превосходном стиле написанной книге под названием «Jacques le fataliste» ^[155]. Вечным законом было предначертано, что профессор эстетики, господин Лотарио, должен стать... ну, ты понимаешь меня, славный кот; к тому же профессор манерой своего поведения в достопримечательной истории с перчаткой — она должна получить широкую огласку, напиши о ней, Мурр! — доказал, что у него есть от природы призванье к тому, чтобы вступить в этот великий орден, чьи знаки, сами того не подозревая, носят так много мужчин с таким величавым достоинством, с такой горделивой осанкой. Господин Лотарио все равно последовал бы своему призванию, если б даже не существовало

никакого барона Алкивиада фон Випп, никакого Понто. Разве профессор не заслужил своими поступками, чтобы я бросился прямо в объятия его врага? Но не будь меня, барон нашел бы, наверное, другое средство объясниться с профессоршей, и тот же позор все равно пал бы на профессора, не принесся мне той пользы, какую я теперь действительно ощущаю от приятных отношений барона и милой Летиции. Мы, пудели, не такие уж моралисты, чтобы есть себя поедом и пренебрегать лакомыми кусочками, которыми и без того жизнь оделяет нас весьма скудно.

Я спросил юного Понто, вправду ли польза от службы у барона Алкивиада фон Випп столь велика и значительна, что она искупает все неприятности и гнет связанного с нею рабства. При этом я дал ему недвусмысленно понять, что именно это рабство всегда будет отвратительно коту, в чьем сердце неугасим дух вольнолюбия.

— Ты говоришь о моей службе, добрый мой Мурр, — ответил Понто, пренебрежительно улыбаясь, — так, как ты ее понимаешь, или, вернее, как она тебе представляется при твоей полной неопытности в том, что относится к более высокому образу жизни. Ты не знаешь, что значит быть любимцем такого галантного, воспитанного человека, как барон Алкивиад фон Випп. Ибо я могу вовсе не голословно утверждать, о мой вольнолюбивый кот, что я сделался главным любимцем моего хозяина, с тех пор как я повел себя так умно и услужливо. Краткое описание нашего образа жизни заставит тебя живо почувствовать привлекательность и благодатность моего теперешнего положения.

Утром мы — я и мой хозяин — встаем не слишком рано, но и не слишком поздно, то есть когда пробьет одиннадцать. При этом я должен заметить, что моя широкая мягкая постель устроена неподалеку от кровати барона, и мы храпим до того дружно и в унисон, что при внезапном пробуждении нельзя даже угадать, кто из нас храпел. Барон дергает колокольчик, и тотчас же появляется камердинер с чашкой дымящегося шоколаду для барона и фарфоровой миской, полной прекраснейшего сладкого кофе со сливками, — для меня. Надо сказать, что я опорожняю ее с меньшим аппетитом, чем барон — свою чашку. После завтрака мы полчаса играем друг с другом — эти телесные упражнения не только полезны для нашего здоровья, но и придают бодрость нашему духу. Если погода хороша, барон обычно смотрит из окна на улицу и лорнирует прохожих. Если же их мало, есть еще другое развлечение, причем барон может предаваться ему целый час, нисколько не уставая. Под окном барона врыт камень необычного красноватого цвета, а в середине этого камня выбито углубление. Задача такова: плюнуть вниз столь искусно, чтобы

попасть как раз в это углубление. Много и постоянно упражняясь, барон так наловчился, что он держит пари на попадание с третьего раза и уже неоднократно выигрывал.

После этого развлечения наступает очень важный момент одевания. Об искусной прическе и завивке волос, а особенно о художественном вывязывании галстука барон заботится сам, не прибегая к помощи камердинера. Так как эти трудные операции продолжаются довольно долго, Фридрих пользуется этим, чтобы одеть и меня, то есть он моет мне шкуру губкой, намоченной в тепловатой воде, расчесывает щеткой длинные волосы, оставленные парикмахером в подходящих местах, и надевает на меня красивый серебряный ошейник, которым барон немедленно почтил меня, как только открыл мои добродетели.

Следующие часы мы посвящаем литературе и изящным искусствам. Иначе говоря, мы идем в ресторацию или в кафе, наслаждаемся бифштексом или карбонатом, выпиваем стаканчик мадеры и небрежно проглядываем свежие журналы и газеты. Затем начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем какую-нибудь знаменитую актрису, певицу, чтобы сообщить ей последние новости, главным образом о том, как прошел чей-нибудь дебют накануне вечером. Достоинно внимания, как ловко умеет барон Алкивиад фон Випп преподносить свои новости, чтобы постоянно поддерживать в дамах хорошее настроение. Врагу или хотя бы сопернице никогда не перепадает даже часть славы той знаменитости, в будуаре которой барон как раз находится. Бедняжку ошिका! — высмеяли! А если уж никак нельзя промолчать о действительно имевших место бурных аплодисментах, барон непременно угостит хозяйку новой скандальной историей о сопернице, — ее так же охотно подхватывают, как и распространяют, для того чтобы надлежащей порцией яда преждевременно умертвить цветы венка.

Великосветские визиты к графине А., баронессе Б., посланнице В. и т. д. заполняют время почти до четырех часов; теперь барон покончил со своими основными делами и в четыре часа может спокойно сесть за стол. Это происходит обычно снова в ресторации. Встав из-за стола, мы идем в кафе, играем обычно партию на бильярде и потом, если позволяет погода, совершаем небольшую прогулку, я — всегда пешком, барон — иногда на лошади.

Так незаметно подходит время идти в театр: барон никогда не пропускает этих часов. Наверное, он играет в театре очень важную роль — ведь ему приходится не только знакомить публику со всей закулисной жизнью и с выступающими актерами, но и указывать, когда нужно хвалить,

а когда бранить, да и вообще он направляет вкус на верную дорогу. Он чувствует к этому призвание от природы. Так как даже самым высокопоставленным особам из моего рода посещать театр по несправедливости категорически воспрещено, то часы спектакля — единственные, когда я разлучен с моим дорогим бароном и развлекаюсь сам, на свой собственный лад. Как это происходит и как я пользуюсь связями с левретками, английскими легавыми, мопсами и другими знатными особами — ты узнаешь в будущем, добрый мой Мурр.

После спектакля мы снова подкрепляемся, и барон с веселой компанией дает волю своему резвому нраву, иными словами, все говорят, все смеются и находят все поистине божественным, и никто толком не знает, что он говорит, над чем смеется и что восхваляет как «поистине божественное». Но в этом-то и вся изысканность беседы, вся общественная жизнь тех, кто, подобно моему хозяину, исповедует светский символ веры. Иногда же барон отправляется поздно ночью в какую-нибудь компанию, и уж там, должно быть, он совсем великолепен. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще никогда не брал меня с собой, и, наверное, у него есть на это достаточные причины. О том, как превосходно я сплю на мягкой постели вблизи барона, я тебе уже говорил.

Я только что описал тебе свой образ жизни; ну, скажи мне теперь, добрый мой кот, может ли мой ворчливый старый дядя обвинять меня в диком, беспутном поведении! Правда, я тебе уже признался — несколько месяцев тому назад у него были справедливые основания для всяческих упреков. Я связался со скверной компанией и находил особое удовольствие в том, чтобы без спросу врываться повсюду, особенно на свадебные пиры, и без всякого повода устраивать скандалы. Но все это происходило не по чистой склонности к диким потасовкам, а единственно по недостатку высшей культуры, каковую я не мог приобрести в доме профессора при тамошних порядках. Теперь все по-другому. Но — кого я вижу? Вон идет барон Алкивиад фон Випп! Он смотрит — где я, он свистит! Au revoir [\[156\]](#), драгоценнейший!

С быстротою молнии Понто ринулся навстречу своему хозяину. Внешность барона вполне отвечала образу, который я нарисовал себе со слов Понто. Барон был очень высокого роста и не столько стройного, сколько сухопарого сложения. Платье, поза, походка, манеры — все могло сойти за образец последней моды, хотя и доведенной до фантастической крайности, что придавало барону несколько странный, необычный вид. В руке у него была маленькая, тоненькая палочка со стальной ручкой, и он заставил Понто несколько раз прыгнуть через нее. Как ни унижительно

показалось мне это, однако я должен был признать, что у Понто, всегда необычайно сильного и ловкого, появилась теперь какая-то грация, которой я прежде никогда у него не замечал. В том, как барон шествовал странным, раскоряченным петушиным шагом, подтянутый, с выпяченной грудью, в том, как Понто прыгал возле него — то впереди, то сбоку, выделявая изящнейшие курбеты и удостаивая встречавшихся товарищей только самыми короткими и слегка надменными поклонами, — во всем этом было что-то хотя и неясное мне, но все же импонирующее. Я смутно ощутил, что именно разумел Понто под высшей культурой, и пытался, насколько мог, уяснить себе это. Однако задача оказалась не из легких, вернее, мои старания были совершенно тщетны.

Впоследствии я убедился, что перед некоторыми явлениями бессильны все теории, все измышления нашего духа и что познание их достигается лишь живой практикой; а высшая культура, приобретенная в утонченном обществе бароном Алкивиадом фон Випп и пуделем Понто, принадлежит именно к такого рода явлениям.

Барон Алкивиад фон Випп, проходя мимо, весьма пристально лорнировал меня. Мне померещилось, будто я прочел в его взоре любопытство и гнев. Может быть, он заметил разговор Понто со мной и принял это немилостиво? Мне стало немного боязно, и я поспешно поднялся вверх по лестнице.

Дабы исполнить до конца долг автобиографа, мне надобно вновь описать состояние моей души, и я не мог бы свершить это лучше, чем посредством нескольких возвышенных сочинений в стихах, какие с некоторых пор, как говорится, сыплются из меня, точно из рога изобилия.

Однако я предпочту...

(Мак. л.) ...растратил на эти глупые, жалкие игрушки лучшую часть моей жизни. И теперь ты жалуешься, старый безумец, и обвиняешь судьбу, коей ты перечил с дерзким упрямством! Какое тебе дело было до знатных господ, до всего этого мирка, над которым ты издевался, потому что считал его дурацким, а сам был дураком из дураков? Тебе надо было держаться своего ремесла, да, своего ремесла, строить органы и не разыгрывать колдуна и прорицателя. Они не украли бы ее у меня; моя жена осталась бы со мной; как заправский работник я сидел бы у станка, и дюжие молодцы стучали бы и колотили вокруг меня, и мы создавали бы органы, которые звучали бы лучше всех органов на свете и не посрамили бы своего строителя. Къяра! Может быть, резвые мальчуганы уже висли бы у меня на шее, может быть, я уже качал бы на коленях хорошенькую дочурку. Дьявол!

Что мешает мне сейчас же убежать отсюда и пуститься на поиски моей утраченной жены по всему свету?» С этими словами маэстро Абрагам, который вел этот разговор сам с собой, швырнул начатую им небольшую механическую куклу вместе с инструментами под стол, вскочил и стремительно зашагал взад и вперед. Мысль о Кьяре, теперь почти никогда его не покидавшая, вызвала болезненную скорбь в его душе, и как тогда с появлением Кьяры для него началась высшая жизнь, так и сейчас одно воспоминание о ней подавило в нем бунт земных чувств против того, что он осмелился заглянуть дальше своего ремесла и заняться настоящим искусством. Он раскрыл книгу Северино и долго смотрел на милую Кьяру. Затем, словно лунатик, утративший способность чувствовать и автоматически повинующийся лишь внутреннему внушению, маэстро Абрагам подошел к ящику в углу комнаты, очистил его от нагроможденных на нем книг и вещей, открыл его, вынул стеклянный шар, всю аппаратуру, необходимую для таинственного эксперимента с Невидимой девушкой, укрепил шар на тонком шелковом шнурке, спускавшемся с потолка, и расставил все в комнате так, как было нужно для скрытого оракула. И только когда все было готово, он очнулся от этого полубоморочного сна наяву и весьма удивился тому, что он сделал. «Ах, — громко простонал он, — ах, Кьяра, бедная моя Кьяра! Никогда не услышу я вновь, как возвещает мне твой голос о том, что сокрыто в глубочайших тайниках человеческого сердца! Одно мне утешение на земле, одна надежда — могила!»

Тут стеклянный шар закачался взад и вперед, и послышался мелодический звук, будто дыхание ветерка коснулось струн арфы. Но скоро звук обратился в слова:

*Пулно, жизнь еще не вся,
Вдалеке надежда светит,
Луч дрожит, во тьме скользя,
Трудно, мастер, жить на свете,*

*Душат старой клятвы сети?
Веруй! Выведет стезя!
Уврачует раны эти
Та, чьих слез забыть нельзя.*

«О милосердное небо! — пробормотал старик трясущимися губами. — Это она сама, это она говорит со мной с высоты небесной; ее уже нет среди людей!» Тут снова послышался мелодический звук и еще тише, еще отдаленнее зазвучали слова:

*Не подвластен смерти тот,
Чья любовь, как жизнь, богата,
Кто в слезах встречал восход,
Дольше видит свет заката.
Близок час твой: все утраты,
Все печали он сметет.
Смей, верши, исполни свято
Все, что небо ниспошлет!*

То усиливаясь, то вновь затихая, сладостные звуки убаюкали старика, и сон осенил его своими черными крылами. Но во тьме, сияя прекрасной звездой, ему снилось минувшее счастье, и Кьяра вновь лежала в его объятиях, и оба вновь были молоды и счастливы, и никакие злые духи не омрачали их любви.

(Издатель должен заметить благосклонному читателю, что здесь кот снова начисто выдрал несколько макулатурных листов, и оттого в этой истории, полной пробелов, снова образовался пробел. Но, судя по номерам страниц, недостает только восьми колонок, где, по-видимому, нет ничего особенно важного, так как последующее, в общем, достаточно согласуется с предыдущим. Итак, дальше идет:)

...не мог ждать. Князь Иринея был заклятый враг всяких необыкновенных происшествий, особенно же когда от его собственной персоны требовалось поближе ознакомиться с делом. Поэтому он взял из табакерки двойную понюшку, как делал обычно во всех критических случаях, устоялся на лейб-егеря знаменитым, пронзающим фридриховским взглядом и сказал:

— Лебрехт, уж не лунатик ли ты? Видишь призраки, поднимаешь какой-то непотребный шум!

— Светлейший государь, — ответил очень спокойно егерь, — велите прогнать меня вшаей, как самого что ни на есть негодяя, коли я вам рассказал не всю правду, до самой точки! Я повторяю вам без страха, без утайки: Руперт — распоследний мошенник.

— Как, Руперт? — воскликнул князь, разгневанный донельзя. — Мой старый кастелян, пятнадцать лет верно служащий княжескому дому, никогда не допустивший ржавчины ни на одном замке, ни разу не позабывший вовремя отпереть и вовремя запереть двери, и он — мошенник? Лебрехт, ты с ума сошел! В тебя вселился бес! Сто тысяч дья..!

Князь запнулся, как всегда, когда он ловил себя на проклятиях, противных всем княжеским благоприличиям. Лейб-егерь воспользовался этим мгновеньем и поспешил вставить:

— Светлейший государь изволите горячиться и ругаться так страшно, а все ж молчать нельзя и правду сказать надобно.

— Кто горячится? — сказал князь, успокоившись. — Кто ругается? Ослы ругаются! Я желаю, чтобы ты повторил мне все как можно короче, дабы я мог изложить суть дела на тайном заседании моим советникам для подробного обсуждения и постановления о необходимых мерах. Ежели Руперт и вправду мошенник, то... ну, это мы увидим потом.

— Я ж говорил, — начал лейб-егерь, — когда я вчера с факелом провожал фрейлейн Юлию, тот самый человек, что уже давно здесь повсюду шатается, прошмыгнул мимо нас. Постой, думаю я, уж я поймаю тебя, дьявола; провожаю я, стало быть, милую фрейлейн наверх, тушу свечку и становлюсь в темное место. Прошло немного времени, и тот человек вылезает из кустов и стучится в дверь. Я подкрадываюсь туда. Вот дверь открывается, и выходит девушка, и с этой девушкой чужак исчезает в доме. Это была Нанни. Вы ведь знаете, светлейший государь, красотку Нанни, ну ту, что у госпожи советницы?

— Соquin! [\[157\]](#) — воскликнул князь. — С высокими венценосными особами не говорят о «красотке Нанни»; но продолжай, mon fils! [\[158\]](#)

— Да, красотка Нанни, — продолжал егерь, — и я никак не думал, что за ней водятся такие глупости. Стало быть — просто любовные делишки, и больше ничего, думаю я себе, и невдомек мне, что тут кроется еще что-то. Так и стою возле дома. Прошло немало времени, госпожа советница возвратилась домой, и только это она вошла в дом, как наверху открывается окно и выскакивает чужак — до чего ж проворно! — и прямехонько на

красивые гвоздики и левкой, те, что за оградой; сама фрейлейн Юлия за ними ходит, точно за малыми ребятами. Садовник — тот прямо разбушевался, он на дворе ждет с разбитыми горшками и хотел сам подать жалобу светлейшему государю. Но я его не впустил, потому как бездельник уже спозаранку под мухой...

— Лебрехт, это слишком смахивает на имитацию, — перебил князь лейб-егеря, — то же самое происходит в опере господина Моцарта, называемой «Свадьба Фигаро», которую я видел в Праге. Не уклоняйся от истины, егерь!

— Но я каждое словечко могу подтвердить под личной присягой, — продолжал Лебрехт. — Молодчик свалился, и я хотел было его схватить, но он быстрее молнии вскочил и помчался что есть духу — куда? Ну как вы думаете, светлейший князь, куда он помчался?

— Я ничего не думаю, — ответил важно князь, — не тревожь меня докучными вопросами о моих мыслях, егерь, и повествуй спокойно, пока не завершишь свою историю! Тогда уж я начну мыслить.

— Прямо в нежилой павильон улепетнул тот человек, — продолжал егерь. — Да, нежилой! И только постучался в двери, внутри стало светло и к нему навстречу выходит не кто иной, как честный и верный господин Руперт, вводит чужака в дом и снова накрепко запирает двери. Вот видите, светлейший повелитель, Руперт водится с чужеземными опасными гостями, и замышляют они что-то недоброе, иначе б не прятались. Кто знает, на что они метят; может, эти негодяи подстерегают здесь в тихом, спокойном Зигхартсгофе моего светлейшего князя?

Так как князь Ириней считал себя необыкновенно значительной княжеской персоной, то естественно, что ему по временам чудились всяческие дворцовые интриги и злокозненные преследования. Поэтому от последнего открытия егеря словно камень лег ему на сердце, и на несколько мгновений он погрузился в глубокое раздумье.

— Егерь, ты имеешь резон, — сказал он затем, вытаращив глаза. — Какой-то никому не ведомый человек шатается тут по ночам, в нежилом павильоне горит свет — все это подозрительнее, чем кажется поначалу. Жизнь моя в руках божьих; однако ж меня окружают верные слуги, и ежели б кто из них положил живот свой за меня, я б непременно щедро одарил его семью. Разнеси это меж моих людей, любезный Лебрехт! Тебе ведомо, княжеское сердце недоступно малейшей боязни, малейшему страху смерти, но есть долг перед народом. Для него должно мне сохранить себя, особенно ж пока престолонаследник еще несовершеннолетен. Посему я не оставляю замка прежде, чем интрига в павильоне не будет пресечена. Лесничему

вместе с доезжачими и прочим составом лесного ведомства повелеваю прибыть немедленно сюда, а всем моим людям — вооружиться. Павильон тотчас же окружить, дворец запереть наглухо. Позаботься обо всем этом, любезный Лебрехт! Сам я пристегну охотничий нож; ты же насыпь пороху в мои пистолеты, да смотри не забудь спустить курки, а то как бы не случилось беды. И пусть меня уведомят, как только пойдут на приступ павильона и вынудят заговорщиков сдаться, дабы я мог удалиться во внутренние покои! Пленных, прежде чем они предстанут пред троном, обыскать заботливейшим образом, не ровен час кто-либо из них, отчаявшись... Однако чего ты стоишь, чего ты на меня глаза вытаращил, чего ты улыбаешься? Что это значит, Лебрехт?

— Э, светлейший повелитель, — ответил лейб-егерь с лукавой миной, — я думаю, совсем незачем вызывать лесничего и его людей.

— Почему? — спросил князь, рассердившись. — Я примечаю, ты осмеливаешься мне перечить? А опасность нарастает с каждым часом! Тысяча дья..! Лебрехт, живей на коня. Лесничий, его люди, ружья — все должны немедленно явиться!

— Но они уже здесь, светлейший повелитель! — сказал лейб-егерь.

— Как? Что? — воскликнул князь, так и оставшись с открытым ртом, дабы дать выход своему изумлению.

— Только стало светать, — продолжал егерь, — я уже был у лесничего. Павильон давно уже окружили, оттуда и кошка не выскочит, не то что человек.

— Лебрехт, ты отменный егерь и верный слуга княжеского дома, — сказал растроганный князь. — Ежели ты избавишь меня от сей опасности, ты можешь твердо уповать на почетную медаль, каковую я самолично измыслю и велю отчеканить из серебра или золота тотчас же, как возьмут павильон приступом, сколько б людей там ни полегло.

— Только прикажите, светлейший повелитель, — сказал лейб-егерь, — и мы сейчас же примемся за дело. То есть мы выломаем двери павильона, скрутим эту шваль, которая там хозяйничает, и все будет кончено. Да, да, я уж поймаю молодчика, который от меня так часто ускользал, этого проклятого прыгуна, который непрошеным гостем расположился в павильоне, как у себя дома, этого мошенника, который беспокоит фрейлейн Юлию...

— Что за мошенник беспокоит Юлию? — спросила советница Бенцон, входя в комнату. — О чем вы говорите, добрый Лебрехт?

Торжественно и многозначительно, словно неся какое-то великое и небывалое бремя, требующее напряжения всех духовных сил, князь

прошествовал к советнице. Он взял ее руку, нежно пожал и затем мягким голосом заговорил:

— Бенцон, даже самое полное одиночество, совершеннейшее уединение не отвращает опасности от княжеской главы. Таков жребий князей: ни беспредельная кротость, ни великая доброта сердца не защитит их от зависти, воспламеняющей жажду власти в груди изменников-вассалов. Бенцон, чернейшая измена подъяла против меня свою змееволосую медузью главу; вы застаете меня в момент величайшей опасности. Но вскоре наступит и сама катастрофа; быть может, я буду обязан сему верному слуге моею жизнью, моим тронem. А если мне предназначено другое — то да свершится моя судьба. Я знаю, Бенцон, вы сберегли ваши чувства ко мне, и подобно тому королю в трагедии немецкого поэта, коей недавно принцесса Гедвига испортила мне чай, я могу благородно воскликнуть: «Но вы моя... Не все еще погибло!» Поцелуйте меня, милая Бенцон! Дорогая Мальхен, ведь мы все те же и пребудем все теми же. Боже милосердный, кажется, от душевного смятения я несу вздор? Будем мужественны, моя возлюбленная! Когда изменники будут схвачены, я обращу их во прах единым взором. Лейб-егерь, начинайте приступ павильона!

Лейб-егерь поспешно рванулся к дверям.

— Стойте! — воскликнула советница. — Что за приступ? Какого павильона?

По приказанию князя лейб-егерю пришлось снова дать точный отчет о всем происшествии.

Но чем дальше рассказывал лейб-егерь, тем, казалось, внимательнее слушала Бенцон. Когда он закончил, советница воскликнула, смеясь:

— Ну, это самое забавное недоразумение, какое только возможно! Я прошу вас, всемилостивейший повелитель, немедленно отослать лесничего и его людей по домам. О заговоре не может быть и речи; вам не грозит ни малейшая опасность, ваша милость. Неизвестный обитатель павильона уже ваш пленник.

— Кто? — спросил князь, донельзя удивленный. — Какой несчастный обитает в павильоне без моего разрешения?

— В нем, — прошептала Бенцон на ухо князю, — скрывается принц Гектор.

Князь отпрянул на несколько шагов, как будто внезапно пораженный ударом невидимой руки; затем он воскликнул:

— Кто? Как? Est-il possible! ^[159] Бенцон, я сплю? Принц Гектор? — Взгляд князя упал на лейб-егеря, в полном ошеломлении мявшего в руках

свою шляпу. — Егерь, — закричал на него князь, — убирайся! Лесничего, людей — прочь, прочь, по домам! Чтоб я не видел ни одного человека! Бенцон, — обратился он затем к советнице, — добрая Бенцон, можете ли вы вообразить? Лебрехт назвал принца Гектора молодчиком и мошенником! Несчастный! Но пусть это останется между нами; это — государственная тайна. Однако скажите, объясните же мне, как могло случиться, что принц, заявив, будто он уезжает, на самом деле спрятался здесь, словно какой-то искатель приключений?

Советница Бенцон поняла, что переполох, устроенный лейб-егерем, помогает ей выйти из немалого затруднения. Уверенная, что она поступит неразумно, открыв князю присутствие принца в Зигхартсгофе и тем более его покушение на Юлию, она все же сочла прежнее положение нетерпимым, так как оно могло стать угрожающим для Юлии и для тех отношений, которые сама Бенцон поддерживала с крайним трудом. Теперь же, когда лейб-егерь открыл убежище принца и тому грозило быть извлеченным оттуда не слишком-то почетным образом, Бенцон вправе была выдать его князю, не подвергая Юлию опасности. Итак, она объяснила князю, что, вероятно, любовная ссора с принцессой Гедвигой вынудила принца объявить о своем внезапном отъезде и спрятаться со своим преданным камердинером по соседству с возлюбленной. Что в этом поступке есть нечто романтическое, необычайное, этого нельзя отрицать, но какой влюбленный не способен на это? Впрочем, камердинер принца весьма ревностный обожатель ее Нанни, и она-то и выдала тайну.

— О, — воскликнул князь, — хвала небу! Так это камердинер, а не принц прокрался к вам в дом и затем выпрыгнул в окно на цветочные горшки, подобно пажу Керубино. У меня уже возникали всяческие прискорбные соображения. Принц — и прыгает в окно? Это же ни с чем не сообразно!

— Э, — ответила Бенцон, лукаво смеясь, — я, например, знаю одну княжескую особу, не пренебрегавшую выходом через окно, когда...

— Вы досаждают мне, Бенцон, — прервал князь советницу, — вы досаждают мне необыкновенно. Умолчим о прошедшем, подумаем лучше, что предпринять с принцем? Вся дипломатия, все государственное право, все законы двора — все полетело к черту! Надлежит ли мне игнорировать его? Или обнаружить его как бы случайно? Надлежит ли мне... надлежит ли мне?.. Все вращается в моей голове, подобно вихрю. Вот что творится, когда венценосные главы унижают себя до странных романтических выходов.

Бенцон и вправду не знала, как установить дальнейшие отношения с

принцем. Но и это затруднение было устранено. Прежде чем советница успела ответить князю, вошел старый кастелян Руперт и передал князю сложенную записочку, уверяя с хитрой улыбкой, что она от одной высокой особы, которую он имел честь оберегать под замком неподалеку отсюда.

— Итак, тебе было известно, Руперт, — весьма милостиво обратился князь к старику, — что... Ну, я всегда почитал тебя честным, верным слугою моего дома, а ныне ты доказал это своим поступком, ибо ты, как то и вменяли тебе в долг, повиновался приказаниям моего августейшего зятя. Я подумаю о твоём награждении.

Руперт поблагодарил в самых смиренных выражениях и удалился из комнаты.

Весьма часто случается в жизни, что тот или иной человек представляется окружающим особенно честным и добродетельным как раз в ту пору, когда он затевает какую-нибудь мошенническую проделку. Об этом и подумала Бенцон, знавшая о мерзком покушении принца и убежденная, что старый лицемер Руперт посвящен в эту тайну.

Князь вскрыл записку и прочел:

*«Che dolce più, che più giocondo stato
Saria, di quel d'un amoroso core?
Che viver più! felice e più beato,
Che ritrovarsi in servitù d'Amore?
Se non fosse l'huom sempre stimolato
Da quel sospetto rio, da quel timore,
Da quel martir, da quella frenesia,
Da quella rabbia, detta gelosia.*

В этих стихах великого поэта Вы, князь, найдете причину моего таинственного поступка. Я считал себя отвергнутым той, кому я поклоняюсь, в ком все мое благословение и надежда, для кого пылает страстный жар в моей воспламененной груди. Но, о счастье! Я убедился в благосклонности судьбы; я знаю с недавних пор, что я любим, и выхожу из своего убежища. Любовь и счастье, да будет это девизом, которым я возвещаю о себе! Вскоре я смогу приветствовать Вас, о мой князь, со всей сыновней почтительностью.

Гектор».

Быть может, благосклонный читатель не посетует, если в этом месте биограф на несколько мгновений оставит повествование и поместит здесь свой перевод этих итальянских стихов. Они значили примерно следующее:

*Что слаще и прекраснее на свете
Огня любви, что жжёт нас и возносит?
Какие цепи трепетней, чем эти,
Надетые Амуром, смертный носит?
Да разглядит он умысел в навете,
У духов тьмы совета да не спросит,
Да не взрастит то дьявольское семя,
Что ревностью зовут, что правит всеми!*

Князь очень внимательно прочитал записку дважды, трижды, и чем больше он в нее вчитывался, тем мрачнее хмурил он лоб.

— Бенцон, что это с принцем? — спросил он наконец. — Вирши, итальянские вирши к державному главе, венценосному тестю, вместо ясного и разумного объяснения? Что это означает? Какая-то бессмыслица! По-видимому, принц возбужден совершенно неподобающим образом. Стихи говорят, насколько я уразумел, о счастье любви и о муках ревности. Что желает сказать принц этой ревностью? Ради всех святых, к кому мог он здесь ревновать? Скажите мне, любезная Бенцон, отыщете ль вы в этой записке принца хотя бы искру здравого смысла?

Бенцон ужаснулась скрытому значению слов принца, легко отгаданному ею после того, что случилось вчера в ее доме. Но вместе с тем она невольно подивилась ловкой увертке, к которой прибегнул принц, чтобы беспрепятственно выйти из своей засады. Далекая от мысли хотя бы намеком открыться в этом князю, она в то же время ломала себе голову над тем, как бы извлечь побольше выгод из создавшегося положения. Крейслер и маэстро Абрагам — вот кого она опасалась, так как они, по ее мнению, могли расстроить ее тайные планы, и против них она считала необходимым пустить в ход оружие, которое вложил в ее руки случай.

Бенцон напомнила князю, что она сказала ему о страсти, вспыхнувшей в сердце принцессы. От пронизательного взгляда принца, продолжала она, настроение принцессы столь же мало могло ускользнуть, как и странное,

эксцентрическое поведение Крейсlera, давшее ему достаточный повод заподозрить какую-нибудь безрассудную связь. Это и объясняет, почему принц преследовал Крейсlera насмерть, почему он, полагая, что убил капельмейстера, избегал встреч с принцессой, повергнутой в скорбь и отчаяние, но потом, проведав, что Крейслер жив, вернулся обратно и тайно наблюдал за невестой. Только к Крейслеру, ни к кому другому, относится ревность, о которой говорится в стихах принца, и тем необходимее и благоразумнее было бы всячески не допускать в будущем пребывания Крейсlera в Зигхартсгофе, так как он и маэстро Абрагам, по-видимому, куют заговор, направленный против всего княжеского двора.

— Бенцон, — сказал очень серьезно князь, — я взвесил ваши слова о недостойной склонности принцессы и не могу им поверить. Княжеская кровь струится в жилах принцессы.

— Вы думаете, всемилостивейший государь, — горячо воскликнула Бенцон, покраснев от гнева до корней волос, — вы думаете, что женщина княжеской крови способна лучше всякой другой укрощать удары своего пульса, самую жизнь в своих жилах?

— Вы сегодня в весьма странном расположении духа, советница! — раздраженно сказал князь. — Я повторяю: коль в сердце принцессы и разгорелась какая-нибудь страсть, то это был только болезненный припадок, так сказать, судорога — ведь она страдает спазмами, — которая очень скоро прошла бы. Что же касается Крейсlera, то это весьма занятная личность, которой не хватает лишь должного лоску. Я не могу почитать его способным на столь наглую дерзость, как желание приблизиться к принцессе. Он дерзок, но совсем по-иному. Согласитесь же со мной, Бенцон, что по причине его странного нрава именно принцесса не удостоилась бы его внимания, ежели вообще мыслимо, чтобы столь высокая особа могла снизойти до любви к нему. Ибо, Бенцон, — *entre nous soit dit*, — для него мы, венценосные особы, не столь уж много значим, и именно это его смехотворное и нелепое заблуждение лишает его способности пребывать при дворе. Пусть он и живет себе вдали. Но вернись он, я скажу ему от всего сердца «добро пожаловать»! Ибо не только доволен того, как я узнал от маэстро Абрагама... Да! Маэстро Абрагама вы сюда не вмешивайте, советница! Заговоры, им замышляемые, всегда клонились ко благу княжеского дома. Что же намеревался я сказать?.. Да, не только доволен того, что капельмейстер, как доложил мне маэстро Абрагам, принужден был бежать отсюда неподобающим образом, хотя и был благосклонно мною принят, но и, кроме всего иного, он был и есть весьма смышленный человек, который забавляет меня, невзирая на свои

сумасбродные повадки, *et cela suffit!* [\[160\]](#)

Советница окаменела от внутренней ярости, увидав, что ей так холодно указали место. Никак того не ожидая, она наткнулась на подводный риф там, где надеялась спокойно плыть по течению.

Со двора внезапно донесся сильный шум. В сопровождении большого отряда эрцгерцогских гусар в ворота въезжали длинной вереницей экипажи. Из них вышли обер-гофмаршал, президент, советники князя и некоторые знатные лица из Зигхартсвейлера. Оказывается, там было получено известие, что в Зигхартсгофе разразилась революция, посягающая на жизнь князя, и вот эти верные вассалы вместе с другими почитателями двора прибыли, дабы сплотиться вокруг державной особы, и привели с собой защитников отечества, которых они с превеликим трудом вымолили у губернатора.

Оглушенный бурными заверениями собравшихся, что ради спасения все милостивейшего государя они готовы пожертвовать душой и телом, князь не мог и рта раскрыть. Только было собрался он наконец начать, как вошел офицер, командовавший отрядом, и спросил, каков будет план кампании.

Таково уж свойство человеческой природы: если опасность, повергшая нас в ужас, на наших глазах превращается в пустое, ничтожное чучело, это всегда вызывает недовольство. Мы радуемся, когда мы счастливо избежали подлинной опасности, а не тогда, когда спаслись от мнимой.

Так и теперь князь едва мог сдержать свое раздражение, свою досаду, вызванные понапрасну поднятым шумом. Мог ли он, смел ли он сказать, что вся эта суматоха возникла из-за свидания камердинера с горничной, из-за романической мелочной ревности влюбленного принца? Он прикидывал в уме так и сяк, но молчание залы, исполненное тревожного ожидания и прерываемое лишь мужественным, сулящим победу ржаньем гусарских лошадей, оставленных на дворе, свинцовой тяжестью давило на него.

Наконец он откашлялся и весьма патетически начал:

— Господа, чудесное вмешательство неба... Что вам угодно, *mon ami*? [\[161\]](#)

Этим вопросом к гофмаршалу князь перебил свою речь. Действительно, гофмаршал то и дело кланялся и взглядом давал понять, что у него есть какое-то секретное важное сообщение. Его известили, что принц Гектор только что велел доложить о себе.

Чело князя прояснилось; он увидел, что о мнимой опасности, колебавшей его трон, можно сказать очень кратко и единым мановением волшебного жезла превратить достопочтенное собрание в придворный

прием. Так он и поступил.

Немного спустя вошел принц Гектор в блестящей, парадной форме, красивый, сильный, гордый, словно юный бог-далновержец. Князь сделал несколько шагов ему навстречу, но тотчас же отпрянул, будто пораженный молнией. Сразу вслед за принцем Гектором в залу вскочил принц Игнатий. Княжеский отпрыск становился, к сожалению, с каждым днем все глупее и бестолковее. К несчастью, ему необыкновенно понравились гусары во дворе, и он упросил одного из них дать ему саблю, сумку и кивер и нацепил на себя все это великолепие. Подпрыгивая, будто верхом на лошади, он с саблей наголо скакал по зале, громяхая ножнами по полу, и при этом смеялся и хихикал необычайно весело.

— Partez, décampez! Allez-vous en, tout de suite! [\[162\]](#) — громовым голосом закричал князь, сверкая глазами на испуганного Игнатия, и тот немедленно убрался.

У присутствующих достало такта не заметить принца Игнатия и всей этой сцены.

Князь, изливая солнечное сияние своей прежней доброты и благосклонности, обменялся с принцем несколькими фразами, и затем оба они, князь и принц, обошли по кругу собравшихся, обращаясь то к тому, то к другому с любезным словом. Прием был закончен, ибо все остроумные, глубокомысленные разговоры, которые в таких случаях затеваются, были исчерпаны, и князь вместе с принцем направился в покои княгини, а потом и в покои принцессы, так как принц настаивал на том, чтобы сделать сюрприз дорогой невесте. Там они застали и Юлию.

С поспешностью самого пылкого влюбленного принц подлетел к принцессе, без конца прижимал нежно ее руку к губам, клялся, что он жил только мыслями о ней, что несчастное недоразумение доставило ему адские муки, что он не мог бы больше вынести разлуку с той, кого он боготворит, что теперь ему открылось все небесное блаженство.

Гедвига встретила принца с непринужденной веселостью, ей вовсе не свойственной. Она приняла нежные ласки принца так, как и подобает невесте, не спешащей идти навстречу желаниям жениха, она даже не преминула слегка подшутить над принцем и его тайником, уверяя, что вряд ли можно представить себе более милое и прелестное чудо, чем превращение болвана для чепчика в голову принца, ибо она приняла голову, появлявшуюся в окне павильона, за болвана для чепчика. Это дало повод ко всяким милым поддразниваниям влюбленной пары, казалось, веселившим даже князя. Только теперь он окончательно поверил, что Бенцон сильно ошиблась насчет Крейсера, так как, по его мнению, любовь Гедвиги к

красивейшему из мужчин обнаружилась достаточно ясно. Ум и красота принцессы, казалось, редкостно и полно расцвели, как это бывает у счастливых невест. Юлия же, напротив, как только увидела принца, вся задрожала от охватившего ее страха. Бледная как смерть, стояла она, потупив глаза, не в силах пошевелиться, едва держась на ногах.

Прошло довольно много времени, прежде чем принц повернулся к ней со словами:

— Фрейлейн Бенцон, если не ошибаюсь?

— Подруга принцессы с самого раннего детства — почти сестра.

Когда князь произносил эти слова, принц схватил руку Юлии и тихо-тихо прошептал ей:

— Все мои слова предназначались тебе!

Юлия пошатнулась; от мучительного страха у нее выступили слезы из-под ресниц; она упала бы, если бы принцесса не подставила ей кресла.

— Юлия, — шепнула Гедвига, наклонившись к бедняжке, — соберись с силами! Разве ты не догадываешься о жестокой борьбе, которую я веду?

Князь открыл двери и крикнул, чтоб принесли Eau de Luce [\[163\]](#).

— Этого у меня нет при себе, — сказал входивший в эту минуту маэстро Абрагам, — но есть эфир. Кто-нибудь упал в обморок? Тогда и эфир поможет.

— Входите скорей, маэстро, — ответил князь, — и помогите фрейлейн Юлии!

Но как только маэстро Абрагам вошел в залу, случилось нечто неожиданное. Бледный как привиденье, уставился принц Гектор на органщика; казалось, волосы у него встали дыбом от страха, холодный пот выступил на лбу. Откинувшись всем телом, он сделал шаг вперед и простер руки к маэстро, похожий на Макбета в ту минуту, когда ужасный окровавленный призрак Банко внезапно занимает пустое место за столом. Маэстро спокойно вытащил свой флакончик и хотел подойти к Юлии.

Это как будто снова вернуло принца к жизни.

— Северино, вы ли это? — воскликнул он глухим голосом, в глубочайшем ужасе.

— Конечно, — ответил маэстро Абрагам, нимало не теряя спокойствия и нисколько не меняясь в лице. — Мне приятно, что вы вспомнили меня, всемилостивейший государь; я имел честь в оные времена в Неаполе оказать вам небольшую услугу.

Маэстро сделал еще один шаг вперед; тогда принц схватил его за руку, силой оттащил в сторону, и тут между ними произошел краткий разговор. Находившиеся в зале ничего в нем не поняли, так как он велся слишком

быстро и на неаполитанском диалекте.

— Северино, как очутился у него портрет?

— Я его дал ему для защиты против вас.

— Он знает?

— Нет.

— Будете вы молчать?

— Покамест!

— Северино, все дьяволы вцепились в меня! Что значит «покамест»?

— Покамест вы будете послушны и оставите в покое Крейсlera и эту девушку вот там.

Принц отпустил маэстро и подошел к окну.

Тем временем Юлия очнулась. Взглянув на органного мастера с непередаваемым выражением душераздирающей скорби, она скорее прошептала, чем сказала:

— О мой добрый, милый маэстро, может быть, вы меня спасете. Не правда ли, вам многое подвластно? Ваша наука может еще направить все к добру.

Маэстро Абрагаму почудилась в словах Юлии удивительнейшая связь с только что состоявшимся разговором, будто она в забытии обрела дар высшего познания, все поняла и узнала всю тайну.

— Ты — благочестивый ангел, — прошептал маэстро Юлии на ухо, — поэтому мрачный, адский дух греха не имеет над тобой никакой власти! Доверься мне вполне и собери все силы своей души! Помни о нашем Иоганнесе!

— Ах, — горестно воскликнула Юлия, — ах, Иоганнес! Он вернется, не правда ли, маэстро? Я увижу его опять?

— Конечно, — ответил маэстро и приложил палец к губам; Юлия поняла его.

Принц силился казаться непринужденным; он рассказал, что этот человек, кого, как он слышал, здесь называют маэстро Абрагамом, несколько лет тому назад в Неаполе был свидетелем одного очень трагического события, в котором он, принц, как приходится ему сознаться, сам был замешан. Теперь покамест еще не время рассказывать об этом событии; но в будущем он не собирается о нем умалчивать.

Бушевавшая в душе принца буря была слишком грозной, чтобы ее кипение не вырывалось на поверхность, и его расстроенное лицо, в котором не было ни кровинки, очень плохо согласовывалось с безразличной беседой, к каковой он теперь принуждал себя, чтобы выйти из критического положения. Принцессе лучше принца удалось преодолеть

напряженность момента. С иронией, превращавшей даже подозрение и досаду в тончайшую злую насмешку, Гедвига все глубже завлекала принца в лабиринт его собственных мыслей. И принц Гектор, необыкновенно ловкий светский человек, к тому ж во всеоружии душевной развращенности, губительной для всего искреннего, честного, живого, не мог справиться с этим странным существом. Чем горячее говорила Гедвига, чем огненней и зажигательней сверкали молнии ее остроумной насмешки, тем смущенней и беспокойней чувствовал себя принц; наконец чувство это сделалось невыносимым, и он быстро удалился.

С князем случилось то, что обычно случалось с ним при таких обстоятельствах, — он просто не мог разобраться в происходящем. Он удовольствовался тем, что кинул принцу несколько незначительных французских словечек, на что принц ответил ему тем же.

Принц был уже у выхода, как вдруг Гедвига, вся переменившись, уставилась на пол и громко воскликнула:

— Я вижу кровавый след убийцы! — Затем, словно пробудившись от сна, она бурно прижала Юлию к своей груди и прошептала ей: — Дитя, мое бедное дитя, не поддавайся обольщению.

— Тайны, фантазии, химеры, романические бредни! — раздраженно процедил князь. — Ma foi [\[164\]](#), я более не узнаю моего двора. Маэстро Абрагам, когда мои часы идут неверно, вы приводите их в порядок; я желал бы, чтоб вы здесь проверили, что повредилось в часовом механизме, ранее всегда исправном. Однако, кто этот Северино?

— Под этим именем, — ответил маэстро, — я показывал в Неаполе мои оптические и механические фокусы.

— Так-так, — сказал князь, пристально взглянул на маэстро, как будто у него на языке вертелся какой-то вопрос, но тут же быстро повернулся и молча покинул комнату.

Можно было подумать, что Бенцон находится у княгини, но это было не так. Она направилась к себе домой.

Юлии захотелось выйти на свежий воздух. Маэстро повел ее в парк, и, прогуливаясь под почти уже облетевшими деревьями, они говорили о Крейслере и его жизни в аббатстве. Так достигли они рыбацьею хижины. Юлия вошла в нее, чтобы немного отдохнуть. Письмо Крейсlera лежало на столе; маэстро полагал, что в письме нет ничего, что было бы неприятно Юлии. Пока Юлия читала письмо, ее щеки все больше розовели, и нежное пламя, отблеск душевной радости, засияло в ее глазах.

— Вот видишь, мое милое дитя, — приветливо сказал маэстро, — как добрый дух моего Иоганнеса утешает тебя, говоря с тобою издалека? Тебе

ли бояться опасных покушений, если постоянство, любовь и мужество защищают тебя от преследований злодея?

— Милосердный боже! — воскликнула Юлия, подняв взор к небу. — Защити меня только от себя самой! — И вся задрожала, испугавшись своих слов, которые невольно у нее вырвались. В полуобмороке она опустилась в кресло и закрыла руками пылающее лицо.

— Я не понимаю тебя, девушка, — сказал маэстро. — Должно быть, ты сама себя не понимаешь, и поэтому тебе надо заглянуть в самую глубину своей души и ничего не таить от себя, не щадить себя из сострадания!

Маэстро предоставил Юлии погрузиться в глубокое раздумье и, скрестив руки, взглянул на таинственный стеклянный шар. Грудь его стеснило страстное томление; охваченный чудесным предчувствием, он воскликнул:

— Да, тебя я должен спросить, с тобой должен я посоветоваться, с тобой, прекрасная, божественная тайна моей жизни! Заговори же, дай услышать твой голос! Ты ведь знаешь, что я никогда не был человеком земных побуждений, хотя многие считали меня таковым. Нет, во мне горела сама любовь, а она-то и есть Мировой Дух, в моей груди тлела искра, которую дыхание твоего существа раздуло в светлое радостное пламя. Не думай, Кьяра, что это сердце, постарев, оледенело и уже не бьется так быстро, как в ту пору, когда я тебя вырвал у бесчеловечного Северино; не думай, что я сделался менее достойным тебя, чем в ту пору, когда ты сама меня отыскала! Да, позволь услышать твой голос, и я с быстротой юноши побегу на сладостный звук его, пока я тебя не найду, и мы снова будем жить вместе и в волшебном содружестве займемся высшей магией, к которой волей-неволей приобщаются все, даже самые обыкновенные люди, вовсе не веря в нее. И если ты не странствуешь уже здесь по земле, в телесном облике, и твой голос заговорит со мною из царства духов, я буду счастлив и этим и, конечно, сделаюсь еще более искусным, чем был когда-либо. Но нет, нет! Как звучали утешающие слова твои, обращенные ко мне?

*Не подвластен смерти тот,
Чья любовь, как жизнь, богата,
Кто в слезах встречал восход,
Дольше видит свет заката.*

— Маэстро! — воскликнула Юлия, поднявшись в кресле и с глубоким удивлением прислушиваясь к словам старика. — С кем вы разговариваете? Что вы хотите делать? Вы назвали имя Северино. Милостивое небо, ведь принц, очнувшись от своего испуга, называл вас этим именем? Какая ужасная тайна здесь сокрыта?

При этих словах Юлии старик мгновенно вышел из своего мечтательного оцепенения, и, чего уже давно не случалось, на его лице появилась странная, почти шутовская улыбка, удивительно противоречившая его чистосердечной натуре и придававшая всему его облику черты какой-то зловещей карикатуры.

— Прелестная фрейлейн, — чуть не прокричал он резким голосом, каким ярмарочные фокусники обычно выхваляют свое искусство, — прелестная фрейлейн, немного терпенья. Скоро я буду иметь честь здесь, в рыбацкой хижине, показать вам удивительнейшие вещи: танцующих человечков, маленького турка, знающего, сколько лет каждому из присутствующих, автоматические манекены, эмбрионы чудовищ, загадочные картинки, оптические зеркала — все это превосходные, магические игрушки; но я не назвал самой лучшей. Моя Невидимая девушка тут. Заметьте, она уже сидит там наверху в стеклянном шаре! Но она еще не говорит, она еще устала от далекого путешествия; она вернулась прямым путем из дальней Индии. Через несколько дней моя Невидимка придет в себя, и тогда мы ее спросим насчет принца Гектора, насчет Северино и других событий прошедшего и будущего. А теперь просто слегка позабавимся!

Произнеся это, маэстро с юношеской быстротой и живостью запрыгал по комнате, завел машины, установил магические зеркала. И во всех углах все ожило и задвигалось: манекены зашагали и завертели головами, и механический петух захлопал крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили, сама Юлия и маэстро стояли как бы в комнате и одновременно на дворе. Хотя Юлия достаточно привыкла к таким шуткам, все же на нее напал страх перед этим жутким настроением органщика.

— Маэстро, — воскликнула она в полном испуге, — что это на вас нашло?

— Дитя, — ответил органщик уже в своей серьезной манере, — дитя, нечто прекрасное и удивительное; но вовсе не годится, чтобы ты об этом знала. Однако пусть эти ожившие мертвецы разыгрывают здесь свои шутки, а я тем временем поведаю тебе о многих вещах то, что нужно и

полезно тебе знать. Моя дорогая Юлия, твоя собственная мать закрыла от тебя свое материнское сердце; я хочу тебе его открыть, загляни в него, чтобы ты могла узнать об опасности, в какой ты находишься, и избавиться от нее. Итак, во-первых, узнай без дальнейших обиняков, что твоя мать твердо решила тебя ни мало ни много...

(М. пр.) ...покамест умолчать об этом. Кот юноша, будь скромн, подобно мне, и не излагай свои мысли всегда и немедленно стихами, если для этого достаточно простой честной прозы! Стихи в книге, написанной прозой, должны уподобляться салу в колбасе, то есть, вставленные там и сям маленькими кусочками, они придают всей начинке жирный блеск, больше сладостной прелести во вкусе. Я не страшусь, что поэтические коллеги почтут это уподобление пошлым и неблагородным, ибо оно заимствовано у нашего любимого лакомства, и воистину порою хорошее стихотворение также может пойти на пользу посредственному роману, как кусочек жирного сала — постной колбасе. Я говорю это как кот, получивший эстетическое образование и имеющий немалый опыт.

Какими бы недостойными и даже несколько жалкими не представлялись мне в свете моих прежних философских и моральных взглядов все поведение Понто, его образ жизни, его манера снискивать себе благосклонность хозяина, все же его непринужденные повадки, его элегантность, его грациозное легкомыслие в светском обхождении весьма подкупали меня. Из всех сил хотел я убедить самого себя, что при моем научном образовании, при моей серьезности во всех делах и помыслах я стою на гораздо более высокой ступени, чем невежественный Понто, нахватавшийся там и сям лишь поверхностных знаний. Однако некое неистребимое чувство говорило мне совершенно явственно, что Понто везде оставит меня в тени; я чувствовал, что вынужден признать существование более знатного сословия и что пудель Понто принадлежит именно к нему.

Гениальную голову, подобную моей, всякий повод, всякое жизненное наблюдение всегда наталкивает на особенные, оригинальные мысли, и таким образом, тщательно обдумывая свои отношения к Понто, я предался различным, весьма значительным размышлениям, которые стоят того, чтобы ими поделиться.

«Отчего происходит, — спрашивал я сам себя, глубокомысленно приставив лапу ко лбу, — отчего происходит, что великие поэты, великие философы, гениальные во всех других случаях мудрецы в так называемом большом свете выказывают себя столь беспомощными? Они всегда торчат

там, где они именно сейчас не к месту; они говорят, когда им как раз надобно бы молчать, и, напротив, молчат, когда надо говорить; своими стремлениями, противоположными сложившимся общественным установлениям, они повсюду задевают себя и других; короче, они схожи с тем, кто протискивается к воротам сквозь дружную толпу гуляющих веселых людей и, прокладывая себе дорогу очертя голову, нарушает весь порядок. Я знаю, что это приписывают недостатку светской цивилизованности, а ее не добудешь, сидя за письменным столом; но тем не менее я полагаю, что приобрести эту цивилизованность весьма легко и что эта непреодолимая беспомощность, конечно, должна иметь еще и другое основание.

Великий поэт и философ не был бы самим собой, если бы он не чувствовал своего духовного превосходства; но он не обладал бы этим глубоким чувством, свойственным каждому гениальному человеку, если бы не понимал, что это превосходство не может быть признано, так как оно нарушает равновесие, а сохранение равновесия — главное стремление так называемого высшего общества. В нем каждый голос должен гармонически сочетаться с остальными голосами и составлять совершенный аккорд всего целого; а между тем голос поэта звучит диссонансом, и если при других обстоятельствах тон его, может быть, и очень хорош, то все же в этом случае он плох, ибо не согласуется со всем целым. Но хороший тон, равно как и хороший вкус, состоит в недопущении всего неуместного и неприличного.

Далее я полагаю, что дурное расположение духа, проистекающее из противоречия между сознанием своего превосходства и неуместностью своего появления, препятствует поэту или философу, неискушенному в высшем свете, познать его в целостности и воспарить над ним. Необходимо, чтобы поэт в это время не слишком переоценивал бы свое духовное превосходство, и коль скоро это ему удастся, то он не будет переоценивать и так называемую высшую светскую цивилизованность, сводящуюся всего-навсего к стараниям сгладить все острые углы и сделать все лица на одно лицо, и этим именно их обезличить. Тогда он, освободившись от дурного расположения духа, от всякой предвзятости, легко познает внутреннюю сущность этой цивилизованности и жалкие предпосылки, на которых она покоится, и уже это познание поможет ему ужиться в странном мире, требующем неукоснительного соблюдения законов этой цивилизованности.

По-особому обстоит дело с художниками, а также и с поэтами, писателями, кого иногда какой-нибудь вельможа. приглашает в свой круг,

чтобы, отдавая дань обычаю, некоторым образом притязать на меценатство. К сожалению, обычно от этих художников немного попахивает ремесленничеством, и поэтому они или смиренны до низкопоклонства, или развязны до панибратства.

(Примечание издателя: Мурр, мне обидно, что ты так часто рядишься в чужие перья. И я не без основания опасаясь, что от этого ты заметно потеряешь во мнении благосклонного читателя. Не исходят ли все эти размышления, которыми ты так чванишься, прямо из уст капельмейстера Иоганнеса Крейсlera, и возможно ль вообще, чтобы ты накопил столько жизненной мудрости и даже так глубоко проник в самую удивительную тайну на свете — в душу сочиняющего человеческого существа?)

Но отчего бы, — размышлял я далее, — отчего бы гениальному коту, будь он поэт, писатель, художник, не возвыситься до познания высшей цивилизованности во всем ее значении и не упражняться в грациозности и красоте ее внешних проявлений? Разве природа даровала преимущества этой цивилизованности единственно лишь собачьему племени? Если мы, коты, и отличаемся кое в чем от гордого племени в одежде, в образе жизни, в поведении и обычаях, то и мы также наделены плотью и кровью, обладаем телом и духом, и в конце концов, чтобы поддержать свое существование, собаки поступают так же, как мы. Они тоже должны есть, пить, спать и т. д., и им тоже больно, когда их бьют. Что же отсюда следует?»

Я решил последовать наставлениям моего юного и знатного друга, пуделя Понто, и в полном согласии с самим собой направился обратно в комнату моего хозяина. Взгляд, брошенный в зеркало, убедил меня, что уже одно серьезное намерение устремиться к высшей цивилизованности выгодно сказалось на моем внешнем виде. Я созерцал себя с глубочайшей благосклонностью. Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой? Я замурлыкал.

На другой день я не удовольствовался сидением перед дверьми и пошел гулять по улице. Вдруг я заметил издали господина барона Алкивиада фон Випп, а позади него вприпрыжку бежал мой резвый друг Понто. Ничего не могло быть для меня более кстати; я приосанился как только мог и шагнул навстречу моему другу с той неподражаемой грацией, которой бессильно обучить всякое искусство, ибо она есть бесценный дар благодетельной природы. Но — о ужас! И надо же было так случиться! Едва барон увидел меня, он остановился и с превеликим вниманием

обозрел меня в лорнет, а затем воскликнул: «Aleons, Понто, куси, куси! Кошка, кошка!»

И Понто, неверный друг, полон неистовства, ринулся на меня. Испуганный, вконец смятенный позорным предательством, я не был способен ни к какому отпору, и сжался как только мог, чтобы спастись от острых зубов Понто, с рычанием оскалившего на меня свою пасть. Но Понто несколько раз прыгнул через меня, не прикасаясь ко мне, и шепнул мне на ухо: «Мурр, не будь дураком, не бойся! Ты же видишь, что это — несерьезно. Я делаю это, чтоб доставить удовольствие моему господину». Понто повторил свои прыжки и даже сделал вид, будто схватил меня за ухо, но не причинил мне ни малейшей боли. «Теперь, — прошептал он мне наконец, — теперь убирайся, друг Мурр! Вон туда в погреб!» Я не заставил его повторять мне это дважды и помчался туда с быстротой молнии. Хотя Понто и уверял меня, что он не причинит мне никакого вреда, все же мне было боязно, ибо в таких затруднительных случаях нельзя знать наверное, достаточно ли сильна дружба, чтоб превозмочь природный инстинкт.

Когда я юркнул в погреб, Понто продолжал разыгрывать комедию, начатую им для потехи своего хозяина. Он рычал и лаял перед окошком погреба, совал морду в решетку и притворялся, будто он совершенно вне себя от того, что я ускользнул от него и он не может погнаться за мной. «Видишь ли, — проговорил мне Понто в погреб, — видишь ли, понимаешь ли ты теперь благодетельные плоды высшей цивилизованности. Сейчас я выказал себя перед моим хозяином любезным и послушным, не сделав тебя моим врагом, славный Мурр. Так поступает настоящий светский человек, предназначенный судьбой быть орудием в руках сильнейшего. Если его натравливают, он должен нападать, но притом с такой ловкостью, чтобы кусаться только в том случае, когда это выгодно ему самому». Тут я поспешил открыть моему юному другу Понто, что я жажду позаимствовать кое-что от его высшей цивилизованности, и спросил, может ли он меня немного натаскать и каким образом это сделать. Понто задумался на несколько минут и затем выразил мнение, что лучше всего было бы, если б сейчас же, с самого начала, передо мной раскрылась ясная, живая картина высшего света, где он теперь имеет удовольствие вращаться, а для этого нет лучшего средства, чем визит вместе с ним к прелестной Бадине, принимающей у себя в часы театра. Бадина состояла в услужении у княжеской гофмейстерины на должности левретки.

Я нарядился как мог лучше, вновь перелистал Книжке и пробежал несколько самоновейших комедий Пикара, чтобы в случае необходимости блеснуть знанием французского языка, и затем спустился к дверям. Понто

не заставил себя долго ждать. Мы дружно шествовали по улице и скоро дошли до ярко освещенного дома Бадины, где я застал разношерстное собрание пуделей, шпицев, мопсов, болонок, левреток; одни сидели в кругу, а другие, отделившись, образовали группы по углам.

Сердце мое так и затрепетало при виде этого чуждого общества враждебных мне существ. Кое-кто из пуделей поглядывал на меня с презрительным удивлением, как будто хотел сказать: «Что ему нужно, низкорощенному коту, от нас, возвышенных созданий?» То и дело какой-нибудь элегантный шпиц скалил на меня зубы, и я примечал, как охотно вцепился бы он мне в глотку, если б приличия, достоинство и нравственное воспитание гостей не воспрещали бы всякую потасовку как нечто неподобающее. Понто вывел меня из замешательства, представив меня прекрасной хозяйке, с грациозной снисходительностью уверившей меня, что она весьма рада видеть у себя стяжавшего такую славу кота. И только теперь, когда Бадина сказала мне несколько слов, кое-кто из гостей с истинно собачьим добродушием одарил меня несколько большим вниманием, со мной даже стали заговаривать и вспоминать о моем сочинительстве, о моих произведениях, порою их немало услаждавших. Это льстило моему тщеславию, и я почти не замечал, что меня спрашивают, не внимая моим ответам, что хвалят мой талант, не имея о нем никакого представления, что мои шедевры превозносят, ничего не понимая в них. Некий природный инстинкт подсказал мне отвечать так же, как меня спрашивали, то есть, не обращая внимания на эти вопросы, кратко отделяться от всего такими общими фразами, чтобы они относились к чему угодно, но только бы не выражали никакого мнения и не уводили бы разговор с гладкой поверхности вглубь. В промежутке Понто передал мне, как один старый шпиц уверял его, что для кота я довольно забавен и выдаю способности к настоящему светскому разговору. Подобное ободрило бы и самого мрачного скептика!

Жан Жак Руссо, приводя в своей «Исповеди» историю о том, как он украл ленту и, не сознавшись в воровстве, увидел, что за совершенную им кражу наказывают бедную ни в чем не повинную девушку, признается, как тяжело ему даже упоминать об этом глубочайшем падении. Теперь я как раз нахожусь в одинаковом положении с этим почитаемым автобиографом. Хоть и нет у меня на совести никакого преступления, все ж, если я хочу быть правдивым, я не смею умолчать о великом безумстве, совершенном мною в тот же вечер, которое на долгое время расстроило меня, вернее сказать, даже грозило моему рассудку. Но не так же ль тяжело признаваться в безумстве, как и в преступлении? И не тяжелей ли это подчас?

Прошло немного времени, и мне стало до того не по себе, я впал в такую угрюмость, что мне захотелось быть подальше отсюда, под печкой хозяина. Ужаснейшая скука беспредельно угнетала меня и наконец заставила позабыть всякие приличия. Тихо-тихо прокрался я в дальний угол, дабы предаться дремоте, навеваемой на меня жужжавшими вокруг разговорами. Эти разговоры, которые я единственно из-за моего дурного расположения и, по-видимому, заблуждаясь, счел самым бессмысленным и пошлым празднословием, представлялись мне теперь монотонным стуком мельницы, весьма способствовавшим приятному, бездумному состоянию, обычно переходящему вскоре в крепкий и здоровый сон. И вдруг эта бездумная дремота, это краткое забытие было нарушено: яркий свет блеснул перед моими сомкнутыми веками. Я поднял взор — прямо передо мной стояла грациозная, снежно-белая барышня-левретка, прекрасная племянница Бадины по имени Минона, как я узнал позже.

— Сударь, — сказала Минона тем сладко-лепечущим голосом, что так звучно отдается во взволнованной груди пламенного юноши, — сударь, вы сидите здесь в таком одиночестве, вы кажетесь таким скучающим. Как жаль! Что говорить, такому великому глубокому поэту, как вы, сударь, витающему в высших сферах, суэта обычной светской жизни непременно покажется пошлой и поверхностной.

Я поднялся несколько обескураженный, и меня огорчило, что кошачье естество, оказавшись сильнее всех теорий хорошего тона, заставило меня против воли высоко выгнуть спину, как это свойственно котам, что, как мне показалось, заставило Минону усмехнуться.

Но тотчас же, спохватившись и вспомнив об изысканных манерах, я схватил лапку Миноны, осторожно прижал ее к губам и заговорил о вдохновенных мгновениях, ниспосылаемых поэту. Минона внимала мне со столь разительными знаками сердечнейшего участия, столь благоговейно, что я возносился все выше и выше в сферы чистой поэзии и под конец уже не очень-то понимал сам себя. Минона, вероятно, поняла меня столь же мало, однако восхитилась необыкновенно и уверяла, что познакомиться с гениальным Мурром было уже издавна ее заветным желанием и что этот миг — один из самых счастливых и божественных в ее жизни... Что мне сказать вам? Вскоре оказалось, что Минона прочла мои творения, мои самые возвышенные стихи, — нет, не только прочла, но и постигла их высший смысл. Многие из них она знала наизусть и декламировала их с воодушевлением и грацией, перенесшими меня в рай поэзии, главным образом по причине того, что самая очаровательная из всего собачьего рода заставила меня выслушивать *мои* стихи.

— Несравненная, очаровательная фрейлейн, — воскликнул я в полном упоении. — Вы постигли мою душу, вы выучили наизусть мои стихи. О небеса, есть ли более высокое блаженство для стремящегося ввысь поэта?

— Мурр, — прошептала Минона, — гениальный кот, неужто вы могли подумать, что чувствительное сердце, поэтическая душа может остаться чуждой вам? — При этих словах Минона вздохнула от полноты чувств, и этот вздох окончательно сразил меня... Могло ли быть иначе? Я влюбился в прекрасную девицу-левретку до того, что в полном безрассудстве и ослеплении не заметил, как она внезапно оборвала беседу в момент моего наивысшего воодушевления и принялась болтать с каким-то жеманным олухом-мопсом о самых пошлых материях, как она избегала меня весь вечер, не заметил ее манеры обхождения со мной, каковая должна была бы ясно показать мне, что ее похвалы, ее энтузиазм относились только к ее собственной персоне. Короче, я был и оставался ослепленным безумцем, я преследовал прекрасную Минону где и как только мог, воспевал ее прекраснейшими стихами, сделал ее героиней нескольких грациозно-сумасбродных повестей, проникал в салоны, куда я не был вхож, и пожинал за все это и досаду, и глумления, и столько болезненных обид!

Часто в трезвые часы вся нелепость моего поведения представляла перед моими глазами. Но затем мне снова совсем некстати приходили на ум Тассо и многие более новые поэты рыцарского образа мыслей, которым только и нужно было поклоняться какой-нибудь недостижимой властительнице их дум, посвящать ей свои песни и молиться на нее, как ламанец на свою Дульсинею! И тогда мне снова хотелось оказаться не хуже и не прозаичнее Тассо, и я клялся химере моих любовных грез, грациозной белой девице-левретке, в нерушимой верности и рыцарском служении ей до гроба. Охваченный этим страшным помешательством, я бросался из одного безумства в другое, и даже мой друг Понто, после того как он серьезно предостерегал меня от бессовестных мистификаций, с какими ко мне подступались со всех сторон, счел необходимым отказаться от меня. Кто знает, что случилось бы со мною, если бы меня не вела счастливая звезда. Именно эта счастливая звезда повелела случиться тому, что однажды поздним вечером я крался к прекрасной Бадине, только чтобы увидеть возлюбленную Минону. Но я нашел все двери закрытыми, и сколько я ни ждал, сколько ни надеялся при какой-нибудь okazji проскользнуть в дом, все было тщетно. Полный любви и томления в сердце, я хотел по крайности возвестить очаровательнице о моем присутствии и начал под окном одну из нежнейших испанских мелодий, какие когда-либо были сочинены и исполнены. Слушать ее, наверное, было

весьма горестно. Я слышал лай Бадины, а в паузах и звучанье сладостного голоса Миноны. Но, прежде чем я успел остеречься, быстро открылось окно, и на меня вылилось полное ведро ледяной воды. Можно вообразить, с какой поспешностью отбыл я в свою отчизну. Но огненный пыл в сердце и ледяная вода на шкуре так плохо гармонируют между собой, что из этого никогда не может произойти ничего хорошего и скорей всего ты схватишь лихорадку. Так случилось и со мной. Когда я вошел в дом хозяина, меня немилосердно бил озноб. По бледности моего лица, по моим потухшим глазам, по огненному жару моего лба, моему неровному пульсу хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого молока, которое я усердно вылакал, ибо от жажды у меня язык прилип к гортани, затем я завернулся в покров моего ложа и всецело предался овладевшей мною болезни. Сперва я впал во всяческие лихорадочные фантазии об аристократической культуре, левретках и т. д., затем сон мой сделался более спокойным и наконец таким глубоким, что я, могу утверждать без преувеличения, проспал три дня и три ночи кряду.

Когда я наконец пробудился, я почувствовал себя легко и свободно; я был совершенно исцелен от лихорадки, а также — о чудо! — и от моей безрассудной любви. Совершенно ясно представилось мне все сумасбродство, в какое вовлек меня пудель Понто. Я увидел, как нелепо было мне, урожденному коту, затесаться в общество собак, которые глумились надо мной, ибо они не могли постичь моего духа, и которые по ничтожеству их натуры цеплялись за форму и, следовательно, могли дать мне только скорлупу без ядра. Любовь к наукам и искусствам пробудилась во мне с новой силой, и домашний уют у моего хозяина привлекал меня более, чем когда-либо. Наступили зрелые месяцы мужчины, я был уже не кот-бурш и не изысканный щеголь. Я живо чувствовал, что нельзя оставаться ни тем, ни другим, воспитывая себя так, как того требуют лучшие и более высокие цели жизни.

Мой хозяин должен был уехать и счел за лучшее поместить меня на время к своему другу, капельмейстеру Иоганнесу Крейслеру. Так как с этой переменой моего местопребывания начинается новая эпоха моей жизни, то я закончу здесь повествование о теперешней, из которого ты, о кот юноша, извлечешь столько добрых уроков для твоего будущего.

(Мак. л.) ...донеслись глухие отдаленные звуки, и он услышал, как монахи шагают по коридору. Когда Крейслер окончательно пробудился, он увидал из окна, что церковь освещена, и услышал невнятное пенье хора. Должно быть, случилось нечто необычайное, ведь полуночные часы уже

отслужили, и Крейслер по праву мог предположить, что кого-нибудь из старых монахов настигла внезапная, неожиданная смерть, а теперь его по монастырскому уставу перенесли в церковь. Он быстро набросил на себя одежду и поспешил туда.

В коридоре он встретил заспанного отца Гилария, который громко зевал и пошатывался направо и налево, не в состоянии сделать ни одного твердого шага; вместо того чтобы держать зажженную свечу стоя, он наклонил ее так, что воск, треща, капал вниз и грозил каждую минуту загасить свечу.

— Достопочтенный господин аббат, — забормотал Гиларий, когда Крейслер окликнул его, — это против прежних порядков. Заупокойная ночью, в этот час! И только потому, что брат Киприан настаивает на этом! *Domine, libera nos de hoc monacho!* [\[165\]](#)

Крейслеру наконец удалось убедить полусонного Гилария, что он не аббат, а капельмейстер; с большим трудом выпытал он у монаха, что ночью, неизвестно откуда, в церковь принесли тело человека, которого знал здесь, казалось, только брат Киприан и который, по-видимому, был не простого звания, так как аббат по настойчивой просьбе Киприана согласился немедленно отслужить заупокойную с тем, чтобы за первой заутреней последовал вынос тела.

Крейслер пошел за Гиларием в церковь, представлявшую от скудного освещения жуткое зрелище.

Горели только свечи большого металлического паникадила, свисавшего с высокого потолка перед главным алтарем, и оттого мерцающее сияние едва освещало неф церкви, а в боковые приделы проникали только таинственные блеклые лучи, и статуи святых, пробужденные ими к жизни, казалось, шевелились, как призраки, и подступали все ближе. Под паникадиллом, там, где было почти светло, стоял открытый гроб, в котором лежал труп, и монахи, окружавшие его, сами казались бледными и неподвижными мертвецами, восставшими в полночь из могил. Глухими хриплыми голосами тянули они монотонно строфы реквиема, и когда они умолкали, были слышны только зловещие порывы ночного ветра и странное дребезжание высоких окон, как будто духи умерших стучались в дом, где они слышали благочестивое отпевание. Крейслер приблизился к толпе монахов и узнал в мертвеце адъютанта принца Гектора.

И тут ожили мрачные духи, так часто завладевавшие им, и безжалостно впились острыми когтями в его израненную грудь.

— Злорадный дух, — обратился он сам к себе, — ты влечешь меня

сюда, дабы этот окоченевший труп вновь начал кровоточить, — недаром говорят, что раны убитого открываются, когда к нему подходит убийца. Ого, разве я не знаю, что он весь истек кровью в тот лихой час, когда искупал свои грехи на смертном одре? В нем не осталось больше ни одной ядовитой капли ее, которой он мог бы отравить убийцу, если б тот и подошел к нему, а Иоганнеса Крейсlera меньше всех; ибо ему нет дела до гадюки, которую он раздавил, когда она уже высунула свое острое жало, дабы насмерть ранить его. Открой глаза, мертвец, дай мне твердо взглянуть тебе в лицо, и ты убедишься, что я непричастен к греху. Но ты не в силах сделать это. Кто велел тебе ставить на карту жизнь против жизни? Зачем играл ты со смертью, если боялся пойти ва-банк? Однако черты твои, тихий и бледный юноша, полны кротости и доброты; смертные муки стерли след нечестивого греха с твоего прекрасного лица, и я мог бы сказать, если б это теперь подобало, что перед тобой открылись врата небесного милосердия, ибо в твоей груди жила любовь. Как? Что, если я ошибся? Что, если не ты и не злой демон, нет, а моя счастливая звезда подняла на меня твою руку, дабы избавить от ужасного рока, подстерегающего меня в темной глубине сцены? Так открой же глаза, бледный юноша, и своим отрешенным взглядом открой мне все, все, и пусть я даже изойду в скорби по тебе или погибну от ужасного, неодолимого страха, что черная тень, которая крадется за мной, вот-вот настигнет меня. Да, посмотри на меня, но нет, нет, ты мог бы взглянуть на меня, как Леонгард Этлингер, и я подумал бы, что ты — это он сам, и тогда тебе пришлось бы броситься вместе со мною в пропасть, откуда ко мне часто доносится его глухой замогильный голос. Как? Ты усмехнулся? Твои щеки, твои губы порозовели? Тебя не настигло оружие смерти? Нет, нет, я не схвачусь с тобою вновь; но...

Разговаривая сам с собой, Крейслер машинально опустил на одно колено и стоял опершись на другое обоими локтями. Но тут он стремительно вскочил и, наверное, совершил бы какой-нибудь странный, дикий поступок; однако в то же мгновение монахи умолкли, и мальчики в хоре запели под мягкий аккомпанемент органа *Salve regina* [\[166\]](#). Гроб закрыли, и монахи торжественно покинули храм. Тогда мрачные духи отступились от бедного Иоганнеса, и в полном изнеможенье от скорби и боли, опустив голову, он последовал за монахами. Только хотел он пройти через двери, как вдруг из темного угла поднялась какая-то фигура и стремительно двинулась на Крейсlera.

Монахи остановились, и огонь их свечей осветил дюжего коренастого парня лет восемнадцати-двадцати; лицо его, искаженное дикой злобой, можно было назвать по меньшей мере безобразным; черные волосы в

беспорядке свисали на лоб, разорванная куртка из голубого полосатого полотна едва прикрывала его наготу, а матросские штаны, тоже полотняные, доходили ему только до икр, так что видно было его геркулесово сложение.

— Проклятый, кто велел тебе убить моего брата? — вскричал парень так дико, что голос его прокатился эхом по всей церкви, как тигр бросился на Крейсlera и мертвой хваткой сжал ему горло.

Но прежде чем Крейслер, ошеломленный неожиданным нападением, успел подумать о защите, отец Киприан уже встал между ними и сказал звучным, властным голосом:

— Джузеппе, нечестивый грешник, что делаешь ты здесь? Где ты оставил старуху? Сейчас же убирайся вон! Достопочтенный господин аббат, велите позвать монастырских служек, пусть они выкинут этого кровожадного парня из монастыря.

Как только Киприан встал перед Джузеппе, тот немедленно отпустил Крейсlera.

— Ну-ну, — пробормотал он ворчливо, — нечего поднимать такой шум из-за того, что человек хочет отстоять свои права, господин святой. Я ведь уже сам ухажу; вам незачем натравливать на меня монастырских служек. — С этими словами парень быстро выскочил через дверцу, которую позабыли закрыть; через нее-то он, наверное, и прокрался в церковь. Пришли монастырские служки, однако решили не преследовать дерзкого среди глубокой ночи.

Натура Крейсlera была такова, что стоило ему победоносно справиться с бурей, угрожавшей уничтожить его, как напряжение от необыкновенных, таинственных событий оказывало на него благотворное действие.

Поэтому аббату показалось удивительным и странным то спокойствие, с каким Крейслер, придя к нему на другой день, рассказал о потрясающем впечатлении, которое произвел на него при таких странных обстоятельствах вид трупа человека, пытавшегося его убить и убитого им самим при справедливой самообороне.

— Ни церковь, ни мирской закон, дорогой Иоганнес, — сказал аббат, — не могут вменить вам в наказуемую вину смерть этого нечестивого человека. Но вы еще долго не сможете преодолеть упреков совести, говорящей вам, что было бы лучше пасть самому, нежели умертвить противника, и это доказывает, что предвечному благоугоднее, чтобы вы принесли в жертву собственную жизнь, чем сохранили ее ценой столь поспешного и кровавого деяния. Но оставим это до поры, ибо я собираюсь

говорить с вами об ином, о более неотложном деле.

Кому из смертных дано предвидеть, как наступающее мгновение может повернуть ход событий? Давно ли я был твердо убежден, что для блага вашей души ничто не могло бы быть полезнее, нежели отречение от мира и вступление в наш орден. Ныне я другого мнения и советовал бы вам — как ни милы и дороги вы мне теперь — поскорее покинуть аббатство. Не тщитесь понять меня, дорогой Иоганнес, не спрашивайте, отчего я, вопреки своему убеждению, покоряюсь чужой воле, грозящей опрокинуть все, что воздвигнул я с таким трудом. Вам следовало быть глубже посвященным в тайны церкви, чтобы уразуметь меня, пожелай я даже раскрыть вам побудительные причины моего образа действий. Но все же с вами я могу говорить свободнее, чем с кем-либо другим. Итак, знайте же, что в скором времени пребывание в аббатстве уже не даст вам благодетельного покоя, как это было ранее, более того, вашим глубочайшим стремлениям будет нанесен смертельный удар, и монастырь покажется вам пустынной, безотрадной темницей. Весь монастырский распорядок меняется; свободе, сочетавшейся с благочестивыми нравами, положен конец, и мрачный дух фанатичного монашества с неумолимой строгостью воцарится скоро в этих стенах. О мой Иоганнес, вашим светлым песнопениям более не суждено возвышать наш дух до истинного благочестия; хор будет распущен, и скоро мы ничего не услышим, кроме монотонных респонзорий, которые нехотя будут тянуть старшие братья хриплыми, фальшивыми голосами.

— И все это происходит по настоянию пришлого монаха Киприана? — спросил Крейслер.

— Все благодаря ему, — почти сокрушенно ответил аббат, опустив глаза, — и не я повинен в том, что ничего нельзя изменить. Однако, — добавил торжественно аббат после краткого молчания, возвысив голос, — все, что споспешествует укреплению величественного здания церкви, должно свершиться, и никакая жертва не чрезмерна для этого.

— Кто же этот высокий могущественный святой? — с досадой спросил Крейслер. — Кто повелевает вами, кто смог единым словом остановить разбойника, напавшего на меня?

— Вы, дорогой Иоганнес, — ответил аббат, — замешаны в тайну, которая покамест не вполне открыта вам... Но вскоре вы узнаете больше, вероятно, больше, чем я знаю сам, и узнаете от маэстро Абрагама. Киприан, кого мы сейчас еще называем нашим братом, — из числа избранных. Он удостоился вступить в непосредственное общение с предвечными силами небесными, и нам уже теперь приходится чтить в нем

святого. А что касается этого отчаянного парня, который прокрался в церковь во время отпевания и схватил вас за горло, то он просто полусумасшедший цыган, наш управляющий уже несколько раз велел крепко высечь его за то, что он крал у крестьян в деревне жирных кур из курятников. Чтобы прогнать его, как раз не требовалось никакого особого чуда. — Когда аббат произносил последние слова, в уголках его рта мелькнула и столь же быстро исчезла едва приметная ироническая усмешка.

Крейслера охватила глубочайшая горькая досада. Он понял, что при всех достоинствах ума аббата тот вел с ним лицемерную игру и что все резоны, которые он тогда приводил, дабы склонить его, Крейслера, уйти в монастырь, так же служили для прикрытия какого-то тайного намерения, как и те, что аббат выставлял теперь, пытаясь доказать обратное. Крейслер решил покинуть аббатство, чтобы вырваться из сетей всех этих опасных тайн, которые могли, останься он здесь долее, так запутать его, что ему не будет спасенья. Но только он подумал о том, что теперь ему можно возвратиться в Зигхартсгоф к маэстро Абрагаму и он снова увидит ее, снова услышит ее, ее, единственную мысль свою, он почувствовал сладкое томление в груди — вестник пламенной любви.

Глубоко задумавшись, Крейслер брел по главной аллее парка, когда его догнал отец Гиларий и тотчас же начал:

— Вы были у аббата, капельмейстер, и он сказал вам все! Ну что, был я прав? Мы все пропали. Этот преподобный комедиант — эх, вырвалось словечко! Но мы наедине! Когда он — вы знаете, кого я имею в виду, — в рясе явился в Рим, его папское святейшество тотчас же дал ему аудиенцию. Он упал на колени и поцеловал папскую туфлю. Но не подавая ни малейшего знака ко вставанию, его папское святейшество оставил его лежать целый час. «Пусть это будет твоей первой епитимьей», — закричал его святейшество, когда наконец разрешил ему подняться, и произнес длинную проповедь о греховных заблуждениях, в которые впал Киприан. После этого он уже в тайных покоях получил наставление и выступил в поход. Давно у нас святых не было. Чудо — ну, вы видели картину, Крейслер, — чудо, скажу я, получило свой настоящий вид только в Риме! Я только честный монах-бенедиктинец, дельный *praefectus chori* [\[167\]](#), надеюсь, это вы не откажетесь признать, и с охотой пропуская стаканчик нирштейнского или вюрцбургского во славу единой нашей спасительницы матери-церкви; утешаюсь лишь одним — что он недолго здесь останется. Его удел — странствовать. *Monachus in clauastro non valet ova duo: sed*

quando est extra, bene valet triginta ^[168]. Уж он-то наделает чудес. Смотрите, Крейслер, смотрите, вот он идет сюда по дорожке. Он увидел нас и уже сообразил, как ему кривляться.

Крейслер увидел монаха Киприана, который торжественной поступью, устремив пристальный взор в небо и молитвенно сложив руки, медленно приближался к ним по тенистой аллее, словно охваченный благочестивым экстазом. Гиларий быстро удалился, но Крейслер остался, погрузившись в созерцание монаха, у которого в лице, во всем существе было что-то странное, чуждое, казалось, отличавшее его от всех других людей. Великая, необычайная судьба оставляет на человеке зримые следы, и потому вполне можно было предположить, что чудесный жребий придал внешности Киприана ее теперешний вид.

В самозабвении монах, не заметив Крейслера, хотел было пройти мимо; но Крейслеру пришла охота заступить дорогу суровому посланцу его святейшества, врагу и гонителю самого дивного искусства на свете.

Он стал перед ним, говоря:

— Позвольте, ваше преподобие, принести вам мою благодарность. Единым словом вы вырвали меня из рук бродяги-цыгана, не то он задавил бы меня, словно украденную курицу.

Казалось, монах очнулся от сна; он провел рукою по лицу и долго не отводил взгляда от Крейслера, точно силился припомнить, кто перед ним. Но вот его лицо исказила грозная, непреклонная суровость, и с гневным пламенем в глазах он воскликнул громовым голосом:

— Дерзкий нечестивый человек! Ты заслужил, чтоб я оставил тебя погрязать в грехе! Не ты ли оскверняешь мирским бряцанием священную церковную службу, избраннейший столп веры нашей? Не ты ли обольщаешь суетными ухищрениями набожные души, кои отвращаются от божественного и предаются мирскому веселью в прельстительных песнях?

Крейслер оскорбился сумасбродными попреками, но безрассудная надменность монаха, разившего таким легковесным оружием, укрепила его дух.

— Если греховно, — сказал капельмейстер очень спокойно, твердо глядя монаху в глаза, — если греховно славить предвечного языком, дарованным нам им самим, дабы небесная милость эта пробуждала в нашей груди восторги пламеннейшего благоговения и, скажу более, познание незримого, — если греховно воспарить над земною юдолюю на ангельских крылах песнопенья и стремиться к высочайшему в благочестивой любви и томлении — тогда, ваше преподобие, вы совершенно правы и я великий грешник. Однако позвольте мне быть

противного мнения и неколебимо верить, что церковной службе недоставало бы истинного величия, священного воодушевления, если бы хору пришлось умолкнуть.

— Так моли Пречистую, — ответил монах строго и холодно, — пусть она снимет пелену с твоих глаз и позволит тебе уразуметь твоё святотатственное заблуждение.

— Некто спросил одного композитора, — возразил Крейслер, мягко улыбаясь, — как это у него выходит, что все его церковные композиции исполнены набожного вдохновения. На это благочестивый маэстро, дитя душою, ответил ему: «Когда у меня с моим сочинением что-то нейдет, я прочитываю несколько раз «Богородицу», расхаживая по комнате, и ко мне снова возвращаются мои темы». Тот же маэстро молвил о другом своём великом духовном творении: «Лишь сочинив уже до половины мою композицию, я заметил, что она как будто мне удаётся; никогда не был я так благочестив, как в ту пору, когда трудился над нею; каждый день я падал на колени и молил бога даровать мне силы для счастливого завершения моего труда». Мне сдается, ваше преподобие, что ни у этого маэстро, ни у старика Палестрины не было ничего греховного на уме, и только закоснелое в аскетическом ожесточении сердце не способно воспламениться высшим благочестием песнопений.

— Человечишка, — гневно вскричал монах, — да кто же ты таков, чтобы я препирался с тобой, тогда как тебе надлежит валяться во прахе? Убирайся из обители, не оскорбляй более её святыни.

Донельзя возмущенный повелительным тоном монаха, Крейслер воскликнул запальчиво:

— А ты кто таков, сумасбродный монах, что желаешь вознестись над всем человечеством? Иль ты родился искупленным от греха? Иль тебя никогда не терзали мысли о преисподней? Иль ты никогда не сбивался со скользкой тропы, которую ты себе избрал? И если вправду Пресвятая Дева вырвала тебя из объятий смерти, которую ты, должно быть, вполне заслужил, совершив какое-нибудь злодейство, то милость эта была оказана тебе, дабы ты в смирении познал свои грехи и искупил бы их, а не бахвалился бы с дерзкой спесью милостью неба, пуще того — ореолом святости, который никогда тебе не будет ниспослан.

Монах впился в Крейслера испепеляющим взглядом, бормоча непонятные слова.

— Ну, гордый монах, — продолжал капельмейстер, все более распаляясь, — а когда ты ещё носил вот это платье, — с этими словами он поднес к глазам монаха портрет, полученный им от маэстро Абрагама; но

едва тот завидел его, как в неистовом отчаянии ударил себя обоими кулаками по лбу, испустив душераздирающий скорбный стон, словно пораженный насмерть.

— Убирайся *ты* из обители, *ты*, преступный монах, — воскликнул теперь Крейслер. — А уж если ты по пути встретишь некоего куроцапа, с которым ты водишь компанию, так скажи ему, что ты не можешь и не желаешь защищать меня в другой раз; но пусть он побережется и не протягивает свои лапы к моей глотке, не то я проткну его как жаворонка или как его брата; а уж насчет того, чтобы проткнуть, я... — Тут Крейслер ужаснулся самого себя; монах стоял перед ним оцепенелый, недвижимый, все еще прижав кулаки ко лбу, не в силах вымолвить ни слова. Внезапно Крейслеру почудилось, будто в соседних кустах что-то шуршит и на него вот-вот набросится неистовый Джузеппе. Он ринулся прочь. Монахи как раз запели вечернюю молитву, и Крейслер поспешил в церковь, надеясь там успокоить свою до крайности смятенную, глубоко уязвленную душу.

Когда вечерня кончилась, монахи покинули хоры. Вот потухли и свечи. Мысли Крейслера обратились к благочестивым старым мастерам, которых он поминал в споре с Киприаном. Музыка, благоговейная музыка зазвучала в его душе: то пела Юлия, и буря утихла в его груди. Он хотел выйти через боковой придел, откуда двери вели в длинный коридор, оканчивавшийся лестницей, и по ней подняться к себе в комнату.

Когда Крейслер вошел в придел, какой-то монах с трудом поднялся с пола, где он лежал, распростершись перед чудотворным образом Марии. В сиянии неугасимой лампы Крейслер признал Киприана, но изможденного и жалкого, казалось, он только что очнулся от обморока. Крейслер протянул ему руку, желая помочь. Тогда монах заговорил тихим трепещущим голосом:

— Я узнаю вас, вы — Крейслер. Сжальтесь, не покидайте меня, помогите мне подняться вон туда, на ту ступень, я хочу сесть, сядьте и вы со мной рядом. Да услышит нас лишь всеблагая. Смиловитесь, окажите милосердие, — продолжал монах, когда они уселись на ступеньках алтаря. — Доверьте мне все, погибельный портрет достался вам от старого Северино, и вам известна вся эта ужасная тайна?

Прямодушно, ничего не тая, Крейслер уверил его, что портрет получен им от Абрагама Лискова, далее он безбоязненно поведал ему обо всем, что приключилось в Зигхартсгофе, и о том, что только сопоставив многие события, заключил о каком-то злодеянии; по видимости, портрет был живою памятью о нем и устрашающим обличением.

Монах, казавшийся необыкновенно потрясенным некоторыми местами

рассказа Крейслера, молчал несколько мгновений. Затем, собравшись с силами, он начал окрепшим голосом:

— Вам известно слишком многое, Крейслер, и потому вы должны знать все. Так знайте же. Принц Гектор, ваш заклятый преследователь, — это мой младший брат. Оба мы отпрыски одного княжеского рода, и я унаследовал бы трон, если бы его не опрокинула буря времени. Разразилась война, и мы оба поступили в войско, и служба привела меня, а следом и моего брата, в Неаполь. В те годы я предавался всем порокам светской жизни, особенно же мною завладела необузданная страсть к женскому полу. У меня была любовница, некая танцовщица, столь же прекрасная, сколь и мерзостная душою, что не мешало мне волочиться за всеми распутными девками, какие только мне попадались.

Случилось так, что однажды, когда уже начинало смеркаться, я преследовал на Моло несколько созданий подобного рода. Я уж вот-вот настигал их, как вдруг над самым моим ухом чей-то голос пронзительно воскликнул: «До чего же премиленький шалопай, этот принц. Бегаёт за простыми девками, а ведь мог бы обниматься с красавицей принцессой». Взор мой остановился на старой оборванной цыганке — несколько дней тому назад я видел, как ее уводили сбирь за то, что она в пылу ссоры сбила с ног своей клюкой продавца воды, хотя он и был дюж с виду. «Чего тебе от меня надо, старая ведьма?» — закричал я цыганке, но она тут же извергла на меня поток столь мерзкой, подлейшей брани, что немедленно нас окружила праздная толпа, бешено хохотавшая над моим замешательством. Я хотел уйти, но старуха крепко ухватила меня за полу и, внезапно прервав сквернословие, вполголоса сказала мне, скривив свое гнусное лицо издевательской усмешкой: «Не спеши, милый принц, послушай лучше, что я тебе скажу про писаного ангелочка, что обезумел от любви к тебе». Сказав это, старуха насилу поднялась, крепко уцепившись за мою руку, и начала нашептывать мне о какой-то девице, писаной красавице, свежей, как ясное утро, к тому же еще невинной. Я счел старуху простой сводней и порешил отделаться от нее несколькими дукатами, ибо не собирался пускаться в новые похождения. Но она не взяла денег, а когда я удалился, громко смеясь, закричала мне вдогонку: «Ну, уходи, уходи, господин хороший. Скоро сам будешь искать меня с кручиной в сердце».

Минуло несколько дней; я не вспоминал более о цыганке, как вдруг однажды в месте гулянья, называемом Вилла Реале, мимо меня прошла девушка невиданной мною дотоле прелести. Я поспешил обогнать ее, и когда увидел ее лицо, мне показалось, что сияющие небеса неизреченной красоты разверзлись предо мною. Так думал я тогда, ибо был грешником, и

то, что я теперь, когда мне не подобало бы слишком много говорить о земной красоте, да, верно, и не удалось бы, поверяю вам эти нечестивые мысли, послужит вам лучше всяких описаний дивных чар, коими предвечный украсил очаровательную Анджелу. Рядом с красавицей шла, или, лучше сказать, ковыляла, дама весьма преклонных лет, одетая с достоинством и отличная только своей необыкновенной толщиной да странной неуклюжестью. Хоть ее наряд был совершенно изменен, а лицо было частью скрыто под чепцом, я мгновенно признал в старой даме цыганку с Моло. Шутовская усмешка старухи, ее легкий кивок подтвердили мне, что я не ошибся.

Я глаз не мог свести с обольстительного чуда. Прелестная Анджела потупила взор, веер выскользнул из ее рук. Я быстро поднял его. Отдавая веер, я коснулся ее пальцев — они трепетали; пламень дьявольской страсти вспыхнул во мне, и я не предчувствовал, что уже наступил первый миг ужасного испытания, ниспосланного мне небом. Разум мой помутился, оцепенев, стоял я и едва не проглядел, как моя красавица и ее провожатая уселись в карету, ожидавшую в конце аллеи. Лишь когда карета тронулась, я опамятовался и бросился за ней, словно бешеный. Я поспел еще вовремя, чтобы заметить: карета остановилась перед домом на узкой улочке, идущей к площади Ларго делле Пьяне. Моя красавица вместе с провожатой сошли, и, так как карета немедля укатила, лишь только они скрылись в подъезде, я мог справедливо предположить, что это их жилище.

На площади Ларго делле Пьяне жил мой банкир, синьор Алессандро Сперци, и мне взбрело на ум, чего ради — сам не знаю, навестить его. Он полагал, что я пришел по делам, и начал весьма пространно разглагольствовать о моих обстоятельствах. Однако у меня на уме была только моя незнакомка, я не мог ни думать, ни слышать ни о чем, кроме нее, и вышло так, что вместо ответа на речи синьора Сперци я тут же поведал ему о моем обольстительном приключении. Синьор Сперци рассказал мне о моей красавице более, чем я мог предполагать. Один торговый дом в Аугсбурге каждые полгода переводил для нее на его имя изрядные деньги. Ее звали Анджела Бенцони, а старуху — госпожа Магдала Сигрун. В свой черед синьор Сперци обязан был сообщать аугсбургскому торговому дому все сведения о жизни девицы, и поскольку еще до того, как он стал управлять ее имуществом, ему было поручено руководить ее воспитанием, синьор Сперци в некотором роде мог почитаться опекуном девушки. По мнению банкира, она была плодом запретной связи между особами самого высокого звания.

Я выказал синьору Сперци свое удивление тем, что подобное

сокровище могло быть доверено столь двоедушной старухе, которая шатается по улицам в грязных цыганских лохмотьях и, по всей вероятности, сводничает. На это банкир уверил меня, что не сыщется нянюшки верней и заботливей старухи, прибывшей сюда вместе с Анджелой, когда той минуло всего два года. А что старуха порою переряжается в цыганку, это лишь диковинная причуда, какую здесь, в краю карнавальная вольности, вполне позволительно ей извинить.

Я не смею, не должен распространяться. Старуха в своем цыганском обличье скоро отыскала меня и сама отвела к Анджеле, которая с краской милой девичьей стыдливости на лице открылась мне в своей любви. В своем заблуждении я все еще полагал, будто старуха — нечестивая торговка грехом, однако ж вскоре убедился в противном: Анджела была целомудренней и чище снега, и она, чьей прелестью думал я греховно упиться, заставила меня поверить в ее добродетель, которую ныне я, разумеется, должен счесть адским, дьявольским наваждением. Чем пуще и пуще разгоралась моя страсть, тем более и более поддавался я старухе, непрестанно нашептывавшей мне, что я должен сочетаться с Анджелой узами брака. Пусть до поры наше супружество и останется тайной, однако придет день, когда я смогу открыто возложить княжескую диадему на чело моей супруги. Ибо, как уверяла старуха, Анджела по знатности рода не уступает мне.

Мы обвенчались в капелле церкви Сан-Филиппо. Я мнил, что обрел небесное блаженство. Я разорвал все мои связи, я вышел в отставку, я не показывался более на тех сбиррицах, где прежде дерзко предавался всяческому беспутству. Но эта перемена в образе жизни и погубила меня. Танцовщица, брошенная мной, выследив, куда я ходил каждый вечер, открыла моему брату тайну моей любви, надеясь тем посеять семена своей будущей мести. Мой брат, прокравшись за мной к Анджеле, застал меня в ее объятиях. Гектор извинил на шуточный лад свою навязчивость и попрекнул меня, что я в чрезмерном своем себялюбии отказал ему даже в дружеском доверии; однако я слишком хорошо заметил, как он был поражен несравненной красотой Анджелы. Искра упала, пламень яростнейшей страсти разгорелся в его душе. Он приходил часто, правда, лишь в те часы, когда мог меня застать. И мне вдруг показалось, будто Анджела ответила его безумной любви. С тех пор фурии ревности раздирали мою грудь. Я познал все ужасы ада.

Однажды, когда я входил в покои Анджелы, мне послышался голос Гектора в соседней комнате. Сама смерть сжала мне сердце, я остановился как вкопанный. Внезапно Гектор, с пылающим лицом, дико вращая

глазами, выскочил оттуда. «Проклятый, впредь ты уж не станешь мне поперек дороги», — вскричал он, выхватил кинжал и всадил его мне в грудь по рукоятку. Призванный на помощь хирург обнаружил, что удар пришелся прямо в сердце. Всеблагая удостоила меня своей милости: чудо даровало мне жизнь.

Последние слова монах проговорил тихим трепещущим голосом и затем, казалось, забылся в мрачном раздумье.

— А что случилось с Анджелой? — спросил Крейслер.

— Когда убийца пожелал насладиться плодами своего злодеяния, — ответил монах глухим замогильным голосом, — моя возлюбленная забила в предсмертной судороге. Она умерла в его объятиях. Яд. — Сказав это, монах упал наземь и захрипел, словно умирающий.

Ударами колокола Крейслер поднял на ноги весь монастырь. Сбежались братья и перенесли бесчувственного Киприана в больничные покои.

На другое утро капельмейстер застал аббата в самом веселом расположении духа.

— Ха, ха, Иоганнес, — воскликнул он. — Вы не желали уверовать, что и в новейшие времена случаются чудеса, а сами совершили вчера в церкви удивительнейшее чудо. Скажите, что вы сделали с нашим надменным святым: он вдруг превратился в кающегося сокрушенного грешника, на него напал какой-то детский страх перед смертью, и он всей душой молит нас простить его за то, что он желал вознестись над нами? Того, кто принуждал вас к исповеди, вы, наверное, самого заставили исповедаться?

Крейслер не видел никаких причин скрывать подробности того, что произошло между ним и Киприаном. Поэтому он обстоятельно рассказал аббату обо всем, начав с прямодушной отповеди самонадеянному монаху, который попытался унизить священное искусство музыки, и закончив описанием ужасного состояния Киприана, когда тот вымолвил слово «яд». Затем Крейслер объявил, что он, собственно, все еще не знает, почему портрет, которого так боится принц Гектор, должен подобным же образом действовать и на Киприана. Точно так же ему совершенно непонятно, какими судьбами маэстро Абрагам оказался замешан в этих чудовищных событиях.

— Воистину, возлюбленный сын мой Иоганнес, — сказал аббат, приятно улыбаясь, — ныне мы предстоим друг другу совсем иначе, нежели незадолго перед тем. Неколебимый дух, твердое внутреннее убеждение и всему предпочтительнее глубокое, верное чувство, что скрывается, словно пророческое откровение, в груди нашей, — все это вместе способно

достигнуть куда большего, нежели острейший ум, испытаннейший, всепроницающий взор. Ты подтвердил это, мой Иоганнес, употребив оружие, которое вложили в твои руки, не наставив тебя в его действии и употребив его столь искусно и в столь надлежащее мгновение, что тут же поверг ниц врага, чьи хитроумные замыслы сокрушить было бы не так легко. Сам того не ведая, ты оказал услугу мне, монастырю, святой церкви нашей, услугу, благодетельные последствия коей необозримы. Теперь я могу и должен быть откровенным с тобою; я отвращаюсь от тех, кто хотел повредить тебе, введя меня в обман. Доверься мне, Иоганнес. Предоставь мне позаботиться о том, чтобы исполнилось прекраснейшее желание, что лелеешь ты в груди своей. Твоя Цецилия — ты знаешь, какое прелестное существо я разумею... Но покамест помолчим об этом.

То, что ты хотел бы знать об этих ужаснейших событиях в Неаполе, можно рассказать в немногих словах. Прежде всего, нашему достойному брату Киприану не было угодно упомянуть об одном обстоятельстве: Анджела умерла от яда, который он, охваченный адским безумием ревности, подсыпал ей сам. Маэстро Абрагам жил тогда в Неаполе под именем Северино. Он надеялся отыскать следы своей Кьяры и вправду отыскал их, так как он случайно встретил уже известную тебе старуху по имени Магдала Сигрун. Старуха обратилась к нему после всего, что произошло, и прежде чем покинуть Неаполь, вверила ему этот портрет, тайна которого еще скрыта от тебя. Нажми с краю стальную пуговку, портрет Антонио отскочит — он служит лишь крышкой, и тогда ты увидишь не только портрет Анджелы, но тебе еще попадут в руки несколько листов бумаги чрезвычайной важности, ибо в них найдешь ты доказательство двойного убийства. Ты понимаешь теперь, отчего твой талисман столь могуществен. Должно быть, маэстро Абрагаму приходилось сталкиваться с братьями еще и при других обстоятельствах; однако он сам сумеет рассказать тебе все много лучше меня. Теперь же пойдем узнаем, каково состояние брата Киприана.

— А чудо? — спросил Крейслер, взглянув туда, где он сам вместе с аббатом укреплял над маленьким алтарем картину, о которой благосклонный читатель, конечно, еще помнит. Однако он немало был удивлен, снова увидев там «Святое семейство» Леонардо.

— А чудо? — спросил он снова.

— Вы разумеете прекрасную картину, здесь прежде висевшую? — ответил аббат, странно посмотрев на Крейслера. — Я приказал повесить ее в больничном покое. Ее созерцание, наверно, укрепит дух нашего бедного брата Киприана. Быть может, всеблагая еще раз поможет ему.

Вернувшись к себе в комнату, Крейслер нашел письмо от маэстро Абрагама. В нем значилось:

«Дорогой Иоганнес!

В путь, в путь! Оставьте аббатство! Спешите сюда. Здесь дьявол заварил себе на потеху такую кашу! Увидимся — скажу больше. А писать мочи нет; все это стало мне поперек горла, душит меня. Обо мне, о звезде надежды, взошедшей передо мной, — ни слова. Спешу сообщить: здесь вы застанете уже не советницу Бенцон, а графиню Эшенау. Из Вены прислан диплом, и предстоящая свадьба Юлии с достойным принцем Игнатием чуть ли не официально объявлена. Князь Иринея занят мыслью о новом троне, где он будет восседать всемогущим властителем. Бенцон, или, верней, графиня Эшенау, обещала ему это. Тем временем принц Гектор играл в прятки, пока его взаправду не отозвали в армию. Вскоре он возвращается, и тогда, верно, сыграют две свадьбы. То-то весело будет! Трубачи прочищают глотки, скрипачи натирают смычки, факельщики в Зигхартсвейлере льют свечи — но! Вскоре день ангела княгини. Тогда я сотворю нечто великое; но вам нужно быть здесь. Лучше являйтесь сейчас же, как прочтете все это. Бегите со всех ног. Скоро увидимся. А ргорос [\[169\]](#), берегитесь попов. Хотя аббата я и люблю. Прощайте».

Так немногословно и так многозначительно было письмецо старого маэстро, что...

ПРИПИСКА ИЗДАТЕЛЯ

Закljučая второй том, издатель принужден известить благосклонного читателя о весьма прискорбном событии. Разумного, высокопросвещенного, философического и поэтического кота Мурра посреди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть. Он испустил дух со спокойствием и стойкостью истинного мудреца в ночь с двадцать девятого на тридцатое ноября, после недолгих, но тяжких страданий.

Так еще раз подтвердилась та истина, что с преждевременно созревшими гениями дело на лад не идет. Они или увядают, коснея в безличной и бездушной холодности, и теряются в толпе посредственностей, или же слишком рано уходят из жизни. Бедный Мурр! Смерть твоего друга Муция оказалась предвестником твоей собственной

кончины, и если бы мне поручили сказать надгробное слово над твоей могилой, оно шло бы у меня от сердца и не походило бы на речь безучастного Гинцмана; ибо я любил тебя и ты был мне милее многих... Отныне покойся навеки. Мир твоему праху.

Худо, что покойный не успел завершить изложение своих житейских воззрений и запискам его суждено так и остаться фрагментом. Однако среди бумаг, оставленных усопшим, нашлось еще немало максим и замечаний, видимо составленных им в ту пору, когда он жил у Крейслера. Сверх того сохранилась и добрая часть разодранной им книги, содержащей биографию Крейслера.

Посему издатель не видит в том ничего несообразного, ежели в третьем томе, который должен выйти в свет к пасхальной ярмарке, он осмелится сообщить благосклонному читателю вновь найденные отрывки из биографии Крейслера и лишь кое-где в подходящих местах вставит в нее те из максим и замечаний кота, которые достойны опубликования.

Комментарии

«Ночные рассказы» («Nachtstücke») — сборник новелл Гофмана, изданный впервые в 1817 году.

...некий нидерландский герой в известной трагедии. — Мурр ссылается на заключительную сцену трагедии Гете «Эгмонт».

«Любовь неизмерима к тебе, родимый край!» — цитата из комической оперы Фердинанда Готтера (1746 — 1797) «Остров духов».

Что-то схожее описано у Рабле... — В действительности речь идет о фрагменте из «Сентиментального путешествия» английского писателя Лоренса Стерна (1713 — 1768) — фрагменте, якобы найденном героем этого романа на старом макулатурном листе, который мог принадлежать Рабле. Маэстро Абрагам пересказывает этот отрывок весьма свободно, дав волю своей фантазии и добавляя отсутствующие у Стерна подробности.

Аталанта — героиня греческих мифов; славилась быстротой бега и красотой. Искателей своей руки Аталанта вызывала на состязание — ее супругом мог стать лишь тот, кто обгонит ее в беге.

Орк (лат.) — подземное царство.

«Fêtes de Versailles» («Версальские празднества») — книга, вышедшая в Париже в 1664 году и содержащая описание празднеств при дворе короля Людовика XIV.

...целая когорта стоических сцевол... — По римскому преданию, Муций, юноша-плебей, попав в плен к врагам и желая доказать презрение к пыткам и смерти, сжег на огне жертвенника свою правую руку, после чего и получил прозвище Сцевола, то есть левша. Имя это стало символом стойкости.

Эльф Пэк — персонаж комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Гофман имеет в виду сцену из третьего действия комедии, где эльф Пэк устраивает веселую неразбериху.

...как шекспировский Просперо, мог бы похвалить своего Ариэля... — ссылка на «Бурю» Шекспира. В заключительной сцене волшебник — повелитель стихий Просперо хвалит прислуживающего ему духа воздуха.

«Ave maris Stella» — торжественный и строгий гимн на этот текст написан самим Гофманом в 1808 году.

Эолова арфа — инструмент, любимый романтиками за его несколько таинственное и неопределенное звучание; представляет собой резонатор с

натянутыми струнами; ветер, пробегаая по струнам, заставляет их звучать.

Ах ты, чувствительный Юст... а где же твой новоявленный Тельгейм? — Юст — преданный благородный слуга майора Тельгейма в драме Лессинга «Минна фон Барнхельм» (1767). В первом действии Юст рассказывает, как в ситуации, аналогичной той, что описана Гофманом, он спас из канала пуделя.

Корнелий Непот — древнеримский историк (ок. 100 — 27 гг. до н. э.), автор многочисленных биографий знаменитых людей древности.

Базедов Иоганн (1723 — 1790) — реформатор воспитательной системы в Германии XVIII века. Наряду с многими прогрессивными педагогическими идеями ему присуща известная недооценка индивидуальных особенностей учащихся, стремление подчинить всех одному методу воспитания как единственно правильному.

Песталоцци Иоганн-Генрих (1746 — 1827) — выдающийся швейцарский педагог-демократ. Выдвинул идею соединения обучения с производительным трудом.

Книгге Адольф (1752 — 1796) — автор популярного в конце XVIII века нравоучительного трактата «Обхождение с людьми».

Гильмар Курас — педагог берлинской гимназии, автор труда по чистописанию «Calligraphia Regia» (1714).

Тассо Торквато (1544 — 1595) — итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим»;

Ариосто Лодовико (1474 — 1533) — автор героического эпоса «Неистовый Роланд».

...князь Иринея выронил свое игрушечное государство из кармана во время небольшого променада в соседнюю страну... — то есть княжество его было присоединено к другому, более крупному германскому государству, пока князь спасался бегством от войск Наполеона.

Просвещеннейший народ на земле приписывал самим богам странное желание поедать собственных детей... — По древнегреческому мифу, бог Крон, боясь, что дети отнимут у него власть над миром, приказал своей жене Рее приносить ему рождавшихся детей и проглатывал их. Рея спасла лишь одного Зевса, который, возмужав, восстал на отца.

«О аппетит, имя тебе — Кот!» — перефразировка известного изречения Гамлета в трагедии Шекспира: «О непостоянство, имя твое — женщина!»

...в какой уголок твоего существа запряталась чистая гамма? Или ты вздумала бунтовать против своего хозяина, уверяя, будто слух его убит насмерть ударами молота темперированного строя... — Так

называемый «чистый строй», который ищет Крейслер, основан на акустическом соотношении тонов, заключенных в самой природе звучащего тела. В XVIII веке он был заменен темперированным (то есть равномерным) строем, достигнутым путем механического деления октавы на равные части. В темперированном строе отдельные интервалы не вполне совпадают с их «чистым» звучанием, зато он дает возможность значительно более богатой и стройной системы модуляций. Гофман, подобно другим романтикам, считает, что «истинная музыкальная механика та, которая подслушивает тайну звуков у самой природы, а затем пытается передать их инструменту» («Серапионовы братья»), поэтому натуральный чистый строй он ставит выше «искусственного» — темперированного.

Амбушюр — мундштук, употребляемый при игре на духовых инструментах.

Эммелина — главная героиня оперы немецкого композитора Иосифа Вейгля (1766 — 1846) «Швейцарское семейство» (1809), популярной в начале XIX века.

...«вздохавшие как печь»... — цитата из комедии Шекспира «Как вам это понравится» (действие II, сцена 7). Эта комедия была одной из любимейших книг Гофмана, и в своих произведениях он обращается к ней неоднократно.

Гиппель Теодор-Готлиб (1741 — 1796) — немецкий писатель-юморист. Крейслер ссылается на его сочинение «О браке».

Селия, дочь герцога Фредерика, и ее верная подруга Розалинда — героини комедии Шекспира «Как вам это понравится». Основные сцены этой пьесы, содержащей элементы пасторали, разыгрываются на лоне природы, в Арденнском лесу.

Мосье Жак — мудрый и насмешливый меланхолик из комедии «Как вам это понравится»; **Оселок** — философствующий шут из той же пьесы.

Наравне с небезызвестным поэтом, поселившимся в крошечном домике на берегу журчащего ручья... — Мурр подразумевает, по всей вероятности, знаменитого итальянского поэта Франческо Петрарку (1304 — 1374); в 1337 году, удалившись из Авиньона, Петрарка поселился в уединенной долине Воклюз, в скромном домике у истоков речки Сорги, где с перерывами прожил шестнадцать лет. В своих произведениях он не раз восторженно писал о прелестях сельского уединения.

...один знаменитый человеческий писатель... — выдающийся немецкий ученый, профессор Геттингенского университета и сатирический писатель Георг-Кристоф Лихтенберг (1742 — 1799). В оставшихся после его смерти рукописях, опубликованных в 1800 году под названием

«Смешанные статьи», среди «Замечаний о языке» встречается такой афоризм: «Чтобы научиться достаточно хорошо говорить на чужом языке и действительно разговаривать в обществе с настоящим народным произношением, нужно не только иметь память и уши, но до известной степени быть и щеголем».

«Листья аканта» — иронический намек на вышедшую в 1817 году в Бамберге книгу немецкого писателя и поэта-романтика Исидора Ориенталио (собственно — Отто-Генриха фон Лёбен; 1785 — 1825) «Листья лотоса».

...премьер-министр Гинц фон Гинценфельд... столь дорогой для всего рода человеческого под именем Кота в сапогах. — Гофман имеет в виду героя комедии немецкого романтика Людвиг Тика (1773 — 1853) «Кот в сапогах», написанной Тиком на основе известной сказки Перро про кота, который доставил своему хозяину богатство и сам (по Тику) сделался министром при дворе короля Готлиба.

...из тиковской «Синей бороды» — «Рыцарь Синяя борода» (1796) — драматическая сказка в 4-х действиях Людвиг Тика.

Ленотр Андре (1613 — 1700) — садовник-декоратор, прославившийся разбивкой садов и парков классического французского садового стиля, за что Людовик XV даровал ему дворянский титул.

«Времена года» — оратория Иозефа Гайдна, одно из выдающихся его сочинений.

...толкующего, что Моцарт и Бетховен ни черта не смыслили в пении, а Россини, Пуччита и как там еще зовут всех этих пигмеев достигли подлинных высот оперной музыки. И ниже ...Россини и Пуччита, Павези и Фьораванти и всякие прочие «ини» и «ита». — Критическое отношение Гофмана к творчеству итальянских оперных композиторов конца XVIII — начала XIX века (Стефано Павези — 1779 — 1850; Винченцо Пуччита — 1778 — 1861; Валентине Фьораванти — 1764 — 1837), характерное для передовых немецких музыкантов (Бетховена, Вебера, Шуберта), обусловлено рядом исторических причин. Итальянские оперы того времени — большей частью заурядные произведения композиторов-эпигонов, написанные по шаблону и рассчитанные на «успокоение слуха» внешне эффектными виртуозными ариями. Пользуясь широкой поддержкой аристократии, эти произведения завоевывали европейские сцены, препятствуя развитию национального искусства. Успех итальянской оперы, особенно усилившийся с появлением Россини, вызвал резкую реакцию передовых деятелей искусства, боровшихся за национальную оперную школу. Неприязнь распространилась и на

творчество Россини — наиболее талантливого среди итальянских оперных композиторов того времени, которого Гофман несправедливо ставит в один ряд с ныне забытыми композиторами-эпигонами.

...двенадцатилотной легкостью... — Лот — старинная мера веса, равная 1/30 фунта.

В день Иоанна Златоуста, то есть двадцать четвертого января... родилось дитя... — В биографии Крейсера очень многие подробности, в том числе и дата рождения, совпадают с фактами жизни Гофмана; заменены лишь некоторые собственные имена. Однако в вышеприведенных строках Гофманом, вероятно сознательно, допущена неточность: день св. Иоанна Златоуста по церковному календарю приходится на 27 января, в этот день родился любимый композитор Гофмана Моцарт. В биографии Крейсера Гофман совмещает обе даты.

Мурки — особый вид басового аккомпанеента (состоящего из ряда «ломанных октав») в популярных в Германии XVIII века любительских музыкальных пьесах, которые, по этому виду аккомпанеента, тоже назывались «мурки».

...покойной тетушкой Фюсхен... — Гофман рассказывает здесь о младшей сестре его матери, хорошей музыкантше, Шарлотте-Вильгельмине Дёрфер. Она умерла в 1779 году, когда мальчику было всего три года, но ее пенье и игра оставили в его памяти неизгладимый след.

Кох Генрих-Кристоф (1749 — 1816) — немецкий музыковед, автор ценного для своего времени «Музыкального лексикона» (1802) и других работ по теории музыки. Описание средневекового музыкального инструмента «морской трубы», приведенное ниже, вполне соответствует истине.

Эвфон — редкий музыкальный инструмент, изобретенный в 1790 году немецким физиком Эрнстом Хладни (1756 — 1827) и состоящий из настроенных стеклянных трубочек, которых касались смоченным пальцем. Колебания трубочек передавались стальным пластинкам, с которыми они были соединены. Для широкого использования этот инструмент оказался непригодным.

Viola digamba — виола да гамба — старинный струнный смычковый инструмент, предшественник современной виолончели.

Эссер Карл-Михаэль (1736 — 1795) — известный немецкий скрипач-виртуоз. Играл также на старинных смычковых инструментах.

...дядя, что меня воспитывал... — Отто-Вильгельм Дёрфер. Гофман вырос в его доме, в удушливой атмосфере мелочного педантизма, о которой устами своего героя говорит ниже.

...Руссо, еще будучи мальчиком... решил сочинить оперу... — Гофман имеет в виду фрагмент из 7-й книги «Исповеди». Эта часть датирована, однако, 1742 годом, так что Руссо было в то время тридцать лет и элементарные основы гармонии и композиции были ему известны.

...с младшим братом моего дядюшки... — другой дядя Гофмана, Иоганн-Людвиг Дёрфер, с 1798 года служил тайным советником посольства в Берлине и был предметом восхищения всей семьи.

...благодаря полученному образованию... — Гофман окончил юридический факультет Кенигсбергского университета и долгое время занимал различные юридические должности, будучи прекрасным специалистом в этой области.

...поднятая для удара палка, как говорится в известной трагедии, точно замерла в воздухе... — Мурр подразумевает трагедию Шекспира «Гамлет», действие II, сцена 2.

...носил ту же фамилию, что и небезызвестный юморист... — Гофман имеет в виду немецкого сатирического писателя Христиана-Людвига Лискова (1701 — 1760).

...могучий коронованный колосс... — император Наполеон I. После того как войска Наполеона в 1806 году вступили в Варшаву, где в то время жил и работал Гофман, прусские государственные учреждения были распущены, и Гофман, оказавшись без средств, вынужден был уехать.

Дамон и Пифий (Финтий) — легендарная дружеская пара из Сиракуз. Их история послужила сюжетом различных поэтических произведений, в том числе известной баллады Шиллера «Порука».

Орест и Пилад — другая дружеская пара, о которой рассказывается в мифах Древней Греции. Имена этих героев стали символами бескорыстной дружбы и готовности к самопожертвованию.

...под недостойной личиной презренного фигляра, развлекал самые избранные круги общества... — Подразумевается, вероятно, известный авантюрист и шарлатан граф Калиостро (собственно — Джузеппе Бальзамо; 1743 — 1795), который, путешествуя по Европе под разными именами, выдавал себя за алхимика, заклинателя душ и т. д. и был принят в высшем обществе, пока не угодил в Бастилию.

...случай с неким храбрым офицером, который совершил бегом прогулку от Лейпцига до Сиракуз... — Подразумевается прогрессивный немецкий писатель и поэт Иоганн-Готфрид Зейме (1763 — 1810); в 90-е годы XVIII века в Варшаве Зейме служил офицером в русской армии. В 1802 году он совершил пешком путешествие из Лейпцига в Сицилию и обратно, описав его в книге «Прогулка в Сиракузы».

Спонтини Гаспаре-Луиджи (1774 — 1851) — известный итальянский оперный композитор, долгие годы работал в Париже.

«Ah che mi manca l'anima...» — Этот дуэт был написан самим Гофманом в Бамберге в 1812 году.

Чимароза Доменико (1749 — 1801) и **Паизиелло** Джованни (1740 — 1816) — выдающиеся представители итальянской комической оперы. Их музыке, «ласкающей слух», но не глубокой, свойственно большое изящество и мелодическая прелесть. Дуэт Гофмана «Ah che mi manca...» по своему драматизму ближе к стилю Глюка, музыку которого Гофман особенно ценил.

Ахерон — по греческой мифологии, река в подземном царстве.

Катон Марк Порций (234 — 149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, консул и строгий цензор.

Галль Франц-Иозеф (1758 — 1828) — австрийский врач и анатом, исследователь мозга и основатель так называемой френологии — псевдоучения, по которому на основании наружного строения черепа делали заключение об умственных способностях.

Гаманн Иоганн-Георг (1730 — 1788) — немецкий философ-идеалист и писатель, друг Гете и Канта. Статьи его отличаются туманным стилем изложения.

...что когда-то вычитано у Шекспира и Шлегеля! — Мурр вольно цитирует строки из «Ромео и Джульетты» Шекспира (монолог Джульетты в 3-й сцене IV действия) в переводе Шлегеля.

...Сервантесову Берганцу, о дальнейшей судьбе коей повествует одна новая и весьма увлекательная книга. — Гофман подразумевает «Новеллу о беседе собак» Сервантеса, построенную как диалог Сципиона и Берганцы — разумных собак, обладающих даром речи. В 1812 году Гофман написал рассказ «Известия о новейших судьбах собаки Берганца», главным действующим лицом которой является тот же персонаж.

Приведу вам в пример одного знаменитого врача... — Гофман подразумевает немецкого врача и писателя Карла-Александра Клуге (1782 — 1844) и его труд «Опыт изложения животного магнетизма как лечебного средства», где Клуге в подтверждение своих положений ссылается на драматическую поэму Шиллера «Валленштейн» (монолог Валленштейна из третьей части трилогии).

Крейслер называет здесь имена художников-пейзажистов разных национальностей, мастеров классического пейзажа: выдающегося французского живописца **Клода Лоррена** (1600 — 1682), голландского художника Клааса **Берггэма** (1620 — 1683) и немецкого пейзажиста

Филиппа **Гаккерта** (1737 — 1807).

...венецианским жаргоном Гоцциевых масок... — Гоцци Карло (1720 — 1806) — знаменитый итальянский драматург, один из любимых писателей Гофмана; разрабатывал жанр театральной сказки. Персонажи его комедий, близкие старинной итальянской комедии масок, говорили на венецианском диалекте.

Водяной орган — был изобретен в Древней Александрии (около 180 г. до н. э.). В отличие от обычного органа, имел водный резервуар; сила воздушной струи, идущей в трубы, регулировалась в нем гидравлическим способом.

...уж я разобью ее, и пусть тогда сам diable boiteux (хромой бес) ... предстанет передо мной... — Намек на роман Алена Лесажа (1668 — 1747) «Хромой бес» (1707); в первой главе романа студент, попав в чужую комнату, слышит таинственный голос, принадлежащий, как оказывается, черту, заключенному в склянку. Разбив ее, студент освобождает черта, который в благодарность оказывает ему ряд услуг.

Месмер Франц-Антон (1734 — 1815) — австрийский врач. Его мистическая теория «животного магнетизма» была широко распространена в конце XVIII века во Франции и Германии. Месмер утверждал, что планеты действуют на человека посредством особой «магнитной силы» и человек, овладевший этой силой, может излучать ее на других людей.

Кемпелен Вольфганг (1734 — 1804) — австрийский механик, изобретатель различных автоматов. Его «шахматная машина» демонстрировалась им с огромным успехом в разных городах; однако, как выяснилось позже, она была основана на обмане: внутри турка-автомата, игравшего в шахматы, был спрятан искусный шахматный игрок.

Куниспергер Иоганн (1436 — 1476), более известный под латинизированным именем Региомонтанус (настоящее имя — Иоганн Мюллер), — выдающийся средневековый математик и астроном из Кенигсберга, автор многих научных трудов, в которых изложены результаты его наблюдений над небесными телами.

Мансо Иоганн-Фридрих (1760 — 1826) — ректор гимназии в Бреслау, автор книги «Искусство любви. Поучительная поэма в трех томах».

«Отважный кот... И я тебя тоже!» — шепнула малютка... — Первое объяснение Мурра с возлюбленной почти дословно повторяет лирическую любовную сцену Альбано и Линды из романа Жан-Поля Рихтера (1763 — 1825) «Титан»: «Будь моею вечно!» — воскликнул он пылко. «Отважный человек, — ответила она в смущении, — скажи мне, кто ты? Откуда ты меня знаешь? Если ты таков же, как и я, то поклянись и скажи, было ли все

это правдой?» и т. д.

«Кавалер, блуждающий по лабиринту любви» — роман немецкого писателя Иоганна-Готфрида Шнабеля (1692 — 1750).

«Крадусь я лесом...» — Мурр напевает свободный вариант «Вечерней песни охотника» Гете.

«Ты знаешь край, где рдеют апельсины?..» — слова из песни Миньоны из романа Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

...его сиятельный коллега в «Волшебной флейте». — В опере Моцарта принц Тамино, увидев портрет прекрасной дочери Царицы Ночи, выражает в арии свое восхищение и мгновенно вспыхнувшую любовь.

Гимн «O sanctissima» — четырехголосный хор без сопровождения в строгом хоральном стиле, был написан Гофманом в 1808 году.

Горацио — друг Гамлета в трагедии Шекспира, свидетель его встречи с призраком покойного отца-короля, встречи, которую Гамлет просит сохранять в тайне.

«Di tanti palpiti» — лирическая каватина из оперы Россини «Танкред».

«Не свижусь я больше с тобой, дорогой!» — терцет из второго акта «Волшебной флейты» Моцарта, в нем участвуют сопрано, тенор и бас.

О рать небес! Земля!.. — Мурр цитирует «Гамлета» (монолог Гамлета после встречи с призраком, I действие, 3 сцена).

«Бывал и я в Аркадии!» — перефразировка начальной строки стихотворения Шиллера «Отречение» (Resignation).

...подобно второму Франклину, изобретает громоотводы... — Франклин Бенджамин (1706 — 1790) — выдающийся американский политический деятель и ученый-физик. Одним из первых исследовал атмосферное электричество и предложил средство защиты от грозового разряда.

Квартквинтаккорд — резкое диссонирующее созвучие.

...знаменитого Горнвиллу в тиковском «Октавиане»... — В пьесе Людвиг Тика «Император Октавиан» (1804) крестьянин Горнвилла называет льва «большой кошкой».

«Пускай политики болтают» — песня Леопольда-Фридриха Гюнтера (1748 — 1828); опубликована впервые в 1783 году под названием «Застольной песни».

«Esse quam bonum» — старинная студенческая песня, в которой импровизированные куплеты-соло чередуются с неизменным хоровым рефреном на слова:

Esse quam bonum,

*Bonum et jucundum,
Habitare fratres
Fratres in unum.*

(Смотри, как прекрасно, когда братья живут единомысленно.) На эти же слова Гофман в 1819 году написал «Песню котлов-буршей» для пятиголосного мужского хора.

Аякс — сын Оилея; по древнегреческим мифам, один из героев Троянской войны. Славился легкостью и быстротой бега.

Респонзорий (от лат. *responsum* — ответ) — одна из наиболее старинных форм католического церковного пения, когда речитативным фразам одного солиста отвечает другой солист или хор.

...сравнить себя с Тартини — из страха перед местью кардинала Корнаро итальянец удрал в миноритский монастырь в Ассизи. — Тартини Джузеппе (1692 — 1770) — выдающийся итальянский скрипач, композитор и теоретик. Тайно обвенчавшись с родственницей падуанского кардинала Корнаро и, будучи обвинен в соблазнении и похищении, вынужден был бежать из Падуи в Ассизи, где нашел убежище в монастыре.

Иоганн-Андреас Зильберман (1712 — 1783) — один из членов семейства Зильберман — знаменитых органных мастеров XVIII века.

...как утверждают по праву Мориц, Давидсон... — Мурр перечисляет фамилии немецких врачей и писателей; работы большинства из них проникнуты духом идеализма и мистицизма.

Мориц Карл-Филипп (1756 — 1793) — писатель и поэт, один из представителей движения «бури и натиска». Выступал с лекциями о сновидениях.

Давидсон Вольф — с 1772 по 1800 год работал врачом в Берлине; написал книгу «Этюд о сне» (1786).

Нудов Генрих — врач и писатель, автор книги «Опыт теории сна» (1791).

Тидеман Дитрих (1748 — 1803) — философ-идеалист, профессор Марбургского университета. Писал о сне в работе «Исследования человека».

Винхольт Арнольд — автор книги «Целебная сила животного магнетизма по собственным наблюдениям».

Райль Иоганн-Христиан (1759 — 1813) — профессор медицины при Берлинском университете, занимался вопросами анатомии мозга и лечения душевнобольных. О сне и грезах писал в работе «О применении

психического лечебного метода к душевным расстройствам» (1803).

...пародия на семикратно отвергнутую ложь Оселка в «Как вам это понравится». — В пьесе Шекспира шут Оселок, рассказывая о своей ссоре с одним из придворных, утверждает, что, по правилам чести, ложь может быть опровергнута семикратно: в первый раз на нее последует учтивое возражение, во второй — скромная насмешка, далее, последовательно, — грубый ответ, смелый упрек, дерзкая контратака, ложь применительно к обстоятельствам и, наконец, откровенная ложь.

Палладио Андреа (собственно — Андреа ди Пьетро да Падова; 1508 — 1580) — выдающийся итальянский архитектор. Его архитектурное творчество, отличающееся гармоничностью и строгостью форм, оказало влияние на архитектуру классицизма и вызвало к жизни «палладианские» течения в зодчестве разных стран.

Где-то уже говорилось о капельмейстере Иоганнесе Крейслере... — Гофман имеет в виду первую часть «Крейслерианы».

И когда наступил черед «Agnus Dei»... — Гофманом написано несколько церковных музыкальных произведений; до нас дошел его «Agnus Dei» из мессы ре минор — произведение, проникнутое искренним лиризмом и драматизмом, напоминающее по стилю некоторые страницы «Реквиема» Моцарта.

Нотариус Пистофолус — главный герой оперы Паизиелло «Мельничиха», влюбляется в молодую мельничиху и предлагает ей руку и сердце.

«Немецкий отец семейства» — сентиментальная пьеса немецкого драматурга Отто-Генриха Геммингена (1755 — 1836), написанная им в подражание «Отцу семейства» Дидро.

«В будни веником метет, а в праздник лучше всех обнимет и прижмет...» — См. «Фауст» Гете, часть первая, сцена «У ворот».

«...где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое ясное радостное «мяу», увеселявшее все сердца?» — В пародийной надгробной речи Гофман заставляет кота подражать монологу Гамлета над черепом Йорика (сцена на кладбище из V действия): «Где теперь твои шутки? Твои песни? Твои вспышки веселья, от которых всякий раз хохотал весь стол?» и т. д.

...истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже миновавших... — Намек на начало драматической поэмы Шиллера «Дон Карлос»: «Да, золотые дни в Аранхуэце пришли к концу...»

«Говорят, он умереть хотел!» — цитата из поэмы Шиллера «Смерть Валленштейна» (IV действие, 10 явление).

...подобная музыка годна для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцелл Второй справедливо хотел изгнать ее вовсе... — В середине XVI века, в период контрреформации, католическая церковная музыка, достигшая к тому времени высокого развития, подверглась осуждению со стороны церковных властей за слишком, по их мнению, «светский» характер культовых напевов и чрезмерную полифоническую усложненность письма, препятствующую пониманию богослужебного текста. Вопросам музыкальной реформы был посвящен ряд заседаний известного Тридентского собора (1545 — 1563). Преобразователем церковной музыки явился Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (см. ниже, стр. 613), произведения которого, отличающиеся строгой, величавой простотой, удовлетворили требованиям всех партий.

Арпе Петер-Фридрих (1682 — 1748) — филолог и юрист. Его сочинение «О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами» (1717) появилось в немецком переводе в 1792 году.

Беккер Бальтазар (1634 — 1698) — свободомыслящий богослов. В книге «Волшебный мир», вышедшей в Амстердаме в 1679 году, Беккер смело выступил против средневековых суеверий, веры в чертей и демонов, за это был обвинен правящим духовенством в вольнодумстве и отлучен от церкви.

«О достопамятных вещах» Франческо Петрарки... — Имеется в виду сочинение Петрарки «De rebus memorandis» — собрание фактов и анекдотов из древних латинских писателей и современной автору жизни, включающее также короткие новеллы-анекдоты самого Петрарки, которыми он стремился иллюстрировать развитие различных способностей человека.

«Но вы моя... Не все еще погибло!» — С таким восклицанием в трагедии Шиллера «Орлеанская дева» король Карл VII, узнав о разгроме французского войска, осаде Орлеана и бедствиях страны, обращается к своей возлюбленной Агнесе Сорель.

«Che dolce più...» — начало 31-й песни поэмы Ариосто «Неистовый Роланд».

Пикар Луи-Бенуа (1769 — 1828) — французский драматург; лучшее из его наследия — бытовые стихотворные комедии.

Жан Жак Руссо, приводя в своей «Исповеди» историю о том, как он украл ленту... — Гофман имеет в виду конец второй книги «Исповеди», случай во время пребывания Руссо в доме госпожи де Верселис.

Некто спросил одного композитора... — Речь идет о знаменитом

австрийском композиторе Иозефе Гайдне (1732 — 1809).

...о другом своем великом духовном творении... — об оратории Гайдна «Сотворение мира» (1798).

...кота Мурра среди его блистательного жизненного поприща настигла неумолимая смерть. — Высокообразованный гофмановский Мурр имел своего реального прототипа — кота, которого подарили Гофману совсем еще маленьким в 1818 году. Писатель не раз говорил друзьям, что его воспитанник отличается необыкновенным умом и красотой. Незадолго до окончания романа, в ноябре 1821 года, кот Мурр умер. Гофман писал об этом другу: *«Ночью Мурр стал жалобно мяукать... Когда я приподнял укрывавшее его одеяльце, он посмотрел на меня с совершенно человеческим выражением во взгляде, как бы прося вылечить его... Я не мог вынести этого взгляда, опять укрыл его и лег в постель; он издох утром, и теперь весь дом кажется мне и жене пустым»*. Опечаленный писатель послал своим друзьям траурное извещение, в котором говорилось: *«В ночь с 29 на 30 ноября с. г. скончался, чтобы проснуться в лучшем мире, мой дорогой воспитанник кот Мурр на четвертом году своей жизни, полной надежд. Тот, кто знал обессмертившего себя юношу, кто видел его идущим по пути добродетели и справедливости, разделит мою скорбь и почтит его молчанием.*

Берлин, 1 декабря 1821 г.».

notes

Примечания

Э.Т.А. Гофмана.

В настоящем издании опечатки исправлены.

Новичок в литературе (франц.).

4

Писатель, достигший большой известности (франц.).

Добродушие (франц.).

«Версальские празднества» (франц.).

Я буду молча сетовать на горькую судьбу свою (итал.).

Тише! (франц.).

Жестокий тиран (итал.).

«Привет тебе, звезда морей» (лат.).

11

Не имеет самостоятельной правоспособности (лат.).

Удалившись от дел (лат.).

Устроитель празднеств (франц.).

Мой дорогой брат (франц.).

Ловкость (франц.).

Сударь (франц.).

Мой милый друг (франц.).

Домашний дух (лат.).

Абрагам... пощечина (франц.).

Благочестивый Эней (лат.).

Именуемый венецианцем (итал.).

Сделано Стефано Пачини, Венеция (лат.).

Внезапно (лат.).

Вдруг (лат.).

Что делать, что говорить! (итал.).

Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора! (итал.).

Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер! (франц.).

Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия (лат.).

Морская труба (франц.).

В стиле Помпадур (франц.).

Почтение к родственникам (искаженная латынь).

Серьезная опера (итал.).

Здесь покойтся (лат.).

«Славим милосердие божие» (лат.).

Слабость (франц.).

Устроитель зрелищ (франц.).

Поверенный (франц.).

Повеса (франц.).

О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества...
(итал.).

Мгновенье (итал.).

Чувство (итал.).

Смятенъе (итал.).

О, сжался, небо (итал.).

Муки смерти (итал.).

Прости (итал.).

Мельничиха (итал.).

Ракелина-мельничиха (итал.).

Комические певцы (итал.).

Очаровательный пройдоха (франц.).

Магистр, имеющий право читать лекции (лат.).

На здоровье, дорогой мой! (франц.).

Навязчивая идея (франц.).

Часть за целое (лат.).

Комик (итал.).

Речитатив (итал.).

Приветствую вас, господин де Крёзель (франц.).

Придурковатость, глупость (лат.).

Аббат Гаттоний из Милана велел натянуть между двумя башнями пятнадцать железных струн, настроенных таким образом, что они составили диатоническую гамму. При малейшем изменении в атмосфере струны звучали то слабо, то сильно, в зависимости от перемены погоды. Эту эолову арфу прозвали «гигантской», или «погодной», арфой. (Прим. автора.)

Почетный телохранитель (франц.).

«О водяных органах» (лат.).

Беги (итал.).

Хромой бес (франц.).

Электрический угорь (лат.).

Электрический скат (лат.).

Меч-рыба (лат.).

Я спасена! (франц.).

Охоту (франц.).

Вредное вещество (лат.).

«Искусство любви» (лат.).

Кот имеет в виду комедию Шекспира «Как вам это понравится», действие третье, явление второе. (Прим. автора.)

Любит Венера досуг. Если больше не хочешь влюбляться,
Страсть прогоняют дела. Действуй — и будешь здоров! (лат.).

Если подруга твоя безголоса — потребуй, чтоб спела,
Струн не касалась — проси, чтобы сыграла тебе (лат.).

Красота (франц.).

Может быть! (франц.).

Привязанность (франц.).

Между нами говоря (франц.).

Синее чудовище (итал.).

«Привет тебе, звезда морей» (лат.).

Милосердная мать божья (лат.).

Блаженные небесные врата (лат.).

«Святейшая» (лат.).

Петъ (лат.).

Бряцать по струнам (лат.).

«От такого трепета» (итал.).

В двенадцатую долю листа (лат.).

Главкомандующий (франц.).

Для учеников (лат.).

Проклятие! (итал.).

Вы большой (франц.).

Спокойной ночи (франц.).

Известная студенческая песня «Будем веселиться» (лат.).

Юноша (лат.).

Могила, могильная насыпь; это ошибка: в песне — humus — земля.

«Смотри, как славно...» (лат.).

Штраф (лат.).

Конец венчает дело (франц.).

Привязан к земле (лат.).

Но прежде всего выпьем (лат.).

Бога ради (лат.).

100

Процвѣтаєте (лат.).

Выпьем (лат.).

Дражайший (лат.).

Итак, выпьем (лат.).

Надо различать одно от другого (лат.).

Итак, выпьем. Благоразумный человек не будет пренебрегать тобою, господин! (лат.).

Почему, как, когда, где (лат.).

Вот где собака зарыта (лат.).

Надо выпить (лат.).

С ними на виселицу (лат.).

110

Отсутствуют (лат.).

От вражеских козней (лат.).

«Собирайтесь, братья» (лат.).

Сброд (франц.).

Хвала господу! (франц.).

Вне битвы (франц.).

Кто себе не помогает, тот себе вредит (итал.).

Благословен приходящий во имя господне (лат.).

«Агнец божий» (лат.).

«Господи помилуй» (греч.).

«Даруй нам мир» (лат.).

Под маской (франц.).

Любовника (итал.).

123

Да сгинет! (лат.).

Так что (франц.).

Ума (франц.).

Дурачок (франц.).

Между нами говоря (франц.).

Оставим это! (франц.).

Праведное небо! (франц.).

Поединок (франц.).

Ах, негодяй! (франц.).

Слабости (франц.).

Самообладание (франц.).

Я был (франц.).

Вот и все! (франц.).

Привязанность (франц.).

Клянусь честью (франц.).

Что делать? (франц.).

Скотина! (франц.).

«Жалуюсь молча» (итал.).

Профессором поэзии и красноречия (искаженная латынь).

«Из бездны» (лат.).

Вручение без церемоний (лат.).

Жизнеописание (лат.).

Господин, господин капельмейстер, на минутку! (лат.).

Господин, господин Крейслер (лат.).

Вижу тайну (лат.).

В келье и славно подзаправимся (лат.).

Любезнейший господин (лат.).

Теперь я докажу! (лат.).

«О чудесных произведениях природы и искусства, называемых талисманами и амулетами» (лат.).

В сущности (франц.).

Чести (франц.).

Вперед! (франц.).

«Жак Фаталист» (франц.).

До свидания (франц.).

Негодяй! (франц.).

Мой сын! (франц.).

Возможно ли! (франц.).

И довольно! (франц.).

Мой друг (франц.).

Уходите, убирайтесь! Прочь отсюда, сейчас же! (франц.).

Здесь — нюхательные капли (франц.).

Честное слово (франц.).

Господи, освободи нас от этого монаха! (лат.)

Привет тебе, царица (лат.).

Регент хора (лат.).

Монах в монастыре не стоит и двух яиц, но когда он за его пределами — он стоит тридцати (лат.).

Кстати (франц.).